



К 200-летию
Института востоковедения РАН

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ВОЙНА И ПАМЯТЬ

Автор-составитель – Н. Г. Романова

Москва
ИВ РАН
2019

*Утверждено к печати Ученым советом
Института востоковедения РАН*

Рецензенты:

доктор исторических наук В. Я. Белокреницкий
доктор исторических наук К. В. Орлова

В 65 **Война и память** / Автор-составитель Н. Г. Романова; Институт востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2019. – 580 с., ил.

ISBN 978-5-89282-813-0

Книга «Война и память» представляет собой большой много-летний научный проект в рамках чрезвычайно актуального сегодня гуманитарного направления «устная история». Проект подобрал в себя рассказы, интервью, фотографии ученых – ветеранов войны, много лет проработавших в Институте востоковедения РАН, посвященные одной трагической и великой теме – Великой Отечественной войне.

© ФГБУН ИВ РАН, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие..... 7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ФРОНТ

Евгений Петрович Чельшев..... 11

Борис Николаевич Гашев..... 83

Владимир Эдуардович Шагаль 111

*Борис Анатольевич Литвинский,
Елена Абрамовна Давидович,
(жена Б. А. Литвинского)*..... 137

Анатолий Захарович Егорин..... 183

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. БЛОКАДА

Нина Дмитриевна Гаврюшина..... 235

Людмила Григорьевна Стефанчук 277

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТЫЛ

Виктор Георгиевич Растянников..... 309

Анна Петровна Муранова 337

Эрик Наумович Комаров 377

Мария Николаевна Орловская 399

Шайкен Галимбекович Надиров 417

Владимир Петрович Липеровский..... 443

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ДЕТИ ВОЙНЫ

Ирина Михайловна Смилянская 465

Юрий Васильевич Ванин..... 517

Эльвира Николаевна Панфиленко..... 549

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Война и память» представляет собой большой многолетний научный проект в рамках чрезвычайно актуального сегодня гуманитарного направления «устная история». Проект вобрал в себя рассказы, интервью, фотографии ученых – ветеранов войны, много лет проработавших в Институте востоковедения РАН, посвященные одной трагической и великой теме – Великой Отечественной войне.

Книга «Война и память» была задумана не только как собрание интервью людей, переживших войну, но и как научная работа, в которой сделана попытка показать сложные и неоднозначные события советской истории, осветить драматические эпизоды военных дней, проанализировать мифы о войне.

Память – это не только способность запоминать и сохранять нужную информацию, память – это навык, жизненно необходимый для каждого человека, для каждой нации. Неслучайно сегодня так важна тема памяти и отношения к своему прошлому. Попытки пересмотра нашей истории, переоценки событий, желание повлиять на нашу историческую память, принизить величайшее значение Победы продолжаются. Именно поэтому нам так нужны свидетельства живых очевидцев и участников тех героических дней.

Книга состоит из четырех крупных частей: Фронт, Блокада, Тыл, Дети войны. Каждая из них рассказывает о жизни

страны в важнейшие периоды ее истории на примере семнадцати повествований – семнадцати судеб конкретных людей – ученых-востоковедов, историков, филологов, экономистов, много лет проработавших в российской науке. Они сумели сохранить в тяжелое военное время желание учиться, интерес к далекому и прекрасному Востоку. Военные летчик, стрелок-радист, связист, танкист... юные девятнадцатилетние герои, поднимавшие в бой роты своих солдат. Но войну выиграли не только солдаты, ее выиграли и люди в тылу, на заводах, в колхозах и госпиталях, и дети-подростки, вместе со взрослыми работавшие в годы войны.

Один из участников нашего проекта, фронтовик, замечательный арабист, глубокий, тонкий человек, Борис Николаевич Гашев на мой вопрос: «Чем стала для Вас война?» ответил, что для него это было самое сильное и лучшее время. Никогда больше он не ощущал такой остроты, полноты жизни и радости от того, что просто жив...

Сегодня с этим военным поколением от нас уходит целая эпоха – прекрасная и трагическая одновременно. Эпоха великих побед и скорбей. Но остается Память.

Выражаю большую благодарность своим коллегам Н. И. Шленской, И. П. Карезиной, Ю. В. Зенковичу, Н. В. Авдеевой за помощь в работе над книгой.

Материалы книги подготовлены к 200-летию юбилею ИВ РАН и посвящены памяти наших дорогих коллег-ветеранов, ученых-востоковедов.

Н. Г. Романова

ФРОНТ

Евгений Петрович Челышев

Родился 27 октября 1921 г. в Москве

Окончил Военный институт иностранных языков
Красной Армии (1949)

Доктор филологических наук (1965)

Литературовед-индолог

Работал в ИВ РАН с 1955 г. по 1988 г.

Академик РАН (1987)

Ветеран Великой Отечественной войны, участ-
ник боевых действий

Евгений Петрович: Память у меня хорошая, она мне не изменяет, не только помню разные факты, цифры, но и очень много стихов, музыкальных произведений, которые я могу исполнять на разных инструментах. И все это по памяти, не по нотам, у меня пока что Господь Бог не отнял память, что так нужно для каждого человека, занимающегося наукой.

Жили мы в Замоскворечье, Садовническая улица, дом 35, на берегу Москвы-реки, где Устьинский мост, это был купеческий район. Рядом два рынка, очень известных в Москве, «толкучка» была возле нашего дома, а на другой стороне Москвы-реки, у Солянки, Хитров рынок – «чрево Москвы», как у Бальзака «чрево Парижа». На рынках музыканты играли на гармошках, на своих инструментах, пели... Поэтому я с детства впитал в себя нашу русскую культуру.

Наталья Романова: Кто были Ваши родители?

Е. П. : Родился я в семье потомственных почетных граждан и по отцовской, и по материнской линии. Они были купцы 1-й гильдии, их отцы и деды – очень глубокой традиции. Висит у меня где-то грамота, что мой предок Василий Челышев с братьями в 1832 году обратился на высочайшее имя с прошением, чтобы их причислили к сословию потомственных почетных граждан. Мой дед Семен Глебович Челышев построил в этом районе целый ряд домов, а для себя и детей – двухэтажный красивый дом, с мраморной лестницей, парадным подъездом. Целый район, где я родился, так и назывался Челышевкой, тогда называли по имени домовладельцев и домостроителей. Там на первом этаже жил мой отец с семьей. Он рано умер, в 1923 году, и никак не мог понять, что происходит в стране. На маме женился уже вдовцом. У него от первого брака было четверо детей, старший сын был на фронте, воевал против немцев в Первой мировой войне. И дочь старшая была медсестрой, тоже воевала. Мать вышла замуж за отца и воспитывала его двоих младших детей: семь лет было сыну и девять – дочери.

Н. Р. : Кем работал Ваш отец?

Е. П. : Как и дед, он был владельцем большой компании по строительству домов. Строили они много. Можно было понять, что дома строила компания Челышева, они имели определенный архитектурный вид. Интересно, что мой дед был подрядчиком и строил Верхние торговые ряды на Красной площади, которые превратились в ГУМ, там академик Померанцев руководил строительством. По Москве-реке шли баржи, везли всякий стройматериал, песок, глину – все, что нужно для строительства: доски, бревна, кирпичи и т.д. Этим он и занимался. И я, когда бываю на Красной площади, вспоминаю, что здесь мой дедушка строил.

Н. Р.: Как звали маму?

Е. П.: Маму звали Клавдия Михайловна, в девичестве Соколова, она умерла в 1982 году на 90 году жизни, тоже долгожительница. Она была умной, прекрасно образованной, интеллигентной женщиной. Воспитывалась немецкой бонной, окончила гимназию, много работала. Ее отец тоже был купцом, возглавлял большой торговый дом. Жили они в районе Серпуховки, такая большая очень традиционная русская семья, очень верующие в Бога. После революции у дедушки все отняли, сделали его «лишенцем», и они жили с бабушкой под Москвой, снимали комнату на даче, потому что из Москвы его выселили. Я все лето проводил у них на даче, и воспитанием своим я во многом обязан дедушке. Яркая была личность, очень умный, знающий человек. Он был моим крестным и как бы заменил мне рано умершего отца.

Жили мы довольно бедно, трое ребят, мама одна работала в своем Госиздате, жилось плохо, бедно, ей было очень сложно выжить с нашим семейством. Я хотел играть на банджо, но мама не могла его оплатить. У меня даже костюма не было на выпускной вечер. Мой старший брат Шура служил на флоте на крейсере «Киров», это был в Ленинграде флагман Балтийского флота, и привез мне новую фланелевую куртку. Она мне казалась самой модной!

Квартира наша, где мы жили на Садовнической улице, превратилась в коммуналку: две комнаты заняли две сестры матери, ей это как-то удалось сделать. Она работала тогда еще в домоуправлении бухгалтером – сумела перевезти двух своих сестер. Муж моей старшей тети, тети Любы – дядя Ваня, Иван Михайлович Багрецов, был очень яркой личностью. Инженер, окончил еще до революции Императорское Московское техническое училище (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана), книголюб, очень любил природу, всю жизнь копил деньги, чтобы купить какую-нибудь усадьбу

на природе, не хотел жить в Москве. Дядя Ваня был очень образованным, интеллигентным человеком, у него была прекрасная библиотека. Он с детства собирал книги, очень любил меня. Он и моя мама привили мне любовь к чтению, к литературе, поэзии. Когда я стал подрастать, дядя Ваня давал мне книжки, обернутые в бумагу, так он специально их берег. Я читал тогда Хаггарда, Майн Рида, Фенимора Купера, Жюль Верна. А потом стал читать уже наши книги, Тургенева, других классиков. Мать не разрешала ночью читать, а я ложился и читал с фонариком под одеялом. Мама работала на площади Дзержинского, я к ней бегал туда в библиотеку. Она со мной много занималась, замуж больше не выходила, жизнь посвятила мне. Помню, как мать водила меня в храм Христа Спасителя, еще в тот, старый, показывала мне мраморные барельефы.

Н. Р. : *Ваша семья испытывала какие-то проблемы, связанные с происхождением?*

Е. П. : Конечно, мы знали о том, что идут репрессии. Я это знал больше, чем кто-либо другой, потому что репрессии коснулись и нашей большой семьи. Вести особо откровенные разговоры остерегались, потому что аресты были, и было довольно рискованно открыто выражать какие-то свои мысли и суждения. Это я тоже хорошо понимал. Мама у меня была очень мудрой. В соседней комнате нашей бывшей квартиры, у дяди Вани и тети Любы, собирались инженеры из МОГЭСа. Мама говорила: «Смотри, они договоятся!» Потом их всех судили и приговорили к расстрелу. Я очень хорошо помню их разговоры, анекдоты, несколько пренебрежительное отношение с элементами насмешки над окружающим, над властями. У нас действительно было много такого, над чем можно было посмеяться, представить в каком-то глупом свете. Это все было в нашей жизни: и догматизм, и начетничество, и дураков много было,

и людей-приспособленцев. И тогда их было много, мы все это видели. Мама относилась к этому по-другому, говорила: «Каждая власть от Бога». Хотя она прекрасно помнила другое время, она была 1892 года рождения, и ей было уже 25–27 лет, когда произошла революция, ее мышление в основном сложилось раньше.

Тем не менее, она понимала, что это история, что в действительности нужно жить в таких условиях, в которых мы оказались. Мы и жили. Она работала в Госиздате: встречи с писателями, заключение договоров с ними. Я бегал в это издательство и видел там комбрига Игнатьева, автора «50 лет в строю», и Новикова-Прибоя, который подарил мне книжку «Цусима» о Русско-японской войне, и главное – Шолохова. Тогда вышла его книжка, иллюстрированная художником Корольковым, где были замечательные рисунки. Мне навсегда врезались в память портреты Григория Мелехова, Аксины, всех этих казаков. И мама этим занималась. Она была с писателями очень близка, и я слышал и понимал, как писатели были настроены. В нашей литературе, в искусстве это отражалось очень хорошо.

С матерью мы изучали Гете «Лесной царь», Гейне и т.д., сидели, читали. Иногда мы с ней говорили по-немецки: «Давай будем сегодня говорить только по-немецки!» Первый мой источник – это домашняя культура: мать, дядя Ваня, бабушка, старший брат, которые дали мне высокую интеллектуальную культуру, книжную культуру, особенно мать. Я уже в десять лет прочитал «Войну и мир», три раза ее читал. В первый раз, конечно, многие вещи мне были непонятны. А когда я в школе стал уже на девчонок смотреть, дядя Ваня сказал, что мне надо читать Тургенева: «Первая любовь», «Рудин» и прочие романы. То есть они направляли мое движение, мое развитие, образование, и общение с ними на чистейшем русском языке, не засоренном ничем, было очень важным для меня. Позже, когда

я работал в Совете по русскому языку (он существовал еще при президенте Ельцине), я всегда очень остро чувствовал всю фальшь, связанную с русистикой, с русским языком.

Н. Р. : *Евгений Петрович, а Вы верующий человек?*

Е. П. : Да, я верующий человек, у меня есть свои взгляды, свое критическое отношение к церкви, но не такое, как у Льва Толстого. Мать была человеком разумным, у нее была такая интеллектуальная вера, в церковь ходила мало, но молилась Николаю-угоднику всю войну, просила, чтобы он меня спас от гибели, и позже она сказала, что Николай-угодник внял ее мольбам... А я говорил, главное – ты меня научила немецкому языку. А она отвечала, что, видимо, Николай-угодник указал, почему немецким, а не французским надо было заниматься. Мама ведь и французский хорошо знала. А учила меня именно немецкому, и это пригодилось на фронте, меня сняли с полетов и отправили в штаб допрашивать пленных немецких летчиков и изучать аэродромы противника.

Н. Р. : *Какую Вы выбрали себе профессию, когда окончили школу?*

Е. П. : У меня было одинаковое отношение и к точным наукам, и к гуманитарным. Я учился на отлично всегда по физике, математике, тригонометрии, геометрии, так же как и по литературе, по русскому языку... Но учитель русского языка испортила мне аттестат, поставив четверку: она меня не любила за то, что «слишком умный». В сентябре 1939 года я поступил в Институт химического машиностроения. Начал учиться. И вдруг не совсем удачная война с Финляндией, большие жертвы. Эта зимняя, не нужная никому война привела к тому, что был приказ уже не Ворошилова, а Тимошенко, который стал министром обороны, относительно тех, кто закончил десятилетку

в 1939 году, призвать их в армию. Нас призвали в армию, в танковые, летные и артиллерийские училища.

Н. Р. : *И в какое Вас училище отправили?*

Е. П. : Отправили на станцию Сеща под Брянском, там был большущий аэродром и летное училище ШМАС (Школа младших авиаспециалистов), где в основном готовили сержантский состав. Чтобы получить два кубика лейтенанта, надо было проучиться два года. А мы учились 8 месяцев, ускоренно, и получали два треугольника – сержант. Мы были стрелки-радисты на бомбардировщиках, потому что бомбардировщиков сделали тысячи, и нужно было посадить туда стрелка-радиста. Он сидел в хвосте, стрелял из пулемета и поддерживал связь. А летчик и штурман – это уже командиры. Была осень 1939 года. Только потом я стал понимать, почему вместо лейтенантов, у которых двухлетний срок обучения, мы получили за 8 месяцев учебы сержантские звания. Надо было срочно готовить армады бомбардировщиков. У нас было в два раза больше перед войной бомбардировщиков, чем у Германии. Юнкерсы, мессершмитты у них, а у нас СБ, скоростные бомбардировщики. Их стали выпускать перед самой войной, они впервые появились на первомайском параде 1941 года, буквально за два месяца до войны. Они назывались Пе-2, Петляков. Пикирующий бомбардировщик.

Закончил я училище в мае 1940 года, фотография у нас есть, где весь наш выпуск. Ребята распределились на 140-й скоростной бомбардировочный полк, я попал в пятую эскадрилью, начались стрельбы. Стрельбы по конусам – это когда один тащит конус натянутый, а ты из пулемета строчишь (конус изображает истребитель, который на тебя нападает). Кроме того, была стрельба из винтовок и сильная физподготовка.

Армия дала мне многое: я постоянно занимался физкультурой, бегом, поднимал большой вес, у меня были тренированные руки. Никогда не пренебрегал физкультурой, наоборот, мне нравилось это дело.

В 1940 году, 7 ноября, в моей жизни произошло одно очень важное событие. Мы получили приказ: наш полк участвует в параде на Красной площади. Значит, мы должны лететь. Начались тренировки. Чтобы точно лететь, надо строго соблюдать расстояние между самолетами; это очень сложно. А полк – это пять девяток самолетов. И вот мы прилетели в Москву, в первый раз после того, как уехали. Я все время скучал по Москве, по ребятам, девчонкам, с которыми учился в школе. Сейчас одна осталась, Валя Логинова, а все остальные уже ушли из жизни. Валя мне звонит, это девчонка, с которой мы впервые целовались в кино.

Н. Р. : *Ей, наверное, тоже 90 лет?*

Е. П. : Да, ровесница моя, сейчас она жива. Звонит мне часто... Я не хочу ее видеть, потому что помню ее девчонкой, молоденькой такой, да и я сейчас...

И вот мы летим с Сеци, от Брянска нужно было лететь к Москве. Очень хорошо помню облачность, и вдруг все ниже, ниже спускаемся... И вдруг вылетаем из облака, и я смотрю, кремлевские башни, кремлевские соборы. Сверху я все это вижу, мальчишка, мне 18 лет, представляете! Смотрю на все это – Красная площадь, Москва-река, все солнцем освещено... Прилетели туда не 7 ноября, а 1-го. А вот когда сам парад над Красной площадью... Это был солнечный день, и вот – огромное число самолетов... Это был угрожающий парад, тогда уже план Барбаросса составляли, все это мы знали, и Сталин знал, и поэтому там было огромное число самолетов, просто буквально сотни, тысячи самолетов летели над Красной площадью и сели на Центральном аэродроме им. Фрунзе в Москве. Потом нас отпустили

домой, разместили в каких-то зданиях школы. Ходили в Академию им. Жуковского питаться, а рядом был Петровский дворец. Вот этот парад за несколько месяцев до войны был очень важным событием, потому что этим же маршрутом как раз с аэродрома Сеща... «Вызываю огонь на себя», помните, фильм такой был? Там играет народная артистка, красивая, боевая такая.

Н. Р. : Людмила Касаткина?

Е. П. : Касаткина, правильно. В этой картине точно изображена наша Сеща. Этот аэродром захватили немцы и летали с него бомбить Москву. Там березовые рощи рядом с аэродромом. Наши девушки всё подкладывали мины под немецкие самолеты.

В эскадрилье я был секретарем комсомольской организации, собрал поющую эскадрилью. Мы достали баян, гитару, играли и пели на сцене. Мы там с двумя товарищами иногда играли в самодеятельности: я на мандолине, Шутов на гитаре и Лазарев на баяне. После кино обязательно были танцы, вот с такими девчонками, как Касаткина изобразила. Эта картина мне очень близка, потому что она про меня: Сещу показывали, где была наша авиационная школа, авиабаза, где полки все стояли. А потом фильм «В бой идут одни старики», это наша «Поющая эскадрилья», мы там все пели.

Н. Р. : У Вас сохранились в памяти последние дни перед войной?

Е. П. : Это я очень часто вспоминаю. В мае – начале июня 1941 года я был в отпуске дома, в Москве. Мы приехали вдвоем: я и младший лейтенант Вася Куликов, который очень геройски себя вел, он был командир звена. Он в начале войны на Пе-2 был летчиком, я летал радистом, в одном экипаже. Что мы делали? Ходили совершенно беззаботно, гуляли на Кузнецком мосту. Там такие устраивали

танцующие, девчонки собирались. И вот пошли мы с ним смотреть Первомайский парад. Солнечный такой день был, 1 мая 1941 года. Мы стояли на площади Ногина*, недалеко от Красной площади, в военной форме, и смотрели с земли, как летят наши самолеты. Вспоминали прошлый парад 1940 года в ноябре месяце, когда сами летели над Москвой на СБ. Мы смотрели на Пе-2, на Ил, на Яки – на те самолеты, которые выпустили перед самой войной, с которых началось перевооружение нашего полка. Я помню, Вася Куликов мне говорил: «Вот, Женя, смотри, мы эти самолеты скоро получим и дадим дрозда, врежем немцам как следует. Вот на этих самолетах мы будем вместе летать».

Н. Р.: *Это было общее настроение? Люди готовились воевать?*

Е. П.: В школе шла усиленная подготовка допризывника. Все ходили сдавать на значок ГТО, ПВХО, ОСВОД**. Это считалось у нас очень престижным. И еще давали парашютный значок, если прыгал с парашютом. Парень шел, выставив все свои значки, – значкист. И на него все смотрели. Значкист – это не какое-то слово, отдающее сарказмом или юмором, а значкист – это молодой человек, который преодолел все препятствия и заслужил награду – значок. У меня был значок БГТО – «Будь готов к труду и обороне СССР», физкультурный и «Ворошиловский стрелок». Мы ходили в тир, стреляли из малокалиберных винтовок. Я очень хорошо стрелял, так как получил навыки стрельбы из винтовки еще мальчишкой, причем с огромным удовольствием. Еще было преодоление полосы препятствий в пионерских лагерях, всякие игры военные проводились. Было военно-патриотическое воспитание. И все это мы воспринимали с огромным

* Ныне Китай-город.

** ГТО – Готов к труду и обороне; ПВХО – Противовоздушная и противохимическая оборона; ОСВОД – Общество спасения на водах.

интересом, с пониманием, что нам нужно будет воевать. И мы относились к этому не с каким-то страхом, а, наоборот, с чувством романтического подъема!

Конечно, мы играли еще мальчишками в «Чапаева», смотрели фильмы о Гражданской войне, а потом уже другие фильмы, до заключения мирного договора с Германией: фильм «Эскадрилья № 5», где уже показана будущая война; «На Дальнем Востоке»* – по роману Павленко. Это уже о том, что начинается война, и она начинается тем, что армады наших бомбардировщиков летят на Германию, а в Германии уже начинает подниматься рабочий класс в поддержку Советского Союза.

Мы верили в то, что наши коммунистические идеи проникнут везде. Эрнест Тельман, который руководил Коммунистической партией Германии, был арестован и сидел в концлагерях. Все носили фуражки – тельманки, вроде капитанки, только без всяких морских отличий, с козырьком и немножко на боку. Ее трудно было достать. Ходили, в очереди стояли, чтобы мальчишкам купить вот эту тельманку. И дальше песня эта, которую я пел: «Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте! На битву шагайте, шагайте, шагайте! Проверьте прицел, заряжайте ружье! На бой, пролетарий, за дело свое! На бой, пролетарий, за дело свое!». Вот этот антифашистский гимн, который на немецком языке пели в Германии, у нас очень часто передавали по радио, и потом уже в переводе на русский язык мы его пели на уроках пения.

Все были уверены, что если мы будем воевать, то война будет победной, что она сразу начнется с нашего освободительного похода и что, «если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы!». Эта песня была особенно популярной среди комсомольцев: ее пели часто

* «Эскадрилья № 5» – другое название «Война началась» (1939 г., реж. А. Ромм); «На Дальнем Востоке» (1937 г., реж. Д. Марьян).

на комсомольских собраниях. Мы были пронизаны чувством патриотизма, любви к Родине и уверенностью в своей победе во всем. Довоенные полеты Чкалова, Громова, Байдукова, Осипенко – все это дополнительно заряжало нас верой в то, что мы непобедимы и война начнется сразу с освободительного похода. Это был огромный подъем! Поэтому когда сейчас показывают фильмы, например по роману Василия Аксенова «Московская сага», где показана обстановка какого-то страшного ожидания, подозрительности, неуверенности... Демонстрация на Красной площади показана в каком-то саркастическом плане, якобы гнали туда чуть ли не насильно. Наоборот, демонстрации, а потом, когда стали на Красной площади проводить и военные парады, всегда вызывали чувство такого патриотического подъема! Такие чувства возникали, когда проходили мимо Мавзолея, когда видели Сталина. В Сталина, безусловно, верили. Верили, считали его гениальным человеком: если Сталин что-то сказал, значит, так надо. И никто не заставлял нас это насильно повторять, как попугаев, как сейчас думают. То, что сейчас иногда пытаются показать как «совковое» мышление, меня это страшно раздражает и огорчает. «Совковое» мышление подразумевает, что все мы оболванены и что нас зажимали.

Я жил в этой среде, рос среди этих людей, которых действительно сажали, но чтобы такого страха, какого-то угнетения, чтобы мы боялись, что нас завтра отправят на Лубянку, ничего этого не было, это все вранье показывают. Василий Аксенов и его «Московская сага» – это безусловная клевета на то настроение общества, на наше мироощущение, которое было перед войной. Наоборот, были подъем и убежденность, и если завтра война, то мы к походу готовы. Это была наша ошибка, мы не знали, что такая будет остервенелая война. Думали, что будет по-другому.

Н. Р. : *Как для Вас началась война?*

Е. П. : Все мы знали, что война вот-вот начнется, все абсолютно верили в это. А в армии мы ощущали это так: наш аэродром Сеща находился как раз на пути от центра России, от центра Советского Союза до западных границ, на Белоруссию, затем Брянск, Смоленск, Минск и т.д. Вот этот прямой путь. И туда, начиная с мая 1941 года, стали садиться наши советские самолеты новейших образцов, например Пе-2 (авиаконструктор Петляков) – самолет, на котором мы летали, пикирующий бомбардировщик, Су-2 – ближний бомбардировщик, МиГ-1 – самолет-истребитель Микояна, штурмовики Илы, Ил – Илюшин, Ил-2, мы их называли «летающая крепость», а немцы называли «черная смерть». Вот эти самолеты стали садиться, для заправки. Еще Як-4 (исходное название ББ-22), их потом называли «бесполезный бомбардировщик», небольшой такой, вроде рамы. Он, как немецкая рама, всегда на разведку вылетал. Но мы не сумели сделать так, как у немцев. Она летала и висела над позицией, почти останавливалась в воздухе, и с нее снимали все, что происходит вокруг – такой самолет-разведчик. И вот все эти самолеты садятся, заправляются и летят к западной границе. Мы тогда с восхищением на них смотрели и даже представить себе не могли, что всех их разбомбят немцы в первый же день войны! А тогда наша авиация начала сосредотачиваться на прифронтовых приграничных аэродромах. Это первое.

Второе. Бесконечные тревоги. И ночью, и днем вой сирены – «уууу». И все должны бежать на аэродром. А до аэродрома, до стоянки самолетов, от казармы нужно было бежать приблизительно километр. Прибежишь, нужно расчехлять самолеты, готовить их к вылету и ждать. Но это была пока учебная тревога. Вот это второй момент – чувствовали, что война вот-вот начнется. Затем пошли слухи о том, что немцы нарушают границы, потому что все время

передавали о пограничных перелетах их самолетов. Знали, что они могут появиться в любой момент где-то здесь. А мы находились от границы на большом расстоянии. Сначала до Смоленска, от Смоленска до Минска, от Минска до Гродно – это большой путь до границы.

И я очень хорошо помню, как мы накануне, когда появилось сообщение ТАСС... Помните, было сообщение ТАСС о том, что ходят слухи, будто немцы собираются напасть на нас, но это не соответствует действительности, так как у нас заключено соглашение о ненападении. Это был наш пробный шаг, как будут реагировать фашисты, которые вот-вот должны были напасть, они уже сосредоточили все свои силы, чтобы перейти нашу границу. И вот ровно за неделю до этого сфотографирована моя компания: Жора Лазарев, Олег, Володя Орлов – вся наша компания молодых ребят на реке Десне (она впадает в Днепр), от аэродрома Сеща еще нужно некоторое расстояние проехать. Решили поехать и в следующее воскресенье. И девчонки поедут с нами, уже договорились, всё. И вот 22-го утром, в воскресенье, в 3 или 4 часа ночи – только встало солнце, перед рассветом – загудела тревога. Загудела как обычно. Ну, опять учебная тревога! Черт, срывается наша поездка! А мы договорились с девчонками... А тут всем нужно бежать туда. Я очень хорошо помню: идет дождь... Все время стояла хорошая жаркая погода, и вдруг в этот день, 22-го, пошел дождь. Я помню, бежим мы туда, дорога асфальтная, кругом березки. Загородка, аэродром, и там стоят новые самолеты, сотни самолетов: Пе-2, истребители, «ишаки». Несколько полков. Все собрались там.

Н. Р.: *Евгений Петрович, на начало войны Вы еще не были лейтенантом?*

Е. П.: *Какой там! Сержантом был, стрелком-радистом. И что мы должны были делать? Бежать в приангарное*

здание, брать пулемет и ставить его на самолет. Дана команда. Пришел командир эскадрильи капитан Агеев – здоровый такой, красивый мужик, крепкий, и очень сильная личность. Мне 18 было, ему лет 35; как мне казалось тогда, уже пожилой человек. Он один из первых получил орден Красного Знамени как командир эскадрильи. А я был «безлошадник» – у нас несколько экипажей не получили самолеты. Перед самой войной, это очень важно, наш полк стал перевооружаться, и две эскадрильи не получили еще свои Пе-2.

Надо было лететь на наших старых самолетах СБ в Калинин, там их сдавать, а потом тебе вместо него дают новый самолет, Пе-2, и уже этот самолет возвращается к нам. Вот так наши четыре эскадрильи перевооружились, а наша эскадрилья, 5-я, была в стадии перевооружения – получили только четыре или пять самолетов, а нужно, чтобы было двенадцать. Запасное звено и девять самолетов. Девятка – три тройки, это считается эскадрилья, три тройки – три звена. Вот это бомбардировочный расчет. Агеев кричит: «Чельшев!». Я подбегаю к нему. Он ко мне очень хорошо относился. Я был и музыкально, и поэтически подготовленный, стихи читал на всех наших вечерах в Доме Красной Армии на немецком языке, а потом на русском читал эти стихи в переводе Блока, Жуковского и т.д. Агеев: «Чельшев, бегом в штаб дивизии, будешь связным от нашей эскадрильи при нашей 47-й смешанной авиационной дивизии». Дивизия состоит из нескольких полков: пикирующие бомбардировщики, штурмовики, истребители – все это вместе соединяется в дивизию. Агеев: «Бегом в штаб. Любые указания – бегом сразу сюда». Я был физически очень хорошо подготовлен: бегал быстро, занимал всегда первые места. Я сразу пошпарил в штаб дивизии. И мое первое впечатление: пришли из многих эскадрилий, из полков, человек двадцать...

Н. Р. : *Но еще не сказали, что началась война?*

Е. П. : Никто ничего не знает. Времени часов 9–10 утра, все уже расчихлили самолеты, поставили пулеметы. Не заправили только, ждут, что делать дальше. Мы в штабе сидим в приемной полковника Дагаева, начальника штаба дивизии. Дверь открывается все время, там внутри слышно какой-то разговор – военные разговаривают, начальники большие. Все время приходят начальники отделов, причем очень озабоченные. Идут быстро, иногда бегом. Я начинаю соображать, почему они все бегают-то. И вот слышу разговор по телефону:

- Этот аэродром бомбили?
- Да, бомбили.
- А Балбасово?
- Да-да, и этот бомбили.
- А этот?..

Думаю: «Что такое? Как это “бомбили аэродром”?!». А это немцы уже бомбят, уже за Минск залетают, и они бомбят не только Минск, но и дальше города: Орша, Борисов, Жлобин, Рогачев – города Восточной Белоруссии. Слышны обрывки разговоров. Я внимательно прислушиваюсь. Потом выходит капитан, начинает кричать: «140-й полк 1-й эскадрильи, 140-й полк 5-й эскадрильи». Я подбегаю, слушаю: «Пакет срочно командиру эскадрильи». Прибегаю, даю капитану Агееву, он читает, нахмурился и говорит:

- Твое впечатление? Ты слышал, что там происходит?

Я ему говорю:

– Товарищ капитан, я слышал разговор. Говорят, кто-то бомбит аэродромы, я запомнил Балбасово.

Это под Оршей, это наш военный округ, поэтому все знают, что там находится большой аэродром. Он:

- Да, – и ничего не говорит.

Слово «война» никто не произносит. Еще не было речи Молотова, он в 12 часов дня выступил. Никто не произносит никакого слова, потому что строго-настрого сказано ничего не говорить, может, это провокация. Приходенцы ничего не сообщили нам. Специально сделали вакуум такой... Поэтому он и не произносит никаких слов, Агеев. Уже всем ясно, что бомбят аэродромы, Жлобин, Рогачев – конкретные места называют... И потом дает команду: «Заправить самолеты бензином!». Чтобы все были заправлены. Этого раньше не было. После учебных тревог обычно как... зачехлить самолеты и снова разойтись по казармам. А это уже новое – заправить самолеты. «Рассредоточить машины! Заводи моторы!». Они стоят рядами, самолеты, за аэродромом есть подлесник, и в него начинают заводить все самолеты. Один самолет заводит мотор – и туда, потом другой, за ним третий, четвертый, пятый – все туда. Ломают кусты, маскируют самолеты. Все понимают, что что-то не так, как было раньше. И вдруг говорят: «Слушайте, в 12 часов...» Я снова побежал в штаб. Сидим, вдруг снова выходит капитан: «Немедленно в 12 часов включите все радиоприемники на прием!». На всех самолетах есть радиостанции.

Это уже и я сам должен делать, но у меня нет самолета. Вот я с другом Жорой Лазаревым, который на фото со мной снят. Видите, он даже от меня отличается: он одет в комбинезон, а я стою без комбинезона – я «безлошадник». Мы не успели слетать в Калинин, обменять свой старый скоростной бомбардировщик СБ на Пе-2. Даже на фотографии это подчеркивается, вы понимаете, что у меня нет самолета. А у него уже очки, пистолет выдали. Он уже снаряжен, он завтра может в бой идти в таком виде. А я... нету у меня этого ничего. Мне обидно, но я помогаю ему всячески: это мой хороший друг. Жора Лазарев, осветитель киностудии «Мосфильм», мой приятель, самый близкий мой товарищ в летной школе и потом в полку. Жил он в Москве, недалеко

от меня, на Солянке. До войны мы с ним не встречались, в летной школе познакомились.

Смотрим, едет «полуторка», привозят нам вареные яйца, колбасу, хлеб какой-то – перекусить. Все официантки – знакомые нам девчонки, которые с нами танцуют в Доме Красной Армии. И в 12 часов мы слушаем Молотова. Всем уже ясно, что началась война. Молотов первый сказал это по радио. Тогда мы там сидели еще несколько часов. К вечеру построились, вся эскадрилья, без песен. Раньше с песнями ходили, а тут без песен. Настроение такое...

Н. Р. : *Было страшно?*

Е. П. : Нет, не то чтобы страшно... Беспокойство было, безусловно, но то, что бомбят наши аэродромы! Мы думали, что если война, то как в кинофильме «Эскадрилья № 5», армада наших самолетов поднимается, летит на Германию, производит там огромные бомбометания, горят их заводы...

Н. Р. : *То есть думали, что война будет не на нашей территории...*

Е. П. : Да, будет совсем не так! А тут бомбят наши города, которые совсем близко от нас. Какой-то город меня особенно поразил: Жлобин, Борисов... Настроение было такое: «Ну, мы им покажем! Дайте нам только подняться, нашей армаде!». Но мы никуда не вылетали. Нам сказали из казармы никуда не уходить, всем ложиться спать – отбой, ждать завтрашнего утра, 23 июня. То есть мы в бой не вступали. А все новые самолеты, которые стоят на сецинском аэродроме... там идет бомбежка, они уже горят все там, и немцы уничтожают с воздуха наши невзлетевшие самолеты – больше 1000 самолетов, которые мы видели, как они летели туда, навстречу своей смерти. Мы их видели, радовались, говорили: «Смотри, вот, вот, наши летят!». Они все там сгорели! Их разместили на приграничных аэродромах,

и всех их немцы сожгли в первый же день, в первую бомбежку, которая была. На другой день застрелился командующий авиацией Западного фронта генерал-майор авиации Копец*. Это молодой совершенно парень, который воевал в Испании, получил там Героя.

А мы на следующий день, 23-го, из казармы далеко не выходили. Собирались, рассказывали друг другу, делились. Кто-то говорил, что на Сещу идет большая колонна немецких самолетов, кто-то пустил слух, что есть огромный немецкий аэродром, где стоят сотни самолетов, сверху их разбомбить ничего не стоит, и можно было бы долететь, потому что это не так далеко. Но мы все ждем, а никакого движения нет. И вот 24-го утром, часов в шесть, солнце поднялось, приказ – построение, и на аэродром – готовиться к вылету. А все остальные, как мы, кому самолета не хватило, «безлошадники» едут эшелонам. Но сначала надо проводить самолеты. Выкатываем их все... Это запомнилось на всю жизнь. Весь наш полк, за исключением «безлошадников», в основном был укомплектован, а я с немногими остался.

Мне очень повезло, что я тогда остался. Жив остался. Тут «живые» и «мертвые», как у Константина Симонова в романе. Вот здесь стоят «живые», а это уже «мертвые», мы разделились так, кто улетает на смерть, а кто остается, как черта прошла.

Когда весь полк поднялся, я на них посмотрел: такие махины идут, самолеты, гудят низко над аэродромом, целая армада. Чувствуется мощь такая. Думаю: «Ну, куда там немцам сейчас?! Наши как дадут перца! Вся наша мощь идет, всего 140-го бомбардировочного полка!». Улетели они. А мы, значит... на поезд, в товарные вагоны, в телячьи. Грузили какие-то запасные части, моторы запасные. Их на машинах подвозят, мы выгружаем на платформы...

* Копец Иван Иванович (1908–1941) – летчик-истребитель, генерал-майор авиации, командующий ВВС Западного фронта.

Н. Р.: *А куда вас везут, Вы не знаете?*

Е. П.: Мы ничего не знаем. И поезд тронулся. Я смотрел... Мне запомнился Мальцев, старший лейтенант. Жена у него красивая была, в белом платье! Они, летчики, ходят там еще, жены их провожают, у которых жены были. Дети маленькие там, ребятишки бегали... Мальцев погиб буквально в первые дни войны, сразу, как вылетел от нас...

И вот такая тревожная обстановка: паровозы все время гудят, идут мимо Сещи один за другим. Эшелоны идут все время на запад, огибая Брянск, выходят прямо на Смоленск и идут дальше. И мы отправились. Ночью ехали, утром просыпаемся: Рогачев, Жлобин – города, которые бомбили. Слезаем, смотрим, там уже везде воронки большие от бомб... Немцы бомбили железнодорожные станции, мост через Днепр. Смотрим, и там большие воронки от бомб! В мост не попали, а рядом воронки от бомб просто огромные – несколько десятков метров в окружности! «Пяти-сотки» лупили на этом мосту.

Привозят нас ночью, станция Орша. Целый день плутали: на одну станцию привезли, а нашего полка нет, обратно! Везде неразбериха! Эшелон один, другой, туда-сюда! Куда сел наш полк? Никто не знает! Связи нет никакой! Смотрю, ужинать зовут. Один вагон приспособлен специально под пищеблок: дают сухой паек, что-то погрызть там... Командир, начальник эшелона, начхим полка Нечаев кричит: «Челышев!». Я подбегаю к нему. Опять тут довольно интересно. Я: «Слушаю Вас, товарищ старший лейтенант». Начхим полка – занимается химической защитой: чтоб у всех были противогазы и т.д. Он: «Никуда от меня не отходи, позови Надю-машинистку, она нам пригодится, и нужен военврач полка, капитан медицинской службы Киселев. Найди их, чтобы все здесь стояли, меня ждали. Ты, Челышев, на всякий случай, знаешь немецкий язык,

всякая ситуация может возникнуть». Вот в такой компании я попал в машину. Все остались в эшелоне, а я сел рядом с Нечаевым, он знал меня шапочно. Знал, что я Чельшев, что знаю немецкий язык, выступал часто в Доме культуры. Вот он меня увидел и говорит: «Давай, садись! Недалеко аэродром, там истребители стоят. Сейчас дадут машину, поедем на аэродром, выяснять, где находится наш полк. На истребительном аэродроме наверняка знают: истребители обычно сопровождают бомбардировщиков». Я стою. Вечереет уже, сумерки. Машины этой, «эмки» черной, нет.

Рядом играет патефон, я очень хорошо помню, пела Шульженко: «Ваша записка в несколько строчек, та, что я прочла в тиши...» И вдруг в это время гул, гул, нарастающий гул! Причем такой, чужой, чувствуется, что это не наши, чужие самолеты! «У-у-у, у-у-у, у-у-у!», – завывающий звук, нарастающий. И потом: «Иииии!» – свист! Это когда летят бомбы, немцы еще к ним привинчивают какие-то звукоусилители, и страшнейший такой, ревуший свист получается, пронизывающий все тело! Так неожиданно, так дико, вот эти бомбы! И начинается бомбежка!

Н. Р. : *Это была первая бомбежка, под которую Вы попали!*

Е. П. : Да. Первое мое ощущение, когда мы приехали в Оршу, вечером, перед сном уже, – там масса эшелонов собралась. И стоит эшелон с беженцами из Минска – уже беженцы из Минска появились, там расстояние небольшое, 200–300 км. Рядом эшелон с какими-то боеприпасами стоит на путях. И вот немецкие бомбардировщики, черные такие, зловещие, нависли. Мы когда приехали, я думаю: «А почему нас здесь, в Орше, разгружают? Нам в Гродно надо ехать!». Гродно – это на границе с Польшей, а Орша от границы далеко! Думаю: «Наверняка наши войска уже к Варшаве подходят и самолеты наши летают над польской территорией». Мы ничего не знаем, что происходит, никто

не сообщает нам никаких известий. Эшелоны стоят. И тут смотрю, бежит Нечаев под бомбежкой этой, тоже рядом ложится... Первое, что хочется сделать, – бежать куда-то, рассудок отказывает. Но бежать, вижу, совершенно бессмысленно, бомбы спереди рвутся, сзади, потому что их летело несколько волн, этих бомбардировщиков: одна волна прошла, другая. Потом все-таки Нечаев нам кричит: «Немедленно в машину! Немедленно в машину!». Киселев и Надя вместе со мной, бегом, сели в эту «эмку». И она поехала буквально под бомбежкой, потому что бомбежка продолжается. Кругом где-то рвутся снаряды, сзади что-то трещит, горит, бомбы попали в дома, там кричит кто-то, кого-то ранило... Переехали на другую сторону, там бугор, поросший кустарником, дорога. Нужно ехать, искать аэродром. А где находится этот аэродром? Начальник станции сказал, что нам нужно ехать по этой дороге, это была его машина. Выехали на бугор, смотрим, опять там гул, прошло несколько минут – нет бомбежки, потом снова нарастающий гул. Мы вылезли, легли на этот бугор – метров, наверно, 700–800 было до этих путей, откуда мы выскочили. Горят какие-то дома, немцы подожгли зернохранилище. Я смотрю, и для меня эта картина не представляется реальной.

Н. Р.: *Как будто прямо на глазах рушится мир...*

Е. П.: Да, что-то происходит совершенно невероятное, совершенно необъяснимое! Бегают люди, горят вагоны! Буквально 10 минут тому назад ничего этого не было. Мы приехали, сейчас начнем выгружаться, поедem, сядем на наш самолет и будем бомбить немцев. И тут началось все совсем по-другому, понимаете? Вот эти вот немецкие самолеты!

Дальше что? Вылезаем, и вдруг смотрим – странная вещь. Вдруг из одного места, из другого места вылетают ракеты и нависают над какими-то нашими эшелонами, над строениями. Нечаев, наиболее опытный военный человек,

старший лейтенант, говорит: «Это ракетчики пускают ракеты с земли, наводят немецкие самолеты! Показывают цели, где нас надо бомбить! Вот они, смотри, наводят на эшелон, который стоит с беженцами из Минска, туда сейчас ракеты полетели...» Представляете, это немцы бросили сверху десантников своих, диверсантов, с ракетницами. Мы выбежали оттуда, посмотрим, а из кустов, где-то метров в 200 от нас, вылетают эти ракеты.

Н. Р. : *То есть Вы прямо среди них?*

Е. П. : Рядом все находимся! Среди диверсантов! Они пускают ракеты и показывают, куда надо бросать бомбы. Мы стоим, озираемся, не знаем, что делать, куда бежать! Ехать дальше, на этот аэродром? А как же здесь? А эти диверсанты? Нам сверху с этого бугра все очень хорошо видно, вся эта панорама, бомбежки, откуда наводят ракеты. Смотрим, идут навстречу нам два милиционера в милицейской форме, причем у одного три кубика, а у другого одна шпала. Один старший лейтенант, другой – капитан. Милиционеры.

– Вот давай у них спросим, – говорит Киселев, врач.

У меня винтовка с собой. Шофер и эта девчонка сидят в машине, мы только втроем: Нечаев, Киселев и я. Подходим к этим милиционерам. Старший лейтенант представляется:

– Старший лейтенант такой-то, начхим 140-го полка. Товарищи милиционеры, здесь какие-то ракетчики пускают ракеты.

Они смотрят на него спокойно совершенно. Второй, который стоит немножко сзади, я заметил, держит руку на кобуре. И капитан говорит спокойным голосом:

– Так мы сами сюда приехали! Нам сообщили, что немцы бросили десант и что они здесь ракетами наводят самолеты. Диверсанты скорее всего немецкие! Вот мы их и ищем.

Но по их виду, когда они шли спокойно вдвоем по этому самому пригорку, не я один почувствовал, что они никого

не ищут. Что они наблюдают скорее, чем ищут. Как начальники, которые смотрят, кто и как работает, какие ракеты куда пускает.

– Ну хорошо, давайте ваши документы, – говорит Нечаев.

Те показывают свои книжки. Тот их посмотрел, полистал одну, другую, вернул им. Там все в порядке, с фотографиями. Я даже хорошо помню, как стоял рядом, заглядывал тоже в эти книжки... Что мы понимаем в этих милицейских документах? Они пошли дальше, эти милиционеры:

– Мы пойдем дальше смотреть.

– Странное впечатление от этих милиционеров, – говорит Нечаев. – Почему мы у них спрашиваем документы? Блюстители порядка они! Они должны у нас спрашивать документы! – Он первый догадался: – Какие-то люди в летной форме, кто они такие? Они никаких документов у нас не спрашивали! Мы у них спрашивали документы.

А я как человек уже лингвистически одаренный, говорю:

– Капитан говорил с Вами не на чисто русском языке, он говорил с акцентом. Похоже, как прибалты говорят по-русски, вот такой у него был акцент.

Н. Р. : Диверсанты!

Е. П. : Это первая встреча была – с диверсантами. Я видел и разговаривал с ними! Просто удивительно, как они нас не тронули! Мы решили, что надо проследить за ними. Пригнулись, легли, смотрим, они прошли в будку обходчика, или стрелочника – кто его знает. Вышли из будки, спустились вниз, пошли. И опять ракеты летят. Они смотрят на эти ракеты, сами никак не реагируют, медленно идут. Потом сели за какой-то кустарник и вдруг исчезли. А мы смотрим на них, маскируясь, лежа в кустах. И видим, именно из того места, где они скрылись, полетели ракеты. Тогда старший лейтенант говорит: «Давайте сейчас откроем огонь». Бежать нам туда как?

Н. Р. : *На верную смерть...*

Е. П. : Невозможно... Это метров 30–40 от нас, все видно – ночь светлая. «Огонь!» – сказал Нечаев. И в это время слышно: «Лови, держи их!». Крики, стрельба началась и т.д. Это прибыли наши красноармейцы из батальона истребителей. Там специально готовили каких-то наших солдат, которые охраняли станцию. Они все с автоматами. И они бросились на них. Результат нашей стрельбы мы даже не успели проверить... У нас они тоже стали проверять документы. Подбежал лейтенант пехоты, такой бывалый парень. «Кто такие? Документы?» – спрашивает нас. Посмотрели. Мы тут же сказали: «Видели капитана и старшего лейтенанта. Они пошли за кусты». И те побежали туда. Потом старший лейтенант Нечаев говорит: «Слушайте, мы тут теряем время, нам нужно на аэродром ехать. Это главная наша задача – выяснить, куда ехать нашим эшелонам». И побежали мы к машине. Поехали.

Через полчаса подъехали к аэродрому, выходит лейтенант, совершенно измученный, лицо осунулось, красные веки – чувствуется, что страшно устал этот лейтенант, он какой-то дежурный по КПП. Спрашиваем: «Где самолеты Пе-2?». – «Тут нет никаких Пе-2, здесь стоят только наши истребители. Половину уже сбили за два дня мессершмиттами. Ищите их на аэродроме Балбасово». Тут были старые «ишаки», И-16, самолет такой тупоносый, которым в основном была вооружена наша армия до того, как стали делать МиГи. По всему уступал немецким мессершмиттам. «Мы сопровождали, говорит, наши бомбардировщики до аэродрома Балбасово». Тот самый, который бомбили, о котором мы слышали уже в первые дни войны. «Это, говорит, надо ехать еще на поезде, потом там будет Орша пассажирская, а там Балбасово».

Поехали и там наконец увидели наших. Когда вернулись обратно с аэродрома, смотрим, ситуация такая: сторевшие

дома, наших раненых куда-то увезли – ранило нескольких наших человек, и очень сильно бомбили эшелон, который из Минска вез беженцев. Их на носилках выносили оттуда, вытаскивали раненых, убитых... Вот такая картина. И смотрю – стоит толпа летчиков с нашего эшелона и держат кого-то, и среди них наш «милиционер», одетый в милицейскую форму, и говорят: «Смотрите, глухонемого поймали». Он не говорит ничего, просто молчит. У него вытаскивают документы, смотрят. Как сейчас я помню, документ его прямо перед глазами, с фотографией. И написано, что он работал поваром в каком-то городке перед тем, как стал милиционером. И он снят вместе с половником. Это тоже как-то подозрительно. Кто это будет сниматься с половником? И вдруг один кто-то говорит: «Смотри, на его кителе видны следы строп от парашюта...» – вмятины на спине. «Парашютист! Прыгал!». Тут один подходит, и рраз! – начинает бить его ногами... Мы не стали смотреть, чем кончится это дело, а побежали к эшелону. Нужно было нашим сказать, что надо грузиться и ехать туда, в Балбасово, искать наши самолеты.

Вот это первое мое столкновение с врагом, я видел этих самых диверсантов глаза в глаза, никогда не забыть мне это. Я до сих пор помню того старшего лейтенанта, который так судорожно стоял сзади и держал руку на кобуре, и капитана, который с нами разговаривал на ломаном русском языке...

Да, вот я такой момент не рассказал Вам, это очень важно. Когда мы вернулись с аэродрома, смотрим, ведут этих, переодетых в милицейскую форму. А там похватили всех подряд: и диверсантов, и наших, настоящих милиционеров. Они шли такой толпой, человек 15 или 20, их вели в комендатуру. И некоторые из них шли и ругались матом. Я тогда высунулся из машины и говорю лейтенанту, который их вел: «Товарищ лейтенант, вот эти, которые ругаются матом, – это не немцы. Это наши, русские, милиционеры».

Н. Р. : *Может быть даже, Вы их спасли.*

Е. П. : Да. Он посмотрел так на меня, задумался и говорит: «Ладно, там разберутся». Вряд ли их стали бы всех расстреливать, хотя того, со следами от парашюта, начали избивать, могли на месте и прикончить.

Ну, а нам надо было на аэродром. Подъехав к аэродрому, увидели наши самолеты. Их уже меньше в два раза, они уже дважды вылетали, без прикрытия истребителей. Никаких истребителей нет, их все сожгли немцы еще на наших аэродромах, когда они летели на запад – мы смотрели и радовались: «МиГи, какие замечательные истребители. Сейчас мы им покажем». Их сожгли, ничего нет. Окровавленные руки у всех, от лопат, и все роют щели. Все вот эти летчики... Нас-то нет, мы могли бы все это делать, помочь им. Мотористы, техники – они все только приехали с нашим эшелоном. А там только экипажи, и все всё сами делают. Лопат не хватает. Они сами что-то соорудили и роют щели, потому что два раза уже налетали немцы, бомбили аэродром, сожгли какие-то самолеты. Капониры устраивают. Окапывают, чтобы самолеты были в капонирах, чтобы с боков тоже было навалено... Сначала из веток таких делают из толстых, а потом земля между ними, чтобы самолеты защитить, боковой удар чтобы их не поразил. Вот это капониры называются. Капитан Алимов, татарин, комиссар эскадрильи, сразу сказал: «Приехали? Хорошо. Давайте за лопаты!».

Н. Р. : *А как Ваш друг, Женя Лазарев?*

Е. П. : Замечательный Жора Лазарев! Я его сразу увидел. Он в экипаже с этим Алимовым летал, с комиссаром. Сильный комиссар, замечательный совершенно человек. Не комиссар, который как проповедник или который лекции читает, а который водит девятки бомбардировщиков бомбить и пикирует сам, понимаете. Своим примером показывает,

как надо защищать советскую власть. Мы с Жорой копали вместе, а потом он говорит: «Пойдем, Женя». Мы влезли в Жорину кабину самолета, он открыл галеты. Всем выдавали НЗ, неприкосновенный запас – шоколадное молоко в банках, галеты, кусок колбасы. Это и называется НЗ. Не разрешается это есть. А здесь нам уже наплевать: какой там – война. «Давай, – говорит Жора, – мы с тобой закусим». Колбасу эту ломает, давай, ешь. Молоко с ним хлебаем из этой банки, ножом ее открыли. И он говорит... Я записал этот разговор, у меня все это есть. Последний разговор с Жорой, через несколько дней он погиб. Алимов тогда выжил, погиб позже, в 1942-м, уже будучи комиссаром полка. И он говорит: «Война, Женя, будет очень трудной, очень тяжелой. Наши не умеют еще воевать, а у немцев все отлажено. Мы взлетели – у нас ни одного истребителя. Подошли к Минску, там нужно было бомбить...» Немцы наступали уже на Минск, а это было уже 25 июня – через 3 дня немцы заняли Минск. Там колонны остановить надо было. И действительно, полк сделал... Даже в истории нашей авиации на Западном фронте есть такая фраза, я ее в своей книге использовал: «Авиация наша действовала не всегда слаженно, но были случаи и удачных действий. Благодаря умелым действиям 140-го бомбардировочного полка было остановлено наступление немецких механизированных войск на Минск». Это было 25-го, как раз когда Жора Лазарев туда летал, и они бомбили вот эти самые наступающие немецкие механизированные войска, и погибло несколько наших экипажей.

Н. Р. : *Сколько Жоре было лет? Как Вы?*

Е. П. : Как я, 19 лет. Молодые ребята все были. 20-й год пошел. Это был 1941-й...

Н. Р. : Он с Вами попрощался? Понимал, что его скоро убьют?

Е. П. : Вот слушайте, какой разговор. Он был осветителем, на Мосфильме работал. И у него был альбомчик маленький такой. Он его всем показывал. Там снят был он, актриса Любовь Орлова, режиссер Александров и маленький Максим Дунаевский – мальчишка. Такого типа были все фотографии. Он был на этих съемках, ездил, какой-то фильм они снимали. Он мечтал стать кинорежиссером, пойти учиться. Устроился на курсы фотографов, и его взяли на Мосфильм осветителем. Он попросил: «Я живу совсем близко от тебя... Подколокольный переулок, недалеко от Хитрова рынка, улица Обуха* там начинается». И говорит: «Ты возьми этот альбом. Пускай у тебя останется, целее будет. Ты пока не летаешь, а у меня такое предчувствие... Когда я увидел, как улетает немецкий истребитель и летят рядом трассирующие пули и снаряды от его огня, а у нас нечем прикрыться... Я с одним своим пулеметом что могу сделать, когда их летит несколько штук и они лупят, а наши самолеты горят». Он попросил зайти к его маме. «Вот здесь адрес я написал, – он подготовился к этому разговору. – Мама у меня осталась, я у нее единственный сын». Вроде меня – то же самое. «Девчонка у меня есть». Мы, говорит, с ней только целовались, у нас ничего еще не было. Он мальчишка тоже был, когда его в армию брали – 17–18 лет...

А через несколько дней их сбили. Они летели бомбить немецкие переправы на Березине, переправу гудериановских танков. Жора прыгнул с горящего самолета, но высоты не хватило, и парашют не раскрылся... Наши бомбили без истребителей, без прикрытия...

Тут же сняли этого, я Вам говорил... Дагаева, это был начальник штаба дивизии, куда я бегал... Сняли и вместо него прислали полковника Травкина.

* Ныне улица Воронцово Поле.

Мы стояли уже тогда у Балбасово, на этом аэродроме. Смотрим, садится У-2. Кругом немцы летают, где-то бомбят, совсем рядом. Над нами стреляют, и вдруг вылетает маленький самолетик У-2, и за рулем в кожаном пальто, без шапки даже, волосы такие... молодой парень совсем, в Испании воевал. Несколько орденов у него: Ленина, Красного Знамени... Вон, вон он, Травкин, говорят, он теперь новый командир нашей дивизии. Вылезает. Сзади сидит какой-то майор, Травкин снимает кожанку свою, отдает ему и бежит туда, где стоят наши самолеты Пе-2. «Построиться!». Все становятся. Он выходит, и на меня это производит очень сильное впечатление! Он сам начинает налаживать взаимодействие бомбардировщиков с истребителями: «Как могут бомбардировщики взлететь, они же горят из-за того, что истребители их не сопровождают? У вас же истребитель? Почему не налажено взаимодействие?». Никто ничего не умел еще, не знал, как это сделать.

В воздухе не находили друг друга! Бомбардировщики взлетели, а истребители пошли в другом направлении! Плохо работает связь между ними. Немцы глушат все наши передачи и нарушают взаимодействие между истребителем и бомбардировщиком. Они должны быть рядом и охранять их, принимая огонь на себя. И вот он страшно взволнованный... как сейчас помню: растрепанные волосы, молодой парень, лет, наверное, тридцати, с орденами, и сразу командиром дивизии его назначили. И вдруг... что случилось с ним через несколько дней? Сообщают: Травкин оказался врагом народа, потому что он перелетел на сторону немцев – сел на аэродроме, где немцы, и сдался.

Н. Р. : *Он не знал, наверное, что там немцы.*

Е. П. : Не знал, конечно! И вот я хотел о нем написать, потому что впечатление он на меня произвел очень сильное. Молодой парень, с орденами, который сам за рулем самолета,

командир дивизии... Настоящий боевой летчик, и вдруг – враг народа... И никаких сведений я о нем не получил. Я получил известие об Агееве, которому орден Красного Знамени дали, а в 1943 году он попал в плен... Я попросил, чтобы прислали материалы на тех людей, которые были в плену. Даже немецкие материалы мне прислали. Я о нем написал, об Агееве, более подробно. А вот о Травкине – ничего нет.

Н. Р. : *Как его звали, не помните?*

Е. П. : Нет, сейчас не помню. Но у меня бумаги, все это есть. Поиски я эти прекратил, потому что сказали, что никаких сведений...

Н. Р. : *Евгений Петрович, а альбом вашего Жоры? Вы нашли его маму?*

Е. П. : Где-то альбом был у меня... А маму его я пытался найти после войны...

Н. Р. : *Она, наверно, уехала куда-нибудь. Эвакуировалась?*

Е. П. : Неизвестно. Я ходил по всем этим адресам... Не только одного Жоры, и других ребят пытался найти. Олег, Володя Орлов... И ничего не нашел.

Н. Р. : *Как жаль!*

Е. П. : Да... Потом в войсках была реорганизация. На Западном фронте нас разбили, началась битва за Москву. Нас всех отправили в Тамбов на получение новой материальной части. Новая материальная часть – это устаревшие самолеты, на которых занимались учебной работой. Мы совершали на них учебные полеты. Поставили к ним бомбы, привинтили пулеметы. И на этих учебных самолетах, переделанных на боевые – бомбодержатели, турели для пулеметов – мы летали на Калининском фронте. А потом, после этого, произошла реорганизация ВВС: начали

воссоздаваться корпуса и армия ВВС. Раньше не было летных полков, самолеты по отдельности были приписаны к наземным войскам. А это невозможно, немцы огромными армадами летали. У нас не было таких соединений. Мы стали создавать отдельные дивизии, корпуса, где можно было поднять в воздух сразу 200–300 самолетов – сразу целая армия, как у немцев было. Так же и танковые войска. У нас не было танковых корпусов. Их только начали создавать, и они не успевали еще вступать в действие. Танков-то не было, собственно. Танковый корпус есть, а танки еще не поступили.

Н. Р. : *Где Вас застала осень 1941 года?*

Е. П. : Под Москвой, разумеется. Дойти до Великих Лук удалось только Пуркаевской армии, 3-й ударной армии. Они от Калинина сделали большой, на 200 км, бросок вперед. Практически освободили всю Тверскую, Калининскую область и дошли до Великих Лук. И там остались окруженные группировки немцев – котлы: Старая Руса, Демянск, Холм и т.д. Эти города, где немцы ожесточенно сопротивлялись, получили категорический приказ «не сдаваться, а до последнего в окружении выстаивать». С этих группировок можно было бы развивать, усилив их, удар на Москву. Это все было совсем недалеко от Москвы. Немцы летали, подбрасывали им с воздуха продовольствие, вооружение, медикаменты, теплое обмундирование, зима холодная была. Немцы днем прилетали. А ночью летали наши устаревшие бомбардировщики, которые попадали под их огонь. Все эти котлы были хорошо укреплены зенитными средствами.

Я участвовал в этом деле, уже летал. Было гораздо больше экипажей, чем самолетов. Самолеты теряли каждую ночь. Хоть один самолет, но погибнет. Таял наш полк. Самолеты горели, они очень быстро сгорали. Они даже не алюминиевые, а перкалевые были. Достаточно было несколько

пуль, как он воспламенялся и падал на землю. Мы были все как обреченные. Настроение было подавленное у всех наших молодых ребят, которые с «пешек» наших современных, пикирующих бомбардировщиков, которые не уступали по своим данным немецким самолетам, перешли на это барахло, которое ничего не могло, ничего... Конечно, промышленность ускоренными методами, перебазировавшись на восток, наращивала производственные мощности, выпускала и танки, и самолеты...

Н. Р. : *А на новом самолете Вам довелось полетать?*

Е. П. : Нет, в период войны не довелось, летал на этом. Ночью 3 марта, как сейчас помню, меня разбудили, срочно... А мы должны были идти на аэродром, чтобы выкатывать самолеты. Взлетали самолеты с замерзших озер, потому что аэродромов там не было. Там озер очень много. Днем закатывали самолеты в лес, в кусты, чтобы немцы их не разбомбили. А ночью их выкатывали и взлетали с озер, как на лыжах, и бросали бомбы на эти котлы, чтобы немцам там жилось хуже. И вот я тоже должен был туда идти. Сидели, хлеб на штыках грели в буржуйке, замерзший черный хлеб. И чаем его запивали из котелков. Вот это был наш ужин: ели хлеб и запивали чаем. Больше никакой еды не было, потому что обед привозили только один раз днем из Торопца, до него километров 15 было. То машина сломается, то еще что-то случится. Главным образом черняшка и чай. Вот этим и жили. Вызывают меня: «Сержант Челышев, срочно к начальнику штаба полка». Начальник штаба полка для меня большой начальник, капитан. Я, значит, бросаю еду и, надев свою шинелишку, бегом туда. Смотрю, он встал и пошел мне навстречу. Раньше обычно придешь, капитан сидит, он на тебя и внимания не обращал: «Что тебе надо здесь?» – на «ты». Субординация. А тут уже: «Здравствуйте, Евгений Петрович!». Назвал по имени-отчеству. Для меня

совершенно непонятно такое изменение отношений. «Вот, пожалуйста, познакомьтесь с распоряжением – командировочное предписание». У меня до сих пор есть оно, сохранилось, лежит среди самых близких мне и важных бумаг. «С получением сего сержанту Чельшеву из 621-го скоростного бомбардировочного полка явиться в штаб ВВС 3-й ударной армии города Торопца для прохождения дальнейшей службы». И подпись: «Начальник штаба полка капитан Крылов». Я должен был скоро идти на аэродром, чтобы знать, пришла ли моя очередь лететь, подставляться под немецкие зенитные орудия и пулеметы. «Звонили, – говорит, – из Торопца только что и спрашивали, дошло ли до вас, и как мы выполняем их указания». Вы отправляетесь в Торопец. «Была бы у нас машина, но машина, как Вы знаете, не пройдет, все занесло снегом, дорогу не расчищают, поэтому на Торопец даже вчера обед не привозили, снегопад, и нет дороги. Вам придется идти пешком. Сдайте свою винтовку». Значит, у нас винтовка и пистолет у каждого, личное оружие. Куда мне отправляться, зачем? Он говорит: «Единственное, что могу Вам сказать, по тону разговора я понял, что Вас ждет что-то больше приятное, чем неприятное. Поэтому отправляйтесь туда. И желаю Вам всего доброго при прохождении дальнейшей службы». Я, значит, собрал свой сидор – солдатский мешок. Положил в него все, что у меня там было: какие-то портянки теплые... Переобулся и зашагал туда, через поле, где валяются... Только что бои были, Торопец освобождали от немцев. Валяются небрунные с поля убитые немцы. Я шел мимо них, я это очень хорошо помню. Ночью.

Пришел туда. Мне сказали – немедленно помыться. Посмотрели, что я пришел в такой ободранной шинели, прогоревшей где-то, мы же около печки грелись. «Переодеться и завтра в 9 часов явиться в штаб. Вот Вам адрес. Вас проведет наш вестовой в дом, где вы будете жить».

Все размещались, жили в частных домах у старушек. «Вот там бабушка Катя. Она уже знает, что у нее будет новый жилец. Она Вас накормит, напоит. Ей дали хлеб, еще что-то, чтобы она Вас приютила. Вы там столоваться и жить будете. Завтра в 9 часов в новом обмундировании, помывшись и приведя себя в порядок (в таком виде не являться), Вы явитесь к начальнику штаба армии. Ушакова, командующего ВВС, сейчас нет...»

Утром я пришел. Начальник штаба эскадрильи был полковник Сайдометов, татарин. Это он распорядился насчет меня. Он меня знал: был штурманом нашего самолета. И там еще Николай Глушков – летчик, который самолет водил. Он готовился в военную академию еще там, в Сеци. И я к нему ходил вечерами, помогал решать задачки по физике, диктовал ему диктанты. Он сказал, чтобы отпускали меня из казармы, потому что я в казарме жил. Жена его пекла пироги, подкармливала меня.

Н. Р. : Да, Вы же студент, да еще и отличник.

Е. П. : И он страшно был мне благодарен. Такой интеллигентный крымский татарин. Очень толковый парень, лет на 7–8 старше меня. Мне было 20, а ему 27, что-то в таком духе. И он относился ко мне исключительно положительно. И всегда мы с ним летали в одном экипаже. Летели над Москвой в 1940 году на параде на Красной площади по случаю празднования Дня 7 ноября. Потом я уже понял, что Сайдометов назвал мою фамилию этому полковнику. А полковник сказал, вызвать из 621-го полка сержанта Чельшева.

Н. Р. : Он Вам фактически жизнь спас?

Е. П. : Конечно, спас жизнь. Мать сказала, что молилась святому Николаю-угоднику. А я сказал, что твой немецкий язык мне помог, которому ты меня учила. Она говорит: «Что ж ты думаешь, Николай-угодник немецким языком

там с вами будет заниматься. Так сложились обстоятельства, Николай-угодник благословил, и ты оказался в таком положении, что в данном случае знание немецкого языка тебя спасло». Тут я был навсегда освобожден от боевых полетов и перешел на службу на земле. Они со мной говорили, один, другой, начальник разведки пришел, подполковник. Будешь переводить, но пока мы тебя не можем зачислить, потому что нет такой должности у нас, переводчика, потому что в армии была наступательная доктрина. Зачем переводчик, если наступать? Ни в каких штабах переводчики не предусмотрены.

И вот допрос первого немца. Наши войска готовили большой удар по Кенигсбергу. Потому что весь Северо-Западный фронт у немцев снабжался из Кенигсберга. Думали собрать наибольшие сведения о Кенигсберге: где подходы, где стоят зенитки, какие там самолеты и т.д. Там уже собралось несколько человек: интересно, они никогда не видели лицо немецкого летчика. Привели. Высокого роста, такой верзила, черные волосы с сединой, лет тридцати, командир экипажа «Юнкерс-88». Вошел, так на всех зло посмотрел. Там сидели все эти авиационные начальники ВВС с орденами, и я, сержант, молодой парень.

Н. Р. : Это был первый пленный, которого Вы видели?

Е. П. : Первый пленный. Я его на всю жизнь запомнил. Альфред Бехер. Он встал. Я никогда еще с пленными не разговаривал, да и вообще никогда не разговаривал с немцами. Не знаю, пойму ли я его. Меня-то, наверно, он поймет, я так думаю. Я сумею перевести как-то, может быть, коряво. Никогда не выступал в роли переводчика. Только Шиллера, Гете и Гейне читал. Я страшно волновался. Это мой экзамен. Больше, чем экзамен, это жизнь моя. Я прекрасно понимал, как много зависит от того, как я себя покажу на своем первом переводе. Можно целый рассказ написать на этот счет.

Вот немец говорит: «Я Альфред Бехер, обер-фельдфебель, командир самолета... юнкерс 88-й. Сбит наземным огнем. Я перепутал место. Думал, что это Демянск. Была плохая погода, шел дождь, и я думал, что Демянск. Я должен был сбрасывать грузы. Я летал над городом и искал, где позывные будут выброшены, где нужно бросать тюки с самолета с теплым обмундированием, с лекарством, еще с чем-то. И меня сбили». Наши его сбили, а потом поймали и посадили в подвал. Я как раз видел в первый день, как я приехал, что сбили какой-то самолет над Торопцом. И он оказался там, этот Альфред Бехер. Моя жизнь с ним связана.

Н. Р. : *Он все рассказал?*

Е. П. : Нет, он слушал. Страшно интересный допрос, страшно интересный. Стали задавать ему вопросы: откуда, с какого аэродрома Вы летели, с каким заданием, кто у вас там командир, знаете ли Вы аэродром в Кенигсберге, сядили ли Вы на этом аэродроме.

Серию вопросов я сразу же ему перевел. Он понял. Встал по стойке смирно и сказал: «Ни на какие вопросы отвечать я вам не буду. Я член гитлеровской партии. Я давал присягу фюреру. Я храню эту присягу. Я хочу вам только в заключение сказать, что победа ваша здесь и наступление на фронте случайные, скоро начнется лето. Германская победная армия начнет наступать и возьмет Москву». И сел. Представляете? Ужас! Вот сказал и сел, и больше ничего не говорил. И сидел, вот так уставился в пол и опустил голову. Как сейчас вижу его фигуру. Дальше его спрашивает комиссар. Наш Ивлев толковый был комиссар, комиссар нашей ВВС, 3-й ударной армии: «Спросите его, зачем Гесс полетел в Англию?». Думали, что он прилетел для сепаратного мира...

Н. Р.: Да-да, это известная история.

Е. П.: Это ближайший соратник Гитлера. Он посмотрел: «Гесс? Не знаю». Откуда ему знать? Летчик летает. Вряд ли немцы писали в своих газетах, зачем Гесс полетел в Англию. И ничего не отвечал. Потом полковой комиссар говорит: «Переведите ему, что мы воюем. Вы молодой человек, вы росли, были в “Гитлерюгенде”, видимо, были хорошо воспитаны. Вы сбиты с толку этой фашистской лжепропагандой. У вас замечательная культура, в Германии. Мы не воюем с вашим народом, мы защищаем Родину от фашистской агрессии». А тот даже не встал, просто сидел, молчал, не изменил позиции своей. Потом я говорю: «Товарищ полковой комиссар». (Я решил играть ва-банк.) «Разрешите, я попытаюсь Ваш вопрос немножко расширить, то, что Вы говорите, как-то иллюстрировать». – «Ну, если поможет, давай».

Я говорю немцу: «Еще на школьной скамье я, который помогает Вас сейчас допрашивать... я увлекался поэзией Гейне». И вот я читаю:

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn,
Und das hat mit ihrem Singen,
Die Loreley getan*.

Вот этот отрывок прочитал. Смотрю, он вдруг поднял голову. У него челюсть отвисла, у фашиста. Не тогда, когда говорил ему про Бетховена, про Шиллера Ивлев, наш комиссар. А когда я ему прочитал стихи Гейне, причем с выражением так прочитал. Это про девушку Лорелею, залюбовавшись на которую, гибнут рыбаки. Эти «утопленники»

* Я знаю, река, свирепея,
Навеки сомкнется над ним, –
И это все Лорелея
Сделала пеньем своим.

(Перевод В. В. Левика)

сыграли большую роль в моей жизни, потому что эти стихи стали переломным моментом в моей судьбе.

И тут немец встал и сказал: «Какой Кенигсберг? Я в Кенигсберге был один раз, сидел на аэродроме, но это было давно, в начале войны. Я летал с аэродрома Плескау». Эти летчики тоже между собой переглядываются, начальники, не знают такого аэродрома. Где это? Плескау, Плескау... Я потом ночью пришел, думал, что такое Плескау... Вспомнил, говорят же немцы не Москва, а Moskau. Значит «au» – это у них какой-то суффикс, который о принадлежности говорит. Я ничего этого не знал, десятилетку только окончил. А дальше начинаю перебирать, какие же города: Западная Двина, Новгород не может быть. Вспомнил Псков. Немцы называют Псков Плескау, по-своему, по-немецки. Понимаете, Плескау. Поэтому вместо «С» они ставят «Л» – Плескау. Мне пришла в голову эта мысль.

Н. Р. : *Какой Вы молодец, догадались!*

Е. П. : Мальчишкой я пришел к этой мысли. Это было мое первое открытие. Я понял, что Плескау – это Псков. На следующее утро баба Катя покормила меня, и я бегом в штаб, он в школе располагался, на краю Торопца. Прибежал, и сразу к полковнику, начальнику разведки, говорю, я разгадал, что такое Плескау. Это Псков. Объяснил ему все. «Да, наверно, правильно ты говоришь, давай проверим. Берет трубку, звонит туда, в армию, спрашивает. А там: «Да-да, немцы так называют Псков, Плескау». То есть моя догадка оказалась правильной.

Н. Р. : *Значит, он летал из Пскова?*

Е. П. : Из Пскова летал, да. Это сыграло большую роль. Полковник потом положительно обо мне доложил. Ко мне они все хорошо относились... Молодой парень пришел к ним туда, образованный, знает немецкий язык. А они в отцы мне

все годились, эти начальники. Прилетел командующий через два дня. Он сказал: «Пригласи ко мне Челышева». «Ты где кончал летную школу?» – спрашивает. Я говорю, в Сеще. «В Сеще? А я же... 13-й полк стоял в Сеще, я там был командиром полка». Я говорю: «Товарищ полковник, я знаю. Я Вашу жену знаю». Потому что, когда я был курсантом, учился там... все воевали в Финляндии. Его 13-й полк тоже воевал в Финляндии зимой 1939–1940 годов. Шла война. И 13-й полк, которым командовал полковник Ушаков, там воевал, в Финляндии. Он тогда мне сказал: «Будешь преподавать историю партии, краткий курс истории партии женам комсостава. Нам сказали, чтобы мы нашли подходящего человека, ты самый подходящий. Скромный парень, не будешь там... так сказать, думать о другом. И знаешь хорошо материалы, за пределы краткого курса далеко выходишь. Поэтому будешь ходить в Дом культуры». Потом подошла ко мне такая моложавая дама лет 35... Женей они меня называли, 19 лет мне было, молодой парень, и сказала: «Если Вам нетрудно, мы можем со всеми в следующий раз собраться у меня. Я сделаю чай...» А я им рассказывал не только краткий курс. Я им рассказывал стихи, арии из опер пел, я пел неплохо тогда. Дамам это страшно нравилось, потому что я их как-то просвещал. И вот перед самой войной по аллее на аэродром из городка идет навстречу нам полковник с многими орденами и рядом женщина. Маргариту Михайловну я узнал, и мальчишка лет 7–8, Игорь, сын. Я видел его, когда он приезжал. Мы с ребятами отдали ему честь. А потом прошли, и она кричит: «Женя!» И мужу говорит:

– Володя, это тот самый Женя, о котором я тебе рассказывала.

Он сделал несколько шагов навстречу мне и поздоровался:

– Я слышал, мне Маргарита Михайловна о Вас говорила, как Вы рассказывали им, стихи разные читали, даже арии из опер пели. Где Вы сейчас?

Говорю, в 140-й полк отправляют.

– Да, жаль. А мы улетаем завтра. Наш полк ближе к границам улетаёт. Желая тебе всего хорошего.

И когда я пришел к нему, он меня не узнал, этот полковник Ушаков. Он командующий ВВС 3-й ударной армии уже был. Я говорю:

– Товарищ полковник, мы с Вами встречались.

Он встал, даже рот от удивления разинул:

– Так Вы Женя?

– Женя. А как Ваша Маргарита Михайловна?

– Да вот удалось ее эвакуировать. С сыном она сейчас в Ташкенте.

Эта встреча сыграла решающую роль. Он мне:

– Мне сказали, как ты здорово этого немца растряс, выяснил, что с псковского аэродрома он летал. Это важно было узнать, откуда летают, из Кенигсберга или с какого-то другого аэродрома. Потому что готовится операция против кенигсбергского аэродрома.

Я говорю:

– Да, мне поручил полковник, начальник разведотдела, заниматься аэродромной сетью противника, чтобы я изучал все эти аэродромы. Я уже познакомился со всем этим материалом.

Были навалены кучами все эти летные карты, которые у летчиков немецких отобрали. Все документы сваливали в комнату в школе. И все это я сидел и штудировал, разбирался во всех этих завалах. Никто их до меня не смотрел... «Я, – говорю, – кое-что узнал».

Прошло несколько дней, вызывают меня в политотдел, к комиссару Ивлеву.

– Ты, – говорит, – в шахматы играешь?

А я хорошо играл в шахматы.

– Ну, давай тогда так. Приходи ко мне домой сегодня вечером. В шахматы поиграем и продолжим разговор.

Я пошел к начальнику политотдела, он говорит:

– Вы в партию собираетесь вступать? Вы же будете у нас переводчиком в разведотделе. Это очень важно.

Я был комсомольцем, секретарь комсомольской организации эскадрильи. Что я думал о партии? Не думал такими категориями. Что в партию надо обязательно вступать, это я не думал. А мне уже рекомендацию дают.

Н. Р.: *А можно я Вас спрошу? Что сделали с пленным немцем? Это неизвестно? Его отравили в плен или расстреляли?*

Е. П.: Да, про пленного немца. Там был сержант из старослужащих, лет 40, здоровый мужик. Я его потом спросил: «Слушай, а куда делся вот этот...» Я хотел поговорить с ним (и хорошо, что так развивались события, что мне это не удалось). Мне запала в память его стойкость. Ему ведь сказали, что его расстреляют. Человек попал в плен и ведет себя так... смело. Сказали, что если он не будет отвечать на наши вопросы, то его расстреляют. Я это тоже перевел – *erschie en*. Что его, значит, поставят к стенке – *erschie en*. Он все понял и все равно молчал, ничего не отвечал, что ему говорили. Только Лорелея на него подействовала, а *erschie en* совершенно для него неважно было. Во всяком случае, он не отвечал. Так вот, сержант рассказывал: «Ты знаешь, я думаю, вот что случилось. Это было не в мое дежурство. Через два дня прилетела девятка немецких самолетов бомбить вокзал. Точно в 9 часов утра, как по расписанию, и бомбили эшелоны, которые разгружались. Летала девятка бомбардировщиков, и наши ничего не могли сделать. Они шли на высоте, наши пулеметы до них не доставали, и те безбоязненно возвращались снова и снова. Вокзал недалеко – 1,5 км от центра города. И когда начались взрывы, какой-то наш парнишка из охраны увидел, как один фриц хлопает в ладоши, радуется, что прилетели бомбить. И потом, говорит, этого фрица убили при побеге...»

Н. Р. : *При попытке к бегству?*

Е. П. : Убили специально. Никакого бегства не было. Потом я пытался разыскать сведения о нем, потому что немцы составили и издали полный список с фотографиями всех своих военнопленных. И у меня есть среди моих новых знакомых человек, который занимается авиацией и который имеет этот альбом. Он ко мне приходил, полковник запаса, и все эти альбомы, которые немцы издавали, у него есть. И мы искали вот этого Альфреда Бехера, что с ним произошло дальше. У меня была мысль такая, попробовать его перевоспитать, рассказать ему все, почитать ему стихи.

Н. Р. : *Опасная у Вас была мысль!*

Е. П. : Вы понимаете, я потом это уже понял. Смершевцев объяснил, что меня бы тут же засекли. И моя карьера и жизнь, возможно, оборвались бы. Но она, жизнь, немножко другим концом повернулась... И он сказал, что фриц погиб, мы списали его. Даже не дали в реестр, написали, что погиб при попытке к бегству. Он, говорит, был такой озлобленный. Говорю, конечно, озлобленный, потому что настроен на определенную волну. Но у меня была мысль, чтобы продолжить: почитать ему стихи, сказать ему о том, что мы не воюем с немецким народом и что, если он будет вести себя нормально, будет объяснять, рассказывать нам, это облегчит участь немецкого народа, попавшего под фашистскую идеологию. Вот у меня какие мысли были. Но все кончилось иначе.

Потом я подумал, как хорошо, что так произошло. Неизвестно, что я мог натворить своим таким романтическим взглядом на жизнь, а не сурово-реалистическим... Была война. И ведь как еще получилось: в любом случае, я понял, что надо работать над своим немецким. Тот здоровый мужик, сержант из старослужащих, сказал мне, что он

одновременно начальник склада трофейного имущества, и пригласил заходить. А я очень искал немецко-русский словарь, он ведь там наверняка должен быть. Сержант говорит: «Не знаю, лежат какие-то книжки, ты приходи, сам разберись». Дня через два я к нему направился туда, в центр города. Километр нужно было идти по грязной, уже развязшей улице. Весна начиналась. Пришел к нему, нашел французско-немецкий словарь, а русского нет ничего. Потом он говорит: «Хочешь, возьми парабеллум, хороший пистолет». Дает мне пистолет. Я говорю, давай мне автомат немецкий, шмайсер. Дал мне этот шмайсер. Потом книжка, смотрю, написано: «Willie Mürder und ihre Freunde». «Вилли Мёрдерс и его друзья». Вилли Мёрдерс – это погибший немецкий летчик, ас, уничтоживший 100 самолетов противника. Я взял эту книжку и стал ее использовать как учебное пособие: выписывать немецкие слова, слововыражения и русские эквиваленты. И завел специальную общую тетрадь.

Н. Р. : *Сделали сами себе словарь?*

Е. П. : Да, больше трехсот терминов получилось. Я его носил с собой все время. Когда мне потом приходилось с немцами общаться, я все время этот словарь дополнял. И книжку Вилли Мёрдерса тоже все время носил с собой. Эта книжка все время была у меня в руках, я подчеркивал там все. И вот я шел, смотрю, полковник встречается, который был на допросе. Средних лет, симпатичной такой наружности. Я вспомнил, мне сказали, что это смершевец, Михаил Васильевич Семенов. Потом у меня с ним были какие-то еще встречи в наших общих интересах: немецкие самолеты и т.д. Он говорит: «Какую книжку читаешь? Что ты носишь ее с собой?». Я ему показал, говорю: «Это с самолета, на котором летал Альфред Бехер. Когда там все вытаскивали, нашли вот эти книжки вместе с документами. Книжка пропагандистская. Она написана, как у нас о герое-летчике Чкалове

писали, какой был великий герой Вилли Мёрдерс, который 100 самолетов сбил. Больше англичан. Он воевал в Африке с Роммелем и над Атлантикой с англичанами, на своем мессершмитте летал». Он, значит, посмотрел, потом что-то стал вырывать. Я говорю: «Товарищ полковник, это же у меня учебное пособие, посмотрите». «Да. Действительно ты подчеркнул, но должен был догадаться, – говорит, – что все фотографии...» А там масса иллюстраций: Гитлер вручает летчику орден, Гитлер стоит рядом с ним. «Это все, – говорит, – пропагандистская литература, надо было вырвать все эти фотографии». И он вырвал сам их. И ничего не сказал обо мне, что я негодяй, мог бы сказать, что Чельшев ходит, читает гитлеровскую литературу с фотографиями. Он этого не сделал. Это первый шаг, я понял, который он сделал вопреки требованиям своей службы быть чрезвычайно бдительным и искать везде людей, которые... То есть и такие люди там были.

Потом следующий момент, который тоже о СМЕРШ. Это очень интересно. Когда нас перевели, Семенов тоже переехал вместе с Ушаковым в Москву. Через несколько дней Ушаков сказал мне: «Собирайся в Москву. Мне разрешили взять с собой пять человек. Авиация будет отбираться у наземных армий и формироваться в корпуса, в армии, в дивизии. Мне в Москве предложено в Кубинке принять дивизию пикирующих бомбардировщиков Пе-2, чтобы я был командиром этой дивизии. И я беру с собой несколько человек, в том числе и тебя. Ты будешь находиться среди них. Нет звания, поэтому написали, будешь адъютант командира дивизии. Это возможно. У нас есть такая штатная единица. Поэтому я могу для штабников объяснить, почему ты участвуешь в этой кампании. Все мы отправляемся через несколько дней в Москву, поэтому готовься». Вскоре ему присвоили звание генерала.

А я был многостаночником. С одной стороны, был членом его экипажа, стрелком-радистом на ВО «Бостоне». Он летал на американском «Бостоне», Б-3, пулемет там «Кольт-браунинг». И рация. Я это осваивал. Потом я продолжал заниматься аэродромной сетью противника в разведотделе. Я все время многостаночник. Я еще в армии научился исполнять несколько должностей одновременно. Генерал куда-то ехал в штаб ВВС на Большую Пироговскую улицу: «Собирайся, мы едем с тобой в Москву, в штаб ВВС». Я всех этих генералов знал. Потом было какое-то совещание у генерала армии Баграмяна, когда готовили операцию «Багратион». Я сидел рядом, записывал все, что говорил Баграмян, лучше, чем генерал, записывал, потому что я более грамотный был, по-русски лучше формулировал. Сформулирую боевое донесение с указанием генерала армии Баграмяна, что должна делать авиация в этой операции. Он: «Правильно», – и подписывал. Я поэтому знаю всю эту кухню, как готовились операции. После Сталинграда мы полетели на Кавказ. Там был генерал-полковник Вершинин – командующий авиацией, маршал Новиков. Всех их знаю. Вот почему меня включили в эту «Историю Великой Отечественной войны». Потому что я знаю все это дело лучше их. Я видел всех этих людей: Рокоссовского видел, Жукова.

Н. Р.: *Евгений Петрович, Вы обещали про любовь рассказать!*

Е. П.: Да, была такая история. Меня послал в Москву мой генерал, ему только что присвоили звание генерала, он полковник был. «Поезжай, ты москвич. Где-то в Москве есть комбинат по производству обмундирования для высшего офицерского состава». Ну, я поехал, узнал, что на Фрунзенской набережной. И там работала моя будущая жена. Фрунзенская набережная была тогда совершенно узенькая, стояли деревянные дома. Только чуть-чуть начиналось

какое-то автомобильное движение. Мост только что построили новый, потому что другой мост лежал долгое время в Москве-реке. Потом его вытащили оттуда.

Вот я приехал, это был октябрь 1942 года. Я был тогда младший лейтенант, только что мне присвоили первое звание офицерское, с одним кубиком – младший лейтенант. Прапорщик назывался в царской армии... С одной звездочкой. И там работала моя Елена Владимировна, Леля. Она до войны закончила школу – как и я, в 1939 году, она ровесница моя, приехала в Москву из Смоленска. Там в 1936 году арестовали и расстреляли ее отца, потому что отец был полуполяк, Станислав Владимирович Татаржицкий. Он воевал в Гражданскую войну вместе с Тухачевским против Пилсудского. И когда арестовали Тухачевского, нашли большую коллективную фотографию, где ее отец сидит там где-то сбоку, он командир роты был, не такой уж начальник большой. Тухачевский сидел в середине. И всех, кто был на этой фотографии, арестовали и расстреляли. С Тухачевским на фото снимались вместе, значит, все. Леля была дочь врага народа. Но дядя у нее был (тогда еще не было погон) с одним ромбом, комбриг, из латышских стрелков. Женат на ее тетке, русской, а сам был эстонец. И защищал Советскую власть. Латышские стрелки были самые преданные Советской власти. Ленина охраняли, Троцкого охраняли и так далее. И я, значит, с ней познакомился. Хорошенькая такая, стройненькая девушка.

Н. Р. : *А что она там делала?*

Е. П. : Она закончила десятилетку и приехала в Москву, поступила в Институт цветных металлов и золота, так назывался ее институт, на Калужской площади. Но когда началась война, надо было платить там, еще что-то... Семья бедная, потому что отца арестовали, расстреляли, осталась мать, и все. И Леля вынуждена была пойти к дяде, а дядя

сказал: «Возьму тебя в бухгалтерию. Будешь работать здесь, на Фрунзенской набережной». Жила она у тетки, ее тетки жили в Москве, довольно состоятельные.

Н. Р.: *А как это заведение называлось на Фрунзенской набережной? Что это такое?*

Е. П.: Ателье для подготовки обмундирования для высшего офицерского состава.

Н. Р.: *Это сейчас дом 28, по-моему. Во время моего детства мой дедушка, военный, там форму шил, мы жили рядом... Там много лет было военное ателье...*

Е. П.: Ну вот, я приехал только что с Калининского фронта. Мне нужно было купить там обмундирование генералу, ну и еще всякого по заявкам моих друзей; там, например, продавали хорошие авиационные фуражки. Погон тогда еще не было, носили петлицы. Погоны ввели в конце 1942 года. Еще были хорошие сапоги, хромовые, красивые. Но это уже, так сказать, если есть знакомство.

И вот мы с ней как-то сразу стали на «ты». «Вижу, тут у вас одни начальники ходят...» «Что тебе надо? Давай-ка твой список. Сейчас мы это организуем». Пошла туда и говорит: «Плати вот такую сумму, я подсчитала, сколько это стоит, тебе все это там завернут». И все. Я говорю: «Ты откуда?». Мы сели, разговорились. Такая веселая, симпатичная, очень интеллигентная... Да, она очень была интересная женщина, очень. Интересная и умная, содержательная. Характер у нее такой был взвешенный. Умеющий держать удары. Вот я случай расскажу про нее. В школе, когда она училась, в комсомол надо было вступать. А отец-то у нее враг народа. Ей сказали: «Ты должна выступить на собрании и сказать, что ты порицаешь отца и что отказываешься от такого отца, который является не другом, а врагом народа». А она сказала: «Нет, я выступать и этого

говорить не буду. Я считаю, что отец мой не виноват...», – и так далее. «Тогда, значит, всё, тебя в комсомол не примут». Но она в это время имела два больших достоинства. Первое – она хорошо пела и играла на рояле, аккомпанировала. И в газете «Пионерская правда» появилась ее фотография, как она исполняет за роялем «Лейся, песня, на просторе», я видел эту фотографию.

Кроме того, она занималась спортом, фехтованием. И получила какой-то большой приз за то, что хорошо фехтовала, и это тоже было напечатано в «Пионерской правде». Когда это увидели, сказали: «Надо принимать такую в комсомол обязательно. Ладно, пусть не кается по поводу своего отца. Примите ее». Кто-то дал распоряжение, и ее приняли в комсомол без покаяния. Она отца своего не клеймила. Но все-таки ей очень сложно пришлось. И мне тоже, я все время ждал. Я все-таки был в Военном институте иностранных языков. Известно, для какой цели там готовили. Я попал в адъюнктуру. Там адъюнктура только языковая была. Остальных офицеров для ГРУ готовили, для КГБ, для разведслужбы. Поэтому этот институт был такой... закрытый. А я закончил с отличием, попал в адъюнктуру, там защитил кандидатскую и стал начальником кафедры индийских языков.

Я все время боялся двух моментов: жена – меня могут, так сказать, остановить, сказать, что жена – дочь врага народа. А второе – родители, кто родители твои, кем они там были? Непонятно, кто они. Вот такая история. Мы с женой поэтому были очень связаны, у меня не было фронтовых романов. В 1942 году познакомились, а поженились мы в 1944-м. Всю войну я приезжал в Москву, мы с ней общались, встречались и все. Это единственная была у меня любовь, которая прошла через всю войну.

В 1944 году я приехал учиться по распределению в Академию командно-штурманского состава, а меня не приняли,

потому что зрение плохое, астигматизм. Я даже не знал, что у меня астигматизм. И поступил в Военный институт, они послали все мои документы туда, и я пошел в Военный институт, потому что немецкий язык знал. Здесь тоже немецкий язык сыграл свою роль. Мы тогда с ней и поженились, как раз когда я вернулся с фронта совсем. Я не доверял до конца войны. Это был ноябрь 1944 года. Но зато раньше закончил Военный институт, в 1949 году, и сразу же меня послали в адъютантуру. И после адъютантуры я остался там до 1956 года. А потом закрыли Военный институт, и я ушел в отставку. Мальчишка тогда был, молодой парень, тридцать лет с небольшим хвостиком. И началась моя гражданская служба. Тогда хотели меня взять в ЦК, страшно тянули. И все-таки, когда я с Гафуровым* встретился, он сказал: «Я, Евгений Петрович, Вам советую не менять свою научную карьеру на хорошую квартиру».

***Н. Р. :** Евгений Петрович, Вы рассказали про страшные дни начала войны, но Вам же и победителем довелось побывать. Расскажите, каково входит в освобожденный город?*

***Е. П. :** Мы приехали в Минск, когда его взяли наши войска. Это было в июне 1944 года, после операции «Багратион». Минск взяли 3 июня. Пошли туда танковые колонны. Я как раз там видел Жукова и Василевского, они были вместе, ехали на виллисе (американский военный джип. – Прим. Н.Р.).*

***Н. Р. :** А как же Вы, авиатор, оказались среди танковых колонн?*

***Е. П. :** У нас к тому времени было отлажено взаимодействие между танками и авиацией. Я принимал в этом непосредственное участие. Представьте себе, танки ведут бой, сверху все время бомбят, то наши, то немецкие самолеты, трудно разобрать, свистят осколки. Буквально в километре впереди*

* В то время директор Института востоковедения АН СССР.

нас танки ведут бой. Я на бронетранспортере подъезжал как можно ближе к танкам. Там было несколько мотоциклистов, чтобы получать точную информацию, куда какие самолеты надо высылать, куда силовиков, куда истребителей, какие места сопротивления надо бомбить. Собрав информацию, я тут же возвращался на бронетранспортере и докладывал генералу. Он тут же составлял боевое распоряжение и передавал через радиста, который сидел на виллисе сзади, в штаб корпуса, и вылетали самолеты. Очень быстро все это было организовано, взаимодействие с танками.

Ну вот, и наконец мы въехали в Минск по главной дороге, ее часто показывают сейчас. Там прошли все танки – армия Ротмистрова. Здания были заминированы. Сталин приказал всеми силами не дать немцам взорвать Минск. Проехали через весь Минск триумфальным шествием, выбегали люди. Еще слышались пулеметные и автоматные очереди где-то на окраинах, там добивали немцев. Танки прошли, а пехота осталась, автоматчиков выбивали где-то, вели пленных. Как местные нас встречали! Я видел, как они со слезами радости бросались нам на шею. Ну, выбегали женщины, девушки, бросали цветы. А ехали виллисы, и мы ехали на них. Боевые танки, бронетранспортеры, которые зачищали город, уже прошли вперед. А за ними ехало начальство, тылы и так далее. Вот среди них ехал и штаб Ротмистрова, оперативная группа. И у меня даже фотография есть, где Ротмистров сидит на виллисе.

Потом проехали, там река протекает Свислочь, большая река, она впадает в Днепр. И на берегу, смотрим, адъютант Ротмистрова. Мы с ним еще раньше познакомились и очень подружились, толковый парень такой, подполковник Земсков.

Когда мы с ним впервые повстречались, я помог ему разобраться с немецкими продуктами, которые привезли в штаб Ротмистрову. Он не владел немецким и не мог

понять, что там. Я ему и перевел надписи на этикетках: где рыба, где что... Он удивился и в благодарность напихал мне целую сумку этих консервов, пива, шнапса немецкого и прочего. И еще дал комбинезоны. «Главное, – говорит, – наденьте комбинезоны, иначе все в пыли будете. На, отдай своему генералу, вот шоферам и тебе комбинезон». И мы с ним подружились, с этим адъютантом. Очень хороший парень. И до конца с ним все время вместе были.

Так вот, приехали мы на берег Свислочи. Там подходят к нам танкисты и говорят: «Ребята, пошли, выпьем за победу». Ушаков пошел к виллису Ротмистрова, тот пригласил к себе всех начальников. А ко мне подошел Земсков и сказал, что подъехали кухни и офицеров всех собирают туда. Мы с ним туда пошли, выпили довольно здорово и закусили американской тушенкой, «вторым фронтом», как говорили у нас.

Н. Р.: *«Вторым фронтом» – это шутка такая?*

Е. П.: Ну да, «второй фронт» – так называли американскую тушенку. «Чем мы закусим? Вторым фронтом». Это был такой военный юмор. Потом пошли купаться в Свислочь, потому что грязные все, пыльные. А позже и начальники туда пришли, по просьбе Ротмистрова. И мы там обмывали победу, устроили такой выпивон по случаю взятия Минска.

Н. Р.: *Это хорошая история. Скажите, а какой военный эпизод произвел на Вас самое тяжелое впечатление?*

Е. П.: Гибель моего товарища.

Н. Р.: *Жоры Лазарева?*

Е. П.: Жоры, да. Это была для меня страшная потеря. Мы с ним очень дружили, близкие были люди.

А вот еще эпизод (таких несколько было, но вот один), когда я сам был на волосок от смерти. Когда взяли Минск,

Ушаков послал меня в город Раков, километрах в 40 севернее Минска. У нас был пакет генералу Вовченко, командиру танкового корпуса армии Ротмистрова, который шел впереди и прокладывал дорогу. Ударная группировка армии Ротмистрова, за которой следовала его оперативная группа. Молодой парень этот генерал Вовченко! Мы выехали на дорогу, вечерело уже. А немцы-то все разбежались по лесам. И вот мы едем в лесу: темнота, тишина, дорога лесная, но не грязная, дождей никаких не было. Машина быстро идти не может: корни деревьев не дают. Сосновый в основном лес или еловый. Едем. Полная тьма. Я смотрю, тьма какая-то... настораживающая... Немцев только что выбили из Минска. Я говорю: «Давайте, ребята, на всякий случай, приготовьте оружие». Сам вытащил, у меня только пистолет один, у других два автомата и у шофера нашего, Петьки Хозинского, винтовка. Я сижу рядом с шофером. Тихо, тихо, ничего не слышно. Какая-то такая зловещая тишина, давящая. Все время думаешь, что-то может быть: бросят гранату или же обстреляют и тому подобное. Никто ведь лес не прочесывал. Начинает светать уже, часа, наверное, 4 утра или 5. Смотрим, лес поредел, выезжаем на поляну. На поляне стоит несколько наших бронетранспортеров и танков. И у ближайшего к нам танка возится в моторе какой-то перевязанный танкист. Мы только что выехали из леса на виллисе. Я вылез из машины, подхожу к этому танкисту и говорю:

– Мне нужен генерал-майор Вовченко, командир корпуса. Где он?

Он смотрит так на меня, с удивлением:

– О, – говорит, – авиация к нам подоспела. Вон, видишь, маленький броневилок, только что выехал на дорогу. Это броневилок нашего командующего корпусом, генерала Вовченко.

Там мы его и нашли. Смотрим, он вылезает из танка, в комбинезоне, снимает с себя шлем. Вихрастые волосы у него,

молодой, загорелое лицо, мужественное такое. Не сказать, что он по званию генерал-майор. Ну, лет 30, наверное, может, немножко больше. И смотрит на меня с удивлением:

– А ты откуда пожаловал? – спрашивает.

– Из Минска.

– Подожди, подожди. Как из Минска?

Говорю:

– Да вот по этой дороге.

– Давай сядем, – он мне говорит. – Я в Минск послал два своих бронетранспортера. И метров 500 или 800 отсюда их обстрелял крупнокалиберный немецкий пулемет. Как же ты проехал по этой дороге? – И смотрит на меня уже подозрительно как-то. – А что в Минске?

Я говорю:

– Вот, я привез вам пакет от маршала Ротмистрова. Там еще письмо, записка от генерала Ушакова.

Он как-то с недоверием берет этот пакет и никак не может понять... Вытаскивает пакет, читает, и, видимо, сомнения у него рассеиваются. Он говорит:

– Слушай, старшой, как же это могло произойти? Действительно, я послал туда два бронетранспортера, чтобы они проверили дорогу, а их обстреляли немцы.

Я говорю:

– Товарищ генерал, а ваши бронетранспортеры ответили на бой?

– Да. Они, – говорит, – пустили туда несколько очереди, развернулись и поехали обратно.

Я говорю:

– Конечно, немцы там не остались. Они наверняка после этого оттуда ушли. Когда они увидели бронетранспортеры...

Н. Р. : *Это сильно повезло Вам... Повезло.*

Е. П. : Тут на минуты время шло!

Н. Р. : Это святой Николай-угодник помог. Точно! Потому что это просто счастливый случай.

Е. П. : Вот понимаете, это действительно так! Эти бронетранспортеры генерала Вовченко и его недоверие, непонимание, как я мог тут проехать, когда только что обстреляли его людей. У меня даже как-то похолодело все немножко, когда он сказал, что там немцы, что только что обстреляли его бронетранспортеры, буквально час тому назад. Еще перед рассветом, еще солнце не взошло.

Когда во всем разобрались, бумаги прочитали, Вовченко вытащил флягу, мы отпили с ним шнапса, и он говорит:

– Хорошо работают ваши бомбардировщики. Мне девятка бомбардировщиков в Орше здорово помогла пробиться к главным силам. Нас почти отрезали, а они пришли, начали пикировать на немецкие механизированные части и практически расчистили нам путь. И я без единого выстрела вошел в Оршу и соединился с нашими главными силами. А уже думали, что попадем в окружение и придется из него выходить.

Я говорю:

– А вы знаете, товарищ генерал, что это были девушки из женского полка?

– Да что ты! Не может быть!

– Точно, говорю, они.

Там была Федутенко*, она как раз получила за эту операцию Героя Советского Союза. Еще фамилии назвал некоторые.

– Скажи, а хохлушек не было среди этих девушек? – ему важно, он же Вовченко.

Были хохлушки, назвал три фамилии. Федутенко, еще какие-то фамилии... Я сам знал всех их, молодые женщины,

* Федутенко Надежда Никифоровна (1915–1978) – Герой Советского Союза, гвардии майор, командир авиационной эскадрильи.

до 30 лет, моего возраста и старше, а мне было 22. Он, значит, говорит:

– Тогда я напишу им письмо. Как жалко, что я не могу с ними лично поговорить!

Он, видно, лихой парень такой был в этом отношении. И написал записочку: «Дорогие девушки...», что-то, я не помню. Синим карандашом. Мол, буду рад с вами увидеться и прочее.

– А где это находится, аэродром?

Я показал.

– А, далеко.

Уже проехали Балбасово, там стоял их полк. Это ведь тот же самый путь наступления, который был и отступлением нашим. Потом говорит: «Ротмистрову мы подготовим бумагу на обратном пути. Ты подойди вот к этому человеку, он здесь у меня офицер связи, занимается руководством танковой армией».

Еще была записка от генерала Ушакова, где он просил выделить для нашего корпуса хороший мерседес. Ему сообщили, что у Вовченко есть несколько автомобилей в хорошем состоянии. И я специально взял с собой шофера, чтобы можно было мерседес забрать. Нам показали просеку, по которой ехать обратно, и отправили одного сержанта-танкиста нас проводить.

И вот тут нас ждало еще одно тяжелое потрясение. Этот сержант нам рассказывает, что вчера был бой, сам Вовченко его вел. Немцы бросили из центра подкрепление на Минск. Какую-то бригаду полковника Мюллера. Потом это уже было известно, что Мюллера. Они их как раз бросили туда, где стоял наш танковый корпус. И Вовченко взял свою бригаду и на параллельных курсах, там две дороги, шел с этой немецкой колонной. А потом вдруг свернул и атаковал эту колонну. И мы увидели последствия вот этой атаки танков.

Страшное дело. Висели кишки людей, разорванных. Слетали башни, танки лупили по автомобилям, по нашим, по немецким танкам. Вдавленный в землю мотоцикл с людьми. И там кровавое месиво вместо этих людей, с кишками все это лежит. Дальше маленькая речушка. Немцы начали удирать, и наши из огнемета ударили по речушке. Я как сейчас помню, автомобиль Вандерер немецкий, тоже весь сторевающий. И немцы, только все черные, сидят на своих местах. Обугленные. До сих пор в страшном сне не приснится то, что мы увидели. Валяются убитые, уже пахнет, и шофер наш Петро Хозинский, хохол, тот самый, у которого винтовка была, когда через лес ехали, говорит: «Да ничего здесь, товарищ лейтенант, нет. Дюже тяжелый воздух. Давайте уедем скорее отсюда. Машины не здесь, надо еще дальше проехать». Поехали дальше, через речушку, где эти немцы пытались скрыться и их лупили из огнемета. Вот это лицо войны, вот этот вот поверженный враг, разбитая нашими танками колонна... Я там впервые увидел, что такое страшная смерть...

Мой внук младший, компьютерщик, нашел очень интересный документ в Интернете. Он нашел в компьютере представление меня к правительственной награде за операцию «Багратион». «Старшему лейтенанту Чельшеву...», я даже не знал. «Представление к ордену» называется, подписанное генералом, начальником штаба нашего корпуса, и утвержденное Ушаковым. Очень красивый листок такой. И написано за что. Там столько расписано, что героя можно за это дать, что я участвовал в танковых рейдах и прочее. Действительно, участвовал. На бронетранспортере. Мы все время находились в передовых отрядах танков. Ротмистровская группа находилась в 1–1,5 км. Это место, где велись самые ожесточенные бои с немецкими войсками. А бронетранспортеры, которые должны были определять, где нанести удар авиацией, находились в боевых порядках танков.

Я в каске был. Помню, сел впервые в бронетранспортер. Танкист мне говорит:

– Старшой, надевай каску.

Я говорю:

– Зачем?

– А вот разорвется снаряд, тогда будешь знать зачем. Осколком может тебе голову порезать. Одному уже, вот так без каски красовался, врезал осколок, он погиб.

Он мне подарил каску. Вон у меня висит там. В своем кабинете я все это оборудую под такой мемориал. Коллеги подарили мне небольшой бюст Сталина за то, что я отстоял, чтобы в новой истории Великой Отечественной войны не было поношения или игнорирования Сталина. Не совсем так, как можно было бы, но все-таки имя Сталина существует. И говорится о его выступлении 3 июля, о том, как он участвовал в переговорах с Рузвельтом, с Черчиллем. Все это очень интересно. Вы знаете, повседневность отнимает время, силы. А самое главное иногда остается в стороне. Поэтому надо сосредоточиться на самом главном, а одним из главных направлений, я убедился в этом, для меня явилась война. Война, которая прошла через всю мою жизнь. Воспоминания о ней, фотографии. Мне повезло, что я оказался не окопным лейтенантом.

***Н. Р. :** Вы рассказывали о допросе немца в начале войны. Вам еще понравилось, как он себя держал, – чуть себя не погубили! А немцев уже отступающих – допрашивали? Была разница?*

***Е. П. :** Это тоже было сильное потрясение. Схватили в плен немецкого полковника, командира дивизии. Нужно было переводить Ротмистрову, а виллис с их переводчиком сильно отстал. Послали за мной, мы все время ехали за танками. Подбегаю к их виллису, смотрю – стоят два автоматчика-танкиста и держат под руки немецкого раненого*

офицера. У него рука болтается, он без фуражки и чувствует, что ему плохо, тяжело ранен. Его там кто-то переверзал. Видно, что какую-то важную птицу поймали, полковника, а там как раз немцы сопротивление оказывают. Может быть, он расскажет, что там и как... Ротмистров посмотрел на меня изучающе:

– Скажи ему, вот этому, кто я такой.

– Это, – говорю, – маршал бронетанковых войск, командующий пятой армией. Он тут же встал по стойке смирно, освободился от солдат. И, хотя ему трудно, докладывает:

– Я – заместитель командира дивизии полевой какой-то армии, – и тому подобное, четко все докладывает. Не помню его фамилии, не записал.

– Скажи ему, – первое, что сказал мне Ротмистров, – если будет врать, тут же расстреляют. Боевая обстановка. Чтобы все, что он будет говорить, было истинной правдой.

– Яволь, яволь, я буду говорить только абсолютную правду, скажите господину маршалу.

Я сравнил его с Альфредом Бехером, пленным, который тогда был, в начале войны. У меня четко сопоставились допросы в конце войны и в начале. Это последний был такой допрос, очень яркий. На капоте виллиса расстелили карту этой местности. Земсков тут же с карандашом, накрыли нас сверху плащ-палаткой, Ротмистров наклонился, фриц, полковник этот, и я. Ротмистров показывает:

– Вот мы сейчас здесь.

Показывает, тот смотрит.

– Я, я, – нашу карту смотрит, понимает, что здесь.

– Вот здесь у меня написано вот это. Почему наши танки запросили вызвать сюда бомбардировщиков? Что там такое? Какие там части?

Он начинает:

– Все, что я знаю, я все расскажу.

Начинает перечислять:

– Я видел, туда сосредотачивается то-то, – и так далее.

Я все это перевожу Ротмистрову, Земсков, который тут же рядом, делает заметки на карте. И продолжалось это не меньше 10 минут.

– Где резервы ты видел?

Немец дал какие-то показания. Потом Ротмистров говорит:

– Все, больше нет времени разговаривать с ним. Земсков, давай, командуй, чтобы все по машинам!

Земсков громким голосом кричит: «Всем по машинам!». А куда девать фрица? И Ротмистров распорядился, чтобы мы взяли пленного на свой виллис и по дороге еще расспросили подробности, покормили его и сделали перевязку. Куда ж девать-то...

Н. Р.: *Ну, хоть не расстреляли...*

Е. П.: Нет, не расстреляли. И он всю дорогу ехал, больной, ему тут же сняли эту повязку, нашли бинты в сумке у радиста, завязали ему руку, дали шнапса. Тут же наш Петро Хозинский говорит: «Вот тебе закусирен, вот тебе дринкен», – спирта какого-то они там выпили. Немец выпил, и по дороге спрашивать его невозможно стало, потому что он тут же заснул и все время вскидывался, говорил: «Оберлейтенант, пожалуйста, скажите маршалу, что я говорил только правду. Ведь меня не расстреляют? Меня не расстреляют?». Я уже сравнивал: немец в начале войны Альфред Бехер и полковник, взятый в плен, который все рассказал, что он знал, боясь, что его расстреляют. Вот так вот.

Н. Р.: *Евгений Петрович, а вообще, изменила война Ваше отношение к немцам? Когда убили Вашего друга Жору, когда*

были другие тяжелые потери, возникало ли у Вас чувство мести? Ведь это сложное чувство – месть.

Е. П. : Вот это Вы правильный вопрос задаете. Когда я летел первый раз в Германию... Оно знаете, где у меня затаилось? Первый раз после войны я полетел в Германию в 1957 году. В Мюнхене проходил Международный конгресс востоковедов. И первая наша делегация была во главе с директором нашего института Гафуровым. Я только что из армии демобилизовался и был заведующим сектором индийской филологии Института востоковедения Академии наук, тогда был большой Отдел Индии, с секторами. Молодые все ребята были, я был тоже молодой парень, мне было 30 с небольшим хвостиком. Вот, полетели в Мюнхен, и я помню, когда селись в Германии, у меня чувство было, что мы прилетели в логово фашистского зверя. Вот эта мысль свербила меня.

Когда поехали в наше посольство, на Унтер-ден-Линден штрассе, улица называется «Под липами»...

Н. Р. : *Красивое очень место, и наше роскошное посольство...*

Е. П. : Ну конечно. Там Бранденбургские ворота стоят. Вот мы приехали туда в 1957 году. И у меня все время вот это чувство абсолютной какой-то отчужденности и даже нечто похожее, что я испытал под первой бомбежкой в Орше. Я приехал в то логово, где Гитлер, где все это преступление было. Но дальше-то что произошло...

Перед тем как ехать в Мюнхен, мне Гафуров сказал: «Евгений Петрович, вот у нас делегация формируется, и думаю, что вы будете секретарем нашей делегации. Мы берем с собой ящик водки, ящик икры, устроим там прием для всех иностранцев и так далее. Еще ящик нашей литературы везем. Вы это все держите при себе, в вашем номере. И номер кагэбэшника, Иванова, тоже будет рядом». И вот,

когда я пришел в свой номер, когда уже в него всё загрузили, подходит ко мне, видимо, какой-то главный немец и говорит на плохом русском языке, что хочет приватно поговорить. Говорю, пожалуйста, проходите сюда. Он увидел, что у меня находятся водка, книги. Он подумал, что я главный идеолог, так сказать, всего этого дела. Говорит, за все, что у вас здесь есть – ящик водки, двадцать бутылок и двадцать банок икры, – я могу вам дать новенький автомобиль БМВ. А вы мне дайте все это. Мы с вами устроим такой обмен. Если нужно шофера, дадим шофера и будем возить по городу, по Германии и так далее. Поможем оформить документы, чтобы можно было уехать на нем в Москву. Тогда, в 1957 году, невозможно было себе представить такую вещь. А мы каждое утро собирались у Гафурова, он сидел такой важный. Мы рассказываем, какое есть к нам предложение. Смех на всю делегацию. Я, говорю, сказал, что я должен обдумать этот вопрос, потом скажу. Это ведь не мое, это у нас общее. Гафуров говорит: «Вы скажите ему, что каждый член нашей делегации имеет свою собственную машину и не нуждается ни в каких БМВ. У нас своя машина есть, “победа”, и нам не нужна никакой немецкой машины».

Н. Р. : *Неужели так дорого стоила черная икра? Водка, наверное, не такая дорогая...*

Е. П. : Большие банки, полукилограммовые, что ли, такие. Да, икра у них была дорогая.

Дальше было еще интереснее. Один из наших говорит: «Евгений Петрович, я нашел тут интересные магазины. Там торгуют немцы, которые знают русский язык. Почему знают, я этого не понял, просто со мной стали говорить по-русски. Там, видимо, какой-то район такой». Хорошо,

пошли втроем: он, я и Брагинский* еще, в институте работал, очень яркая фигура. Пришли, один хотел закурить, а продавец показывает и говорит по-русски: «Папиросы». Оказалось, что все это бывшие военнопленные. И они так приветливо нас встретили. Он пиво достал, стал нас угощать. Говорит: «Пожалуйста, покупайте». Пошел, привел своих товарищей, собралось человек десять в магазине. Все, кто торгует в этом районе, были раньше военнопленными. И немец говорит: «Я вспоминаю, я строил в Воронеже какой-то дом, и вдруг всех нас, военнопленных, посадили в июне 1944 года и отправили в Москву. И мы прошли по всей Москве огромной вереницей». Помните, немцев гнали? Их собрали отовсюду, чтобы побольше их было. «И вот нас по всей Москве провели... Я видел Москву тогда, мне так все это приятно, я вспоминаю... Я уже забываю русский язык». И понимаете, у меня какое-то внутри чувство уже возникло. Я увидел, что он говорит это искренне, помнит то, что у него было в его военной молодости, даже плен... Ведь некоторые из плена потом в социалистическую ГДР приехали, военнопленные в основном.

Поэтому в отношении к немцам у меня какой-то сдвиг произошел. Потом я несколько раз бывал в ГДР. Я там видел людей, которые действительно искренне ругали фашизм, то есть мыслили так же, как я. Из фашиствующих я тоже встречал людей на разных международных конференциях, которые сочувственно относились. Одна была немка, ученая, во всяком случае не коммунистической идеологии. Она не исповедовала взглядов фашизма, но я понял, что прошлое Германии она рассматривала как великое прошлое. И гитлеровское время рассматривала так же. И у меня отношение к ней сразу было такое... Но встреча в Мюнхене с этими бывшими военнопленными была для меня очень

* Брагинский Иосиф Самуилович (1905–1989) – советский востоковед, литературовед. Доктор филологических наук (1954). Участник Великой Отечественной войны.

знаковой, потому что они нам говорили все это искренне, и вещи какие-то продали нам за полцены... Это что касается отношения к Германии.

Я потом еще много ездил в ГДР. В ГДР у меня было много хороших близких друзей: Губерт такой был, он занимался языками. Я жил у него. Прилетел вместе с одним ученым-поляком. Мы с ним жили у него дома, на берегу озера, он возил нас на своем катере, ловили рыбу, пили шнапс. Он провожал нас, встречал, всегда за рулем. Я говорю: «Откуда у тебя все это, построил дом такой красивый, машина, катер?». «А это все пенсия. Я, – говорит, – служил в вермахте, воевал. И вот это все на пенсию, которую я получаю за то, что служил в вермахте». ГДР ему устроила, он купил дом, купил катер, купил машину. Немецкий профессор. Вот что значит отношение к пенсионному обеспечению у них и у нас.

Н. Р. : *Евгений Петрович, ответьте, пожалуйста, на наш общий вопрос: каково Ваше отношение к личности Сталина, его роли в войне?*

Е. П. : Я уже раньше говорил об этом. Я считаю, Хрущев очень неудачно, некстати, не ко времени тогда, очень жестко высказал свое отношение к так называемому культу личности, к различного рода отклонениям от законности, и все сосредоточил на Сталине, как будто был один Сталин. А что делал в это время сам Хрущев, когда поехал в Украину для того, чтобы самому отмыться и все свалить на Сталина – это проще всего. Война состоит из побед и поражений, я даже публиковал где-то такое свое высказывание, сейчас я его снова повторяю. В самом начале немцам удалось выбрать момент, когда наша армия находилась в процессе перевооружения (я это знаю на своем собственном опыте). Я видел, как мы были не подготовлены, наш полк обессиленный был, только половина полка фактически была готова к нанесению каких-то ударов. Причем таких полков

было пять-шесть, на всем нашем белорусском направлении 150–200 самолетов. А у немцев были тысячи бомбардировщиков, гораздо более подготовленных, нацеленных. И наши попали в такой переplet. Поэтому валить все на Сталина... Все уклонения от законности, которые граничат с преступлениями, я согласен с этим, и аресты... Арест – это естественно, когда... Гражданская война у нас была не окончена, не было никаких подписано верных договоров между красными и белыми. Она приняла другие формы, часть нашей интеллигенции, и технической, и гуманитарной, покинула родину, они стали эмигрантами. Создавали культуру очень яркую и сильную. Там и Бунин, и Лосский, и Ходасевич, и Мережковский... Многих можно называть. Сейчас это уже стало частью нашей общерусской культуры. Но были люди, которые остались на территории России жить и работать, типа моего дяди Вани, который ненавидел эту советскую цивилизацию, я не говорю про большевиков. Он никогда не говорил про это, он говорил о Москве: «Я не хочу жить в Москве, я весь в природе, я связан с нашей великой русской природой». Он хотел бы купить, до революции копил деньги, какое-то небольшое имение, и там наслаждаться русской природой, ловить рыбу, ходить на охоту и так далее. И все эти деньги у него сгорели. Конечно, он остался просто служащим, лазил по этим котлам, смотрел – совершенно неподходящее для него дело. Он был религиозным человеком, считал, как и моя мама, что каждая власть от Бога, но он не участвовал ни в каких вредительских акциях, потому что считал, что это не соответствует его морали. Жил, волочил жалкое существование.

Многие стали активно противодействовать, некоторые не участвовали, другие участвовали и старались что-то сделать не то, что надо, и ясно, что против них шли процессы – это была борьба. Борьба, которая велась в нашей стране между силами, которые стояли у власти, и силу эту возглавлял Сталин.

И все валили на одного Сталина – это был общий дух эпохи, общий дух времени, поэтому все связывается с именем Сталина. И считать, что мы одержали победу вопреки Сталину – это совершенно нелепо. А это говорят люди по телевидению, пишут. Это их позиция. Позиция чрезвычайно спорная, чрезвычайно. Вопреки Верховному главнокомандующему победу одержать невозможно. Я все это засекаю, отслеживаю, внимательно слушаю все эти передачи. Самое важное, что говорят это не только какие-то журналисты или, может быть, приспособленцы. Может быть, искренне это говорят – трудно разобраться. Может быть, это модно, может быть, от них этого требуют для того, чтобы это напечатать – такая вещь тоже возможна, я просто констатирую факт. Но когда брошено каким-то журналистом, что мы вопреки Сталину одержали победу, и это переходит в уста властьержащих каких-то людей... Я слышал это собственными ушами, когда говорили люди, облеченные у нас властью. Это уже очень плохо. А потом в Совет Общественной палаты включаются люди (я не буду называть их фамилии), и именно они употребляли этот термин «вопреки».

Я больше скажу, раз Вы спрашиваете мое отношение... Подбросил горячий материал этот резонер Суворов* в своей книге «Ледокол». Я внимательнейшим образом проштудировал то, что пишут люди, которые пытаются разрушить величие нашей Победы, представить войну как столкновение двух тоталитарных режимов. Не Отечественная война за выживание, за победу сил добра над силами зла, а столкновение двух очень близких друг другу тоталитарных режимов – это первое. Второе – что Сталин якобы начал эту войну. Гитлер начал войну и агрессию против Советского Союза, потому что он хотел предвосхитить наше начало войны, к которой Сталин был бы готов. А Сталин не был готов, он говорил, что война начнется в 1942 году, он пытался

* Суворов Виктор (псевдоним, наст. В. Б. Резун).

оттянуть это до 1942 года, это всем известно, в наших научных исследованиях говорится, что мы готовы были бы более-менее перевооружить армию, хотя бы освоить новую танковую технику, танки Т-34, эти наши тяжелые танки, которые были способны противостоять немецким тяжелым танкам. Но их было очень немного, наши войска еще не переучились. Ошибка Сталина заключается в том, что он думал, будто он перехитрит Гитлера путем втягивания его в какие-то дипломатические переговоры.

Н. Р. : *Он хотел оттянуть время?*

Е. П. : Да, и рассчитывал перехитрить, как перехитрил в свое время Зиновьева, Каменева, Троцкого... Он их всех обыграл в борьбе за власть. Они же были реальные претенденты наряду со Сталиным. Про Сталина тоже можно все что угодно говорить, задним числом преувеличивая или преуменьшая что-то... С точки зрения тех, кто ведет кампанию против нас уже в отношении войны, – когда наши войска подошли к границе и выгнали немцев – все, на этом наша задача была выполнена. А дальше мы якобы уже совершили незаконные действия, не согласовываясь с правительствами близлежащих стран: с Польшей, Румынией, с Болгарией, с Венгрией. Мы вошли туда и стали выполнять освободительную миссию в Европе, освобождать ее от немецких захватчиков. И тогда мы якобы превратились в оккупантов – это можно прочесть, забывая о том, что больше миллиона потеряно советских солдат на территории стран Европы, которые они освобождали от фашистов.

Н. Р. : *Какой в Вене прекрасный памятник стоит советскому солдату!*

Е. П. : Я видел, некоторые власти это делают. А другие этого не делают, понимаете? Даже в Германии стоит солдат, держащий девочку на руках.

Н. Р. : Это Трептов-парк.

Е. П. : Трептов-парк. Все это я видел собственными глазами. Этот момент и много подобных.

И потом, о чем я говорил мало, но хотел бы здесь особенно подчеркнуть.

Неожиданно нам стало известно, что 3 июля будет выступать по радио Сталин со своим обращением. К сожалению, в нашей литературе последних лет об этом мало говорится. Я сейчас стал перечитывать многие военные книги. В 1967 году вышла книга «Война» Ивана Стаднюка. Мы с ним были знакомы. Вот как он описывает выступление Сталина. Героиня романа, молодая девушка, дочь одного из главных героев, генерал-майора, командира корпуса, вспоминает: «Сталин с непреклонной убежденностью продолжал объяснять, что немецко-фашистские войска только на нашей территории встретили серьезное сопротивление, и они будут разбиты, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма... Толпа на улице росла, разбухала, рядом все больше становилось замерших трамваев и машин по обе стороны трамвайных линий. Лица мужчин были сосредоточенными, суровыми, а женщины в большинстве беззвучно роняли слезы. В одном месте речи голос Сталина осекся, и все услышали, как он, звякнув стаканом, глотнул воды. Вроде бы ничего особенного, но этот глухой звон стекла в дрогнувшей руке Сталина отдался в сердцах той нравственно обновляющей болью, которая, кажется, была не похожа ни на одну человеческую боль. Все земное отринулось от людей, кроме пронзительно-щемящего чувства Родины, над которой нависла опасность... Отрешенно-задумчивые лица, горькие складки губ и недобрая суровость глаз... Люди точно перестали дышать, боясь нарушить тишину. И в этом молчании толпы была какая-то грозная и торжественная сила, ненасытная жажда веры, решительная отторгнутость от всего того, что

не связано с главной болью, вызванной нападением врага на родную землю»*.

Н. Р. : Евгений Петрович, Вы слышали это выступление?

Е. П. : Конечно!

Н. Р. : И там действительно была эта пауза, когда звякнул стакан?

Е. П. : Абсолютно! Это была знаковая такая веха в самом начале войны – выступление Сталина 3 июля.

Н. Р. : А где Вы слышали это выступление?

Е. П. : Мы слышали по радио на аэродроме. На этом поле-вом аэродроме нас собрал комиссар эскадрильи, настоящий комиссар, который водил девятку пикирующих бомбардировщиков, Алимов-старший, политрук. Приемники были только самолетные. Мы все сгрудились около своих самолетов, включили погромче ЗРК, Москву, и слушали всю эту речь. Мы все стояли, разинув рот, именно с таким вот чувством, как в словах Стаднюка. Он тоже это слушал, он был младшим политруком, только что кончил училище, Иван Стаднюк. Я хорошо его знал, он руководил военной секцией в Союзе писателей СССР. Сталин дал четкую программу действий, что надо делать: партизанское движение, уничтожать, не отдавать врагу ничего, ни шагу назад. Он впервые сказал слова, что это Отечественная война, что мы освобождаем, защищаем не только нашу Родину, но должны выполнить и освободительную миссию для всех стран Европы, освободить их от фашизма. Вот эти основные параметры, которые потом прошли через всю войну и которые закончились победой, они были заложены в речи Сталина 3 июля 1941 года.

И мне сказал старший политрук, комиссар эскадрильи: «Чельшев, напиши стихи!..» Я уже писал тогда стихи

* Стаднюк И. Ф. Война. М.: Воениздат, 1987. С. 13.

и иногда читал их на каких-то собраниях. Просили: «Челышев, прочитайте стихи». Это не было заданием, у меня самого был зов сердца. Я написал свои, мне казалось тогда, наиболее удачные стихи. Я потом долго носил их в планшете, очень гордился, что их опубликовали в газете «Сталинские соколы». На меня все показывали – вон наш поэт идет.

Н. Р. : *Они у Вас сохранились?*

Е. П. : Вот слушайте. Приехал как раз на этот аэродром корреспондент из «Сталинских соколов», меня привели к нему, и стихи опубликовали. Я их собирал, у меня несколько публикаций было: 4–5 газет «Сталинских соколов». А потом мне на Калининском фронте комиссар нашего соединения сказал: «Давай мы сделаем это в виде книжечки». Я ему отдал – и все. Разошлись наши пути, и больше ничего я не видел. Я пытался в «Сталинских соколах» найти, но ничего этого не нашел. Там была такая фраза, помню, написана в таком патриотическом, романтическом ключе:

Вперед на Запад, орлиные стаи!
Отомстим врагам за разбой!
Наш флаг-штурман товарищ Сталин
Ведет нас за Родину в бой!

Вот такого типа стихи. Мне 20 лет было, и естественно, никакой школы у меня не было, а было это больше от души, чем от какого-то поэтического понимания. Сейчас я продолжаю писать стихи, и они печатаются иногда. В другом стиле, не в таком романтическом, они более критические.

Стихи, которые я написал, вот на этом диване сидя, когда была какая-то нервная ситуация и приходилось защищать наши идеи, наши взгляды и встречаться с людьми, которые пытаются это дело разрушить и ниспровергнуть величие нашей великой Победы. Это вот особенно в связи с войной. Я приведу одно стихотворение. Это перекличка

с Пушкиным, у него есть известное стихотворение «Клеветникам России»:

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас?..
<...>
И ненавидите вы нас...
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вот это у Пушкина. А у меня так получилось. Тогда только что умерла Валя Толкунова, которую я хорошо очень знал, мы с ней общались очень часто, и я к ней относился с огромным уважением и с восхищением. У нее есть фраза в песне такая: «Я не могу иначе». Вот на эту тему, перефразировав Пушкина, я написал:

Побойтесь Бога, вы, клеветники России!
Те, кого Пушкин называл «народные витии».
Тем, кто вступает с ними в бой, желаю я удачи!
И кто бы что ни говорил, я не могу иначе!

Борис Николаевич Гашев

Родился 28 июня 1925 г. в Свердловской области

Окончил Институт внешней торговли
МВТ СССР (1951)

Кандидат экономических наук (1975)

Арабист, специалист по экономике арабских стран

Работал в ИВ РАН с 1970 г.

Ветеран Великой Отечественной войны,
участник боевых действий

Умер в 2009 г.

Наталья Романова: *Борис Николаевич, как Вы узнали, что началась война?*

Борис Николаевич: Я читал книгу, была плохая погода. Жил я тогда в Ульяновске, сидел дома и читал у окна книжку, которая называлась «Слава дона Рамиро», – запомнил. Очень интересная книжка, романтическая такая.

Н. Р.: *Испанский роман какой-нибудь?*

Б. Н.: Испанский роман. И вдруг в четыре часа сообщение: «Началась война». Ну, через некоторое время всех потащили на стадион, там митинг был по этому поводу. Мы, молодые ребята, страшно расстраивались, потому что выступающий сказал, что война кончится через три месяца,

и мы не дождемся того времени, когда нам можно будет пойти на фронт!.. Страшно расстраивались. (*Смеется.*)

Н. Р. : *А какое тогда среди Ваших сверстников царило настроение?*

Б. Н. : Настроение было такое, что все это скоро кончится. Мы пели песни, что мы непобедимы, нанесем удар и все такое! Хотелось увидеть Германию, немецких девушек, Европу.

Н. Р. : *Когда немцы на нас напали, никто не думал, что будет такая война, что воевать придется на своей территории...*

Б. Н. : Конечно, недоумение было такое, недоумение. Ну, и потом все-таки казалось, Наполеон тоже далеко к нам на территорию зашел, но кончил плохо, и они кончат плохо... Нет, вообще-то настроение было до конца такое, что победа будет за нами.

Н. Р. : *В Ульяновске Вы в тот момент учились в школе?*

Б. Н. : Да. Я тогда в 10-м классе учился. Еще не кончил четверть, как вдруг 4 января приходит повестка на фронт.

Н. Р. : *В 10-м классе – Вам было семнадцать лет?*

Б. Н. : Семнадцать лет, да... Забрали, конечно. Ну, кому куда, а я решил – конечно в летчики!

Н. Р. : *Борис Николаевич, а какой это был год, месяц?*

Б. Н. : Это был январь 1943 года. Я мечтал быть летчиком. Видел я, правда, уже тогда плохо, потому что я очень любил читать, было такое – и немножко подпортил себе глаза. Ну, и когда на медкомиссии меня проверяли, я вот так смотрел: закрыв один глаз, смотрел вот этим, закрытым, глазом. А когда смотришь через прорези, то гораздо лучше видишь. И я прошел! В Кандалакшу – там была

школа стрелков-радистов на штурмовик Ил. И я туда прошел, меня взяли.

Прежде чем нас начали учить, мы обустроивались: надо было подвозить оборудование – в Уфу ездили за оборудованием всяким, за шинелями, за всем прочим... Потом началось быстрое и очень жесткое обучение.

Н. Р. : *А сколько Вы там учились?*

Б. Н. : Совсем немного, потому что в основном были хозяйственные дела, мы подвозили всякое оборудование. Потом уже начали нас учить. Но я помню, что сразу начал проваливаться из-за своего зрения. Задание такое – сижу в кабине самолета, летят самолеты, стрелять только по истребителям, а бомбардировщики не трогать. А я сажу по всем подряд... «Ты чего, кричат, не видишь, что ли, ослеп, та-та?! А ну, давай, повтори!». Повторил – то же самое... Ну, меня – на комиссию. Там уже так не дали смотреть, закрыли мне глаз. Говорят: «Молодой человек, ну как вы попали в авиацию?!». Я чуть не заревел... Меня оттуда отчислили. И – в связисты, в школу связистов. Но там я недолго учился...

Н. Р. : *Это уже ближе к весне было?*

Б. Н. : Да, ближе к весне. Я попал в Ульяновское училище связи. Особое зрение там не нужно было... Но – Сталинградская битва в конце 1942 года. Училище расформировали, ну и кого куда... Я должен был оттуда выйти младшим лейтенантом, а вышел простым солдатом. Не успел... Немножечко подготовка была, и – вщщщ! – всех на фронт. Подготовка была в условиях, довольно близких к фронту, в каких-то лагерях. Потом нас собрали и отправили в район Рославля. Это была как раз уже весна 1943 года.

Попал я уже в воинскую часть, в Уральскую дивизию. Уральская дивизия – ее откуда-то из Сибири прислали. Мне очень повезло. Ну, и послали нас весной уже в район

Рославля. Нужно было делать прорыв на реке Проня, такая есть речка, течет с севера на юг. И, как на всех реках, которые текут с севера на юг, западный берег был занят немцами – высокий такой берег. А мы были на низком, на другом берегу. Немцы нас не щадили совершенно: обстрел был постоянно с этих высот. Минометы тогда были, многоствольные минометы. Житья не было совершенно! Мы устраивали землянки в три-четыре наката, но все равно страшно было. Сидишь в этой землянке, все курят, у всех лица такие – ожидание, что вот-вот попадет, потому что если большая мина попадет в землянку...

***Н. Р. :** А сколько там наших стояло, на этой реке Проня?*

Б. Н. : Много, много, там готовился прорыв. Ну, в общем, потом мы решили тоже постреляться с немцами, а я был радист. Что такое радист: тогда советская радиостанция весила пуда полтора – огромная такая, как ящик. Ее обслуживали два человека, эту радиостанцию. Обычно так бывало, что один находится около командира батальона, на самой передовой, наблюдатель – наблюдает, куда стрелять, и передает сигналы на батарею, а я на батарее, например, принимаю и передаю артиллеристам. И вот мы вышли, помню, на рассвете, еще темно было совершенно – весной совершенно темно.

Задача была такая: быстренько выкопать для пушек укрытие, построить землянку и каждому для себя сделать так называемый ровик – такой маленький окопчик. Жарко было страшно! Земля была очень твердая. Я начал этот ровик копать, не очень усердно, настроение было хорошее, кругом спокойно, тихо. Сплошной туман, было впечатление, что немцы нас не видят – как бы они могли увидеть в таком тумане! И вот прошло, наверное, часа полтора, я ровик себе по пояс примерно вырыл, смотрю, там уже часть землянки вырыта, потом часть укреплений для пушек.

Там четыре пушки было 76-миллиметровых, пушки уже подвезли. И вдруг начался сущий ад! Как будто он на землю низвергнулся!.. Я стоял, копая, в этом ровике, по пояс примерно. И только помню: как будто все закипело вокруг меня, люди полетели... Кто мог, кинулся к землянке, чтобы укрыться. Прямо в эту гущу попало несколько мин.

Н. Р. : *Кошмар...*

Б. Н. : Я только последнее запомнил, что было этим ранним утром – куски тел, которые летят со всех сторон, потом я уже ничего не помню. А проснулся я, так сказать, «классическим» образом: мне показалось, что я сплю на каком-то лугу и там стрекочут кузнечики. И от стрекотания кузнечиков я открыл глаза. Когда я открыл глаза, увидел, что я лежал, засыпанный землей. Но, к счастью, рот у меня не был засыпан, видимо, меня отбросило и землей сверху засыпало. Я землю стряхнул, вылез – смотрю: темно, луна над западным немецким берегом поднимается, на фоне этой самой луны перебитый ствол пушки, никого нет, только мертвые кругом лежат, больше ничего нет. Я отряхнулся, чувствую, что правым ухом ничего не слышу, правая сторона у меня не работает, я едва тащусь левой ногой... Ну, кое-как добрался до своих позиций.

Мне очень повезло. Если бы я пролежал еще, наверное, часа два не очнувшись – а мне роса помогла очнуться, – туда пришли бы могильщики. Кого можно было забрать, забрали, а тех, которые лежали в этих ровиках, как я, они просто засыпали. Меня бы просто землей засыпали. Но, к счастью, я очнулся от этой росы. И – вот что значит молодость! – я не пошел ни в какую санчасть, ничего. Было наступление. Потом, немножко погода, я уже стал более или менее правым ухом слышать. Позже я написал статью в ульяновскую газету с описанием этого боя. Но потом я эту газету

потерял. (*Смеется.*) Ну, а затем прорыв на реке Проня, я участвовал в этом прорыве, и пошло, и пошло...

Н. Р.: Скажите, кто Вам особенно запомнился из фронтовых друзей?

Б. Н.: А был такой Коля – Барин! Ну, вообще-то, он барин-ом вовсе не был, но что-то в нем было от аристократа. Он из деревни, из какой-то подмосковной деревни, я потом туда ездил, искал его. Ну, у него вид был – и лицо, и строение, и фигура! И характер какой-то такой – он был аристократ. Был простой крестьянин, но аристократ! Я в него просто влюбился, он... такой! У него была своя история... В Подмосковье, когда стояли немцы, всю деревню, где он жил, перебили, его родственников всех перебили... И он к немцам испытывал дикую ненависть и стрелял их, когда мог.

Помню эпизод, когда мы форсировали Одер. Очень тяжело продвигались, под постоянным обстрелом. Немцы тоже защищались зверски. И у них там было много молодых людей – думаю, лет шестнадцати – настоящих фашистов, фашистов очень твердых и крепких. Как-то мы захватили трех человек. Командир батальона (как раз мы вместе были) говорит: «Надо бы их допросить. Кто знает немецкий?». Я говорю: «Я знаю». Ну, где что, поговорил с ними о том о сем, они особенно не распространялись. Командир батальона говорит: «Что делать-то с ними? Отправлять их в штаб – невозможно: обстреливают, да и где штаб? Расстрелять их надо. Кто хочет?». Барин сразу: «Я». Прямо на моих глазах отвел их метров на пятнадцать и всадил каждому по пуле. Это было примерно пять вечера.

Однажды у нас была интересная история, перед тем как мы форсировали Одер. Когда был прорыв, мы вышли на более или менее открытое место. А на расстоянии не более чем 5 километров стоял город Франкфурт-на-Одере. Город на границе между Польшей и Германией. И оттуда

переносные пушки по нам все время стреляли. Мы от этого Франкфурта терпели очень много. Одер тоже течет с севера на юг. Западный берег высокий, церковь стоит на высоком берегу, оттуда можно все контролировать. Наш берег низкий-низкий, и в конце этого низкого обширного берега деревня, которая называется Кунерсдорф, сейчас это довольно большая деревня. Это известное историческое место, где у нас в прошлом было огромное сражение между войсками Фридриха II Великого и соединенными войсками России, Польши и других стран, восточных стран. Суворов там молодой участвовал. И вот там у нас была база, мы там остановились.

Я был наблюдателем – корректировщиком огня, и каждый вечер, когда наступала темнота, мне нужно было вылезти на нейтральную территорию, где-то спрятаться и наблюдать за Франкфуртом – а он был прямо передо мной, на другом берегу реки, – и по телефону или по радиации сообщать о своих наблюдениях. Когда я туда шел, помню, слева стоял памятник Фридриху Великому, немцы поставили его в честь известной битвы, и там было написано: «Hier befand sich Friedrich Der Grosse in der Schlacht bei Kunersdorf» («Здесь находился Фридрих Великий во время битвы при Кунерсдорфе»). У него была отбита голова: туда попал снаряд.

Я проходил мимо Фридриха Великого, потом спуускался ниже к реке и дальше уже смотрел, не столкнуться бы с немецкой разведкой. Потом я прятался где-нибудь: что-то рыл или под какой-нибудь куст забивался, моя задача была наблюдать и слушать. И вот однажды я наблюдаю и вдруг слышу – рядом мост был – по мосту идут танки, немецкие танки с той стороны. Боже ж ты мой! Я давай звонить: «Танки идут! Танки идут!» Чувствую, что через несколько минут они уже будут сзади меня, и я пропал! Но мне команда: «Оставайтесь на месте и продолжайте!». В общем, я остался. Оказалось, что это были немецкие шутки, они нас пугали: туда-сюда, туда-сюда ездили.

Когда мы спустя много лет, году в 1978–1979-м, были в Германии, поехали к этому мосту. Там стоял один пограничник немецкий, там тогда проходила немецкая граница с Польшей. Я к нему подошел и говорю: «Мост здесь был». Он говорит: «Откуда вы знаете, что здесь мост?» А я, говорю, здесь воевал. И он передо мной встал навытяжку. У немцев есть удивительная черта: когда они разговаривают с солдатом, какой бы он ни был национальности, они испытывают к нему уважение.

А тогда... Потом мы пошли вперед, началась очень всхолмленная местность, мы уже шли почти в темноте. А батальон был маленький – от всего батальона осталось человек 35, не больше. И вот мы идем, темнеет, темнеет, но нас никто не обстреливает – и мы идем. Началось повышение, подъем – и вдруг мы выходим на край какого-то поля. Прямо перед нами дорога, по дороге идут немецкие войска из Франкфурта. Чуть-чуть левее видны крыши каких-то домов, перед нами поле, а на поле стоит вышка – не вышка: у немцев был такой обычай, орошать поля из больших бетонных чанов, которые устанавливаются посреди поля. И вот стоит там такой куб на треноге, и больше ничего нет. Мы только успели сделать по этому полю несколько шагов, как наш командир батальона закричал: «Ребята, вперед за Родину!». Ему кто-то говорит: «Ты чего?! Нас тридцать человек, а там идут целые полки!» – «Молчать!». И в это время голос командира был заглушен стрекотом пулемета, потому что в этом кубе сидел немецкий пулеметчик и из крупнокалиберного пулемета начал нас поливать... Батальон начал падать. Кто успел, соскочили обратно вниз. Командир батальона кричит: «Что нам остается делать? Пошли в штаб. Людей-то не осталось... Мы ж не можем атаковать...»

Нас меньше тридцати осталось. Пошли в штаб полка. Это было в апреле месяце, темнело довольно рано.

Пришли в штаб полка, шли довольно долго. Командир полка – матом на этого командира батальона: «Да как ты смел, такой-сякой?! Всех – в штрафную роту!».

Н. Р.: *А надо было что делать?*

Б. Н.: «Надо было оставаться, а вы оттуда ушли! Всех в штрафную роту – за трусость, за дезертирство! Немедленно обратно, занять оборону!».

Пошли... Идем обратно и думаем, что нас там немцы уже ждут. Подойдем мы к краю поля, и нас в упор расстреляют. Но немцы – то ли дураки, то ли что – подумали, что мы вообще ушли, и не выставили засаду. Мы головы высунули, смотрим – пустое поле. Ладно, давай дожидаться подкрепления – командир полка сказал: «Пробудьте там до утра, в середине ночи, где-то в часа четыре придет подкрепление». Пришло подкрепление. Ну, а мы – чего? – Каждый занялся своим делом. Мы с Колей вырыли ровик... Он рыл ровик, а я стал связываться по радиации с батареей. Указал координаты, где находится этот населенный пункт, откуда летели мины, слева от нас – я точно указал, где это находится. А потом что делать – спать надо.

На фронте такой обычай: если двое лежат в окопе, а холодно, – прежде всего спина мерзнет, а не живот. Поэтому я, поскольку не рыл и спина у меня была сухая, лег спиной к земле, правой рукой обнял Колю, а он лег ко мне спиной. Мы заснули. Вдруг среди ночи чувствую, что меня по руке кто-то очень сильно ударил. Смотрю, дым надо мной какой-то. Оказалось, что немцы все-таки нас обстреляли и мина взорвалась на ели, которая как раз над нашим ровиком. Народ вокруг забегал. Коля стонет. Я говорю: «Ты что?». Рука у меня двигалась, ранение было очень легкое – я думаю: надо его перевязать. Сунул руку ему в карман за пакетом, а рука провалилась по локоть ему в живот... Живот был распорот, кишки вон... Я вытащил руку, а я лежал, и у меня под

головой была фляжка вместо подушки, фляжка обшита была сукном. Схватил фляжку, внизу было озеро, побежал – а он все: «Пить, пить, пить!». Я набрал воды, прибегаю обратно – а его уже нет, а фляжка моя пустая. Смотрю – пробита фляжка. А ведь лежала она у меня под головой – и пробита. Мне повезло: буквально где-то рядом с моей щекой прошел осколок ... Ну а Коля – я не знаю, как и что, но у меня к нему эта любовь осталась до конца.

Н. Р. : *А что с Колей дальше стало?*

Б. Н. : Колю отнесли на перевязочный пункт, наши из батальона отнесли...

Н. Р. : *Он выжил?*

Б. Н. : Мне была команда немедленно связаться с батареями, указать, где что, сейчас начнем атаку. Тот же полковник прислал оттуда очень много народу, и через некоторое время началась наша атака. Мы пошли через это поле... Я не мог тащить рацию, потому что был ранен: тащил пехотинец, а я только шел сзади с микрофоном и корректировал: стрелять туда, стрелять сюда. Мы подавили эту минометную батарею, и мне это зачли в заслугу. Командир полка сказал: «Мы тебя за это наградим». Дали мне за это орден Славы, за то что раненый не ушел с поля боя.

Ну вот с этим Колей. После войны я приехал в Москву, начал учиться. Каждое утро ходил на учебу в Институт востоковедения на Маросейку. Однажды иду по Маросейке, смотрю – едет навстречу автобус, сидит в окне Коля... Я повернулся и побежал за этим автобусом. Бежал в гору, не отставая от автобуса, целую остановку. (*Смеется.*) Но это был не Коля.

Потом, я работал уже в Институте востоковедения, нас послали на полевые работы. Я ходил в родное село Коли. В общем, никаких сведений нет, с фронта он

не возвращался – очевидно, он так и умер. Еще бы – все внутри у него было распорото!

Н. Р. : *И похоронку не присылали?*

Б. Н. : Нет, ничего. Нет. Господи, тогда ж... Он тоже был 1925 года рождения...

В общем, когда кончился бой, командир полка говорит: «Ладно, Гашев, отработал сегодня, иди обратно. Ты ранен, здесь тебе никакой помощи оказать не могут. Но имей в виду, что, если ты пойдешь обратно, можешь встретиться с немцами – будь осторожен». И действительно – не поймешь, где наши, а где немцы... Ну, у меня наган шестизарядный был в кармане – я и пошел обратно с ним. Иду, вдруг слышу: шорох в кустах! Тра-та-та-та-та, я его из нагана! Оказалось, заяц там сидел. (*Смеется.*)

Н. Р. : *Значит, Ваш первый военный опыт был на Проне?*

Б. Н. : Нет, до Прони еще на фронте мне пришлось быть. Первый раз нас послали в начале 1944 года к границе на северо-восток Белоруссии.

Н. Р. : *А там? Вы говорили, что Вам «везло» с напарниками.*

Б. Н. : С напарниками «везло». Что интересно: там есть такие лесные парки, которые еще поляки делали. Они их понастроили для того, чтобы там устраивать места для охоты. Они прорубили параллельные просеки, каждая просека была довольно широкая, и был обширный обзор. Там сидел охотник. А с другой стороны шли егеря и гнали дичь таким образом, чтобы она бежала поперек этой просеки. И нужно было подстрелить дичь, которая перебежала просеку. Так вот, немцы устроили такие же засады, только они были охотниками не на дичь, а на нас. А нам тоже приходилось перебегать эти просеки, и у меня там был один, как его фамилия? Коротиков?.. Ну, его вызвали к нам, и он был убит.

Н. Р. : *Это у Вас был напарник, который помогал с радиостанцией.*

Б. Н. : Да. Дали мне другого напарника, татарина. И однажды наши летчики приняли нас за немцев.

Н. Р. : *Вы похожи на немца: голубоглазый, блондин.*

Б. Н. : Ну, сверху не разберешь. В общем, нас наши штурмовики атаковали, три штуки... Мы сразу упали. Я только смотрю, там как будто швейная машинка стрекочет, «тык-тык-тык», и по полю к нам идут две линии таких... следы от пуль. Ну, приближаются – прямо на нас, прямо через нас! Они сделали второй заход, и на втором заходе мой товарищ получил в ногу крупную пулю. Кажется, ему потом вот так вот ногу отрезали. А мне прострелили шинель между ног, мне повезло.

Н. Р. : *Хорошо, что мимо попали!*

Б. Н. : Да. А потом вот с Колей эта история. Коля погиб, а я остался жив. Три человека, три моих напарника, так вот...

Н. Р. : *Вы говорили, что это, видимо, ваш дедушка за Вас молился, который был священником?*

Б. Н. : Наверное, да. Мой дед. У него было очень много детей. Он был репрессирован, а уже позже даже причислен к лику святых.

Н. Р. : *А где он служил, в каком приходе?*

Б. Н. : Село Ильинское, большое село, и он там был каким-то важным чином в храме в Свердловской области.

Н. Р. : *В каком году он примерно умер?*

Б. Н. : Его сразу же посадили. Арестовали – и он тут же умер, в 1919 году примерно. В концлагере.

Н. Р. : *А сколько Вашему деду было лет?*

Б. Н. : Ой, я не помню. По фотографии – лет сорок, наверное. Очень его уважали. Детей у него огромное количество было. Я очень жалею, что какие-то родичи у меня эту фотографию забрали, я ее не сохранил. И там сестра была моя двоюродная, знаменитая, штурман. На фронте у меня с ней удивительная история получилась. Во Франкфурте командир полка говорит: «У тебя какая-то странная фамилия. А тут летчицу сбили по фамилии Гашева – не твоя родственница?» Я говорю: «Нет, я такой не знаю». Домой написал, а мне говорят: это твоя двоюродная сестра. Я смотрю – такая девочка была малозаметная, а потом оказывается – Герой Советского Союза, знаменитая летчица Руфина Гашева. Она потом жила в Москве с мужем. Во время войны я даже не знал, что она у меня есть! После войны познакомились, общались.

Н. Р. : *Вы были связистом или разведчиком?*

Б. Н. : Я был разведчиком. Разведчик-наблюдатель: я должен был сидеть и смотреть. Ну, как это было? Летом обычное дело: когда уже темно, выбираешься туда и маскируешься. При тебе есть телефон или рация. Чуть чего – ты сразу же сообщаем. Опасно было что: немецкая разведка шастала часто, застали – застукали. Ну, один раз я тоже был спасен таким нереальным образом. У меня в школе одна знакомая была, хорошие отношения у меня с ней были в десятом классе. Потом мы переписывались. Ну и вот, я вышел на разведку утром на рассвете, когда было еще темно. А там уже на поле горошек цвел. Это было весной 1943 года. И я этим горохом питался-питался, чувствовал себя прекрасно, а тут мне звонят и говорят: «Слушай, Борис, давай, приходи – обед такой хороший, тут свинью закололи!» А там свиней было много, свиньи были жирные, очень много было свиней. «Ну, а как же?» – говорю. – «Светло еще!». Ладно,

я пополз, пополз, где полз, где шел – и вдруг взрыв: обстреляли то место, где я был! Ну, я на это не обратил внимания, пошел туда к ребятам, поел свинину, прочитал письмо...

Н. Р. : *Засекли-то Вас как?*

Б. Н. : Наверное, меня заметили с транспорта, с той стороны. Рядом были немецкие позиции. А потом, когда темно было, я пошел обратно. Возвращаюсь обратно – моя радиостанция разбита, шинель, которую я там оставил, разорвана. Все засыпано песком – прямо туда попала мина. Вот так мне повезло. До противника было расстояние километр-полтора. А потом, что там еще было страшно – немецкие снайпера! Так четко стреляли! Очень опасно. Работали очень мастерски.

Н. Р. : *А все-таки, это был у Вас разведбатальон?*

Б. Н. : Назывался «взвод управления артиллерийской резервной дивизии». Была дивизия, при дивизии был взвод управления, вот этот, где мы: разведка, корректировка огня. Это все ближе к передовой; находиться в основном надо было там, где пехота, около командира батальона. А сама артиллерия – она находилась где-то километра за полтора-два... Посылали по одному человеку: так меньше заметно. А зачем многого? Сидишь, наблюдаешь. Если двое – все равно столько же наблюдаешь.

Н. Р. : *А если ранят...*

Б. Н. : Могут сразу двое быть ранены. Нет, таков был порядок. Обычно радиостанция – тяжелая штука, ее обслуживали два человека. Один здесь – другой там, по очереди менялись. Один с радиостанцией впереди, другой там.

Н. Р. : *А на немецкие разведпосты натыкались когда-нибудь?*

Б. Н. : Слава Богу... Меня избавил от этого Бог. Но однажды, когда мы под Франкфуртом были, там город Кюстрин такой

был. Этот город Кюстрин был расположен на самом берегу реки, на западном. А мы уже находились в тылу. Небольшая равнинка была такая, понижение по сравнению с высоким западным берегом. И вот у нас там был наблюдательный пункт в каком-то заброшенном доме. Этот дом был замечателен тем, что у него была веранда впереди, и на этой веранде был труп нашего солдата. Он висел – видать, его застрелили, но нам было велено его не снимать, чтобы у немцев не возникало подозрения, что тут кто-то есть. И мы там все время садились и наблюдали за немцами. Их было прекрасно видно, там траншеи даже было видно, как немецкие каски там мелькали. А иногда эти, из Кюстрина, делали вылазки. И рядом были еще какие-то дачные поселки.

И вот однажды в соседнем доме получилось так, что туда ночью зашли немцы... Там в это время был один какой-то туркмен или кто-то еще – они его не тронули, а привязали к постели и оставили на его груди бумажку с надписью: «Нам он не язык, вам не солдат». А остальных всех наших они увели в Кюстрин и потом, как мы узнали, им всем подвесили камни на шею и сбросили в реку, в Одер.

Н. Р. : *Даже пули пожалели...*

Б. Н. : Да, злость у них была большая. Злость... А вообще немцы вояки отличные, что там говорить.

Или вот еще интересная история с поляком. Мы двигались по Польше. А поляки, как известно, в большинстве случаев живут в маленьких хуторках, и эти хуторки – просто одно или два здания, и больше ничего, и кругом поле. И получилось так, что было какое-то сплошное месиво: непонятно, где немцы, где мы. Подходим к такому хутору, если там немцы и их мало, то мы их выбиваем, потому что никому на холоде не хочется ночевать, это декабрь–январь месяц был. А если их много, то мы сами мерзнем ночью – ничего не поделаешь. И вот однажды мы были на таком

хуторке, и вдруг командиру нашему сообщают по радио, что пушка, которая в мастерской, задерживается. Она не может вовремя приехать, ее чинят, и она прибудет только вечером. Просили поддерживать с ними связь, а потом попросили ее встретить. Ну, мне командир говорит: «Гашев, давай, бери радиостанцию, мы сейчас пойдем дальше, а ты оставайся на этом хуторе».

А на этом хуторе, кроме меня, оставался хозяин этого хутора, поляк. Помню длинные польские усы... Я, конечно, к этому поляку не вполне так доверчиво отнесся, близко его к себе не подпускал. Моя задача была такая: наша машина только мимо меня могла проехать, и я должен был ее перехватить, потому что дальше по той дороге, где им предстояло ехать, были немцы, а связаться было нельзя, потому что рация у них не работала. Ну, меня оставили, это было примерно часа в три дня. Я сижу, к печке прижался спиной и смотрю в окно. Передо мной – дорога. Я поел, поляка угостил (консервы были). И вдруг он меня в плечо толкает: «Пан жолнеж, герман, герман» («Пан солдат, немцы, немцы»). Ну, я смотрю – уже темно: январь месяц, рано темнеет, – немецкие машины идут, две или три.

Я только успел вскочить, схватить свой автомат и рацию и выскочить на улицу через ту дверь, которая выходила не на улицу, а во двор. Во дворе передо мной сарай, справа от сарая был выход в сад, но я уже не мог воспользоваться выходом в сад, потому что выход был против входа с улицы, а там уже входили немцы. Я прямо около этого сарая спрятался за большой щит, который немцы использовали от ветра, такой дощатый щит. Ну, слышу, немцы идут, разговаривают и заходят в дом. Я так и жду: наверное, сейчас меня поляк может выдать, потому что там от меня могли остаться сигареты или что-нибудь еще, – что он скажет, и тогда они меня просто расстреляют сквозь этот щит прямо с крыльца. Что делать – сижу и жду. (*Смеется.*) Потом – затишье,

я смотрю: никого нет, поляк меня не выдал. Вылез из-под этого щита. Меня никто не увидел, через сад я вышел, обогнул дом, вышел на дорогу и пошел в ту сторону, откуда немцы приехали, в общем, по этой дороге, откуда должна была наша машина прийти. Была полная темнота. И вдруг навстречу идет машина какая-то.

Н. Р. : *Какая? Наша?*

Б. Н. : *Какая... И я думаю: какая машина, наши или немцы? И вот Вы говорите, какой тут страх! Чувство было такое: я только знал, что, если я пропущу машину, меня расстреляют. Я должен был рисковать. Я пошел наудачу, в общем, оказалась наша машина. Вот за это мне дали медаль «За отвагу».*

Н. Р. : *Вы молодец! Борис Николаевич, а ранение у Вас было?*

Б. Н. : *Была контузия, когда на Проне Колю убили. А больше ничего не было. Контузия была. Когда засыпанный я лежал. С восьми утра я лежал до десяти вечера. Что значит молодость и сила! Хорошо еще, что мне лицо не засыпало землей, а то бы так и похоронили, так и засыпали живого.*

Н. Р. : *Борис Николаевич, а вот немцы – что Вы можете сказать о немцах? Немцы – они ведь очень разные были. Некоторые говорят, что они были звери, некоторые наоборот...*

Б. Н. : *Немцы – они очень дисциплинированные люди. То есть они выполняют приказ, несмотря ни на что. Этих молодых ребят, которых Коля сам расстрелял, – им было примерно по пятнадцать лет!*

Н. Р. : *Они сами сказали, что им пятнадцать лет?*

Б. Н. : *Ну, по виду. Мне тогда было семнадцать, я чувствовал себя уже стариком. Пятнадцать-шестнадцать лет, подростки, но как держались! Никто не плакал, никакой*

пошады не просил. Стойкость какая-то в них заложена. Солдаты прекрасные. И очень дисциплинированные.

Н. Р. : *А во время войны у Вас была к ним такая бешеная ненависть, как у вашего Коли?*

Б. Н. : Нет, такой ненависти не было. Некоторые питали ненависть, но у них это уже было психическое. Вот у нас был один разведчик, он был садист. Ему просто нравилось убивать. Вот однажды мы захватили хутор, там изба, и стоит сарай какой-то. Обыскали сарай, нашли там двух немцев. С нашей точки зрения, стариков, конечно: сорок лет, наверное, им было. Я единственный знаю немецкий. Стоит наш командир – рука раненая: снайпер немецкий подстрелил – и допрашивает его.

Н. Р. : *А хороший был командир у Вас?*

Б. Н. : Хороший, молодой, да. (Смеется.) Я разговариваю, и вдруг – ууууу – прямо на меня, вот так протягивается с пистолетом рука и немцу стреляет вот сюда. (Показывает.) Немец стоит передо мной, и я вижу, как у него мозги летят кверху... Голову прострелили... Этот парень...

Н. Р. : *Садист?*

Б. Н. : Садист, да. Его даже командир боялся. Он был очень молодой, наш командир. Командир ему: «Ты чего, зачем?». А он: «Чего, можно подумать, этот старик что-то тебе расскажет!». А второго немца этот же самый садист застрелил вечером. Помню, у немца дрожали пальцы; он показывал пальцами: курить дай, курить дай... Он был просто садист. Я его не знал, не знал его историю. Но солдат был хороший. Разведчик был хороший.

Н. Р. : *А в разведку как-то специально людей отбирали?*

Б. Н. : Да нет, нет! Тогда людей не хватало! Какой там – людей не хватало, на подхвате были все! Присылали кто был.

Н. Р. : *Сейчас очень много говорят про специальные заградотряды, расстрельные роты, которые шли сзади...*

Б. Н. : Ну, Вы знаете, я с таким ужасом не сталкивался. Ну, видел, конечно, штрафников. Штрафников – их как использовали? Мне два или три раза приходилось участвовать в прорыве, форсировании. Это обычно как начинается: за час начинается артподготовка, то есть стреляют из всех оружейных стволов по противнику, затем уже начинается атака. Вперед бросали в бой штрафников. Они гибли как мухи, просто как мухи. Мы, когда шли следом, то трупы лежали просто через каждые три шага, через два. Я помню, как в первый раз мне нужно было перешагнуть через труп, на передовой... Иду по траншее: лежит мертвый солдат.

Н. Р. : *Наш?*

Б. Н. : Наш. Немцы обстреляли – лежит мертвый солдат. Ну, наши ногами прямо по нему идут. Я не мог, вылез и шел на открытом простреливаемом пространстве, под пулями...

Н. Р. : *А потом?*

Б. Н. : А потом уже тоже по трупам шагал! Потом шагал...

Н. Р. : *А в 1945 году?*

Б. Н. : В 1945 году – ну, как было? – 1945 год для меня так наступил. Как известно, немцы предприняли атаку против англичан – там, на севере, и те у нас запросили помощи. А мы в это время стояли на реке Висла.

Н. Р. : *Вы всё время шли на запад? В каких местах Вы еще были?*

Б. Н. : До Смоленской области я уже был где-то в районе Восточной Германии, потом наша дивизия потерпела

большие потери и была переформировка – потом, месяца два. А после я уже попал в эту, на Проню, на юг. А до этого я был на севере. Потом мы через всю Польшу прошли и подошли к этому Франкфурту. Наша дивизия была Сибирская, и мы в городках боев не вели, мы вели бои только в лесах, в полях.

Н. Р. : *То есть в Германию Вы фактически уже вошли зимой 1945 года, да?*

Б. Н. : В феврале 1945 года. Это я сейчас вспомню... Когда меня ранило, по-моему, был апрель месяц, начало апреля. Так что в марте месяце, наверное... Где-то так.

Н. Р. : *А как Вы узнали про Победу? Вам сказали?*

Б. Н. : Так это я сам узнал. Я скажу, как я узнал про Победу. Я стоял на посту, на Эльбе стоял, на берегу. Тихо, спокойно-ненько все. Примерно часа два ночи. Вдруг на американской стороне (а мы с американцами связь имели очень редко)... Ну, опять же, я единственный человек, который немножко знал английский. (Смеется.) С той стороны к нам приехала делегация довольно-таки видных людей, генералы, может, полковники – а у нас никто не знает английского. Ну, наши знали, что я язык знаю, меня вызывают, я прибегаю туда – в общем, переговоры. Если на лодках приезжают американцы с той стороны – мы с ними говорим о том о сем. В Тюрингии есть такое место, Тюрингер-Вальд называется, очень красивое, связанное с Лютером – Лютер как раз там родился, Виттенберг – место, где он прикрепил свои знаменитые 95 тезисов, – все там. Это место захватили американцы, но потом произошла сделка. Берлин мы захватили, а они тоже хотели Берлин, и договоренность была со Сталиным: они нам часть территории отдали – этот Тюрингер-Вальд, а мы их пустили в Берлин, в Западный Берлин. Такая произошла сделка.

У них осталось здесь очень много имущества: склады, еще чего-то – им нужно было всё вывозить, и американские машины время от времени туда приезжали и увозили это имущество. Это как раз рядом с нашей частью было. И вдруг однажды: «Гашев, к командиру полка!» – потребовалось с английского переводить. Я прихожу – наш офицер уже в доску пьяный, и американские офицеры тоже выпили порядком. И там был один наш майор – майор Крутов, кажется, его звали, начальник штаба. (Он потом был, по-моему, мэром подмосковного города Долгопрудный, точнее, председателем исполкома. Недавно умер. Я даже успел с ним незадолго до этого встретиться.) Ну и в конце концов решили, что уже под вечер Крутов поедет к американцам – они его пригласили. И он говорит: «Ты поедешь со мной, будешь переводить». Ну, я: «Есть! Поеду». Посадили нас в машину, дороги там отличные были – поехали с ветерком... Через некоторое время мой майор пришел в себя и понял, что едет к американцам, черт его знает... что делать? Время было такое... Он просит, чтобы нас немедленно везли обратно. – «Нет, мы не можем, вот привезем, выполним распоряжение...»

Довезли нас до реки Фульды или Вайды, не помню, – это река там такая течет, далеко течет, в американскую сторону. Ну и вот, встречали нас очень торжественно. Только одни офицеры. Как раз только что умер Рузвельт, Трумэн стал президентом. Выпили за того, за другого. А мой майор все не перестает опасаться: «Слушай, Борис, давай, убираться отсюда надо!». А уже примерно два часа ночи. Мы сидим, общаемся. То молчим, то разговариваем. Да и у меня английский был на очень низком уровне, только-только. Там был майор... сержант Гриффитс, который нас привез на машине, я с ним по дороге поболтал немножечко. Говорю: «Сержант, давай, обратно мы хотим». А майор мне говорит: «Надо чего-то ему дать».

У майора фуражка очень хорошая была, я говорю: «Давай ему свою фуражку...» (*Все смеются.*) Он фуражку снимает, и мы этому самому американцу фуражку вручаем. Он нас выводит на улицу. Идет сплошной дождь, это уже ночью было. Мы в машину садимся, с капотом таким, и он нас повез. Я сразу заснул.

Ни один американский пост нас не остановил, но первый же российский, советский, пост остановил: «Кто такие, то-то-то то-то-то-то...» Американца отпустили, а нас – сразу к командиру: «Разберемся, кто вы такие». Майор говорит: «Надо отсюда делать ноги. Нас расстреляют, подумают “американцы” приехали». Ну и вот... «Ребята, – говорим, – в туалет, пописать надо, мы сейчас придем». – «Ну ладно». А мы только вышли – темно, дождь идет – сразу кинулись бегом в сторону шоссе. Побежали в сторону шоссе, а там стояли три американские машины. Я остановил одну машину, мы сели, и нас довезли прямо до нашей части. Майор говорит: «Слушай, Гашев, запомни: с этого момента ни слова никому, где мы были и что делали! Ни-ко-му, никогда, понял?» – Я говорю: «Понял, товарищ майор!». И действительно, после войны даже никому ни слова мы об этом не говорили.

Н. Р.: *Интересная история! Борис Николаевич, у Вас много наград. А какая самая дорогая?*

Б. Н.: Самая важная для меня – Орден Славы, естественно. Я георгиевский кавалер! И медаль «За отвагу».

Н. Р.: *Орден Славы Вам дали, когда Вы не ушли раненый с поля боя?*

Б. Н.: Да, а «За отвагу» – когда я спас машину от немцев, с пушкой... А потом здесь уже, в институте, дали орден, не знаю за что – орден Отечественной войны III степени, потом еще... Да много орденов – орденов и медалей.

Н. Р. : *А откуда Вы знали языки: немецкий, английский?*

Б. Н. : Я с 1925 года, родился на Урале, на платиновом прииске. Отец у меня работал врачом, а потом его перевели в сибирский город Шадринск. Мне тогда было, наверное, года два. И в этом Шадринске я прожил семь лет. Отец там работал хирургом. Интеллигенции не было. В 1918 году Николая II расстреляли в Екатеринбурге, это было недалеко. Там была царская свита довольно большая, и эту свиту разослали по разным сибирским городам. И часть из них оказалась в нашем городе Шадринске. Ну, интеллигенции там не было, отец был один из немногих, о ком можно было сказать «интеллигент». У отца была страсть: он очень здорово играл в преферанс и в шахматы хорошо играл. И у нас все время ближе к вечеру были гости – вот... из царской свиты. Они с собой много имущества привезли всякого, в том числе, например, пианино – до сих пор оно у меня стоит: мне его купили. Двое из них хорошо по-немецки говорили, взялись меня немецкому учить. Я помню, что мне не хотелось, я брыкался. Но чему-то они меня научили. Просто они приходили к нам домой, пока были. И там же меня к музыке стали приучать, когда мне еще было мало лет, – посадили за это пианино.

Н. Р. : *Борис Николаевич, а восточные языки? Почему Восток, почему выбрали востоковедение?*

Б. Н. : После войны я попал в Московский институт внешней торговли. Ну, квартиры никакой, прописки нет, без прописки жил, в общем, как негражданин где-нибудь в Латвии.

Н. Р. : *А поступили Вы легко – не по конкурсу, а как фронтовик?*

Б. Н. : Как фронтовик. Народу было мало, те, которые окончили хотя бы 9-й класс, а таких было мало, были нарасхват. (Смеется.)

Н. Р. : *А почему Вы выбрали внешнюю торговлю?*

Б. Н. : А потому что я уже в школе, когда в старших классах учился, стал изучать английский язык на заочных курсах, которые были в Москве. Я переписывался с этим институтом... Очень хорошие были курсы. Я помню, первая фраза, которая была: *My leg is...* Так и запомнил. И я учил английский года два, наверное. Потом отец выписал мне газету на английском языке, тоже, значит, стала выходить. Немецкий немножко заложили вот эти папины знакомые... А французский выучил уже в Институте внешней торговли. А вот как я арабский-то выбрал – это получилось забавно. На третьем курсе у нас был урок марксизма-ленинизма. И тут приходит человек, который был на практике в министерстве, и говорит: «Ребята, что делать?! Юристы там не нужны! – (а я был юристом). – Не берут юристов. Наверное, всех юристов будут посылать на границу с Монголией, с Китаем, на таможне работать – больше некуда». Я думаю: что делать? Надо брать еще какой-нибудь другой язык. А в это время (это был 1948-й или 1949 год) на Ближнем Востоке было движение против англичан, там какие-то были выступления. Ну и меня, конечно, как молодого человека... «Стану русским Лоуренсом! Прославлюсь и удивлю мир». Такие мечты были дурацкие совершенно, «стану русским Лоуренсом». Но на всякий случай я всех своих ребят, которые учили разные языки, спросил: «Твой совет: какой мне учить язык?». И больше всего мне понравилась записка, где было написано так: «Альф лейля ва лейля» («Тысяча и одна ночь»). Мне понравилось, как была написана эта фраза. Я пошел в библиотеку в перерыве между двумя занятиями, там был самоучитель, очень хороший двухтомник арабского языка на английском языке. Я его взял и потихоньку начал учить. Потом поехал в Ульяновск на лето,

там учил. У меня дома есть фотография: я в таком халате, в чалме... Потом приехал и за два курса сдал экзамен.

А потом весь интерес к Востоку стал пропадать... У нас преподаватель был как раз из нашего института. В основном в карты, в шахматы играли на занятиях, ну, в общем, ясно, что ничего не получится. Я и решил, что так и будет: закончу я этот институт, и меня пошлют на монгольскую таможеню, я там сопьюсь, и все. У меня 50 рублей в кармане осталось, и я пошел на эту комиссию. И вдруг мне говорят: «Борис Николаевич, – я до сих пор запомнил эту фразу, – мы начинаем очень активные экономические отношения с Ближним Востоком. И мы вас посылаем (а я хорошо окончил институт, на пятерки) – мы вас посылаем в Министерство внешней торговли. Если вы будете хорошо там работать, вас будут носить на руках». И я оказался там – как раз построили это высотное здание, где сейчас Министерство иностранных дел, в 1951 году. Я стал одним из первых работников, кто переступил его порог. Работал на третьем этаже. А выше уже было Министерство иностранных дел.

Не прошел и год, как появляется упитанный какой-то человек, оказывается наш торгпред из Египта. Подходит ко мне: «Слушай, парень, хочешь, поехали со мной в Египет?». – «Конечно, хочу!». – «Ну, для этого тебе нужно жениться». (*Смеется.*) Ну, я был, скажем прямо, небольшой любитель женщин, так и не женился. И поехал неженатым...

Н. Р. : *А зачем надо было жениться?*

Б. Н. : Если ты поедешь неженатым, то можешь там натворить всяких дел. Неженатых тогда не посылали, старались не посылать. Человек молодой, кровь горячая – наделает дел, а начальнику отвечать.

Н. Р.: Борис Николаевич, но Вы не рассказали, как Вы узнали о Победе?

Б. Н.: Так вот, я стоял на берегу этой самой Эльбы, и вдруг началась американская стрельба. У меня сразу все внутри опустилось, потому что я мечтал наконец закончить воевать, поехать домой и жить нормально. А тут опять!.. Очередная война, с Америкой.

Н. Р.: С Америкой?

Б. Н.: С Америкой. У меня же как было, я в то время был убежден, что мы немцев разбили и разобьем вообще кого угодно, но просто на это потребуется время. И вот цацкаться какое-то время придется с этими америкашками, черт побери. В это время я смотрю, едет какой-то мотоцикл по дороге. (Смеется.) Остановился: «Все, парень, война кончилась!» Из автомата в воздух – тррррррр! Я тоже из автомата дал очередь.

Н. Р.: Это наши были, да?

Б. Н.: Наши, да. Оказывается, не нас они обстреливали... Это был салют. Вот так я узнал о конце войны. Вернулся, а командование пьяное уже. (Смеется.)

Н. Р.: А какое отношение к американцам было? Союзники?

Б. Н.: Нам запрещалось с ними общаться, запрещалось. К Западу отношение какое было? А потом Гитлер напал на нас, и это сделало их более или менее... не друзьями, но союзниками. Но друзьями американцев и западников мы никогда не считали. Хотя мы ездили на прекрасных американских машинах и все такое...

Н. Р. : *Если бы не американцы, то было бы сложно, хотя бы взять продукты, вооружение, военную технику...*

Б. Н. : Нет, нет! Если бы не американцы, мы бы не выдержали этой войны! Но я только так думал: с американцами еще придется воевать. Ну, придется, что ж... Это время займет...

Н. Р. : *А у Вас были сомнения, что мы выиграем эту войну с Германией?*

Б. Н. : Нет, никогда. По-моему, ни у меня, ни у кого не было. Мы уже были на фронте в то время, когда началось наступление. Это было после Сталинграда. До Курской дуги – да, но после Сталинградской битвы был такой подъем...

Н. Р. : *Какую роль в Вашей жизни сыграла война?*

Б. Н. : Огромную. Война – самое сильное и самое лучшее, что было в моей жизни!

Н. Р. :???

Б. Н. : Такой остроты и полноты жизни, дружбы, счастья, такого адреналина от постоянной опасности и радости, что ты жив, больше не было никогда...

Владимир Эдуардович Шагаль

Родился 22 ноября 1925 г. в Москве
Окончил Военный институт иностранных языков
Советской Армии (1951)
Доктор филологических наук (1990)
Специалист по Арабскому Востоку
Работал в ИВ РАН с 1978 г.
Главный научный сотрудник ИВ РАН
Ветеран Великой Отечественной войны, участник
боевых действий
Умер в 2015 г.

Наталья Романова: Владимир Эдуардович, у Вас сколько орденов?

Владимир Эдуардович: С 1948 года я ни разу не надевал форму, только гражданский костюм. В течение трех лет я был первый и единственный офицер со знанием арабского языка, занимающийся Арабским Востоком в ГРУ.

Н. Р.: Это какие года?

В. Э.: Это 1951, 1952, 1953 годы. Все остальные ребята потом – это уже были мои ученики.

Н. Р.: Скажите, пожалуйста, из какой Вы семьи?

В. Э.: Я из интеллигентной семьи. Отец мой был членом правления Госбанка СССР. И эта фамилия была там достаточно известна. Потому что он отвечал за доставку денег

по всей стране. И мама моя была довольно известным врачом. В годы войны она была начальником военного госпиталя. Мой старший брат, двоюродный, погиб. Я остался один. Если Вы сейчас войдете в ТАСС, то увидите мою фамилию. Там написаны на доске фамилии работников ТАСС, которые погибли на фронте. Седьмая фамилия – моя, но это не я. Это мой старший брат, двоюродный, Шагаль Сергей Леонидович (1920–1944, погиб на Волыни. – Прим. Н.Р.).

Н. Р.: *Где Вы жили в Москве?*

В. Э.: Мы жили на Русаковской улице, дом 7, квартира 4, рядом метро Красносельская. В нашем доме жила известная певица, Ольга Васильевна Ковалева; дочка ее, Маришка, потом снималась в кинофильме «Тимур и его команда». Недалеко от дома была и школа. Это 315-я школа, которая была экспериментальной при Академии педагогических наук. Когда я иду после занятий в Сокольниках, я обязательно прохожу мимо дома, в котором жил.

Н. Р.: *А сколько Вам было лет, когда началась война?*

В. Э.: Мне тогда было пятнадцать с небольшим. Я попал на фронт, когда мне было всего 17 лет и один месяц, трижды был ранен, и сейчас я инвалид войны по ранениям. Осколки есть в моем теле... Какие-то из них извлекли, а какие-то не смогли. На войне мне помогло знание немецкого языка. Я был в бывшей 62-й, ставшей потом 8-й Гвардейской, армии, которой командовал Чуйков. Нас, людей со знанием немецкого языка, в армии было очень мало. Меня использовали в разведке. Когда Чуйков узнал, что мне еще нет 18 лет, он вообще вытаращил глаза и сказал: «Поедешь учиться». И меня направили в город Чкалов (ныне Оренбург) в танковое училище.

Отучившись три месяца, я опять пошел на фронт, где пробыл до окончания войны. И тут после этого меня и еще нескольких человек отправили на станцию Правда, недалеко от Мытищ, для получения новой техники. Я получил самоходную артиллерийскую установку СУ-76, стал командиром батареи. И нас направили по железной дороге на Дальний Восток. Забили машины досками на платформе, нас посадили в товарные вагоны, запретили выходить и повезли. Так что мне довелось побывать на войне не только в Германии, не только в Польше, но и на Дальнем Востоке. Я был в той небольшой группе офицеров, которая добралась до границы с Кореей и Китаем, и в августе 1945 года мы форсировали реку Тюмень-Ула* и оказались на территории Кореи. Я ее прошел всю, правда, потерял три машины, три самоходки, был в той группе, которая вышла на 38-ю параллель. К нам прилетел самолет, сбросил вымпел, на котором было написано: «Остановитесь, дальше не двигайтесь, идут американцы».

Мы приняли участие в сдаче японской дивизии, которая воевала против нас. Это как раз та дивизия, которая воевала на озере Ханка, на Дальнем Востоке. Если помните, это было одно из первых наших столкновений с японцами во Второй мировой**. В Корею я пробыл несколько месяцев. Потом командующий армии, узнав, что мне всего девятнадцать лет, вызвал меня и говорит: «Поедешь в Москву учиться. В академию. Я, как депутат Верховного Совета, забираю тебя с собой». И я с ним целый месяц ехал в поезде. Приехал в Москву, но это был уже октябрь 1946 года, занятия уже начались. И начальник главного управления кадров сказал: «Ну что ж, тебя уже в Бронетанковую академию не могут принять». Начальник академии Ковалев сказал,

* Название до 1974 года. Современное название – Туманная; китайское название – Тумыньцзян; корейское – Туманган.

** 5 июня 1937 года японские военные подразделения вторглись на советскую территорию и заняли сопку у озера Ханка, но вскоре отступили обратно.

что на следующий год он меня возьмет. И чтобы остаться в Москве, меня пристроили в Военный институт иностранных языков. Они ведь рядом, Военный институт и Бронетанковая академия. Там в арабской группе было всего два человека, вот в эту группу меня и засунули. И я проучился в ней уже до конца. После первого курса предлагали перейти в Бронетанковую академию, но я отказался.

Институт закончил с отличием, мой портрет висит на Доске почета. По окончании института меня забрали в Главное разведуправление. И тогда я уже стал курировать ребят, которые изучали Восток, и направлять их в ГРУ, в котором сам работал. Но не только там, после этого меня направили в Военно-дипломатическую академию – ВДА. И я был создателем целого направления в ВДА. В моей первой группе были: Герой Советского Союза Саша Мнацаканов*, недавно он умер. Второй – Тырса**, тоже Герой Советского Союза. Синельников Вадим... Это была первая группа ребят, которые закончили в 1954 году ВДА и стали возглавлять все эти направления – арабские, азиатские. А мне пришлось работать одновременно в ГРУ советником. Я прослужил там до 1980 года. Представьте себе, почти 30 лет. Я был в 14 арабских странах, и в какую бы страну я ни приезжал, обязательно либо помощник, либо военный атташе – это мой ученик. Но не только наши ребята, но и арабы. В ВДА я очень рано защитил кандидатскую диссертацию, в 1951 году. Еще через несколько лет – докторскую. Единственное, мне нельзя было себя нигде особенно показывать по той причине, что я работал в ГРУ и сидел на улице Грицевец, это около Арбата. Там, где находилось тогда Главное разведуправление. И там я познакомился

* Александр Сидорович Мнацаканов (Мнацаканян, 1921–2004) – советский офицер, участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант. Герой Советского Союза (1945).

** Владимир Геронтьевич Тырса (1923–2009) – полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

с Виталием Наумкиным*, когда он пришел поступать в академию и заниматься арабским языком.

Итак, я работал в Военном институте и в Военно-дипломатической академии. У нас были очень интересные люди, которые много лет проработали за рубежом, и они делились опытом своей работы. Мне приходилось обобщать все эти данные и объяснять их на своих занятиях. Меня использовали довольно, я бы сказал, опытные люди, потому что они понимали, что дело не только в знании языка, но и в знании культуры, в знании литературы. А я очень рано начал заниматься переводами с арабского языка на русский. Уж так получилось, что я стал первым членом Союза писателей – арабистом. Это было в 1980 году. У меня уже тогда вышло пятнадцать книг, переводов с арабского языка на русский. Если говорить о тираже, то это почти 6 миллионов экземпляров, потому что тогда книги выходили тиражом не 300–400 экземпляров, а самое маленькое 50 и 100 тысяч. И я работал, занимался переводами и писал.

Н. Р.: *Очень известна Ваша книга «Арабский мир: пути познания».*

В. Э.: Да, это о том, как нам работать с арабами.

Н. Р.: *Вы сказали, что посетили четырнадцать арабских стран. А первая из них какая?*

В. Э.: Первая страна – это была Ливия, причем в это время в Ливии еще правил король. Я всегда вспоминаю, как по приезду посол стал меня инструктировать: «Вы приехали в Ливию...» А его заместитель, полковник КГБ, говорит: «Он автор книги о современной Ливии». Первая книга, которая у меня вышла, – это была «Современная Ливия». «Это неважно, я обязан его проинструктировать», – сказал

* Виталий Вячеславович Наумкин – доктор исторических наук, профессор, академик РАН, научный руководитель ИВ РАН.

посол. «Вы приехали в Ливию, это арабская страна. Столица – город Триполи. Вы в ней находитесь...» Ну, это ладно, просто забавно было. А на следующий день король пригласил нас к себе в парк – в Триполи есть парк королевский – и поил чаем. И впервые я попробовал множество сортов чая, делал по одному глотку.

Н. Р. : *Думаю, подобных ярких впечатлений у Вас очень много. Расскажите.*

В. Э. : Я, так случилось, был в Ираке одним из последних.

Н. Р. : *Вы виделись с Саддамом Хусейном?*

В. Э. : Да, еще бы... Посол тогда запретил мне лететь самолетом: могли сбить. И меня везли из Багдада до Кувейта на машине. И вот тут я вспоминаю сцену, как на границе кувейтцы простукали всю машину. Они стучали везде, искали, а вдруг мы что-то везем. И из Кувейта я уже полетел самолетом в Москву. Тогда уже началась война, это был последний выход Саддама. И я видел Саддама и говорил с ним. И что меня поразило – что каждый раз, с кем бы я ни встречался в Ираке, человек называл свое имя, а потом добавлял имя Тикрити. Я сперва не мог понять, что это такое. Потом выяснилось, что они все из одного селения, в котором родился Саддам Хусейн, все руководство иракское. Вот это факт очень важный, который объясняет, кто был у власти и что это были за люди.

Еще яркое впечатление... Вы знаете главного редактора журнала «Наш современник»?

Н. Р. : *Станислав Куняев?*

В. Э. : Правильно. Мы с Куняевым вместе были в Алжире. Президент Бутефлика тогда принял нас, причем нашего посла не принял, сказав: «Я не буду делать официального приема». Потому что присутствие посла означает, что прием

официальный. Мы беседовали о разных проблемах, и я был поражен, насколько он старался проникнуть в суть взаимоотношений России и Алжира.

То же произошло и в Тунисе. В Тунисе я встречался и с президентом, и марокканскими руководителями. И там была такая специфическая деталь: они обращали внимание на то, что ты говоришь только по-арабски и отказываешься употреблять французский язык. А они стремились показать тебе, что говорят на французском языке. Почему? Да потому что хотели показать, что они образованные и культурные люди, что помимо арабского они знают еще и европейский язык. Вот, это надо тоже чувствовать.

Н. Р. : *Как Вы оцениваете наши нынешние отношения с арабским миром?*

В. Э. : Они очень ухудшаются. Я несколько лет подряд был председателем Государственной экзаменационной комиссии в РУДН им. Лумумбы. В прошлом году были представлены всего две страны. Всего 46 стран, и только две из них – арабские. Ужасно! Как же это так?! И вот сейчас для меня очень важно, что здесь в институте директором у нас стал арабист, Виталий Вячеславович Наумкин. Это великое дело, почему? Потому что это может поспособствовать укреплению и развитию связей с арабскими странами, а это может привести к тому, что снова увеличится количество арабов, которые будут приезжать сюда учиться. Я четыре года работал в Соединенных Штатах Америки. Посетил 27 американских университетов с лекцией, в которой рассказал, как мы занимаемся изучением Востока. По окончании выступления подходили люди побеседовать. И я был поражен, какое количество там кувейтцев. Надо знать, что, когда рождается в Кувейте ребенок, ему в банк на учебу кладут 12–14 тысяч долларов, и когда он становится совершеннолетним, у него уже солидная сумма. И он решает, куда ему

ехать. В последнее время, в последние годы никто в Россию не едет, а едут во Францию, едут в Штаты...

Н. Р.: Скажите, Вы довольно случайно попали в группу арабского языка. А прежде у Вас был какой-то интерес к Востоку?

В. Э.: Нет. В школе у меня была склонность к математике. Я уделял этому много внимания. В моих документах Вы можете увидеть, что я учился на первом курсе Бауманского института. Мне было 17 лет. И не закончив первый курс, я ушел на фронт. Так что не было у меня склонности к литературе, к какому-то искусству...

Н. Р.: Как для Вас началась война? Вы помните тот день?

В. Э.: Помню. Мы были с братом и с родителями на даче под Москвой, станция Ильинская, это где город Жуковский. Носили доски, чтобы построить дом.

Н. Р.: Вам сколько было лет?

В. Э.: Мне было шестнадцать лет. Вдруг кто-то прибегает и говорит: «Война! А вы тут черт знает чем занимаетесь». Какая война? А соседом по даче у нас был Туполев (знаменитый авиаконструктор. – Прим. Н.Р.). В этот момент приезжает машина, Туполев выходит, мой брат к нему, и тот говорит: «Да, началась война». И мы сразу же после этого поехали в Москву, к себе на Русаковскую улицу. Прошло некоторое время, пришли повестки, и брат мой ушел в армию, на фронт.

Н. Р.: А брату сколько тогда было лет?

В. Э.: Он 1920 года рождения был. Но так случилось, ему пришлось уйти сразу в армию. До войны он учился в Институте им. Мориса Тореза на переводчика (немецкий язык).

Ну, а мне на фронт было еще рано. У меня была двоюродная сестра, которая тогда работала в Москве в Институте автоматики и механики, где директором был Зернов, академик, а она была его замом. Их институт эвакуировали в Ульяновск, и тетя с сестрой забрали туда и меня.

Я прожил у них несколько месяцев, а потом уехал к маме в Казань, которая была назначена начальником госпиталя 2784. Жил у нее, и там я поступал в Бауманский институт.

***Н. Р. :** Скажите, а ожидание войны висело в воздухе? Было ощущение, что это будет что-то страшное?*

В. Э. : Было ожидание, что война должна вот-вот начаться. Было это ощущение. С одной стороны, это было связано с тем, что нас постоянно информировал папа, который занимался валютой. Он предупреждал: «То, что Молотов подписал с Риббентропом соглашение – это игра. Сам факт игры не говорит об устойчивости ситуации».

***Н. Р. :** Было ощущение, что это надолго? Некоторые говорят, что ожидали победы через несколько месяцев.*

В. Э. : Нет, нам так не казалось. Уже была информация о том, как немцы воевали. Мы знали, что они захватили Францию, знали, что англичане никак не могут высадиться, знали о бомбежках в Великобритании, Лондоне. Очень много зависело от того, какие у тебя каналы информации. У нас и в доме, и в школе было немало ребят из таких семей, которые были хорошо информированы. Я никогда не забуду, как я был в Доме Академии наук и один член-корреспондент сказал: «Это очень опасная война для нас, потому что немцы не забывают результаты империалистической войны и постараются сделать все, чтобы компенсировать свои потери в годы Первой мировой». Кроме того, бабушка моя жила в Латвии, в городе Двинске, который сейчас называется Даугавпилс. Она приехала в Москву, и ее отправили под Саратов...

Н. Р. : *В Даугавпилсе находился страшный немецкий концлагерь.*

В. Э. : Совершенно верно. Бабушка рассказывала нам, что там происходило, как наши готовились к встрече с немцами и какой был раскол латышского общества, как многие уже начинали работать на немцев. Такая же ситуация была и в Литве, точно так же, как это было и в Польше. Этот фактор всегда присутствовал. «Мы независимые латыши, а вы хотите снова нас сделать своими рабами».

Н. Р. : *Пока Вы были еще в Москве, брата призвали в армию. А куда его призвали, где он воевал?*

В. Э. : Он всю Украину прошел, как потом и я. Я попал на фронт уже в начале 1943 года, мне было всего 17 лет и первое, что я увидел – была листовка, на которой было написано: «Власовцам от Власова». Я не мог понять, что это значит, и когда стал спрашивать солдат, офицеров, никто из наших не знал. Потом вдруг мы нашли одного офицера, который сказал: «Как? Дивизия, в которой вы и которая стала 88-й Гвардейской – это та дивизия, которой командовал Власов и которая его прославила»*. В этой 88-й дивизии я и прослужил до освобождения всей Украины, был трижды ранен и принимал участие в боях вплоть до освобождения города Одессы. Из Одессы меня уже направили учиться в танковое училище.

Н. Р. : *Вы помните осень в Москве в начале войны? Какие настроения были в Москве тогда?*

В. Э. : Я вспоминаю, когда бомбили Москву, об этом объявляли и по радио, и в печати. Отец с Госбанком уехал в Казань

* Еще до войны Власов сделал 88-ю дивизию образцовой, за что был награжден. В начале войны, уже без Власова, дивизия оказала врагу достойное сопротивление и была награждена орденом Красного Знамени.

где-то в октябре, а мы с мамой еще оставались в Москве. Я вспоминаю сцену, когда были налеты немецкой авиации на Москву, и мы бежали все в метро Красносельская. Помню, люди уже занимали место, лежали на матрацах... Как они поднимались и говорили моей маме: «Ольга Михайловна, я для Вас заняла место». Потому что мама была врачом, которого знали, ее поликлиника и по сей день работает, она на Красносельской так и находится. И я недавно ездил туда, чтобы увидеть, вспомнить все это. И когда стояли длинные очереди в магазинах и нужно было получить хлеб, масло и прочее, тоже кто-то впереди говорил: «Ольга Михайловна, идите, для Вас место». Я вспоминаю отношение людей и уважение, для меня это был своеобразный символ того, как люди в то время относились друг к другу.

Н. Р.: *Вы были осенью еще в Москве. А когда Вы эвакуировались в Ульяновск?*

В. Э.: В Ульяновск я уехал в декабре и там школу окончил.

Н. Р.: *А разговоры о том, что немцы идут к Москве, что Москву могут сдать? Вы помните это?*

В. Э.: Я помню очень хорошо, это было одним из главных поводов, почему меня, мальчишку, родители отправили одного в поезде с чемоданом. Меня встречала сестра.

Н. Р.: *Мама осталась в Москве?*

В. Э.: Да, а потом она уехала к папе в Казань. А я в Ульяновске был. Закончив в Ульяновске школу, поехал в Казань к родителям и там поступил в Бауманский институт. Но я не просто учился, я работал слесарем на заводе, который тогда назывался «Эврика», у меня есть документы, что я слесарь четвертого разряда. Работал и одновременно учился. Но проучился всего полгода.

Н. Р. : *Как Вас забрали на фронт?*

В. Э. : Я уходил из Казани в начале 1943-го. Начальник военкомата говорил моей маме: «Ольга Михайловна, зачем Володе идти на фронт, я его могу здесь в тылу оставить». А я сам подал заявление. Мама была начальником госпиталя, ей было неудобно. Помню, как она плакала, когда мы уезжали. Мы ехали в Москву, потому что меня отправили в Первое московское пулеметное училище, которое находилось в городе Рязани.

Н. Р. : *Дальше в 8-ю Гвардейскую армию?*

В. Э. : Да, в армию Чуйкова, которая защищала Сталинград, вот я в нее и попал сразу, поэтому с Василием Ивановичем Чуйковым у меня были, признаюсь, хорошие отношения. Он меня хорошо знал, потому что сам мне вручал орден Красной Звезды. Он меня каждый год приглашал к себе на день рождения, 12 февраля. А потом, когда Чуйков умер, меня стали приглашать в школу им. Чуйкова на улице Чуйкова в Москве. В этой школе есть выставка фотографий, которые сделал его сын.

Н. Р. : *А почему пулеметчиком? Это Вы сами решили быть пулеметчиком?*

В. Э. : Нет. Просто это первое училище, которое появилось. А на фронте благодаря знанию немецкого языка я попал во Вторую ОГРС – Вторая отдельная гвардейская рота связи.

Н. Р. : *Связисты на фронте были очень важны...*

В. Э. : При обстреле первое, что летело – это провода, связь прерывалась. От нас требовали, чтобы мы бежали восстанавливать связь. Я брал провод, держал его в руке и бежал, и вдруг он обрывается. Ты начинаешь его соединять, и в этот

момент тебя накрывает снарядами, и таких эпизодов было немало. Я всегда вспоминаю, как это было под Днепропетровском, как это было под Запорожьем, сколько людей у нас погибло только из-за того, что ты обязан, ты должен восстановить эту связь.

***Н. Р. :** Каковы были Ваши ощущения, когда Вы впервые попали на фронт? Вы же были совсем мальчик.*

В. Э. : У меня было только одно чувство: бить и побеждать. Только одно было в сознании. Я не понимал наших солдат, которых трясло, когда немцы наступали или когда нас обстреливали, я никак не мог понять, что такое происходит, я им говорил: «Как же так? Что же вы, боитесь?». У меня было в сознании совершенно другое: мы должны победить! Мы должны воевать! Убить врага! И это было определяющим.

***Н. Р. :** Мысль о том, что поражение возможно, была?*

В. Э. : Этого никогда не было. Особенно большую роль сыграл тот факт, что я был в той самой армии, которая победила под Сталинградом. Конечно, когда люди узнавали, что мне 17 лет, они на меня смотрели как на ребенка, да я, честно говоря, и был ребенком. Это одна сторона, а другая – из-за немецкого языка я ходил с разведчиками, а также служил переводчиком на допросах «языков». И был свидетелем многих сцен, когда наши брали немцев в плен, допрашивали при моем участии, а когда я уходил, они их убивали. Я говорил: «Да зачем их так? Ну, взяли в плен, так надо их отправить в плен». «Заткнись!» Всё, никаких разговоров. Люди были малообразованные, у крестьян было образование три класса. Это подавляющее большинство, и это надо учитывать. Когда меня направляли на учебу уже из нашей дивизии, в ней оказалось всего 3 человека, которые имели среднее образование. Моими командирами были Мандрыка

и Демиденко, которые ко мне относились как родители. Они всегда говорили: «Езжай учиться!». А я отказывался, я не хотел уезжать с фронта в училище. Они: «Езжай! Ты нам нужен живым». Все время нажимали, и когда после войны они приезжали в Москву на мою Русаковскую улицу, я всегда вспоминал, как они меня заставляли, чтобы я пошел учиться и получил офицерское звание.

Н. Р. : *Куда Вас отправили после училища и когда это было? В начале 1944 года?*

В. Э. : Меня отправили обратно в 8-ю Гвардейскую. Это было начало 1944 года, и там я был весь 1944 год и начало 1945-го.

Н. Р. : *Получив звание, Вы были строгим командиром?*

В. Э. : Я был тем командиром, который никогда солдат не наказывал, всегда относился к ним как к людям и старался просто объяснить, как водить машину, как стрелять и так далее. Был у нас один товарищ, который над солдатами просто издевался, и вот его я в присутствии всей роты наказал. Просто объявил ему выговор. Почему? Потому что я считал своим долгом просто спасти солдат. А он издевался над ними; его, сына простого крестьянина, сделали командиром, и он считал, что может вести себя, как он хочет.

Н. Р. : *А как Вас ранили в первый раз?*

В. Э. : Первый раз ранили – я был в разведроты, и нас обстреливали из орудий. В меня попало несколько осколков от снаряда. Тогда ребята меня взяли, отвезли в медсанбат, из меня долго это все вытаскивали. Никогда не забуду, как ребята взвода, в котором я служил, выстроились в очередь и как командир сказал: «Чего вы там стоите?» – «А там наш Вова. Мы должны дать ему кровь», – говорят. Я никогда это не забуду, я помню даже фамилию человека, который

первый отдал мне свою кровь, Джуманазаров, он был каракалпак. Поэтому, когда меня спрашивают, кто я по крови, я говорю: «Каракалпак».

Н. Р. : *Какие у Вас самые яркие фронтовые воспоминания?*

В. Э. : Это форсирование Днепра. Я принимал участие в освобождении Запорожья и в спасении Днепрогэса, это наша дивизия как раз спасала. Никогда не забуду, как в Запорожье я бегал по улицам, где тоже был ранен, и думал: «Боже мой! Какой город!».

Н. Р. : *Красивый?*

В. Э. : Да, очень. И у меня есть фотография, где я стою около школы, школы № 8, названной по имени нашей дивизии. И есть еще один интересный показатель: до 1997 года я каждый год из этой школы получал поздравления. А с 1997 года ни одного поздравления по случаю Дня Победы я не получал. Понятно почему? Это взаимоотношения Украины и России. Но в этой школе есть музей нашей дивизии.

Н. Р. : *А что-нибудь про Днепрогэс можете рассказать?*

В. Э. : Там уже были первые батальоны, которые его освобождали, и мы тоже принимали в этом участие. Я вспоминаю эту текущую воду, как мы забирались и двигались по самой вершине, там, где люди ходили. Мы боялись, и ребята говорили: «А вдруг немцы взорвут все это? Что будет с нами?». Эта сцена навсегда осталась в голове.

Н. Р. : *Можно несколько слов про Вашу учебу?*

В. Э. : Меня направили в танковое училище в Чкалове, я проучился там три месяца и получил офицерское звание. Это Оренбург, но тогда он назывался Чкалов. Мы ходили обедать в школу, которая находилась в четырех километрах от здания нашего училища, через весь город строем.

Каждый день. Стыдно все это, когда вспоминаешь, думаешь: «Почему такое отношение к человеку?». Человек на войне – это было неважно, главное «Вперед!» – таков был лозунг маршала Жукова.

Жуков сам был деревенский, и у него отношение к людям было наплевательское: неважно как, надо взять – и все. Когда я лежал здесь в госпитале им. Бурденко, его жена была моим лечащим врачом и, когда дежурила, всегда приглашала меня на беседы. Когда она умерла, я тоже пришел в морг при Бурденко на прощание. Вот подъехал Жуков, вынесли гроб, дочка вышла, цветы положила, а он даже не вышел. Он прилетел из Болгарии, где лечился, плохо себя чувствовал, но похороны его жены и отношения с людьми – «Взять и все!» – характеризуют его как человека черствого.

Н. Р.: *А Чуйков?*

В. Э.: Чуйков совсем другой. Большую роль играло само воспитание, происхождение человека и образование. Уже после войны, когда мы собирались у него дома на его день рождения, можно было услышать такой разговор: «Напомните, в какой вы были дивизии? Ах да, да, это была очень хорошая дивизия, там немного людей погибло, я всегда беспокоился». Вот такое у него было отношение к людям.

Почему у меня были плохие отношения с Рокоссовским и с Коневым? И тот и другой говорили: «Взять Березину! Форсировать Березину! Давай, вперед!». У Рокоссовского об этом написано. Это разные люди, одно дело Ворошилов, он сам брал винтовку, как солдат, чтобы утвердиться, показать, что он готов.

Н. Р.: *Вы считаете это правильным?*

В. Э.: Я считаю правильным другое, если ты командующий армией, то должен все рассчитывать и понимать, сколько может людей погибнуть. Когда ты готовишь приказ, ты

должен учитывать, сколько может погибнуть солдат при взятии этого города и как его брать, чтобы погибших было мало. Возьмите освобождение Белоруссии: договаривались с партизанами, партизаны начинали, немцы на них бросались, и тогда наши двигались в атаку.

Н. Р. : *А приходилось сталкиваться с предательством?*

В. Э. : Ну, власовцы были предателями. Однако там есть еще одна сторона, которую я не забываю. Я немало встречал власовцев, которых наши брали в плен. А что было? Они приходили, чтобы специально сдать, и говорили, что они вступили во власовские части только для того, чтобы оказаться на фронте и сбежать, а по приказу Сталина их всех отправляли куда? В Сибирь. В данном случае много людей прошли через концлагеря и оказались в тяжелейших условиях. Этот фактор сыграл тоже свою роль. Когда не принимали в расчет положение людей, кто, чего и как.

Н. Р. : *После танкового училища Вы вернулись обратно в свою 8-ю Гвардейскую?*

В. Э. : Нет, мы приехали на станцию «Правда» под Москвой, в Мытищи, где мы получили самоходные установки. Мы стреляли, набирались опыта и после этого поехали на фронт. Но нас повернули и, хотя уже был День Победы, отправили на Дальний Восток, это был июнь 1945 года.

Н. Р. : *В освобождении каких городов Вы участвовали?*

В. Э. : Я всегда вспоминаю украинские города: станция Грязи, Воронеж, Апостолово, Запорожье и все города до Одессы. Помню, как мы выстраивались в лесу друг за другом, и мне говорили: «Мол, иди вперед, ты нам прочитаешь какие-нибудь интересные немецкие штучки». Немцы на всех кустах вешали мины; первые трое шли и прежде всего смотрели на кусты, чтобы не произошло взрыва.

Н. Р.: *Все-таки кто-то подрывался?*

В. Э.: Ну, конечно. Немцы были более подготовлены для уничтожения других. А у нас прибывали ребята, приведу пример... прибыло подкрепление из Грузии, ни одного человека не было со знанием русского языка. Командир дивизии сказал мне: «Ты уж поговори с ними, может, ты найдешь кого-то». Я весь батальон обошел, но не нашел ни одного человека со знанием русского языка. Потом мы нашли одного солдата, который знал грузинский, и как-то через него объясняли им приказы. Когда у нас говорят, что грузины не воевали, я опровергаю, привожу им этот пример. Можно вспомнить, как они принимали участие в битве за Сталинград.

Н. Р.: *А в каких городах, кроме Украины, Вы были? На территории Польши были? До Германии дошли?*

В. Э.: В Польше – да, многие города я проходил, а оттуда нас уже отправляли. До самой Германии я не дошел, дошел только до территории Польши.

Н. Р.: *Поляки относились хорошо к советским солдатам?*

В. Э.: Я бы не сказал, что хорошо, просто нормально. Но тут большую роль сыграли и сами польские части. Наши использовали и поляков, стали привлекать их в свои ряды. Как входили, сразу же, в зависимости от возраста, людей забирали на фронт. Более того, их ставили на передовую позицию, а наши были сзади.

Н. Р.: *По окончании танкового училища Вы стали командиром роты?*

В. Э.: Нет, я стал командиром батареи самоходной артиллерии. По сей день жив в городе Миасс, на Урале, Олег Чурко, который был командиром той машины, на которой я ездил.

Н. Р.: *А сколько было человек в вашей батарее?*

В. Э.: В моей батарее – 6 машин по четыре человека, 24 человека.

Н. Р.: *Сколько погибло ваших людей?*

В. Э.: Много, три машины разбило. У меня есть фотография, где вся моя батарея стоит. Васин был у меня зам. по технике, он погиб, а Олег Чурко жив, он старше меня, 1923 года рождения. Он председатель Совета ветеранов города Миасс, пишет мне поздравления с праздниками, и я ему. Я ведь был единственным москвичом, поэтому они всегда приезжали ко мне на Русаковскую улицу, где я жил, подходили к окну и кричали: «Комбат!».

Н. Р.: *Вопрос, который я еще хотела Вам задать, – на войне Вы убивали?*

В. Э.: Я не могу сказать. Сначала я служил связистом, потом – танкистом. Я стрелял, естественно, из танка в сторону немцев, думаю, что попадал в цель, потому что умел стрелять. Другое дело, что я после этого не видел непосредственно немцев, которых убил, потому что это же танкисты, а тем более самоходчики. Не скажешь, что там за сто метров точно произошло.

Н. Р.: *Кто-то спокойно идет убивать пленных, а кто-то никогда не будет этого делать, все разные.*

В. Э.: Да, разные. Я сталкивался с такими немцами, которые говорили, что они коммунисты, они против войны, такие люди были. И потом, я Вам говорил, что у меня было отличное знание немецкого языка. В школе моим преподавателем была немка госпожа Елена Бок, у нее были дочь и сын, и, что самое поразительное, их всех выслали под Саратов. Всех немцев из Москвы выслали, и мы думали: «Как же так,

она же коммунистка, приехала в Россию – и вдруг их всех высылают». Поэтому я никогда не думал, что если «шпремен зи дойч» – значит, все ясно.

Н. Р.: *Месть, желание мстить немцам, оно с самого начала войны возникало или вообще не было такого чувства?*

В. Э.: Дело не в желании мстить. А дело в том, чтобы защитить свою родную страну – это было самое главное. Кстати, я ни разу не слышал, поймите меня правильно, лозунгов: «За Родину! За Сталина!». «За Родину!» – это иногда было, а иногда просто никто ничего не кричал, прямо поднимались и шли в атаку. И я был удивлен, когда сейчас это сделали дискуссией и тому подобное.

Н. Р.: *Вы воевали молодым человеком, а любовь на войне была?*

В. Э.: Конечно, была. Все было. У нас была фельдшер – женщина, и когда ребята обсуждали, кто будет с ней проводить время, я выступал в ее защиту, и даже были случаи, когда я брал автомат и защищал ее, потому что считал, что она сама должна принимать решение, а не они между собой решать, кто пойдет к ней.

Н. Р.: *Ну, это не совсем про любовь. Расскажите о быте на войне – как ели, где спали?*

В. Э.: Всю Украину я прошел и ни разу не был в доме. И спали мы только на улице.

Н. Р.: *В палатках?*

В. Э.: Какие палатки, прикрывали себя чем-нибудь и все, вообще жили на улице. Я всегда был удивлен, когда наш командир батальона или командир полка приглашал нас в дом, мы даже стеснялись зайти туда.

Н. Р. : *Вы несколько месяцев были на Украине.*

В. Э. : Конечно. Это 1943-й и 1944 год.

Н. Р. : *Но кормили вас нормально?*

В. Э. : Нет, все зависело от местных. До Днепра было более или менее организовано кормление, а после Днепра в течение, наверное, двух месяцев нас вообще не кормили. Я вспоминаю эпизод, как я бегал по селу, где было все взорвано, и пытался поймать курицу, которую можно было бы забрать. Или найти место, где есть яйца и принести их ребятам, дежурным, чтобы можно было поесть, потому что считалось, что до Днепра нас должны кормить, а после Днепра – это уже зависит от нас, как мы сами сможем прокормиться.

Н. Р. : *Вы видели примеры зверства немцев?*

В. Э. : Зверство – это полностью разрушенные села, ты бегаешь по селам, слева и справа стоят только трубы, а все разрушено, это ужасно, это очень страшно, и так почти до Одессы. Или даже по Запорожью я бегал, восстанавливал связь, и там тоже все было разрушено, вся улица.

Н. Р. : *Ваше отношение к Германии, оно до войны, во время войны и после войны как-то менялось?*

В. Э. : В общем, да. До войны я ведь изучал немецкий язык, я Вам говорил, учило меня семейство Бок, я ходил к ним домой. Отец мне всегда говорил, что Германия – очень культурная, грамотная страна. Только приход Гитлера все изменил, изменил отношение к этой стране. Но и потом, не забывайте, что мы великолепно знали Гете, Гейне, Шиллера, и это играло вполне определенную роль. Школа обучала нас, тем более что это была московская экспериментальная школа, и в этой школе нам преподавали не только язык, но и культуру страны.

Мы должны были укреплять отношения с Германией, мы считали, что немцы будут снабжать нас новой техникой, и так оно и было. Ведь до войны, куда бы ты ни ткнулся, ты везде мог найти что-то на немецком языке, и сам характер взаимоотношений с Германией определял очень многое. Не с Англией, не с Францией, а именно с Германией. Это была первая страна, с которой у нас были долгие отношения. Но потом, естественно, когда вокруг тебя убивают...

Н. Р.: *В Вашем доме много погибло людей?*

В. Э.: Очень много. Наш дом по сей день стоит, трехэтажный дом, на Русаковской улице. Вот я вспоминал Маришу Ковалеву, дочку певицы Ольги Васильевны Ковалевой, она снималась в фильме «Тимур и его команда». Совершенно очаровательная женщина, которая была комсоргом у нас в школе; ее убили... Спартак Тимофеевич Беляев – академик, он был директором Курчатовского института в течение длительного срока, Спартак один остался из ребят. Он 1923 года рождения, а их, 1923-го, в живых вообще осталось три процента.

Н. Р.: *А сейчас отношение к Германии, Вы делаете разницу между фашизмом и Германией? Егорин говорил, что ничего им не простил и никогда не простит.*

В. Э.: Я считаю, что это неправильно. Были немцы, которые переходили на нашу сторону и докладывали, хотели предупредить, чтобы войны этой не было, были и такие. Надо понять немцев, не исходить из принципа, раз ты немец, значит ты враг, а исходить из другого, что это был за человек. Помню, как на фронте были эпизоды, когда против нас оставались только части власовской армии, а немцы отходили дальше в тыл. Когда наши войска стали освобождать Чехословакию, власовцы подняли восстание и помогли освободить Прагу. А мы арестовали власовцев, я это

знаю очень хорошо, это американцы выдали их. Власовцы хотели уехать, сели все на грузовые машины, и когда они стали двигаться по территории, которая была занята американцами, американцы остановили машины, вызвали наших и сказали: «Посмотрите, может, здесь есть ваши люди». Вот так был арестован Власов и все его окружение. Американцы сами их выдали.

Н. Р. : *Отношение к Сталину до войны, во время войны и сейчас, оно у Вас как-то поменялось?*

В. Э. : Да нет, я просто считал, что, сколько бы ни было подробностей и информации, сам факт, что для него не было понятия человека, этот факт оставался всегда в моей памяти. Но я не забываю и другого. Я вместе с его любимой дочерью во Дворце пионеров вел огромный торжественный вечер, посвященный Дню Победы, с ней вдвоем мы сидели на сцене, телевидение это показывало. Надо было себе просто представить, что было поклонение и вера в Сталина как в Бога, такого рода было ощущение. Но люди глубокие и знающие, те, кто прошел войну и фронт, – у них менялось отношение. Они просто считали, что самое главное – служить Родине, служить таким образом, чтобы мы одержали победу. Я никогда не слышал: «За Родину! За Сталина!». Другое дело, что у нас в сознании было ощущение, что мы должны воевать хорошо, чтобы в этой войне победить. Вот почему, когда я оказался уже в Корее, я не задумывался, почему же я тут. Надо было спасать ее и стремиться как можно скорее выйти на 38-ю параллель. Мне еще было 19 лет, представьте себе, как я это все воспринимал.

Н. Р. : *А сейчас к Сталину как Вы относитесь?*

В. Э. : Хорошо, что сейчас стали показывать, что это были за люди. Но не надо преуменьшать его роль и, более того, не надо оскорблять. Оскорбляя его, мы оскорбляем всех.

Н. Р.: *А каково Ваше отношение к вере, к Богу? Ваша семья, наверное, была верующая?*

В. Э.: Они были верующие, но тут есть одна особенность. В годы войны мы почти не встречали попов, церкви были все закрыты. Это было не случайно, Сталин хотел, чтобы как в Бога верили в него. Вот это было главное, что определяло отношение к религии. Сам я человек неверующий. Но на меня произвело ужасное впечатление, когда мы были в Смоленске, что там немцами были разрушены все церкви.

Н. Р.: *А были на войне верующие солдаты?*

В. Э.: Были. Я придерживаюсь уважения к церкви, придерживаюсь уважения к религии и считаю, что это закономерное чувство. Другое дело, что сама жизнь, воспитание сделали меня неверующим человеком, хотя дома у нас есть все, связанное с религией, и мои домашние все верующие.

Н. Р.: *Есть еще какой-нибудь яркий военный эпизод, который Вам запомнился?*

В. Э.: Город Запорожье и освобождение Днепрогэса – это первое, а второе – это освобождение Кореи.

Никогда не забуду, как мы входили в город Канко, и я впервые на стекле в одном из магазинов увидел написанное по-русски слово «БОРЩЪ» с твердым знаком. При входе на территорию Кореи я вдруг вижу по-русски написанное слово, я был просто поражен. Остановил свою самоходку, слез и пошел в этот магазин. И хозяин-кореец сказал мне на русском языке: «Здрасте!».

Н. Р.: *Как Вы услышали о Победе, где Вы были в этот момент?*

В. Э.: Это было уже то время, когда мы готовились к поездке на Дальний Восток, на железнодорожной платформе

«Правда». Были стрельбы, и вдруг это сообщение – Победа! И тот, которому я сказал, Джимуназаров, подбежал ко мне, поздравляя с Победой, и сказал: «Вот, теперь Победа, и я поздравляю Вас!». Он хотел выразить свое отношение, это очень важно, я всегда помню это.

Борис Анатольевич Литвинский

Родился 17 апреля 1923 г. в Ташкенте

Окончил Среднеазиатский государственный университет (1946)

Доктор исторических наук (1970)

Специалист по археологии и истории Центральной Азии и Афганистана. Работал в ИВ РАН с 1971 г.

Главный научный сотрудник ИВ РАН

Ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий

Умер в 2010 г.

Елена Абрамовна Давидович, жена Б.А. Литвинского

Родилась 24 декабря 1922 г. в Красноярске

Окончила Среднеазиатский государственный университет (1945)

Доктор исторических наук (1965)

Специалист в области археологии, нумизматики, источниковедения

Работала в ИВ РАН с 1972 г.

Главный научный сотрудник ИВ РАН

Умерла в 2013 г.

Наталья Романова: *Я хотела спросить, прежде чем мы перейдем к воспоминаниям о войне, как вы решили стать историками-востоковедами?*

Елена Абрамовна: Это целая история. Я родилась в Красноярске. Мы все время переезжали, папа работал землемером. Его переводят в Алма-Ату, мама месяц живет в Алма-Ате, потом папу переводят в Красноярск, потом переводят

в Петропавловск, мама собирается, приезжает в Петропавловск. И школу я заканчивала уже в Ташкенте. Я поступила в университет и в конце первого курса началась война. А почему я стала историком, это чистая случайность.

Н. Р. : *Вы такой известный ученый, и вдруг случайность?*

Е. А. : Потому что в этот момент я обнаружила возможность аналитической работы. Ну, не это интересно. У нас была образцовая школа в Ташкенте, в которой я училась. Я играла в настоящем драматическом театре, меня взяли туда маленькой девочкой, я там больше трех лет играла в двух пьесах, и в городе меня даже узнавали. У нас в школе было два хороших преподавателя, я их очень любила, и они нас очень любили, это были математик и физик. И тут вдруг, в десятом классе, появилась преподавательница истории, она была старая коммунистка, муж ее тоже был коммунист, его посадили в 1934-м или 1936 году и расстреляли. Тем не менее в ней ничто не поколебалось, она была убежденная. В десятом классе нам преподавали историю партии. Мы с Борисом заинтересовались оба работами Маркса и Ленина. Я тогда с трудом осилила «Материализм и эмпириокритицизм», это трудная работа, и законспектировала её. Потом в университете это очень спасало, я еще ленинские работы «Что делать?» и «К критике политической экономии» законспектировала. И поэтому по этим предметам в университете мне ничего не надо было делать, наоборот, заведующая кафедрой, женщина, профессор, всегда говорила: «Вот если бы мои аспиранты на семинарах были, как Борис и Елена, я была бы счастлива». А это все было увлечение десятого класса. Наша учительница нам организовала кружок, которым руководил по тем временам кандидат философских наук. Философией тогда весь класс увлекся, что значит хороший преподаватель, и все скопом подали документы на философский факультет в Среднеазиатский

государственный университет, САГУ. А мы с Борисом документы отправили в МИФЛИ, Московский институт философии, литературы и истории.

Н. Р. : Простите, а Вы где с Борисом Анатольевичем познакомились?

Е. А. : В нашей школе. Мы познакомились на подоконнике во время комсомольского собрания. И как раз, по-моему, был разговор именно о правоте эмпириокритицизма. Мы испытали друг друга и – зауважали. Это было в девятом классе.

Борис Анатольевич: И мы подали документы в МИФЛИ. Потом его влили в МГУ. А тогда пришел ответ, что нас, как круглых отличников (тогда не было красных дипломов), зачислили, но без общежития. Мы были оба из бедных семей, снимать общежитие не могли. Пришлось остаться в Ташкенте.

Е. А. : Но уже был ноябрь, и САГУ был забит народом. Еле-еле удалось устроиться на исторический факультет САГУ. После первого полугодия было общеуниверситетское соревнование, конкурс научных работ студентов всех факультетов от математики до истории. Мы не только победили на этом конкурсе, но и обратили на себя внимание профессора Михаила Евгеньевича Массона. Высокий такой, стройный, с цилиндрической черной шапочкой на голове. Мы все шептались, что это такое, считали, что это или Оксфорд, или Кембридж, что-то в таком роде, и с большим уважением к нему отнеслись. Он тогда как раз открывал кафедру археологии Древней Азии, и мы туда записались.

Н. Р. : Елена Абрамовна, а как Вы стали нумизматом?

Е. А. : Массон прочел нам курс нумизматики, нумизматики в старом смысле: определение монет, вопросы атрибуции, иногда уточнение письменных надписей... По завершении

этих лекций он для практики дал моей подруге большой клад, более 500 медных монет XV века, а мне дал 9 серебряных монет XVI века. Обиделась я жутко. Я их определила очень быстро и отложила, и вместе с подругой занималась ее медными монетами. Наступил момент, когда нужно было написать на основании этого курсовую работу. Я еще раз посмотрела: 8 государей известно, а девятого нигде нет. Вот встала первая задача, везде искала, нигде не могу найти. Вообще, весной, поздним летом и поздней осенью мы занимались уборкой хлопка: весной окучивали, осенью собирали, а зимой копали канавы. Учиться было некогда, если только что-то очень заинтересует. Однажды жарким летом я пошла в одиночку посмотреть один памятник. Так вышло, что в Старом Ташкенте (Ташкент делился на Старый и Новый) есть медресе, высшее мусульманское учебное заведение, которое называется медресе Дервиш-хана. Оно находится в старом городе, и его надо искать.

Я вышла на конечной остановке трамвая и повернула на типичную восточную улицу, узкую, кривую, всю покрытую толстым слоем пыли и как будто огороженную глинобитными заборами. Внутри там уже дома, на улицу ни окна не выходили, ни двери, ничего. И вот я шла по этой пыльной улице, жарко было невероятно, и наконец я вижу с левой стороны деревянную дверь. Открываю ее и попадаю в другой мир – одно дерево какое-то большое и маленький дворик, весь в тени, и все это колышется. И вдруг осознаю, что ведь это – медресе Дервиш-хана, а у меня вот эта непонятная монета Дервиш Мухаммад-хана, а у них часто были двойные имена, думаю, надо выяснить, может, это он? Я уже знала, что в Центральном государственном архиве, в центре Нового Ташкента, есть огромное собрание документов, преимущественно с XV века по XIX. Я стала искать, перебрала очень много грамот... Работала я там замечательно, сначала сотрудники мне выносили документы по одному, потом им

это надоело, они ко мне привыкли и, когда я приходила, с утра запускали меня в это хранилище, снаружи запирали, и я там целый день работала, к вечеру они меня открывали.

Н. Р. : *А там просто так лежали рукописи?*

Е. А. : Там стеллажи не к стенам, а перпендикулярно стояли, на всех полках лежали рукописи, свернутые в рулоны. Я поработала там и поняла, какая там кладезь сведений, которых нет в нормативных источниках, и если я буду там работать, извлеку много интересного. Потом совершенно в другом месте, в рукописном источнике, я наткнулась на этого Мухаммада и поняла, что будут загадки. Так и оказалось.

Н. Р. : *Борис Анатольевич, а Вы как стали востоковедом? Историком понятно, а востоковедом как?*

Б. А. : Интерес был к ней, к Елене. Вы видели ее фотографию, а я был молод тогда. Мы посидели вместе на этом подоконнике, потом она поехала домой. Когда мы вышли, она садилась на трамвай, я догнал ее и вскочил тоже в этот трамвай, с тех пор мы не только стали сидеть за одной партой, но и ходить парой. И это было еще в десятом классе. Как мы попали на кафедру, она Вам рассказала. Но потом наши судьбы несколько разошлись. Первый курс, дело было такое, военное. В Ташкент приехал Массон. А затем сюда были эвакуированы многие учреждения, в том числе наш Институт востоковедения из Ленинграда. Город наводнили ученые. Все время были какие-то заседания, все время кто-то выступал. Лекции нам на первом курсе читал знаменитый специалист по Дальнему Востоку академик Струве, «Киевскую Русь» читал академик Греков, который только что выпустил фундаментальный труд «Киевская Русь»; вернувшийся из Швейцарии академик Виппер читал курс

«Римская империя. Христианство»; его сынок, уже тоже профессор, читал «Искусство христианства».

Н. Р. : Это было когда? Уже началась война?

Б. А. : Да. В самом начале войны. Когда началась война, весь наш курс, все молодые люди записались в парашютисты, а я тогда тоже был молодой. И постепенно стали кое-кого призывать. Но нас тем временем отправили собирать хлопок.

Н. Р. : А как Вы услышали в первый раз, что началась война?

Б. А. : Не помним. Для нас война началась с того собрания, когда мы уже считали себя парашютистами. Мы записались в августе–сентябре 1941 года, когда начались занятия в университете. А нас послали собирать хлопок. Там есть такой городок Янгиюль, в 30–40 километрах от Ташкента, и мы там собирали. Пришла телефонограмма из университета, что военкомат требует, чтобы все, кто записался, явились в военкомат.

Н. Р. : Это был уже сентябрь–октябрь?

Б. А. : Да. Мы собрались, и наши подруги поехали нас провожать. Там ходил железнодорожный поезд, по дороге мы обсудили все проблемы, и Елена сказала: «Послушай, а вдруг тебя убьют?».

Н. Р. : Уже было ясно, что Вас призывают на фронт?

Б. А. : Да, ясно, на фронт парашютистом.

Н. Р. : А почему Вы решили идти в парашютисты?

Б. А. : Считалось наиболее патриотичным. Они спускаются с неба, разбивают немцев и все. Конец войне. И мы все записались. И по дороге Давидович меня спрашивает: «А если тебя убьют или тяжело ранят? Как я тебя найду? Кто я тебе такая? Нам надо пожениться». И перед тем, как идти

в военкомат, мы пошли в ЗАГС. Там сидит узбек, секретарь... Вот, говорим, хотим жениться. Он говорит: «Ребята, сколько вам лет?». Мы показали паспорта. Он говорит: «Напишите заявления и через две недели, если не раздумаете, приходите». Я говорю: «А я через три дня уже буду на фронте». Он так посмотрел и сказал: «Ну, тогда ладно». И он нас записал, а нам жить негде, ничего нет и т. д. Мы стали мужем и женой и пришли на это собрание в военкомат. Оказывается, из Москвы приехал лектор Главного политического управления, он прочитал нам лекцию, что немцы наступают, но мы их все равно разобьем, а мы все это и так знали: газеты, радио... Вышел военком, говорит: «Ребята, вопросы есть?». Вопросов не было. «Ну, тогда вставайте, езжайте обратно собирать хлопок, если понадобится, мы вас вызовем». Действительно, стали вызывать, и все ребята постепенно ушли, то ли в парашютисты, то ли... Ну, в общем, всех их призвали на фронт. Я в группе остался единственным парнем. Меня это страшно шокировало. Мы решили сходить в военкомат и спросить, почему меня не призывают. «Куда тебя призывать?». – Я говорю: «На фронт». – «А ты кто такой? Как имя?». Я назвал. – «Нет, на фронт тебя нельзя».

Н. Р.: *Почему?*

Б. А.: Дело в том, что в 1937–1938 годах отец был арестован и погиб в тюрьме, реабилитация пришла только при Брежнев.

Н. Р.: *А кто Ваши родители были, Борис Анатольевич?*

Б. А.: Простые люди. Мой отец был отличным слесарем и мечтал сделать меня токарем.

Н. Р.: *А мама?*

Б. А.: Она была образованной, окончила гимназию и работала бухгалтером.

Н. Р. : *А за что арестовали папу?*

Е. А. : Всю бригаду посадили в 1938-м. Потом всех выпустили, потому что ничего не нашли. А он умер.

Б. А. : Дело было простое. Отец был, видимо, как я сейчас понимаю, изобретателем, МТРовцем, был старшим мастером и заведующим вагоноремонтным цехом.

Н. Р. : *На каком заводе он работал?*

Б. А. : Рядом с Ходжентом есть такое местечко, он еще до революции переехал туда. Знакомый заводчик его туда вызвал. Отца вызвали в управление и страшно ругали, что работа стоит, вы не выдаете готовых вагонов. А вагоны не выдавали потому, что не было баббита.

Н. Р. : *Чего?*

Б. А. : Вот вращается ось колеса, зажата между двумя полувыпуклыми или полувогнутыми буксами. Шарикоподшипников, конечно, не было. Но там, на этих чугунных чушках, были бороздки, в которые можно было заливать специальный металл, сплав. Он назывался баббит, он был достаточно мягкий и, когда они вращались, быстро срабатывался. И вот, его ругали в заводууправлении, что они все срывают. Отец расстроенный вышел, встретил троих рабочих из своего цеха, те спрашивают: «Ты что такой хмурый?».

– Да, опять меня ругали.

– За что?

– Да все из-за баббита. Уже двадцать лет советской власти, а баббита как не было, так и нет.

На следующий день его арестовали. Все эти трое ребят на него немедленно донесли. А это считалась 58-я статья, антисоветская агитация. Я стал сыном врага народа, поэтому мать меня на всякий случай отправила к родным

сестрам, у нее несколько сестер жили в Ташкенте. А в Ташкенте я узнал, что началась война.

Н. Р. : *Я поняла. Вас не призывали, потому что Ваш отец был осужден. А в каком году Ваш отец погиб, в 1938-м?*

Б. А. : В том же году или в начале следующего он погиб. Он был не очень сильный человек, хотя физическим трудом занимался с 14 лет, и малограмотный.

Н. Р. : *А почему он погиб?*

Б. А. : Забили. На допросах его били с самого начала, чтобы он сознался. Нам это сообщили какие-то его сокамерники.

В военкомате мне говорят: «Мы тебя отправим, когда понадобится, в трудармию». А я хотел вместе со всеми крушить фашистов. Хотя отца погубили, я твердо верил в советскую власть, в товарища Сталина и в его выражение: «Лес рубят, щепки летят». Это он любил повторять. А я в трудармию не хотел, я хотел в парашютисты, во всяком случае на фронт. В конце концов я пробился к начальнику военкомата, это был уже постарше мужик, он достал мое личное дело, говорит:

- На фронт тебе нельзя.
- Почему?
- Да ты убежишь к фашистам. Ты же сын врага народа.
- Я комсомолец.
- Ты убежишь к фашистам.
- Но ведь фашисты убивают евреев!
- А ты все равно убежишь. А потом они тебя убьют.

Но я не захотел забрать документы. Я кинулся в слезах к тетке, а тетка занимала большой пост в Ташкентском Горсовете. Она переговорила с Главным военкомом. Тот внял ее просьбам или она как-то его уломала, не знаю. Но меня все-таки призвали в армию, но не в парашютисты,

а отправили в город Кушка, где я окончил полный курс Туркестанского пулеметного училища Красной Армии.

Н. Р. : *Сколько Вы там учились?*

Б. А. : Почти девять месяцев. Нас учили много, и выяснилось, несмотря на хилость моего здоровья, я кое-что могу. Два выходных у нас было, стирали гимнастерки, подворотнички, это все самим надо было делать. Курсанты лоботрясничали два дня, а один день решили посвятить спортивным занятиям. Это был марш-бросок, не помню, то ли на 15 километров, то ли больше, с полной выкладкой, правда, без пулеметов, шинель-скатка, противогаз, винтовка 91/30 или автомат, патронташ – в общем, все снаряжение, кроме самих пулеметов. Мы должны были полуфорсированным маршем эти 15 километров от училища пройти, а потом развернуться после 15-минутного перерыва и назад к училищу, где нас ожидало руководство. Причем если во взводе хоть один отстал, то повторяли снова. Поэтому кто-то начинал задыхаться.

Н. Р. : *Борис Анатольевич, простите, то, чему Вас учили эти девять месяцев в школе пулеметчиков, Вам помогло на войне?*

Б. А. : Ну, немножко закалило меня. Потому что я все-таки был таким тихим отличником.

Е. А. : Нет, он не сказал самого главного. Это, конечно, удивительно, и таких случаев, вероятно, было много. У него с детства было то, что потом стали называть ревмокардит, серьезное сердечное заболевание, страдают либо сердце, либо ноги. Каждый год он ложился в больницу, потому что не мог ходить. Как только он в эту южную точку попал, в Кушку, там такая жара, я бы дня там не вынесла! Это невероятное что-то, но там его ноги перестали болеть. И так не болели и потом.

Б. А. : И вот я продолжу... Первый начинает отставать, командир это видит и снимает с него винтовку, дает более здоровому мужику. А он все равно отстает, этот первый. Тогда с него снимают противогаз, потом с него снимают гимнастерку, чтобы тело дышало, потом двое самых здоровых парней привязывают к его поясу ремни и тянут его. Несколько человек умерло по дороге. Я так потом понял, от инфаркта.

И наконец, когда возвращались к штабу училища, там была полоса препятствий, она не была такой сложной, но трудный был конец. В конце была колючая проволока, протянутая горизонтально, – сетка, натянутая на небольшой высоте, надо было под ней пролезть, не помню, 8 или 10 метров. Большинство залезало и замирало там, внизу, чтобы передохнуть, а начальник штаба ходил с длинной палкой и в зад вкалывал. Я все это вынес. Более того, некоторые командиры были изуверы, потому что, как я потом понял, они здесь просто спасались от фронта... Во взводе я был самым высоким. А пулемет «Максим» состоит из двух частей, он разборный, Чапаев с ним воевал, вы видели в кино: ствол отнимается, а коляска, на которой он закреплен, закидывается на плечи, дуга перегибается вперед и страшно давит на плечи. Выходим во двор училища, командуют: «Разобрать пулемет!». Разобрали. «Пулеметы на плечи!». На меня взваливали эту коляску, которая весила, ни много ни мало, 31 килограмм, а счастливым доставался ствол, который, конечно, был верткий, но весил всего 18–19 килограммов. Затем была команда: «Бегом!». И так как там холмы, все время это было очень тяжело...

Потом еще были страшные трудности с лыжами. Кушка самая южная точка СССР, там холмы и пески, тем не менее из Москвы пришла телефонограмма, чтобы обучить всех курсантов хождению на лыжах. Прибыл вагон лыж с палками,

и нас поставили на эти лыжи, и по склонам, по песку... Сколько было поломано рук и ног на этом деле, не знаю...

Н. Р. : *Но пригодились эти лыжи потом?*

Б. А. : Абсолютно нет, в Германии ничего такого не было. Меня спасло то, что командир взвода был добрый человек, прекрасный физкультурник, он преподавал нам физкультуру, боевые уставы. Но были у нас два предмета или три, которые он осилить не мог. Это прежде всего баллистика, полет, деривация в отношении ветра и т. д. Но так как я был первым учеником по математике в параллельном классе наряду с Еленой, я это одолел. Второе было – топография. И так – что-то нам шеф показал, что-то я сам соображал в топографии, но нужно было знать массу обозначений. Я выучил больше 1500 значков и надписей, память у меня была приличная тогда. Сам потом преподавал топографию, как составить схему расположения противника, как читать карту, – а на ней масса значков. Ну, и политзанятия, естественно, проводил тоже я. Поэтому мне некоторые скидки были. В частности, он мне ставил пятерку за физкультуру, ему нужно было для отчета иметь отличника.

А я старался для того, чтобы попасть в гвардию, было сказано, что тех, кто закончит училище с отличием, берут в гвардию. Я, если не получилось в парашютисты, хотел стать гвардейцем. Все более или менее у меня получалось, кроме физкультуры. Подвел меня финал: кроме пробежек решили испытать нас на переправе. Мы построили какую-то плотину (там река Кушка), образовалось озеро, подвели нас к этому озеру, а я никогда не плавал, дали в руки автомат и сказали: «Вот тут 50 или 30 метров (я не помню), иди и переплыви на ту сторону с автоматом». Я говорю: «Я вообще плавать не умею». – «Ничего, научишься». И столкнули меня в воду, я пошел ко дну, меня вытащили, вытряхнули из автомата воду, вытряхнули меня, дали

этот же автомат, подвели и снова толкнули, я снова пошел ко дну, вытащили, еле отдышался, и тогда командир взвода сказал: «Не будем пробовать больше, еще как бы не захлебнулся. Поставим пятерку».

Н. Р.: *Да... А когда Вы закончили училище, в каком месяце?*

Б. А.: Это было лето 1944 года. Примерно девять месяцев я пробыл на фронте, из них три месяца – в Германии. Прибыли мы куда-то под Варшаву, это был 1-й Белорусский фронт.

Н. Р.: *После окончания пулеметного училища в городе Кушка Вам какое дали звание?*

Б. А.: Лейтенант. Через пару недель выстроили несколько училищ и приехали «покупатели» из дивизий, кому нужны офицеры и команда. Офицеры, окончившие артиллерийское училище со специализацией на тяжелое орудие, вышли и забрали своих людей, на легкую артиллерию – ушли, на минометы – ушли, потом еще кто-то, потом командуют: «Пулемечики!». Я промолчал, выходить не стал, думаю, обману хоть раз советскую власть, потому что мне осточертело таскать пулемет. И кроме того, в нем было 64 неисправности, и нужно было их с закрытыми глазами устранять: то его заклинивало, то еще что-то, очень непрактичное оружие. А тут скомандовали: «Автоматы!». В автомате было 5–6 килограммов весу, ну, я думаю, заживу! Я вышел, меня забрали, и я попал в третий батальон 216-го полка 79-й Гвардейской дивизии 8-й Гвардейской армии генерал-полковника Чуйкова, того, что оборонял Сталинград и который сейчас должен был вести наступление в сторону Берлина. Автоматически я стал гвардии лейтенантом. Меня привел какой-то сопровождающий в блиндаж, где находился мой взвод, представил, и, когда представляющий ушел, оказалось, что все там были старше меня. Я был самый юный,

были 23, 24, 25-летние. Одному был 31 год, его иначе как стариком не называли.

Н. Р.: *А Вам сколько было?*

Б. А.: 21 год. Они сказали: «Ты не робей. Мы тебя в обиду не дадим. Делай как мы». Это была позиционная война вначале.

Н. Р.: *Вас сразу посадили в поезд и отвезли – куда?*

Б. А.: Отвезли под Варшаву. И от Варшавы я начал свой путь и дошел до Берлина. Но не я, конечно, мне даже неудобно, мне страшно неудобно... Я-то понимаю, что такое единица. Я был простой единицей, я только бегал, метал гранату и стрелял.

Н. Р.: *Ну, по большому счету, такие «единицы» и выиграли войну.*

Б. А.: 1923 года рождения – по статистике из 100 призванных на фронт живыми вернулось только трое, среди них я.

Н. Р.: *Мужчин 1921–1922 годов рождения осталось еще меньше, их призывали с первых дней войны.*

Б. А.: Этих убило больше... Шло наступление, и немцы отчаянно сопротивлялись. Это был тяжелый путь. Мы непрерывно воевали, хотя немцы отступали, но они отступали к себе на родину и поэтому они отчаянно сопротивлялись. То мы их гнали, то они на нас нападали. Много было страшных моментов. Идет наша колонна, прекрасное шоссе, выстроенное немцами...

Н. Р.: *Это было уже в Германии?*

Б. А.: Нет, до Германии еще дойдем. Еще в Польше, они тоже выстроили там шоссе. И вот, идет колонна полка, в том числе и я со своим взводом, и вдруг вижу странную

вещь, вначале даже не понял... Вдруг на ходу какой-нибудь крайний солдат, или даже с середины, выбирается из строя и тихим шагом или тем же темпом продолжает идти в сторону и падает в кювет! Это он заснул на ходу, потому что давали спать максимум 5 часов. Остальное время – вперед, вперед, вперед! И немцы этим пользовались.

Е. А. : Оказывается, есть такая закономерность, не связанная со строевой, когда человек в сознании и в памяти, он может идти по прямой, а если он в полудремотном состоянии – его поворачивает.

Б. А. : Так мы продвигались. В любой момент могла выскочить немецкая танковая колонна какая-нибудь... А дело было иногда чудовищное, это и там, и в Германии было. Как-то раз я стоял со взводом на охране штаба полка и слушал разговор (это ночью происходило) между начальником штаба и командиром полка, которого я не знал и не видел. Начштаба докладывает, что бойцы абсолютно вымотались, надо дать им хотя бы 6–7 часов поспать, тогда все пойдет легче. «Ты с ума сошел, – командир полка возмущается, – а приказ – двигаться без всяких остановок?». Тот тогда говорит: «Хорошо, но ведь не только люди, кони падут (легкую артиллерию везли кони), люди, может быть, пойдут, а кони упадут». – «Ну что ж, коней оставь, пускай до утра пробудут, потом догонят. А людей гони вперед!». И нас погнало вперед.

Мы идем по этому прекрасному шоссе, и вдруг с левой стороны – возвышение, пригорок какой-то, а справа равнина, – появляются танки, около 30 танков. Толком ничего не видно, у нас ни биноклей, ничего нет. Появляются танки, и я слышу разговоры: «Это такая-то танковая дивизия, у меня там кореш служит». Эти «кореша» подошли поближе, с танков соскочили немецкие солдаты, и танки стали почти в упор нас расстреливать.

Н. Р. : *То есть разведки фактически никакой не было?*

Б. А. : Мы и были разведкой, в общем смысле. Я смотрю: мы лежим в кювете, одни поднимаются и бегут к лесу на пригорок, а я лежу и думаю: «Гвардия ведь не убегает». Смотрю – все мои бойцы поднимаются и бегут, я остался вроде как один.

Н. Р. : *А Вы были командир взвода?*

Б. А. : Командир взвода. Я тоже побежал. Передо мной выскочил заяц, а немцы подошли и стали утюжить эти кюветы. Мы добежали до леса, примерно минут через 30–40 подошли наши танки и прогнали немцев, но сколько погибло! Я страшно переживал... У меня, хотя я был совсем низший командир, был денщик один, из солдат. Это тот «старик», которому был 31 год, татарин. Он исчез. Через день-два он нас догнал. Я говорю: «Ты чего пропадал?». Он говорит: «Пока нас проверяли, то-се». Оказывается, очень многие, в том числе начальник разведки полка – майор, я его знал – лежал не раненый, не убитый... У него, когда сняли гимнастерку с трупа, в области сердца было синее пятно, очевидно, как я потом понял, был обширный инфаркт. Немцы приехали и тех, кто были живы, достреливали. «А я, – говорит, – хитрый татарин: закрыл глаза, раскинул руки, лежу – не дышу. Они подошли и в меня не выстрелили, решили, что мертвый, а потом ушли. А потом нас заставили их всех собирать, потом нас проверяли, кто чего и как...» Таких эпизодов было очень много. И вот наконец мы подошли к Германии, т. е. собственно к границам Рейха, потому что до сих пор все это были присоединенные к Германии земли.

Н. Р. : *А как к вам относилось местное население? В Польше, где вы шли?*

Б. А. : Пару раз мы были в польских домах, поляки хорошо к нам относились.

Н. Р. : *К советским солдатам ненависти, как сейчас пишут, не было?*

Б. А. : Нет, это могло возникнуть, очевидно, в результате поведения наших и того, что шло соревнование с англичанами за влияние на польское правительство, из-за чего мы не поддержали восстание в Варшаве, и немцы истребили там всех, всю Варшаву, хотя наши войска стояли буквально в полукилометре от Варшавы.

Нам, единственно, политработники объясняли... у местного населения, к удивлению, было много велосипедов, а тогда в России человек, имеющий велосипед в деревне, все равно что теперь человек, имеющий роллс-ройс или мерседес. Это разлагало дух наших солдат. Нам объясняли, что немцы, когда отступали, иногда специально оставляли свои велосипеды для того, чтобы обмануть наших бойцов.

Н. Р. : *Они что, минировали эти велосипеды? Зачем их оставляли?*

Б. А. : Нет, обмануть, что они так богато живут. А мы бывали в немецких семьях, и так мирно они нас угощали, поили, кормили... Но понимаете, началась граница Рейха. Откуда я узнал, что мы дошли до границы? На границе стоял огромный щит, на котором была нарисована женщина, протянувшая руку вперед, и была огромная подпись: «Вот она, проклятая Германия!». Это было ужасно, потому что офицерам выдали по повозке, и можно было грабить. Конечно, немцы наделали столько... Столько убили, изуверчили, угнали людей, что это все понятно. Но я-то уже кое-что знал, каков немецкий народ... Потом долго извинялись, что воюем против фашистов, а не против немцев, но в немецких городках все убегали от нас, практически никого не оставалось.

Н. Р. : *В Польше, в Восточной Европе такого не было, там было нормальное отношение к советским войскам, а в Германии все-таки было плохое?*

Б. А. : Они нас боялись, в немецких населенных пунктах мы оказывались фактически без населения. Я помню, перед тем как мы вскочили в один населенный пункт... Немцы его обороняли, мы шли в атаку, стреляли. У меня были расхлябанные старые сапоги, один сапог начал слезать. Я должен бежать, стрелять, а все время его приходилось подтягивать, чтобы не упал. В конце концов он все-таки упал, я успел его натянуть, потому что терять сапог было нельзя, и в первом же доме я схватил какую-то простыню, обтер ногу, снова засунул в сапог. Населения никакого – и все-таки внутри где-то постреливают. Из батальона или из полка была команда – осмотреть все дома, нет ли где оставшихся притаившихся немецких солдат. И я, почему-то один, вскакиваю в какой-то дом, одноэтажный, как сейчас помню, и пока я иду по коридору, слышу, что в одной комнате кто-то есть, какой-то звук. Я не помню, сейчас не буду врать, то ли я выхватил гранату, то ли автомат, вскакиваю туда и вижу странную картину: там кто-то есть, это наш солдат Иван... Стоит у стены громадная деревянная резная этажерка, наверху большой циферблат, это часы, капитально все сделано, очень красиво. Солдат стоит и прикладом бьет по этим часам, но они как бы сопротивляются. Я ему говорю: «Ты что делаешь?». – «А они, – говорит, – еще тикают». Помню я эти слова, он еще раз ударил, и они замолкли.

Но, с одной стороны, запрещалось, с другой стороны, старшие офицеры вывозили машинами имущество, ковры, украшения и т. д., а у нас были повозки. Я тоже один раз польстился и схватил какой-то книжный том. Был мелкий населенный пункт, а я как раз начал изучать немецкий, и в одном доме были книжные шкафы, и там стояла

прекрасно полиграфически оформленная серия, на которой на переплете золотом было написано «Золотой век немецкой литературы» – Шиллер, Гете, еще что-то. Я взял, что было под рукой, и кинул в свою повозку, думаю, приеду домой – поставлю, буду любоваться, военный трофей! Больше ничего не взял.

Е. А. : Но и это не привез.

Б. А. : Не привез по той причине, что нас разбомбили. Очень страшно было наступать в Германии еще и потому, что рядом был уже Берлин и немцы сопротивлялись отчаянно. Нам надо было выйти к Одеру и переправиться через Одер. Мы подошли к Одеру в тот момент, когда как раз саперы закончили наводить через него наплавной мост – понтон. Вдоль реки шла одна дорога. Туда подходили танки, артиллерия... А мы шли в лоб, скопилось много техники.

В одном месте, с левой стороны, как мы шли, была какая-то высокая горка, а справа – открытое место. Вдруг слышим гул, летят штурмовики. 20 или 25 штурмовиков начинают карусель, начинают бомбить это скопление людей, где и моя лошадь стояла с подводой, с Шиллером, и наши танки, и артиллерия. И мы с каким-то майором взбежали вверх... Оказывается, немцы, когда защищались от нас, вырыли щели, но не настоящие глубокие... И мы с ним вместе упали в одну щель, и когда первый бомбардировщик зашел, бомба шла точно, казалось, к нашим окопам. Помню, я успел спросить время у этого майора. В это время оказалось, как только она упала, начали взрываться снаряды, стали гореть танки и телеги, грузовики и все прочее. В общем, они сделали несколько заходов, все разбомбили. Позже мы спустились, что было возможно собрали, но я даже не стал смотреть, потому что книги просто сгорели. И тут же нас погнали на тот берег, через этот мост.

На том берегу был плацдарм южнее Кюстрина (в газетах об этом много писали), это километров 30 от Берлина,

может немного больше. У них была артиллерия, у них была авиация, а у нас аэродром только отстраивали, артиллерию они разбомбили, пока подвезут новую... Они нас исколошматили невозможно, в результате из всех офицеров полка осталось в живых трое, я и двое ребят – командиров взводов. И мы ничего не знаем, никакой связи нет, потому что у немцев существовали рации, типа теперешних мобильных, у нас была только проводная связь, но ее все время перешибало снарядами. Мы не знали, куда стрелять, у нас уже не было патронов и не было жратвы. И вот в одну большую воронку мы все трое спрыгнули (казалось, в одну и ту же воронку дважды снаряд не попадает) и стали советовать, что делать. Никакое начальство с нами не связывается, ничего от нас не требует, но что-то делать надо и кормить солдат надо.

Н. Р.: *А сколько осталось в живых человек?*

Б. А.: *Всего осталось от батальона тридцать солдат.*

Н. Р.: *А было сколько?*

Б. А.: Порядка 300. Офицеров должно было быть человек 25–30, а осталось только нас трое. Мы обсуждаем это дело, примерно как Кутузов обсуждал в свое время: что делать, куда отступить. В это время свешивается чья-то голова и говорит: «Это третий батальон?». – «Третий». Он спрыгнул к нам и оказался почти пожилым человеком, лет 28–30, старший лейтенант. «Я, – говорит, – теперь ваш командир батальона, вашего командира убило». Он решил с нами познакомиться. Спрашивает: «Ты кто такой?». Тот говорит, допустим: «Иванов Петр Никитич». «Ты какого года рождения?» – Ну, у всех было одинаково, 1921–1922 годы.

– Откуда?

– Из Иваново.

Второго спрашивает:

- Ты откуда?
- Из Юрьева.
- Как звать?
- Иван Семенович.
- Иван Семенович, ты сколько классов окончил?
- Четыре.

Потом обращается ко мне. Я рапортую, Литвинский и т. д., из Ташкента.

- А какое у тебя образование?
- С третьего курса.
- Какой ты ученый, курсы кончал (тогда были всякие курсы по повышению квалификации). Будешь моим адъютантом, старшим адъютантом начальника штаба батальона.

Он все знал, как с кем связаться и прочее. Мы ожили. Я стал сразу составлять схему расположения нас и немцев, как учили, все подправил. Тут же я должен был написать список погибших, список раненых, список отправленных в санбат или куда-то. Я написал своим почерком, а меня за него с четвертого класса учителя укоряли. На третий день пришел приказ: «Схемы хорошие, пишет плохо, отправить в окоп». И так мое недолгое начальствование окончилось. Тем временем мы расширяли плацдарм, подошла наша артиллерия. Воевали мы не только с немцами, против нас воевали власовцы.

Н. Р.: *Вы не рассказали, Вас отправили в окоп, а потом?*

Б. А.: Я пошел в окоп, нам пригнали пополнение, у нас стало 20–25 человек бойцов. Пока дошли до Берлина, не менее пяти раз полностью сменился весь состав, одни убывали, других убивали и т. д. На этот раз оказались, к сожалению, молдаване. Молдавию в начале войны освободили мы, кажется, потом освободили немцы, потом снова пришли мы, в результате молдаване совершенно запутались,

кто начальник, кто враг и т. д. Тем более что они не очень нас любили. Но тут были власовцы. По радиации их командирами передавалась команда, и было слышно – с хорошей матерщиной, как они ругались, в полный рост шли на нас, а мы их расстреливали.

Н. Р. : Это уже под Берлином?

Б. А. : Нет, еще не под Берлином, при расширении в сторону Берлина. Немцы власовцев бросили. Я сам присутствовал, как нескольких власовцев поймали, или они сами перешли, и как комендант полка, была такая должность, из пистолета перед всем нашим строем, подошел и застрелил их за измену родине, застрелил как предателей... Во время этих боев некоторые власовцы попали к нам в плен. Мы плацдарм расширяли, расширяли и расширились до того, что подошли и заняли громадную территорию, дошли до предместий Берлина. В предместьях Берлина расположены были так называемые Зееловские высоты. Эти Зееловские высоты немцами были сильно укреплены, и наша 8-я гвардейская армия не могла начать штурм Берлина, пока у нее сбоку на фланге оставались эти высоты. Потому что там были, конечно, и пулеметы, и минометы, и артиллерия. А мы сидели в окопах, перед нами были окопы с немцами, и пока мы не могли продвинуться еще ближе. Назначили нового комсорга полка, он хотел выдвинуться, он говорил по-немецки. Значит, вот окоп, и в сторону врага вырыты такие ячейки, вроде полукруга, и там по ночам сидят дежурные, часовые. Он решил выдвинуться, заполз со стороны немцев, подлез к одной ячейке и говорит: «Как тебя звать?». Тот назвался.

Н. Р. : К кому заполз, к нашим?

Б. А. : К нашим, к молдаванину. Тот назвался. «Ну, – говорит, – вылезай, пойдем к немцам». Тот говорит: «Тут у меня

мешочек с сухарями, брать с собой?». – «Бери с собой!». Он взял, оба они полезли, и комсорг вывел его к штабу полка. Молдаванина в итоге то ли расстреляли, то ли что, а комсоргу запретили такие фокусы, смущать молдаван. И вот я там уже встречал и Новый год, кстати, 1945-й. Долго мы там стояли, там мы в первый раз праздновали новогодний праздник.

Н. Р.: *Это был Ваш первый Новый год на фронте?*

Б. А.: Да, первый и последний. Мне сказали, что нужно прийти вечером во столько-то часов к командиру батальона, в его блиндаж. У него был настоящий блиндаж с хорошим перекрытием, а у нас, у командиров взводов, были что-то вроде нор.

Н. Р.: *Это землянка?*

Б. А.: Землянка в три наката. А у нас даже без всякого наката, нора. И в ней я спал.

Н. Р.: *В ней мог только один человек поместиться?*

Б. А.: Сам окоп был длиной полтора-два метра, вниз вырыта нора. Один человек там мог спать. Я почистился сколько мог, вымыл сапоги, чтобы не были слишком грязными. Ничего не смог сделать с шинелью, у костра во время переходов где-то сгорела часть полы. Но то, что висело, я ободрал и такой парадно одетый явился вечером в настоящий, с накатом, блиндаж командира батальона – большой, просторный, полуподземный домик. Оказалось, надо праздновать Новый год. Стоял большой стол, и все офицеры, и в том числе, естественно, начальство, сидели там. У каждого было поставлено на стол две жестяных кружки, в одной что-то было налито, в другую налили воду, а закуска стояла рядом, непосредственно возле начальства – большое ведро, полное жареных котлет. Это сделали в полку, из полка прислали

для проведения праздника. По тем временам это было что-то невероятное! Ну, и говорили какие-то речи, заместитель части что-то говорил о победе, там то-се... Чокнулись, я смотрю, кто пьет из какой кружки, выпил, а это оказался чистый спирт. Я даже задохнулся сразу, я не знал, что, не переводя духу, надо запить водой. Командир батальона заметил: «Лейтенант Литвинский, ты что, раньше не пил?». Я говорю: «Первый раз в жизни». – «Знаешь что, тебе надо научиться, в мирной жизни пригодится. Завтра вечером заходи, начну тебя тренировать». Поил меня и угощал. Все это было неплохо.

И вот, на каком-то этапе мы стояли недалеко от немцев в окопах, но пули в эти окопы залетали, особенно днем. Утром, днем, когда немцы стреляли, очень часто были легкие ранения, но меня не тронуло. Рядом стоял другой взвод, и им командовал человек, который стал моим приятелем на короткое время. Звали его, по-моему, Дмитрий. Этот Дмитрий был из какой-то деревни, в отличие от меня очень здоровый деревенский парень с четырьмя классами образования или пятью. Вот этот Дмитрий однажды стоял, и пуля ему задела по касательной щеку, можно было обойтись своими средствами, была аптечка и все такое. Но он решил пойти в медсанбат, тем более что в медсанбате были девушки. Он ушел, вернулся вечером, какой-то совсем чудной, буквально ничего говорить не может, кроме одного: «Какая девушка! Какая девушка!». Я говорю:

– Ты расскажи, какая эта девушка?
– Воздушная, такая прекрасная, такая красивая медсестра!

Я говорю:
– Ну, ты к ней подошел?
– Ну, что ты. Я, простой парень, к такой девушке, там офицеры... а она фея.

– Ты хоть имя ее знаешь?

- Да, ее называли Веркой.
- Ну, что делать, ты с ней не поговорил?
- Не поговорил...
- Ну, напиши ей письмо.

Он так грустно посмотрел и говорит:

- А думаешь, я могу написать письмо?
- Ты же газеты читаешь...
- Одно дело читать, а как написать? В конце слов какие буквы, я же не знаю, и как это связывать все?
- Ну, ладно, я напишу для тебя письмо, и, чтобы это было достоверно, ты все-таки сам перепиши без ошибок слово в слово.

Я сочинил любовное письмо, какая она фея, и все, что положено. Он переписал, сделал несколько ошибок, я забраковал. Он написал снова, по-моему, без ошибок. На следующий день задело какого-то солдата в плечо или еще куда-то, тот быстро должен был вернуться, т. е. его задело так, что это было легкое ранение. Но он ему дал письмо и приказал лично ей передать. Солдат вернулся к вечеру, перевязанный, все честь честью, он к нему, солдат ему отвечает:

- Да, передал.
- А она что?
- А она, говорит, прочитала.
- Ну, и что?
- Ничего, она просто засмеялась.

Дмитрий впал в тихую грусть:

- Я же говорил, она недоступная, она такая...

Я говорю:

- Давай повторим.

Я сочинил литературное такое произведение, опять он отправляет письмо на следующий день с раненым, тот вернулся:

- Передал?
- Передал.

- Что она?
- Засмеялась.
- А что сказала?
- Сказала, пусть ждет.

Действительно, несколько дней он ждал, но через четыре или пять дней пришел вестовой из штаба полка с распоряжением Дмитрию откомандироваться в распоряжение начальника штаба полка. И Дмитрий мне говорит: «Ты так старался, и письмо так хорошо написал, а теперь будешь гнить в этих окопах, тебя так или иначе убьют». Я говорю: «Ну, что делать, значит, твоя судьба такая, твоя судьба с Верой». Он говорит: «А если я скажу твоему начальнику штаба, что ты будешь работать переводчиком?». Я говорю: «Ни в коем случае». Читать по-немецки я могу, но у нас в те времена в Ташкентском университете не учили совершенно разговору. Я говорю: «Тут нужно будет допрашивать пленного, а я даже слов таких не знаю. Как будет слово “пулемет”? – не знаю». – «Я что-нибудь придумаю». Действительно, прошло несколько дней, наша Вера подействовала, меня вызывают к начальнику штаба полка. Интересно, зачем? Я подхожу к начальнику штаба, они располагались в лесу, примерно в 1–1,5 километрах от нас, там была тишь и гладь. Снаряды, естественно, долетали, но пули не мелькали, минометы тоже не брали. И рапортую: «Товарищ начальник, гвардии лейтенант Литвинский по Вашему приказу прибыл». Он говорит: «Это не я, собственно, приказал, тебе нужно к командиру полка».

- А где командир полка?
- А вот там блиндаж.

Показал в сторону, такое место, охрана стоит, солдат.

- Иди к нему, он все объяснит.

Пришел, познакомился с этим солдатом, солдат говорит: «Да, этот блиндаж недавно мы закончили, это блиндаж командира полка».

– А где командир полка?

– А он уехал, может, через час-другой приедет.

Я решил познакомиться, стал его спрашивать, что – чего, что за блиндаж? Он говорит: «Сейчас я тебе покажу». Тот блиндаж был не в три, а, наверное, в пять или семь накатов. Углублен вниз, вырыт котлован, боковые стенки забраны вертикальными бревнами, пол тоже деревянный, и потолок – сплошной накат, наверное, в пять накатов. Накат – слой бревен. Даже легкий снаряд это не мог пробить. И какой-то сбитый стол, какой-то топчан. Я подумал, как-то он непритязательно живет, этот самый командир взвода. И вдруг выскакивает старичок, которому было максимум 44–45 лет, такой маленький, жилистый, довольно веселый. Я рапортую.

– Да, говорит, я тебя вызывал. Мне нужен адъютант, предыдущего убило. Ты что умеешь? Что заканчивал?

Я доложил.

– Почему в автоматчиках, как такое получилось?

Он открывает свою сумку, вынимает топографическую карту, раскрывает ее и говорит: «Вот видишь, мы находимся тут, тут стоит мой блиндаж, а вот дорога ведет на населенный пункт, который придется, может быть, атаковать. Вот, ты пройдишь по этой дороге по карте и объясни, что слева, что справа. Прочитай, чтобы я знал, что там находится». Для меня это было все равно, что для студента пятого курса рассказать про Киевскую Русь, он все уже знает. Я знал все эти значки, я ему рассказал и ширину дороги, и полотна, и какое покрытие – щебневое или какое, мост (там речка была), какая ширина реки, какая грузоподъемность моста, какую тяжесть выдерживает. Слева и справа там сосновый лес, зрелый или молодой, – все это на карте было обозначено условными знаками. Но я-то это преподавал девять месяцев. Я все знал, все ему рассказал. Тогда он сказал: «А если пойти в другую сторону?». Ну, все это повторилось.

Я говорю: «То ли 1000, то ли 1500 знаков я знаю». Это далеко не все, конечно, но уже потом, когда я работал в экспедиции, все это мне страшно пригодилось. Он сложил карту, положил к себе в планшет и говорит: «Ну что ж, быть тебе адъютантом, ты прекрасно читаешь карту». Вскочил в машину и уехал. А я не знаю, что мне делать. Я подошел к этому солдату и говорю: «Что адъютант должен делать?». Он говорит: «Ты видел блиндаж?».

– Видел.

– Не может же полковник жить в таком блиндаже. Ему нужно какую-то мягкую мебель, хорошо ковер внизу положить, постель мягкую нужно. Ну, конечно, ты понимаешь, он же мужик, девушку нужно добыть, договориться.

– Откуда девушку?

– Ну, – говорит, – медсанбат есть, там много, и связистки есть. Ну, в крайнем случае, иди, вон там есть деревня немецкая, притащи оттуда.

А я не смог ничего этого сделать. На третий день командир полка мне сказал: «Ты читаешь карту превосходно, не хуже меня, но в адъютанты не годишься. Ступай в окопы». И я снова отправился в окопы. А приближался штурм Берлина, и Чуйков должен был со своей армией по этому направлению наступать. С вечера собирают офицеров, членов партии и говорят: «Утром будет ракета, в шесть или семь утра (я не помню, видимо, было в шесть утра), надо брать атакой передний край Зееловских высот». Ничего, никакой подготовки. Утром ракеты, мы уже были готовы, нас пополнили молдаванами и еще кем-то. Я со своим взводом выскочил из этого окопа и с криками «Ура! Вперед!» побежал. Не только я, весь батальон побежал. Ну а немцы тоже не спали, они стали палить из пулеметов сверху вниз, им все это видно прекрасно. И половина погибла, а остальные развернулись и побежали назад. Раненых сумели оттащить. Три дня так продолжалось.

Я думал, когда же меня убьют, потому что опять от взвода почти никого не осталось. Я решил, что я, видимо, заговоренный, потому что все время в боях и все время без единой царапины. Вот, мы бежим, минометы открыли огонь, и вдруг я чувствую, что падаю, страшная боль в левой ноге, я потерял сознание от боли, болевой шок. К счастью, бойцы меня все-таки вытащили, то ли мои, то ли чужие, и дотащили до медсанбата. Там открыл глаза, чуть-чуть пришел в себя, и какая-то сестра, по-моему, та самая Вера, сделала мне укол. Мне полегчало, и меня повезли в армейский госпиталь на грузовике, растрясли, естественно. Привезли, госпиталь был в таком сарае, какое-то нежилое строение, и там были оборудованы нары. Кроватей не было, всех сваливали на нары, и была операционная. Через некоторое время с меня стянули новые хромовые сапоги. А я помню, что был ранен в ногу, потому что в сапоге была дырка около пальца. Меня потащили в операционную, ходить я сам не мог. Операционная была страшно примитивная, меня положили тоже на какие-то нары или стол, освещение электрическое было, но не было рентгена. Входное отверстие на ноге было, а выходного нет, значит, это осколок был. Меня, кстати, тогда и контузило, я до сих пор плохо слышу.

Они щупали-щупали, нащупать его не могли, косточек много, они решили тогда умно: мне дали наркоз, это действительно было. Потом по длине разрезали, от пальца до пятки всю ступню, боль еще была какая-то, но я уже стал просыпаться и слышу голос хирурга: «Послушай, парень, что же с этой железякой делать? Выбросить, что ли?» Я махнул рукой, вроде выбрасывай. Я слышал, как в ведре звякнуло мое свидетельство о ранении. Но они положили меня снова. Дело в том, что у них антисептика была явно не на высоте, не говоря уже о том, что никаких бактерицидных средств, тем более пенициллина, у них не было.

Я пролежал у них недели две-три, и меня отправили уже в армейский госпиталь.

Н. Р. : *Это была уже весна 1945-го?*

Б. А. : Да, все это произошло в апреле месяце. Мы наступали через Лодзь, а тут привезли меня в Краков. А в Кракове выбитые нами немцы построили прекрасный госпиталь для своих офицеров с отдельными комнатами, со всеми рентгенами. И меня положили туда, правда, в комнате было четыре офицера. Стало полегче, я стал на костылях ковылять, и другие тоже ковыляли, кто-то даже старался затащить к себе в постель какую-то медсестру, она потом на него обижалась и т. д. И так мы постепенно выздоравливали, и, когда уже почти все в палате бросили костыли и встали с палками, забегает из какой-то соседней палаты знакомый, ближайший коллега этих моих, и говорит: «Ребята, чего вы тут лежите?». Те говорят: «А что?».

– Не лежать надо, а выходить.

– Куда выходить?

– В городе-то еще бордели остались. Конечно, там стоят патрули, но, если зайти с той стороны, попасть туда можно.

Все разволновались, стали примеряться, обсуждать, опасно, не опасно... Начальство все это видело, понимало и знало. Но никто из них не успел, буквально через три дня погрузили всех в вагон, и в Россию. Я попал в Мичуринск, это Тамбовская область, и там, в какой-то школе переоборудованной...

Н. Р. : *Борис Анатольевич, простите, а Берлина Вы не видели?*

Б. А. : Берлина я не видел и переживал из-за этого, потому что это настоящий музей, но, конечно, там меня убило бы, всех поубивало бы.

Н. Р. : *А я помню, как Вы мне рассказывали еще в нашем институте, что очень хотели дойти до Берлина, мечтали туда попасть, потому что в Берлине Вам очень хотелось поработать в знаменитых европейских библиотеках...*

Б. А. : Это другая история. Я могу сказать, действительно, я очень переживал, потому что Берлин уже был виден там, на Зееловских высотах, это как предместье Москвы. А ночью союзники бомбили Берлин, и взрывы и пламя было видно отлично. Берлин под носом, а я тут попал в госпиталь! Я был страшно расстроен, хотя надо было радоваться. Лежал я в Мичуринске месяц за месяцем, прошел май, июнь, июль...

Н. Р. : *Но уже в мае была Победа?*

Б. А. : Победу мы отпраздновали.

Н. Р. : *Как Вы узнали, что Победа?*

Б. А. : Радио было в палатах.

Е. А. : А между прочим, как только началась война, в Ташкенте у всех были радиоприемники, а потом у всех забрали. Барахло, но тем не менее забрали, а потом вернули. До сих пор сохранились.

Н. Р. : *А как отмечали Победу? Что делали?*

Б. А. : Особого ничего не было. Все были унылые, все хотели домой, но всех не отпускали. У меня рана не затягивалась, оказывается, были перебиты все косточки под пальцами – то заживало, то открывалось. Они не имели права меня выписывать. Наконец меня вызывают на комиссию, там все формальности, а потом говорят: «Ну что ж, мы не можем тебя демобилизовать окончательно». А я только об этом и думал. Я уже вступил в партию там, на фронте.

Н. Р.: *А когда Вы в партию вступали на фронте, в каком месяце?*

Б. А.: Не помню.

Н. Р.: *Но Вам хотелось стать коммунистом?*

Б. А.: Да, я был страшный патриот и верил как святому – Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Н. Р.: *Скажите, каково было Ваше отношение к Сталину до войны, во время войны и сейчас?*

Б. А.: Все опросы показывают, что чуть ли не половина населения говорит, что при Сталине было жить лучше. Никто уже не помнит всех этих зверств.

Н. Р.: *Несмотря на то, что у Вас так страшно погиб отец? Все равно во время войны Вы были за Сталина?*

Б. А.: Я никогда не кричал «За Сталина!», я «За Родину!» кричал... Они вызвали и говорят: «Мы тебя не демобилизуем, тебе надо учиться». Я говорю: «Так вот, я и еду учиться». – «Нет, армии нужны грамотные люди, грамотные офицеры. Мы тебе дадим годичный отпуск, окончательно залечишь ногу, и возьмем тебя в Академию». Я сказал: «Не хочу в Академию». В общем, меня хотели исключить из партии, но не исключили и отпустили, выдали какие-то деньги. Ну, в общем, это не лучшие мои воспоминания о жизни.

Я уже не на костылях, а с палкой, поехал через Москву, все поезда через нее ходили. Я вылез, до поезда в Ташкент оставался чуть ли не целый день, и я решил пойти в букинистический магазин, хотя я ни разу не был в букинистическом магазине и никогда не мог себе представить, что там. Я доехал до остановки у гостиницы «Москва» и по правой стороне улицы, перейдя на другую сторону по направлению к Белорусскому вокзалу, по улице Горького прошел

несколько домов или полквартала, там было написано «Букинистический магазин». Я пощупал деньги, – пока не украли. И я пошел на «охоту»... Долго смотрел – вижу, лежат «Русские древности в памятниках искусства», авторы Толстой и Кондаков, в семи томах. Дорого стоит, но денег моих хватает. Я купил, мне завязали, это 1890-е годы. Я в третьем выпуске 1891 года издания прочел первое описание того, из-за чего я стал копать храм Окса, – что там на берегу Амударьи был открыт золотой клад за двадцать лет до того, как авторы писали эту книгу. И жизнь повернулась так, что я потом попал в Таджикистан, попал в Афганистан, заинтересовался этим местом и потом пятнадцать лет проводил там раскопки, выпустил два тома...

Е. А. : А этот Амударьинский клад в Британском музее?

Б. А. : Да. 180 золотых предметов в Британском музее. И сколько таджики ни плачут, им никогда это никто не вернет, потому что тогда Таджикистана не было, а было Бухарское ханство.

Н. Р. : *И Вы поехали домой, в Ташкент?*

Б. А. : В Ташкент, где меня должна была ждать супруга.

Е. А. : Как я его ждала! Как однажды два с лишним месяца не было писем от него, как я переживала, как я у гадалки была... Но это отдельный рассказ. Мы жили в полуподвальном сарае, там какое-то раньше было училище, потом его освободили и отдали людям под жилье. Такой был длинный сарай, саманная крыша, не железная, ни какая-то другая, а саманная, этой смесью мажут крышу, и на сезон хватает, если хорошо промазано. Ворота,ходишь – и тут же наш сарай, поворачиваешь направо – там была тахта, прямо на земле стояла, углубленная, а в Ташкенте тогда было принято спать на улице, особенно летом: жарко. У меня железная кровать стояла прямо перед окном. Просыпаюсь я как-то под утро, но еще не встала, вдруг от ворот идет

какой-то мужчина, поворачивает сюда, подходит, перешагивает через меня и через окно прямо туда, в полуподвальное помещение. Он даже не поздоровался, не поцеловал жену, ничего не сказал, перешагнул через меня и домой.

Н. Р. : *Вы не узнали Елену Абрамовну, что это она спала на кровати?*

Б. А. : Не узнал.

Е. А. : Вот, меня это до сих пор возмущает. Но зато он привез мне подарок. Он в госпитале обменял свои часы на миниатюрный Коран, размером в один-полтора сантиметра, красивый металлический футлярчик, и туда вставляется Коран, сделанный вместе с лупой. А я разутая, раздетая, нет чтобы что-нибудь практичное привезти.

Б. А. : Это потом все возместилось, потому что через несколько дней я пошел в университет. В деканате меня восстановили, причем я хотел сесть на первый курс, я все забыл, а они: «Нет, садись на четвертый». Я человек послушный, я выполнил приказ, пошел на четвертый курс и быстро закончил. Но, понимаете, там, в деканате, мне сказали: «Ты же герой, ты был на фронте, иди в местком, там какие-то подарки дают». Я пошел, естественно, в местком. Поискали меня в списках, есть такой, дали мне ордер на покупку 12 метров ткани – бязи. А затем начались шашни с военкоматом, – в военкомате надо было зарегистрироваться, потому что я хотя был демобилизован, но был офицером. Через некоторое время я зарегистрировался, на основании документа из госпиталя мне дали II группу инвалидности и выдали книжку, она у меня сохранилась, была большая прибавка к стипендии и, кроме того, там были талоны на железнодорожные билеты. Один раз в год, что ли, можно было съездить. Прошло какое-то время, мы никуда не ездили по этой книжке, но деньги я исправно получал. Однажды снова вызывают в военкомат, я уже ходил,

кажется, без палки, потому что нога на свободе как-то быстро зажила. Сижу, и сидит передо мной капитан:

- Ну, что, гвардии лейтенант, делаешь?
- Учусь.
- Как учусь, ты же кончил университет?

Два года прошло, как я закончил университет.

- В аспирантуре учусь.
- А что ты делаешь в аспирантуре?
- Пищу диссертацию.
- А как ты пишешь? Покажи.

Тогда был такой фасон, авторучки носили в кармане. Я вынимаю свою авторучку, снимаю колпачок, беру авторучку в правую руку и пишу.

– А мы платим тебе за левую ногу. Снять его с инвалидности!

И с тех пор я перестал быть инвалидом II группы, и снова дали инвалидность только недавно.

Н. Р.: *Борис Анатольевич, у Вас есть военные медали? Вам дали какие-то награды, пока Вы были на фронте?*

Б. А.: Почти ничего не дали.

Е. А.: Два ордена. Документы есть, а где они находятся, найти не можем.

Б. А.: Один орден Красной Звезды, другой – «За Победу над Германией». Я никогда не носил, потому что я был обижен. Видимо, Особый отдел придерживал все мои представления к наградам.

Н. Р.: *За что Вам дали орден Красной Звезды?*

Б. А.: За боевые операции. Я ведь ходил в далекую разведку с разведчиками, т. е. не я один, а вместе со взводом, вместе с разведчиками мы ходили на 20–30 километров до немцев. Я участвовал и в боевых операциях... В общем, за многое.

Е. А. : Переписка с фронтом была в таких треугольничках из бумаги, и поэтому ни марок было не нужно, ничего. Мы с ним часто переписывались.

Но вот – неделю, две недели нет от него писем, я уже стала беспокоиться. Проходит два месяца, от него ничего нет. Куда обращаться, как узнавать, быстро не узнаешь... И тут мать моей подруги говорит: «Есть одна женщина, она замечательная гадалка, она все видит». Вот, до какой степени я дошла, два месяца от мужа писем нет, может быть, он убит. С этой женщиной, она татарка была, вместе поехали, доехали до Хадры, до площади. Шли по этим улицам и пришли в какой-то дом, двор – софа на улице стоит, Старый Ташкент, старый город. Она зашла внутрь дома, сообщила, опять вышла, мы сидим на краю софы, ждем. Вдруг выходит преогромной толщины круглолицая, большеголовая старуха, и на ее лице какой-то застывший покой. Я ее вижу перед собой, она на меня произвела впечатление. Она прошла несколько шагов и села на большую подушку на этой самой софе. Сидит молча, эта по-татарски что-то ей объясняет, показывая на меня, та кивнула, поняла и сказала: «Подожди, сиди». Она долго сидела просто так, смотрела, потом стала ко мне присматриваться со стороны. А потом говорит той по-татарски, я не понимала: «Через две недели получит письмо». Встали, ушли. Я даже успокоилась почему-то. Хотите верьте, хотите нет, а через две недели я получила от Бориса письмо.

Н. Р. : *А почему Вы не писали, Борис Анатольевич?*

Е. А. : Он был на этих Зееловских высотах, а там связи не было.

Н. Р. : *Борис Анатольевич, Вы были, наверное, атеистом, как все советские люди. А вера в Бога в Вашей жизни как-то присутствовала? Многие рассказывали, что во время войны,*

несмотря на то, что все были атеисты, коммунисты, у многих был крестик на шее или иконка в вещмешке... или еще что-то...

Б. А. : Ничего не было. Абсолютно. И совсем недавно у меня произошел даже конфликт на этой почве. Я лежал в академической больнице в хирургическом отделении, мне собирались делать операцию, после которой я, конечно, не встал бы, но я согласился и даже подписал бумаги. Там палаты на двоих, на другой койке никто не лежал. Живот болел, я слушал радио. Вдруг заходит человек и обращается ко мне: «А вы с чем лежите?».

Я ему сказал.

– А какой вы веры придерживаетесь?

– Я еврей.

– Ну и что? Но вы же не иудей, вы просто еврей?

– Я не могу быть православным, я еврей.

– Приветствуется переход евреев в православие.

Мы с ним заспорили, он рассердился и ушел. Потом вернулся, подошел ко мне и говорит: «Покайся Богу, раб Божий Борис». Перекрестил меня и ушел. А я собирался ему рассказать о своих отношениях с религией, а он не дал мне рассказать.

Н. Р. : *Понятно. А как Вы питались на войне, быт, как все это было?*

Б. А. : Быт был разный, голодными мы не были. Нас все-таки подкармливали. Это был не тыл, в тылу было хуже. А в училище и на войне кормили прилично по тем временам. Гречка, гречка, гречка, еще чего-то, другой раз жарили чуть ли не на вертеле из чьего-то замка уток или гусей.

Е. А. : А мы в тылу голодали.

Н. Р. : *Еще вопрос. Сейчас много пишут о заградотрядах. Солдаты шли в атаку, а за ними шли сзади и стреляли в тех, кто мог повернуть назад. Приказ «Ни шагу назад»...*

Б. А. : Да. Когда наши бежали, а немцы наступали, был приказ: «Ни шагу назад». Тогда были заградотряды, загоняли, стояли с пулеметами, стреляли, все это знали и не бежали. Но, в общем, длилось это недолго. А потом еще были штрафбаты, штрафные батальоны, – давали, скажем, 15 лет тюрьмы и брали в армию, зачисляли в штрафбат. Они первыми шли в атаку, на плацдарме, на другом берегу реки, а кто оставался живой, по представлению начальства с него снимали все его наказание.

Н. Р. : *Насколько частым явлением были эти заградотряды? Всю войну?*

Б. А. : Только в тот период, когда немцы наступали, наши отступали, особенно когда панически отступали.

Н. Р. : *Много было предателей на войне, трусости?*

Б. А. : Трудно сказать. Я видел только власовцев, но уже пленными.

Н. Р. : *А ваш денщик остался жив, был с Вами?*

Б. А. : Он был хороший человек. Он был возле Зееловских высот рядом со мной. Как-то раз он приходит, а у него рука как-то обожжена вся, это считалось признаком самострела, из ракетницы. Его забрали, и что с ним было дальше, не знаю.

Н. Р. : *Он специально это сделал или случайно?*

Б. А. : Специально сделал. Война – это страшное дело. Рассказывать легко, хотя воспоминания тяжелые. Вся эта кровь, кровь... Человеческая плоть, которая ничего не стоит...

Н. Р. : *Как Вы увидели в первый раз смерть на войне?*

Б. А. : Это было такое впечатление... Если бы я остался пулеметчиком, я бы сидел в своем гнезде и стрелял из пулемета, а так как я был автоматчик, я кричал «Вперед! Вперед!». Мы бежим, а они, пулеметчики, отсиживаются сзади. Кто-то падает – один, другой... Это становится повседневным бытом.

Н. Р. : *А у Вас на фронте были друзья?*

Б. А. : Нет, особых друзей не было, потому что масса людей менялась необыкновенно быстро. Буквально проходило две недели, и состав редел.

Н. Р. : *Еще вопрос – в последнее время особенно много говорят о пьянстве на фронте. Что водка помогала воевать и идти в атаку, на трезвую голову никто не воевал.*

Б. А. : Такого не было. Я пил и видел только один раз, как пили спирт под Новый год, я рассказал. Иногда папиросу давали, а 100 граммов никогда не давали, либо до нас не доходило.

Н. Р. : *Насколько важно было на фронте образование?*

Б. А. : Малограмотных тоже много воевало. Было много простых людей. Эту войну выиграла малограмотные люди. Мой великий друг Зия Буниятов, он полуазербайджанец, полуиранец, арабист, командовал штрафным батальоном, форсировал Днепр и стал Героем Советского Союза*.

После войны он работал, был постоянным участником конференции, которую я организовала. Бартольдская конференция – по фамилии самого знаменитого российского востоковеда немецкого происхождения Бартольда,

* Зия Мусаевич Буниятов (1921–1997) – советский и азербайджанский востоковед, академик Академии наук Азербайджана, Герой Советского Союза.

вот 10-томник его у меня стоит. Это была Всесоюзная конференция, все ездили на нее, каждая конференция была посвящена определенной теме, все было интересно, полемика возникала. И вот наш Зия. Я про него раньше слышала, но не видела. Характер у него, по рассказам, был хулиганистый. Рассказывали такой эпизод: сдавал он экзамен, и ему приперло в голову: «Если ты мне не поставишь, то я тебя прикончу». Экзаменатор с испугу поставил. Но он был красавец, успехом пользовался необыкновенным и умел пользоваться этим успехом, это было раньше. Мы еще работали в Армянском переулке, и там было полуподвальное помещение. Я сижу за письменным столом как-то, вдруг вижу – заходит человек и прям от двери к моему столу. Я еще что-то дописываю, а он стоит – такой красавец, густые кудрявые волосы, скромный такой – и представляется, говорит, что хочет участвовать в конференции. А я помню его репутацию, совсем другой человек, по-видимому, к этому возрасту образумился, потому что был на войне. Завязался разговор, потом он в гостях у нас был, сложились хорошие теплые отношения. Когда началась заварушка в Азербайджане, он примкнул к какой-то одной группе. Было у них какое-то заседание, возвращался домой, сделал два шага – и его убивают. Так он погиб...

Н. Р. : *Ваше отношение к Германии? До войны, во время войны и после войны?*

Б. А. : До войны я знал очень мало, хотя начал читать немецкие научные книжки, и это меня очень заворожило. С тех пор я начал понимать, какую роль немцы сыграли в русской востоковедной науке. После того как цензура спала, я был членом редколлегии журнала «Восток», остаюсь им и сейчас. Тогда главным редактором был Леонид Борисович Алаев. И Алаев вынес постановление, что каждый член редколлегии должен написать к очередному номеру какую-то

передовицу. И я написал о роли немецкой науки в российском востоковедении, тогда это было уже научно, это было в 1990-е годы, и это было опубликовано.

Н. Р. : *Ненависти у Вас нет к немцам? У Вас к ним хорошее отношение?*

Б. А. : Совершенно нормальное. После войны немцы страшно переживали. Те, кто приезжал к нам в Душанбе, всячески доказывали, что они или не были на войне вообще, или были связистами, в почтовом ведомстве... Все отрекались от войны. У меня был такой случай: вызывает меня директор института тов. Гафуров: «Борис Анатольевич, Вы хотите поехать в Германию?». А дело в том, что я опасался, что меня вообще не пропустят. Я ему сказал: «Меня пустят?». – «Если я порекомендую, пустят. Вы поедете в Берлин на неделю. Дело в том, что тут приезжал директор Института истории, мы подписали письменное соглашение о проведении совместной конференции. Я написал им письмо, все согласовал, а он ничего не отвечает. Узнайте, в чем дело; не хотят – проведем сами».

Я поехал, встретили меня хорошо, директор был археолог, как раз изучал древние славянские поселения на территории Германии, говорил прекрасно по-русски. Он бумаги нам отправил, а мы ничего не получили. Я съездил еще в Дрезден, посмотрел Дрезденскую галерею, съездил в Лейпциг, посмотрел Лейпцигский музей, съездил в Кёльн, встретился там с индологом, который был на моих раскопках. И как-то они меня спросили, как мне здесь, в Германии, нравится. А на их вопрос я ответил, что уже здесь был, воевал...

Н. Р. : *На Вас сильно повлияла война?*

Б. А. : Безусловно. Я стал как-то больше верить в себя. Хотя мне приходилось все время командовать экспедициями. Экспедиция – это отряд от трех человек до пятидесяти,

в котором возникают конфликты, разные отношения. Для этого нужно иметь определенный характер. Кроме того, я был заведующим большим отделом, где были друзья и враги. Некоторые таджики страшно меня не любили. В Таджикистане. Все-таки какая-то закалка во мне от фронта осталась. Хотя я всегда был человеком мягким, гуманитарным.

Н. Р. : *А что помогло выжить в войне?*

Е. А. : Случай. Конечно, это случай.

Б. А. : Случай. Понимаете, летит самолет, бреющим полетом, и строчит из пулемета. Моего соседа убило, меня не убило. Почему? Ведь у нас были равные шансы. И так все время, и я как-то оставался живым и целым.

Е. А. : Я считаю, что если чудеса бывают, то чудо – это жизнь тех, кто остался в живых после этого. Это такая была мясорубка. Такая массированная была война, столько людей там погибло! Войны всегда были, всегда люди гибли, но таких масштабов, страшных масштабов...

Б. А. : Ведь это все виноват Иосиф Виссарионович. Это я не сразу все понял. И только после хрущевского разоблачения я стал как-то сомневаться, сомневаться...

Е. А. : И стали появляться факты... Вот пример. После войны мы поехали отдыхать втроем с сынишкой в Латвию. Поселились на берегу Даугавпилса у одной симпатичной женщины. Эта хозяйка нам много рассказывала о первых днях войны. Ведь сколько же поступало Сталину сведений, что будет война, будет война. Помните Зорге... И вот эта женщина – они жили на границе с первым мужем, он был летчик, рассказывала, что накануне 21 июня 1941 года всему летному составу части дали отпуск и разрешили поехать в город, недалеко. Они с мужем не поехали, так как у них было двое детей. Все уехали. Остались только они с детьми и несколько мирных жителей. И буквально через

них прошли немецкие войска, а все наши летчики гуляли в городе.

Н. Р. : *Что бы Вы сказали о войне молодым сегодня?*

Б. А. : Вот в те годы, когда происходила война и я был молодым, для меня понятие защиты Родины против фашистов было святым, и я был готов к смерти в любой момент. Для меня это не было чем-то ужасным. Убьют – убьют. Потому что я видел все это своими глазами. Я видел, как люди шли на смерть, как они погибали. Каждая атака сопровождалась десятками, сотнями, тысячами убитых. Но ведь и немцы были убиты. Конечно, мы потеряли гораздо больше убитыми, и это все благодаря Сталину.

Вот Вы слышали, например, у нас была одна граница. Потом по пакту Риббентропа – Молотова мы продвинулись вперед. Западная Белоруссия вошла, Западная Украина, части Польши, Прибалтика. Так вот на старой границе было создано громадное укрепление. Когда продвинулись вперед, на новой границе ничего не возводили, а старые разружили. Сталин верил, что Гитлер и он поделят мир. На все остальное плевали. Как же я могу...

Е. А. : Я тоже так считаю. Когда я узнала про Зорге... Я все обдумала. Сталин считал себя великим человеком. И еще один великий человек – Гитлер. И они дружить будут и действительно поделят мир. Такая идея – она нигде не высказана, не записана, но в голове была, что они, два великих человека...

Б. А. : В Ташкенте в букинистическом магазине я купил стенографические отчеты XIV, XV, XVI съездов партии, потом их как-то засекретили в спецотделе. Бухарин был ближайшим другом Сталина. Там на каком-то съезде Сталин выступал и говорил, что Бухарчика мы вам в обиду не дадим, мы будем грызть горло за Бухарчика... Они были друзья, а потом он оказался врагом народа. Зиновьев, Каменев, все

вроде коммунисты, а оказалось, что они не коммунисты, а дерьмо. Это все Сталин делал.

Н. Р. : *Вы работали медсестрой в госпитале, расскажите!*

Е. А. : Я была пересылочной медсестрой в эвакуогоспитале, он находился в здании бывшего текстильного комбината, такое большое здание. Я приходила туда часам к 18–19, уже под вечер, и оформляла документы тех, кто должен был выписываться. Узнала много медицинских слов. Потом, когда документы были готовы, ко мне приводили группу раненых, по большей части на костылях, человек так двенадцать–четырнадцать, и моя задача была переправить их из этого лечебного в эвакуогоспиталь. Нужно было ехать на одном трамвае в центр Ташкента, на Воскресенский базар, там был трамвайный узел. Потом надо было пересесть на другой трамвай и доехать до того эвакуогоспиталя. Это заканчивалось обычно в два–три часа ночи, и потом я шла домой на другой конец города через весь темный страшный Ташкент пешком. Это тоже занимало быстрым ходом около часа. Я ничего не боялась, и со мной до поры до времени ничего не происходило.

Сложность заключалась в том, чтобы довести моих раненых до госпиталя в полном составе. Они все были на костылях, и у всех были девочки. Все они норовили улизнуть, а моя задача была их задержать и довести.

Это было невероятно трудно. Когда мы подъезжали к Воскресенскому базару, было уже абсолютно темно, это было время, когда все работы заканчивались, и все трамваи были забиты. И хотя мы имели право сесть с передней площадки, но там тоже все было полностью забито. И мне приходилось где криком, где с помощью вагоновожатой как-то их посадить, сохранить и довести. Тут удрать ничего не стоило, но я тогда побойчей была, и я их довозила.

Б. А. : А я тоже до призыва на фронт работал в ночной смене на заводе. Это был военный завод, там делали детали для радиоаппаратуры. Нужно было к 7 или 8 вечера прийти (он, правда, находился в центре), и смена продолжалась до 5, кажется, утра. В 12 или в 1 час ночи был перерыв на полчаса, и в это время кормили. Кормили так называемой затирухой, чуть-чуть муки насыпано в пиалушку, и все это залито кипятком, размешано, сверху капля постного масла. Это была чудесная еда! Хлеба, конечно, не было. И из-за этой чашки затирухи и за другой паек хлеба, ведь карточки были по категориям, а я получал уже как рабочий... Утром я бежал домой, чуть-чуть спал, если были лекции, бежал на лекции. После лекции бежал домой, может быть, что-то приготовили из еды, потом снова шел на смену. Тоже было «веселое» дело...

Е. А. : Я вам расскажу, в какую страшную историю я попала и как меня судьба вызволила. Вообще, все это было, конечно, очень тяжело, в 2–3 часа ночи возвращаться домой через ночной Ташкент. Наш полуподвал был далеко – надо было идти до границ Старого города, но никогда никакие бандиты мне не встречались.

А у меня был такой голубоватого цвета простенький портфельчик (была нищета страшная) на одном ремешочке, и туда я складывала документы раненых. Это была вот такая пачка на 12 человек, много всяких бумаг, включая некоторые пропуска в закрытые зоны. И так как никогда ничего не случалось, я ничего и не боялась.

И вот однажды я всех втиснула в трамвай, всех сохранила, всех довезла до эвакогоспиталя, они сидят, ждут, а я пошла сдавать документы. Открываю портфель, он такой пузыристый был, а он пустой – никаких документов нет. Боже мой!.. Пропали все бумаги! Но как-то приняли раненых у меня без документов. Что это было? Я понимала, меня должны арестовать или куда-нибудь сослать, или прямо расстрелять. Еще

эти пропуска секретные и прочее... Не помню, как я об этом сообщила. Но я пришла домой, легла лицом вниз и лежала. Не шевелилась, просто ждала, когда за мной придут. И так было, по-моему, сутки или полтора суток.

И вдруг мне сообщают, что документы найдены. Оказалось, на этом Воскресенском базаре стоял один угловой дом, там был госпиталь для офицеров. И один из раненых офицеров, гуляя, увидел на железном подоконнике в одном окне – какая-то пачка лежит. Он посмотрел и позвонил в тот госпиталь. Оттуда приехали, все забрали, там заведующий меня сразу узнал, отругал ... Конечно, бандитизм в Ташкенте был страшный. Если вы ехали в трамвае и у вас в кармане были какие-то деньги, и какой-то бандит полез их доставать, а вы замечали и выражали протест, кричали, тут же его напарник вам бритвой по глазам... Вот в основном делали так.

Н. Р. : *Кошмар...*

Е. А. : Да, кошмар был. Ну что ж, туда эвакуировался всякий народ. Но со мной ничего не случилось. И тут вдруг такой глобальный кошмар. Тут меня еще удивило и то, зачем тот бандит украл эти документы. Он, наверное, думал, что это пачка денег или какие-то ценности. Но он их не выбросил в помойку или еще куда-то, он положил их на окно в госпитале, где кто-нибудь обязательно должен был их увидеть. Какой-то элемент сознания в этом поступке все-таки был. Но после этого я оттуда уволилась.

Н. Р. : *Елена Абрамовна, спасибо за такой интересный рассказ. Вы, наверное, уже очень устали, мы Вас больше трех часов расспрашиваем. Можно последний вопрос, мы его всем задаем. Ваше отношение к войне, что бы Вы важного хотели сказать о войне молодым сегодня?*

Е. А. : Не хочу ничего об этом говорить, плакать начну... Идемте пить чай.

Анатолий Захарович Егорин

Родился 15 февраля 1931 года в Брянской области

Окончил Московский государственный университет (1960)

Доктор исторических наук (1990)

Специалист по современной истории арабских стран

Работает в ИВ РАН с 1981 г.

Главный научный сотрудник ИВ РАН

Ветеран Великой Отечественной войны. Был сыном полка в одном из партизанских формирований

Наталья Романова: Анатолий Захарович, расскажите, пожалуйста, о Вашей семье.

Анатолий Захарович: О моей семье... Родился я в 1931 году на берегах реки Десны, в 20 километрах от города Трубчевска. Это самый юг брянских лесов. Трубчевску пять лет назад исполнилось 1000 лет. Это пограничный город. Река Десна до сих пор там течет, по ней и идет граница между Россией и Украиной, идет по опушкам брянского леса. Последняя станция называется Суземка. Название по месту, по легендам, где когда-то сузилась русская земля. Отец мой был десятым ребенком в семье. Деревня называлась Острая Лука. Там река Десна поворачивает русло в сторону Чернигова. На горе, с той стороны Десны, стоит

темный брянский лес. Весной в разлив все это до сих пор заливается водой.

Мой дед Клим Алексеевич 50 лет корчевал пни, в основном сосновые. Они томили эти пни в больших котлах, делали дёготь, этот дёготь везли в город Трубчевск своему помещику, а тот отправлял его на скипидарный завод, и из него делали топливо: бензин, керосин. Два таких завода было в Трубчевске еще с 30-х годов. Там до сих пор бензин и керосин их собственного производства, чем пользовались брянские партизаны во время войны. На место вырытых пней местные жители сажают маленькие сосны, что делается до сих пор.

Отец мой Захар Климович Егорин, 1902 года рождения, с десяти лет пас скот, где-то за много километров от деревни, а зимой учился в местной церковно-приходской школе. Женился он на девчонке из соседней деревни Дольск. Она была на пять лет моложе его, звали ее Ира. У них до нас в 20-е годы родились двое детей – Коля и Валя. Они умерли в деревне Острая Лука вместе со всеми остальными от голода в 1928 году, а мы с братом Лёней родились уже в тридцатые. Отец уехал из деревни и стал работать в лесном хозяйстве на разных должностях: лесник, лесничий, лесоинспектор, начальник лесоучастка и пр. После школы отец закончил Трубчевский лесотехнический техникум. И вся его работа до войны уже имела отношение к лесу.

Н. Р.: *Ваш отец был партийный человек?*

А. З.: Он в 1931 году стал членом партии, до этого в деревне был создан колхоз «Большевик». Там он был председателем ревизионной комиссии, но уже работал в лесном хозяйстве. А потом до войны мы жили в Брянске, переезжали, жили в двух или трех районах Брянской области. Последнее наше пребывание – это поселок городского типа Суземка, что в 90 километрах к югу от Брянска. Там отец был директором

лесхоза в 1936–1938 годах, затем стал зампредела райисполкома. При его личном участии Брянский лес начали готовить к войне еще с 1938 года.

Н. Р. : *Готовить к войне?*

А. З. : Да, с 1938–1939 годов отец на всё лето уезжал на сборы в Бобруйские лагеря. И приезжал каждый год в военной форме, на которой появились сначала один кубик, потом два кубика, три кубика (такими были до войны воинские звания командного состава). В моей книге, посвященной отцу и его соратникам-партизанам, он на фото в военной форме, с тремя кубиками*. Это были те, кого готовили к партизанской борьбе. По этому краю юга Брянского леса таких было 37 человек, которые должны были остаться в лесу. Они заготавливали землянки с продовольствием, с оружием, со всем остальным.

Н. Р. : *И готовились эти землянки с какого года?*

А. З. : Это 1940–1941 годы. К войне готовились, ее оттягивали-оттягивали, но, так сказать, до поры до времени. Самое неожиданное в этом то, что война началась, и очень быстро наши войска стали отступать, чего в принципе никто не ожидал.

Н. Р. : *А Ваша мама кем работала? Она с детьми сидела?*

А. З. : У меня только один брат остался... Двое умерли от голода. Мама дома сидела, не работала. И еще у нас девочка жила, ее отец удочерил, когда он работал начальником лесоучастка под Трубчевском. В 1935 году отец поехал в одну деревню и нашел там всех мертвыми. Голод. Вся деревня умерла, и лишь одна девчонка плакала над трупом матери. Она осталась одна, ей было лет десять. Отец ее взял,

* Егорин А.З. Героика и печаль Брянского леса (1941–1943 гг.). М.: Институт востоковедения РАН, 2010. – 460 с.

а она никак не уходила от своей умершей матери. «Ладно, – говорит, – давай маму закопаем». Когда закопали, говорит: «Я тебя не брошу, поехали со мной, пойдешь там в школу». Он ее еле оттуда увез. В общем, наша мать ее дома отмывала неделю. Девочка осталась жить у нас, фактически стала третьим ребенком.

Н. Р. : *Как ее звали?*

А. З. : *Надя.*

Н. Р. : *А в ее деревне никто из родных не остался?*

А. З. : *Вся деревня умерла! От голода. Нечего было есть. А потом Надя вышла замуж, но в 1941 году грянула война, мужа отправили на фронт. Муж погиб. И после войны, когда мой дядя Никита Матвеевич, брат моей матери, вернулся с фронта, он предложил Наде уехать с ним, так как у него не было детей. И они уехали.*

До войны у нас еще жил дед мой. Дед Клим – это отца моего отец. Ему было 106 лет! Но был он довольно крепким мужчиной. У него были все зубы целые! Даже ни одной пломбы не имел. Он гнал ту самую смолу, о которой я говорил выше, и эта сосново-березовая масса, видимо, сохранила здоровье деда. Я его водил, помню, в баню. Он там такого пару нагонял, что все ложились на пол! А как я с ним дрова пилил: «Пойдем, внучек, попилим дровишек», а внучку, то есть мне, еще не было десяти лет. Я за столетним дедом молча пилу водил туда-сюда и думал: «Когда же он хотя бы перерыв сделает?». Отец забрал деда из деревни в 1938 году. Там он жил у старшей дочери Марьи. Отцу что-то не понравилось, как с дедом там обращались. Старшая сестра жила одна, ей с батюшкой столетним не на что было жить и нечем было питаться. Дед Клим жил у нас с 1938 по 1941 год. Потом уже, когда немцы подошли, отец отправил деда в родную деревню Острая Лука обратно к тете Марии.

В 1943 году немцы, отступая, обстреляли эту деревню. Снаряд попал в наш дом, и из сгоревшего дома дед Клим уже не смог вылезти, не успел. Прямо на пороге практически упал и живым сгорел. Так трагически погиб мой дед Клим. Хороший был дед. Остальные братья отца разъехались по всему свету, поскольку там, в этой деревне, было делать нечего. Сейчас Егорин какой-то есть в Сибири, известный ученый, в нашем Сибирском отделении Академии наук. Егорин – фамилия очень редкая. Егоровых очень много, Егориных мало... И только в этой деревне Острая Лука Егорины все до одного. Больше я нигде такого не встречал.

Что вспоминается с печалью? Во-первых, плохо то, что мы проиграли первые месяцы войны – пропагандистски. Немцы не только оккупировали нашу территорию, но и начали вещать, вести пропаганду: «Москва уже пала, Сталинград пал... Ленинград пал». А люди что? Те, кто остался в оккупированных районах, этому поверили. Более того, шофер, который моего отца возил, а он единственный, кто знал, кроме руководства, где построены партизанские землянки, оказался предателем, все выдал немцам. Предателя расстреляли, но наши все оказались без своих землянок.

Во-вторых, 37 человек должны были уйти в лес на заранее приготовленные явки. Но когда пришел приказ, явились только одиннадцать человек. Первый секретарь райкома партии, некто Петушков, сбежал, как будто его «вызвали» в Орел. Орел пал, он вернулся потом, правда. Отец был зампреда райисполкома, не председателем. Вот это бюро, которое они собрали, эти одиннадцать человек в лесу, это была одна явка. Планировалось иметь три явки, две явки провалились. Только одна, куда пришел отец и еще десять человек с ним, вот они все организовали. Отец стал председателем подпольного райисполкома, замкомандира партизанской бригады. Командиром

партизанской бригады стал Алексютин – как самый старый большевик, коммунист времен Гражданской войны. Второй секретарь райкома Паничев стал комиссаром. Они создали вот этот знаменитый на Брянщине партизанский отряд «За власть Советов!», как они его называли.

Н. Р.: *Каково было положение на Брянщине?*

А. З.: Вообще сама Брянщина или конкретно Брянск и все, что географически севернее Брянска, – это был тогда Юго-Западный фронт. И ими занимался штаб Юго-Западного фронта. А то, что южнее, – был Брянский фронт, в том числе район, где мы жили до войны. Наши имели дело как раз с Брянским фронтом. И 13-я армия этого Брянского фронта, поспешно отступая, очень много всего оставила в тылу. Поэтому у кого была рация, добытая из складов 13-й армии, тот и был «на коне». Все, что можно было взять из этого брошенного, забрали партизаны. К тем, кто, как мой отец, ушли в лес, к середине 1942 года добавились 2500 человек. Это уже была работа этих одиннадцати патриотов земли русской. Они ездили по лесным чащам ежедневно, ходили по деревням, собирали членов партии, кто разбежался. Это целая драма, которая до сих пор не расшифрована! История, которую мы проиграли идеологически, то есть пропагандистски, полностью. Пока партизаны не начали выпускать свои листовки о том, что в Москве был Парад 7 ноября 1941 года, – об этом никто не знал! Признаем это! Ну и, конечно, с другой стороны, самая большая ошибка немцев – это то, что они очень быстро стали прибегать к террору. То есть буквально за все – расстрел. В лес боялись идти. Во-вторых, конечно, те, кто сидел когда-то в тюрьме или были чем-то недовольны, те сразу перешли на сторону оккупантов... И конечно, было то, что и в Гражданскую войну у нас было когда-то, в 20-е годы, некая личная месть. Кто-то кому-то... Они начали друг

другу мстить за то, что было при советской власти. Это вело к тому, что, если кто-то кого-то убил, семья бежала в лес, но она помнила, кто убил, стараясь отомстить. То есть друг другу мстили по разным причинам. В партизаны уходили не только мужчины, уходили женщины, дети, они угоняли своих коров в этот лес. Брянские леса это далеко не один Брянск, это Дебрянск, как он когда-то назывался, то есть дебри. Там и до сих пор всё так – ни пройти, ни проехать – леса и лесные чащи. И болота, болота... И до сих пор не пройдешь. Поэтому в этих дебрях и немцы фактически застряли, потому что на карте, по которой шла танковая армада, это лес, а когда пошли танки – эти танки застряли там по горло в болотах и трясине. И немцам пришлось «раздвоиться»: их армии раскололись. Одна, левая часть военной армады, северная, двинулась на Москву, оставив Брянские леса в покое, а правая часть, южная, двинулась на Сталинград. А этот Брянский лес оказался «ничьим» и почти без охраны, особенно в южных районах.

Мой отец был председателем подпольного райисполкома: проводил сев, собирал деньги на местные нужды и прочее. Советская власть была восстановлена полностью, в лес никто не совался. Принимали, конечно, меры против тех, кто сотрудничал с оккупантами, заставляли их силой идти в лес. Так примерно собирали местные отряды сопротивления оккупантам. Позаботились, когда успехи партизан стали гласностью, и о медицинском обеспечении населения. Все это было очень здорово сделано. Даже руководитель их – майор медицинской службы, армянин, был представлен моим отцом к ордену Красной Звезды за то, что сумел развернуть в глухом бездорожье два или три госпиталя. У них было абсолютно все медицинское оборудование, даже несколько лошадей для передвижения по лесным тропам.

Н. Р. : *Где они нашли медицинское оборудование?*

А. З. : 13-я армия бросила! Причем не только бросила оборудование, медикаменты, она бросила их с медсестрами, с врачами, а им куда деваться? Они и пошли в лес, к партизанам! Медикам только нужно было выбрать место, и им делали эти места в самых диких трюсбах.

В 1967 году, когда я был в командировке в Египте, однажды ко мне подошел дипломат – советник посольства, представился: «Недосекин Павел Ефимович. А Вы не сын ли Егорина Захара Климовича? Уж больно Вы на него похожи!». Сколько лет прошло?! Говорю: «Сын!». Он на меня посмотрел, сам не ожидая. Говорит: «Я первым самолетом прилетел в отряд твоего отца. А вот рядом стоит жена моя – это радистка из нашего отряда». «А знаешь, что песню “Шумел сурово Брянский лес” написали тоже в отряде твоего отца Егорина?»**. Мы пригласили в Каир автора этой песни Софронова, помню, сидели в отеле «Шератон» целую ночь, вспоминали.

Н. Р. : *Софронов?*

А. З. : Анатолий Софронов. Известный драматург, писатель, он был редактором журнала «Огонек». А в то время он был корреспондентом «Красной звезды». Так вот, мы после войны, когда я уже вернулся из командировки из Египта, поехали на станцию Нерусса, это около Суземки, и решили найти большой булыжник и выбить на нем слова из песни «Шумел сурово Брянский лес».

У партизан было два аэродрома – один главный, другой запасной. Все это описано мною в отдельной главе в моей книжке. Если коротко: нашли мы камень, набили на нем слова, потом – что дальше делать? Река Нерусса, топи...

* «Шумел сурово Брянский лес» – советская героическая песня времён Великой Отечественной войны. Стихи А.В. Софронова, музыка С.А. Каца. 5 ноября 1998 года песня объявлена гимном Брянской области.

Там всего от этой Неруссы километров 25 до места, где это все происходило. Но... Попробуй дойди, доплыви, доползи. Да еще с булыжником таким. Шел какой-то мужик мимо, спросил: «Что делаете?». Рассказали подробно. А он в ответ: «Все это хорошо, мужики, но нам не до вас! Уже сколько лет прошло... Сейчас партизаны, которые после войны остались живы, уже почти все поумирали. А те, кого посадили в тюрьму, из тюрьмы выходят или уже вышли. Появились люди с деньгами, скоро на советскую власть замахнутся. Поэтому не до вас, закопайте этот камень, и пускай он там лежит...»

Н. Р.: *И кто Вам такое сказал? Местный?*

А. З.: Местный, который шел с грибами из леса! Покурил с нами, посидел... И пошел дальше! «Я вам сочувствую, – сказал на прощанье, – но лучше вы это дело бросьте!». Посетили Суземку, Навлю, близлежащие поселки. Никто ничего с этим камнем не помог. Потом я уже видел Софронова, когда отмечали 40-летие Победы, 50-летие, 60-летие, сейчас уже 70-летие окончания войны, а было 10 лет и 20, и 30. Я видел Софронова в 1990 году, и где-то в 1980 году был даже опубликован снимок: он с баяном на фоне этих сосен играет. Но камня так и не показали.

Н. Р.: *То есть камень Вы там оставили где-то на окраине?*

А. З.: Оставили. Мы не могли ничего сделать!

Н. Р.: *Не протащить его?*

А. З.: Пока не протащили. Но я не уверен, что он и сейчас установлен. Вот, скажем, Центральный музей Вооруженных сил у нас здесь, в Москве, выставил экспонат – землянка бригады моего отца. Бригада называлась «За власть Советов». Это наш Суземский лесхоз предоставил для музея Вооруженных сил эту землянку... Утварь... как она

была тогда. Таких отрядов только в Суземском районе было тринадцать. Потом вдруг пришел Сабуров, капитан из группы политработников, из группы окруженцев, они тоже не знали, куда деваться. От Киева они шли почти пешком, добрались до Брянских лесов. Но они очень многое себе присвоили. По документам, что мне потом отдали, ни мой отец, ни кто другой, собственно, не подтвердили его, Сабурова, причастность ко многим партизанским операциям, которые он себе присвоил. Но Сабуров сделал великое дело! Он согласился возглавить рейд, когда наши уже наступали на восток Белоруссии, чтобы ударить немцев с тыла. Поэтому фактически все было поставлено ему на аэродром, что мой отец соорудил в этих Брянских лесах. Взяли они у партизан наиболее шустрых ребят. Все снаряжение было доставлено с «большой земли», и Сабуров улетел дальше, за что ему «досрочно» дали Героя Советского Союза. В одной из своих книг он утверждал, будто в четырех районах юга Брянского леса поднимал или помогал партизанскому движению*. Все это не совсем так! И брянские партизаны многое не подтвердили! Когда я встречался с Вершигорой – это автор известной книги «Люди с чистой совестью» – я на эту тему поднимал разговор...

Н. Р.: *Про Сабурова?*

А. З.: Про Сабурова. «Ну, что делать, – вздохнул, помню, Вершигора, – если так все вышло!». А фактически Емлютин был командиром этих объединенных партизанских отрядов.

Н. Р.: *Емлютин?*

А. З.: Емлютин. Командир... Это когда уже была реорганизация. Там было несколько этапов реорганизации брянского движения Брянских лесов. Там были бригады, потом было

* Сабуров А. За линией фронта (партизанские записки). М.: Воениздат, 1955. С. 126–140.

объединение бригад и прочее... Беседа Сталина с командирами 2 июня 1942 года мною полностью приведена в книге, прием у Сталина и его разговор с Емлютиным, когда закончились доклады. Сталин вдруг спросил Емлютина: «Как там дети партизан? Что вы с ними делаете?». Он: «Те, кто побольше, помогают, в разведку ходят, еще чего-то делают, а остальные кто как». И вот тогда Сталин с Емлютиным и завел разговор о создании Суворовских училищ. Это был 1942 год. «Может, сделать училища по типу старых кадетских корпусов, ведь полководцы оттуда вышли, и Нахимов, и многие другие», – сказал он. И в 1943 году вышло Постановление Правительства о создании Суворовских училищ. И именно Емлютин лично отправил нас с братом в Тульское Суворовское в 1944-м. Отец просил Емлютина не бросать нас в случае чего...

Потом, когда партизанское движение здорово разрослось, нужно было создавать отдельно бригады. В каждом селе образовали отряды самообороны. То есть, казалось, территория оккупированная, но нет никаких немцев. Отряды самообороны, когда немцы их одолевали, отступали в лес, а ночью опять на них нападали и всё в таком духе. То есть это было абсолютно так, туда никто не совался, боялись. Это мне даже Вершигора рассказывал, отец мой ему об этом не раз докладывал.

Н. Р.: *А Вершигора был там, в Брянских лесах?*

А. З.: Вершигора был и Ковпак тоже.

Н. Р.: *Он был в Брянских лесах и разговаривал с Вашим отцом?*

А. З.: Да-а! Они там формировались в 1942 году... Ковпак здорово помог. Он нанес неожиданный удар по немцам со стороны Украины, там же Сумская область рядом, фактически в спину врагу. Если бы не Ковпак, брянским

партизанам было бы очень нелегко... Немцы могли их всех разгромить, потому что зажали тогда они их накрепко. Партизаны сидели в болотах по семь дней, через трубочку сосали воздух. Семь дней, а не семь часов!

Н. Р.: *А там же были дети и женщины?*

А. З.: Да... И еще партизаны. Дети само собой тоже были. А когда казалось, что уже конец, когда овчарки, немцы кругом и дышать нечем, они просто выкатывались из болот, замирали как будто убитые и лежали. А овчарки, которые были специально надрессированы на людей, они как нюхнут этого болотного запаха, так отбежали подальше и еще чихали потом несколько метров. Не знаю, даже собаки не выносили запаха от партизан, которые лежали на дне этих лесных болот. Мне об этом еще раньше рассказывали. Но что сложнее? А сложнее то, что юг Брянского леса – это не только Суземка, Трубчевск и другие поселки городского типа, но в 70 километрах от них был такой поселок Локоть. Если взять Брянск, то налево идет железная дорога на Киев и через 90 километров Суземка; а если взять дорогу от Брянска на Харьков, то через 65 километров станция Брасов и рядом городишко Локоть. Локоть – это бывшее имение князя Михаила Романова. Если сверху глядеть на него, на этот поселок, то его аллеи посажены в виде двуглавого орла: даже на карте есть это – «двуглавый орел». Там, в этом Локте, мой отец как раз лесотехникум закончил до войны. А в 1942 году немцы там создали местное самоуправление. И начали заниматься созданием национально-освободительной русской армии. Это все рядом, под боком у партизан. Невесть откуда появились предатель Каминский и прочая публика, которые работали на немцев. У меня целая глава в моей книге о Брянском лесе называется «Предательство». Главу перепечатал и Военно-исторический журнал, и другие издания... Фронт в тылу

фронта: примерно 10 000 партизан воевали с немцами. До 10 000 были и у Каминского. Они пособничали фашистам. Они не только зверствовали против своих, но и потом, когда отступали, сформировали из подлецов три бригады, которые Каминский повел с немцами на Запад. По дороге они грабили и убивали поляков, прибалтов и всех, кто попался под руку. Они так зверствовали, что немцы вынуждены были прямо там расстрелять этого Каминского, когда он начал насиловать их жен.

А теперь обратим внимание на Суземку. В этом юге Брянского леса был штаб партизанского объединенного командования, даже газета «Партизанская правда» выпускалась. Всё, редакция, корреспонденты, всё было. Через 70 километров поселок Локоть. Там свили гнезда предатели Каминского и их органы местного самоуправления, жили они по немецкому образцу. А еще через 100 километров севернее этого логова был штаб 13-й армии. Где был я. И все это был Брянский лес. Вот такое там было сплетение специфических обстоятельств.

Н. Р. : Анатолий Захарович, начало войны – Вы помните тот день?

А. З. : Конечно, помню. Сейчас расскажу. Рано утром 22 июня была дикая гроза. Мы, наша семья, сидели, соображали, что делать в выходной день. И вдруг в форточку, которая была со стороны двора открыта, влетела шаровая молния. А дома жил у нас еще и еж, вместо кошки еж мышей ловил. Даже он испугался... Форточка другого окна на улицу была тоже открыта, а около дома стояла столетняя липа, громадная-прегромадная. Молния тихо над нами прошла, вылетела в другую форточку наружу, ударилась в липу и взорвалась. Липа на наших глазах сгорела. Мы так остолбенели, что не могли сказать ни слова.

Н. Р.: *Это было утром?*

А. З.: Это было рано утром. Часов так в шесть или семь. С этого началось... Оправившись от удара молнии, отец включил приемник, и мы слышали, что началась война. Отец подхватился, сразу побежал на работу. Всё, больше мы его не видели... Вот так началась война.

Н. Р.: *То есть отец прямо утром собрал вещи и побежал, и Вы после уже не виделись?*

А. З.: Отец вообще с нами не ночевал. Они сразу поехали в лес проверять, все ли там готово к войне. С тех пор мы его почти не видели, нашего отца. Потому что все на нем было. Вся ответственность... Всех надо было собирать вместе.

Н. Р.: *У вас не было ощущения, что эта война закончится быстро?*

А. З.: Насчет «короткой» войны никто даже не вякнул.

Н. Р.: *А не думали, что до вас не дойдут, что ничего серьезного не будет?*

А. З.: Нет. Все и вся засустились: все колхозные стада стали угонять в сторону Орла. Надо было срочно убрать урожай – убрали. Все наши два или три завода организованно погрузили на железнодорожные составы и начали сразу отправлять на Восток. Эвакуировать. Даже два спиртзавода, которые вообще вроде никому не нужны были, тоже – раз-два – и вывезли!.. А потом еще меня поразило: когда приближается фронт – сначала ощущаешь шум. Как будто ты к морю подъезжаешь... Вот кто-нибудь был на Черном море?.. или Средиземном? Когда к морю подъезжаешь, шум слышно, гул такой. Совершенно такой же шум, как прибой, издает война. Как будто что-то бьется обо что-то, волна о стену. И чем ближе приближается фронт, тем этот шум

сильнее и сильнее. А потом он совсем каким-то специфическим становится, как будто кто-то включает специально какие-то устройства, чтобы шум был. На самом деле – это стрельба, стрельба, стрельба, машины, движение техники, огромных масс людей... Это такое сильное впечатление, этот шум войны! Ведь не день же и ночь стреляли, а вот такое ощущение! Ну, и конечно, все остальное было ужасно.

Н. Р. : *Когда к вам немцы подошли?*

А. З. : Подошли в начале сентября. Второго числа заняли наш районный поселок, а пятого сентября немцы сбросили десант на Орел, когда там даже трамваи еще ходили. Орел был взят немецким десантом. И тогда наши перекрыли сразу дорогу Брянск–Харьков, Брянск–Киев. Все там взорвали, чтобы немцы не использовали. Ну, а что дальше? А дальше – еще хуже. Нам районное начальство выделило машины, чтобы младшие классы срочно вывезти от немцев. Нас туда посадили, и машины рванули на Восток.

Н. Р. : *Вам было десять лет?*

А. З. : Да, десять лет... Третий класс. Раньше с восьми лет ходили в школу. Первого сентября пошли в школу, но уже больше не учились, а решали, что делать дальше... Уже как таковой учебы не было...

У нас на Новый 1941 год была елка в Доме культуры. Дедом Морозом была одна девушка, Маруся Гутарова. Рядом елка, игрушки, свечи, вата под этой елкой лежала, обозначая снег. И вдруг свечка упала на пол, загорелась вата! И за ней вспыхнула вся елка! В этом самом помещении, где мы отмечали, в Доме культуры. Бог ты мой! Мы ж все там были, дети! Я, например, бросился на выход, но споткнулся о порог и упал. «Дед Мороз» Маруся, объятая пламенем, тоже побежала на выход... Вата упала на меня, на мне все загорелось, началась паника. Меня кто-то схватил

и выкинул в окно. Хорошо вовремя, хорошо, что я удачно упал, с меня кто-то пламя сбил. Я еще был в горячке, прибежал к зданию райисполкома, которое было напротив, кричу: «Что вы сидите? Дом культуры горит!». И упал. Отец меня схватил, у меня голова обгорела и две ноги. Схватил и понес в больницу, а все побежали тушить. У Маруси Гутаровой обгорели руки и лицо. Ее в Брянск даже отвезли, сделали хорошую операцию, стало такое лицо гладкое. А во время войны Маруся была партизанкой, очень сильной партизанкой. И в одном бою была ранена, попала в плен. И ей сказали: «Так, ты тогда не догорела, вот...»

Н. Р. : *Кто-то местный знал, что она горела...*

А. З. : Забили ее в амбар и сожгли. Живьем. Это один из примеров тогдашнего расслоения населения. Но это мы отвлеклись. Вспомню, как нас вывозили на машинах из Суземки.

Н. Р. : *Увозили только в лес?*

А. З. : В 10 километрах была деревня Денисовка, там был штаб 13-й армии, везли туда – в общем направлении от немцев, по сельским дорогам, там ведь фактически бездорожье везде. На нас налетели два самолета, когда везли детей с родителями. Вообще это было ужасно. Все выскакивали кто куда, я под машину залез, а девчонки, они стеснялись ребят, прыгали на другую сторону, хотели перебежать через дорогу, и девчонок почти всех перестреляли немцы. Потом самолеты-мессеры развернулись и еще раз зашли. Дважды зашли. Из нашей машины живыми я остался, брат и мать. Я заорал, мы под машину спрятались, это нас спасло, и мы потом доползли до этой деревни Денисовки, кто остался в живых.

Н. Р. : *А сколько ехало человек?*

А. З. : Ехали на нескольких машинах около двадцати человек. Остались в живых наша семья и еще несколько

человек... Взрослые говорят: «Пока суть да дело, давайте хоть в лес войдем». Вошли в лес, на опушке, смотрим, военные с пушками стоят. Спрашиваем у них: так и так, что нам делать, куда идти? Идите до деревни Денисовка, отвечают, там штаб. Мы пошли. А в этой Денисовке оказалось, что их начальник политуправления сам из Трубчевска родом, и он вместе с моим отцом в Бобруйске проходил подготовку в 1938-м, 1939-м, 1940-м годах. Его семья была в лесу в отряде у моего отца, как потом выяснилось. Нас отвезли в соседнюю часть, остальных посадили на две машины и отправили в Неруссу к соседней станции, чтобы по железной дороге отправить еще дальше.

Но никто никуда не доехал. Машины отбирали тут же, кто ехал мимо местной деревни. Выскакивает кто-то из местных, кого-то высаживают, сажают своих, разбой полный, уже все как-то перемешалось. Тут армия, а тут было местное население, и мало кто из них успел эвакуироваться. Просто отступали вместе с войсками. Желающих бежать было немного. Куда девать всяких коров и прочее? Деревня, семья деревенская идет в лес, если мужа призвали в армию. Я знал женщин, которые в лесах провели всю войну. Они ушли в дикие места, какие-то сторожки там были, свои порядки. Там до сих пор русская община дальняя живет своими законами, понятиями и знать не хочет, что там в Москве, Питере делается! Они рождаются, женятся, когда отделяются – строят дома, умирают, и так длится из поколения в поколение. Уходили в лесные дебри и те, кто был призван, а кто не был, оставались в глухих местах где-то с двумя, тремя бабами, кто-то еще с ними. Одна готовит пищу, вторая доит корову, третья сено косит. Мужики промышляли охотой. Строили землянки. Все это нигде не описано, как это на самом деле было. С ними были дети, старики. Например, соседку убило, а дети остались, их забирали с собой в лес, кто им еще будет помогать? Женщины из ближайшего тыла сначала отступали с войсками,

а потом фронт ушел, немцы ушли дальше, а место оставалось голым, безвластие полное, никакого света, никаких спичек! Научились высекать искру, а с ней и добывать огонь из камней, кремней, из всего остального. Огонь в ямах поддерживали круглосуточно.

Мы никуда не поехали, остались в штабе, мать пристроили в штаб, брат при матери остался, еще маленький, а меня зачислили в разведроту. Это был октябрь 1941 года. Мы в основном вылавливали русскоязычных разведчиков, шедших впереди «своих» войск. Сразу видишь – чужой человек, немецкая агентура. Ботинки не нашего образца, допустим, или куртка, у нас таких не было, они «прокальвались» на деталях, которые были характерны именно для этой местности. А мы отступали, уходили за Брянск, потом оказались в г. Новосиль, что между Орлом и Ельцом, это все был Брянский фронт.

Н. Р. : *Что Вы делали в разведроту? Где она стояла?*

А. З. : Рота стояла на опушке леса, в землянке. Как утро, что-то нужно было делать, уходили группы, у меня тогда зрение было хорошее, и то, что я видел впереди знакомое, я им говорил, они записывали, где там что, кто чужой в деревне... Почему ты так думаешь, что не наш? Допустим, ботинки не те, шапка. Потом засада, нужно было кого-то окружить, немцы отстреливались. Скажем, минометы, какие, сколько штук на той стороне фронта. Ну, такого типа сведения, я же пацаном был, зрение было хорошее и память. Там много разного было.

Н. Р. : *Но в бои Вас, мальчишку, не брали, берегли?*

А. З. : Конечно, в бои не брали. В бои – нет, а вот в разведки брали с удовольствием. Я доползу, я был шустрый, еще подсказывал: «Там не так опасно, а вот там – да». На самом деле жителей Брянской области там осталось очень мало, были неизвестно кто, многие были совсем из других мест, рабочие из Челябинска, например. Они понятия не имели

ни о территории, ни о местности, ни о чем. Поэтому я как местный житель, который в этих краях родился, много чего знал. Многие вещи: «Надо воду найти, ты можешь найти?». – «Да, могу». И покажу им какой-нибудь ручей.

Н. Р. : *Какой эпизод на Брянщине Вам особенно запомнился?*

А. З. : Что очень запомнилось, – когда наши войска отступали. Когда Орел сдали. Немцы десант сбросили, а там даже трамваи еще ходили, то есть они неожиданно прилетели и захватили город на глазах отступавшей нашей армии.

Наш штаб перевели в город Новосиль, там была станция Залегощь, в 16 километрах от Новосиля. Рядом шлях, дорога такая широкая, по ней и отступали наши войска. Шли человек по восемь-десять в ряд солдаты, километровая колонна, и, на что я обратил внимание, было странно, не у каждого была винтовка, у некоторых палки, то есть на всех тогда не хватало даже оружия.

Н. Р. : *Это какая армия была? Брянский фронт?*

А. З. : Это 50-я армия была. Брянский фронт. Октябрь 1941 года. Запомнилось мне это очень. Вот эта бесконечная толпа мужчин. Кое-как одетых.

Когда немцы захватили Орел, чтобы сохранить живую силу, наши войска стали быстро отводить на Елец колоннами, несмотря на то, что люди разбегались. Как это все можно было остановить? Это тяжелейший случай, ничего, ни машин никаких не шло, ни отступающей какой-нибудь кавалерии, только люди шли часами, понурые, их, наверное, не кормили много дней. Это было ужасное зрелище.

Н. Р. : *Вы были всегда в 13-й армии? И Вас забрали в Суворовское училище из 13-й армии?*

А. З. : Нет, 13-я армия ушла дальше. Емлютин, один из видных командиров партизан, когда он узнал, что отец погиб,

нашел нас с братом. И через Брянский обком направил в Тулу, в Тульское Суворовское училище, в 1944 году.

Н. Р. : *Как Вы узнали, что отец погиб?*

А. З. : Отец погиб, когда фронт ушел. Отец не знал, где мы, хотя был в 100–120 километрах от нас в лесу.

Н. Р. : *Он не знал, и Вы не знали?*

А. З. . : Да.

Н. Р. : *А когда Вы его видели в последний раз?*

А. З. : Это был конец сентября. Он приехал, сказал матери, что завтра к утру придет машина, все собери, через два дня здесь будут немцы. Он сказал: «Уезжайте, иначе меня больше не увидите». Действительно, пришли машины, машин пять, никто ничего почти не взял с собой, а что возьмешь, не очень было холодно, потом об этом жалели, у нас из-за этого проблема была зимой.

Н. Р. : *Вообще не думали, что зимой еще будет война?*

А. З. : Между прочим, не думали, что это долго будет длиться. И даже когда нас разбомбили немцы и мы остались одни и ни с чем, мы пошли в лес. Такие «понятия», как, например, устал, пить хочется или еще что-то – таких мелких «желаний» в голове ни у кого не было. Нами овладело совершенно другое состояние. Надо уйти, спастись. И только...

Н. Р. : *Какое-то чувство самосохранения срабатывает.*

А. З. : Я помню, зимой у нас с братом были ботинки одни на двоих. Штаб 13-й армии был южнее Суземки, в городе Середина-Буда – это уже украинский город, и это конец Брянского леса, а рядом российская деревня Зёрново, в 2 километрах от Середина-Буды. В этой деревне

на какое-то время размещался штаб 13-й армии. Потом, когда немцы нажали со стороны Украины, штаб переместился в деревню Денисовка, за Суземкой, потом переместился в Севск, и мы перемещались со штабом. А потом получилось так, что нас рассекли немцы, и часть 13-й армии попала в плен. Те подразделения, которые были севернее, у Брянска, сумели выскочить из «котла» в сторону Орла, а вот та часть, которая была южнее, попала в окружение к немцам, и ее зажали. Штаб успел переехать, но не весь, и была занята круговая оборона.

Н. Р. : *Все так быстро было?*

А. З. : Никто не думал отступить, бились до последнего! Но уже ничего нельзя было сделать. Как немцы делали? Они окружали какую-нибудь территорию, сразу всех добивали, а если не успевали добить – шли дальше, чтобы не останавливаться на тех, кого окружили. Но часть 13-й армии все-таки вышла из окружения.

Н. Р. : *А что же с теми, которые не вышли?*

А. З. : Кто как. В основном ушли искать партизан. Госпиталю с ранеными вышли к партизанам сразу, им повезло.

Н. Р. : *Это было какое время?*

А. З. : Это был октябрь, ноябрь, декабрь – конец 1941 года. Там у них было человек одиннадцать врачей и медсестер, операционная своя была, перевязочные были, землянки сразу же специально для них сделали. Как ни странно, в таких условиях, но сделали, что могли. А госпитали немцы ни один не достали, их переместили в дикие места, среди каких-то болот даже был запасной госпиталь, причем там было около ста человек раненых. Это не двое и не трое, у них был паек, их кормили, этих раненых, лечили местными средствами. Вот, например, с чесоткой или какими-то

другими болезнями боролись местными средствами: настои были на самогоне, самогон гнали из чего хочешь, были травы еще какие-то. Все это описал потом врач Агобабян, начальник санитарной службы, он был армянин по национальности, герой своего дела, описал все, что касалось партизанской санитарной службы, описал все этапы.

Н. Р. : *А Вы вместе с фронтом; фронт уходил, и Вы с ним?*

А. З. : Зима 1942 года – это был самый разгар военного противостояния, где-то между Орлом и Ельцом, потом уже отступали. Сначала отступали под Москвой, где был Юго-Западный фронт. Брянский фронт стоял и отбивался. Хорошо партизаны помогали. Дороги не работали. Дороги Брянск – Киев, Брянск – Харьков партизаны перекрыли полностью. 13-я армия заняла наступательную оборону, я там в разведку ходил с ними везде, там было много всего, бои местного значения, в том числе и с предателями.

Вообще, 1942 год был очень тяжелый. Немцы готовили наступление, фронт стоял, немцы решили после Москвы тряхнуть нас южнее, а самое главное – они ушли все на Сталинград. Брянский лес страшно мешал немецким дивизиям, здесь все и началось. Ставка требовала сделать так, чтобы железная дорога не работала никак, и немцам стало весьма плохо. Они решили выкурить партизан, бросили против партизан дивизии, загнали партизан в болота, но ничего не добились.

Теперь насчет отца. Я прочитал в газете «Правда» о награждении партизан. Мы же раньше были в Смоленской области, потом Смоленскую область разделили, и мы стали Орловской. Смотрю под № 50 в «Правде» – награда – орден Красного Знамени – Егорин Захар Климович. Бог ты мой, отец жив!

Н. Р.: *Это был 1942 год – весна, лето?*

А. З.: Это было лето. Я написал письмо в Орловский обком, что я такой-то, такой-то, вот прочитал, что отец жив. Мне подтвердили это, и вдруг пришло письмо от отца, таких писем потом было несколько. Они очень радовали нас!

Н. Р.: *Вы дали их в своей книге?*

А. З.: Дал, я переснял их. Письма я опубликовал, потому что там он пишет о тех, кого мы знали, где кого забили, где кого сожгли, где кого расстреляли. В этих письмах было все довольно интересно, что я оттуда выбросил, могу сказать. Меня отец до войны застраховал на 100 тысяч рублей, чтобы я получил деньги в родном Сбербанке, если он погибнет. Когда отец погиб, а я был уже суворовцем, я воспитателю сказал: «Между прочим, где-то 100 тысяч мои есть». – «А ты в отпуск поезжай в Брянск, там райсобес есть наверняка». И я, будучи суворовцем, туда поехал.

Н. Р.: *Это было после войны?*

А. З.: Нет. После войны мне Брянский обком отдал все, что у них осталось от отца: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны. Орден Богдана Хмельницкого Брянский музей взял себе. В одном из писем отец писал, что его представили к награде, но он ее не получил. Я не стал возникать, хотя сейчас можно было бы написать. Даже будучи в партизанском крае, отец платил за страховку, но перед своей гибелью он, как мне заявили в райсобесе, не оплатил последние три месяца, и это был повод мне отказать. Пусть знает Суземский райсобес, что они мои должники по сей день.

Н. Р.: *Когда погиб Ваш отец?*

А. З.: В мае 1944 года. 19 мая погиб, 24-го хоронили.

Н. Р.: *А как он погиб?*

А. З.: В лесу оставалось много народу, которые не ушли. Мстили бывшим партизанам. Он был председателем исполкома Суземского района Брянской области, это последняя железнодорожная станция перед Украиной. Пуля попала в сонную артерию, его тут же самолетом отправили в Орел, и там он умер. Хоронили всем районом 24 мая 1944 года.

Н. Р.: *А где его убили?*

А. З.: В лесу, там были оставшиеся полицаи. Бывшие полицаи, которые с немцами сотрудничали, там скрывались. И отец с группой военных поехал, чтобы найти их. Там, наверное, до 50-х годов по лесу шлялись те, которые сотрудничали с немцами.

Я, уже когда был суворовцем, узнал всякие подробности. В Суземку вернулись с фронта родственники тех, кто сотрудничал с немцами, например Кутырлиха (уличная кличка), она была мать того самого шофера моего отца, который выдал немцам все подготовленные для партизан землянки. Его нашли, в Брянске был трибунал, и его расстреляли, а мать за это мстила. Мать, например, выдавала немцам родственников тех, кто ушел в лес к партизанам. Их немцы сжигали, расстреливали, забивали в дом человек по тридцать и сжигали.

Н. Р.: *Родственников партизан?*

А. З.: Да, семьи тех, кто ушел в лес. А потом, когда ушли немцы, эту Кутырлиху судили. Я помню: привезли из Брянска эту мать, Кутырлиху, на суд, перекрыли комнату ленточкой, она в углу сидит. И тут женщины, которые остались в живых, начали кричать: «Ты Петьку моего выдала, в каком доме ты его сожгла?» Если бы не суд, ее бы там разорвали. И что вы думаете, идет суд – и вдруг приезжает

с фронта ее дочка, в звании капитана, с тремя орденами Отечественной войны. И она встала на защиту матери.

Н. Р.: *В каком году ее судили?*

А. З.: В конце 1945 года. Короче говоря, дали ей десять лет. Дочка-фронтовичка спасла. Потом мы с братом поехали как-то на могилу к отцу. Это уже лет десять после войны прошло. Наш поселок был не только взорван немцами, но еще и вспахан. Но люди снова построили Суземку, те же улицы, все как было.

Н. Р.: *А сколько там жило людей?*

А. З.: Тысяч пятнадцать, не больше. Сейчас поселок такой же, те же улицы.

Н. Р.: *А люди, которые там жили, успели уйти или их поубивали? Что с людьми стало?*

А. З.: Там поубивали процентов восемьдесят, остальные ушли в лес или разбежались. Как только узнавали, что у кого-то есть связь с партизанами, – расстрел, без всяких разговоров, прямо загоняли в дом и сжигали, с детьми, с собаками, некоторых даже со скотом.

И вот приехали мы с братом в каком-то 1955 году, пошли по этой Суземке, разговариваем и спрашиваем у соседей: «А Кутырлиха еще жива или нет?».

Отвечают: «А вон, дочка ее качает воду. Сама Кутырлиха жива, детей любит, подарки дает, вся из себя святая». А потом мы приехали на следующий год. Одна знакомая женщина нам говорит: «Вы знаете, когда вы приехали в прошлый раз, как только они узнали, что приезжали сыновья Захара Климовича Егорина, они подхватились и уехали не знаем куда, бросили дом, забили и уехали бесследно».

Н. Р. : *Понятно. Скажите, а после всего, что Вы пережили, какое у Вас лично отношение к Германии?*

А. З. : Я до сих пор в немецкие посольства не хожу. Будучи даже за рубежом – в Египте, в Ливии...

Н. Р. : *А что объясняли, когда Вас спрашивали, почему не ходили?*

А. З. : Ничего. Не ходил и все.

Н. Р. : *Вы не были в Германии?*

А. З. : Нет, не был никогда.

Н. Р. : *Вы им ничего не простили?*

А. З. : Да, я им ничего не простил. Вот есть письма отца: дом наш сожгли до пепла, аллея, которая возле нашего дома была, они ее спилили, а на месте нашего дома сделали КЗОТ во время войны. Это печально, но это так.

Немцы использовали трагическую историю России 20-х годов, где белые, красные, к сожалению, друг друга не очень терпели, в этом наша трагедия, какие-то мелкие обиды, недомолвки, все это выливалось на моих глазах, все эти Иван Ивановичи, Иван Петровичи лезли друг на друга, стреляли друг в друга, что немцы страшно приветствовали. Все это успокоилось где-то в 1942 году, когда мы наладили свою прессу, но и у немцев была пресса русскоязычная. Им противопоставили газету «Партизанская правда», причем отец нашел все: были наборщики, была бумага, попробуй в лесу найти это, ежедневная газета выпускалась. И немцы свои две или три газеты тоже начали делать.

Н. Р. : *Вы сохранили связь с этими местами после войны?*

А. З. : Пассажирские поезда начали ходить где-то в 1946 году, раньше ездили как попало. А я там занимался тем,

чтобы восстановить память отца. Отца похоронили около бывшего памятника Калинину в центре Суземки. Прошел год, прошло два, через два с половиной года могилу отца перенесли в общее захоронение, где похоронили расстрелянных бойцов.

Н. Р. : *А мама Ваша как?*

А. З. : Маме просто повезло. С моим отцом работали, еще когда он был начальником лесоучастка, два мужика: один бухгалтером, а второй – лесничим. Этот бухгалтер был призван в армию, был даже комендантом какого-то района Берлина, потом вдруг вернулся с фронта, его назначили военкомом соседнего района. Случайность, тем не менее, у него тоже никого не было, и он нашел мать, потому что отец с ним очень здорово контактил. А второй, лесничий, тоже с фронта вернулся и тоже стал помогать матери.

Н. Р. : *А вы, дети, куда?*

А. З. : Отец погиб, но в это время нас уже нашли. Приехали к матери два сержанта с предписанием Емлютина направить нас в Суворовское училище. Об этом отец просил Емлютина еще в партизанах.

Н. Р. : *Где тогда был Емлютин?*

А. З. : Он возглавлял штаб Объединенного командования войск Брянского леса. Там был и я в разведроты. Из Тульского Суворовского училища дали 25 мест на Брянскую область. И нас с братом отправили в Тулу.

Первый набор в Суворовское был при нас в августе 1944 года. В Туле для суворовцев выделили роскошный старинный особняк. Там было так, как сейчас в любом Суворовском училище: выполняется все, как было записано изначально в решении И.В. Сталина. Я был в старшем, четвертом, классе. Был еще третий класс, второй, куда

попал мой брат Леонид. Еще был и младший подготовительный, и старший подготовительный. Были там и девятилетние ребята. Например, утро. Завтрак – строем приходят самые младшие, затем старшие, все у столов стоят. Потом приходят преподаватели, тоже все стоят, потом приходит начальник училища. Он первый садится за стол завтракать, садятся все офицеры-преподаватели, а потом садимся мы. Мы должны были поесть, пока начальник не поест; начальник поел, встает, за ним встают офицеры, за ними встают суворовцы, и так три раза в день – завтрак, обед, ужин. Вечером – отбой.

Н. Р.: *Кормили хорошо по тем временам?*

А. З.: Кормили очень хорошо: первое, второе, компоты, было все абсолютно. Была самоподготовка, учебники и прочее. Каждую ночь перед сном мы выстраивались в коридоре и пели гимн Советского Союза. Потом раздевались, старший дежурный все проверял, чтобы все было заправлено на ночь, клали на стулья белье, рубашки сложены. Покуривали, когда стали постарше. А курить запрещалось. Как только в туалет пойдешь, покуришь, тебя дежурный ловит и сразу: «Десять метров полов вымыть в коридоре». Если поймают пять человек – пятьдесят метров. Физкультура была хорошая.

Н. Р.: *А танцы? Правда, что в 1944 году, в разгар войны, суворовцев учили танцевать?*

А. З.: Да, учили танцевать. Была шестая и восьмая женские школы в Туле, девичьи ходили к нам на эти танцы, устраивали всякие вечера, праздновали Новый год. Учили музыке. Я, например, на пианино хорошо играл. Была обязательная верховая езда. Все было. Воспитатель, как сейчас помню, гвардии старший лейтенант Сороковой, у него этих орденов было навалом, когда комиссия приезжала, он половину

наград в коробку прятал, чтобы полдня не разглядывали. Это воспитатели такие были, и такие же были преподаватели. По литературе, например, бывший наш преподаватель, сейчас директор Дома-музея Льва Толстого в Ясной Поляне. Все было расписано в распорядке дня от А до Я. Театр у нас был. Режиссером была жена командира роты – она же была диктором Тульского радио. Я в театре играл разные роли, у меня даже снимки есть, где я в роли Незнамова из пьесы «Без вины виноватые».

Н. Р. : *И когда Вы закончили Суворовское училище?*

А. З. : В 1949 году. Я закончил с серебряной медалью. У нас учился один парень, вечный двоечник. Решили, кто за него будет писать на выпускных экзаменах сочинение, кто математику. Мы бросили жребий. Мне досталась математика, я сделал за себя и за него, но чтобы успеть за три часа две работы сделать, конечно, я торопился и свою работу написал на «четыре» (хорошо). Я из-за этого серебряную медаль получил, а не золотую.

Наш первый выпуск было приказано отправить в Рязань, в воздушно-десантное училище. Такой был указ сверху, но медалисты могли выбирать, а я хотел в артиллерию. Я получил медаль, пошел в кино, с девочкой погулял, возвратился, а все места уже разобраны.

- Не надо было в кино ходить, – сказал мне воспитатель.
- А что осталось? – спрашиваю.
- Зенитно-артиллерийское училище.
- А что это такое?
- Давай оформим, узнаешь.

Я «загрел» в Одессу, в это артиллерийское училище. А я терпеть не мог электричество, электронику. Когда я был суворовцем, писал заметки в тульский «Коммунар». Эта газета до сих пор существует. Рассказы писал, стихи и вдруг... Приехал в Одессу, а там во всю стену схемы электрические,

импульсы, ПВО. Ну, думаю, попал. А деваться некуда. Но я, не любя все это, ни одной четверки не получил, одни пятерки были. Окончил по первому разряду это Одесское зенитно-артиллерийское училище. Потом начал беспокоиться и о брате Леониде. Ему предстояло закончить Тульское Суворовское через два года. Я пишу бумагу в Управление военно-учебных заведений сухопутных войск, так и так, у меня брат в Тульском Суворовском училище, я хотел бы, чтобы он учился вместе со мной в Одесском зенитно-артиллерийском училище. Отцы-командиры ответили мне из Москвы: ты молодец, что просишь за своего брата; вот если брат твой закончит Суворовское с золотой медалью, то направим его в Одессу, дай ему задание. Я брату пишу, мол, так и так, золотая медаль нужна. Дерзай. Брат окончил с золотой медалью. Но, увы, Москва забыла о своем обещании. Тогда я пишу в столицу еще одно письмо: брат окончил с золотой медалью, вы обещали, номер обещания такой-то, я все сохранил. Полковники не ожидали от меня такой резвости. Отвечают: в Одесское уже поздно, но вот в Житомирское зенитное училище устроим, какая тебе разница. И брат поехал вместо Одесского в Житомирское зенитное училище.

Н. Р. : *В Одесском училище сколько Вы учились?*

А. З. : Три года (1949–1952). Потом вернулся в Москву. Место службы – Первая гвардейская дивизия, 240-й Гвардейский полк Московского округа ПВО. 100-миллиметровые зенитные орудия новые, только пришли.

Это был 1952 год, мне был двадцать один год. Пришел туда уже лейтенантом. Я здорово стрелял. В этой Первой гвардейской дивизии я был на виду, фотографии мои висели по всему военгородку, лучший командир взвода и т. д. Потом вдруг узнаю, что наш командир дивизии едет во главе выпускной комиссии в Житомирское зенитное

училище, которое в этот год оканчивал брат. Я иду к генералу, он уже знал меня по стрельбам, доложил ему о моей просьбе. В итоге брата, окончившего училище по первому разряду, направляют в Московский округ ПВО. Комдив позвонил в штаб, что у него служит еще один Егорин, его брат, давайте и его ко мне. А в дивизии – в 240-й Гвардейский полк, а в полку на одну батарею, и так мы оказались на одной батарее с братом.

Потом я написал рапорт, чтобы меня отпустили учиться в Артакадемию. Командир спросил: «А кто будет стрелять?» – и предложил мне: «Давай подожди, ты еще молодой». Я через год опять рапорт, мне опять – некому стрелять. И с братом тоже. А годы шли. Я стал сотрудничать в прессе. Потом поступил на вечерний факультет журналистики МГУ и после работы вечером ездил туда, четыре пары лекций с 16 до 24 ночи, а в 4 утра я уже должен быть в полку. Написал я третий рапорт на одно место в ВИИЯ (Военный институт иностранных языков). На рапорт получил резолюцию: «У Вас нет цели в жизни: то артиллерия, то инязык. Отказать». Вдруг ни с того ни с сего ищут меня. Оказалось, что никто не написал рапорта в этот ВИИЯ, на что пожаловался сам ВИИЯ, что Московский округ ПВО не дал им никого. Скандал. «Кто-то писал рапорт!» – вспомнили в отделе кадров. Нашли меня, отправили в ВИИЯ.

Н. Р. : *А Вы уже сколько отучились в МГУ, года два?*

А. З. : Нет, один год. Приехал в ВИИЯ, а у меня медаль, значит, экзаменов не сдавать. Зачислили.

– Какой язык Вы хотели бы учить? – спросили на приемной комиссии, где я оказался первым по конкурсу.

– Английский.

– А почему?

– Учил его в Суворовском, – откровенно ответил я.

– Найдем что-то другое, – сказали в отделе кадров.

Нашли в кадрах – урду.

– А что это за язык? – спросил их.

– За пять лет узнаешь, – получил в ответ.

В это время звонит дядя, с фронта вернулся брат моей матери. Приезжаю к дяде, он лесничий в том же лесу, у него стоит бак самогона, тонна такая хорошая, там у них от всего лечатся самогоном, даже от чесотки. Дядя спрашивает: «Как дела?». «Учился на журналистике в МГУ, – говорю ему, – сейчас взяли в ВИИЯ, дали какой-то язык урду освоить...» Дядя ухом не повел. Говорит: «Толя, я прошел Европу, дошел до Берлина. Европа нас не любит, а на Востоке такие же идиоты, как мы, отставшие от остального мира. Разберешься в этих закорючках, и все дела. Не горюй!».

И в самом деле, академик Челышев (см. интервью с ним. – *Прим. Н.Р.*) у нас был начальником кафедры, мы после первого курса уже принимали из Пакистана ученых. В языке процентов сорок английских слов, грамматики никакой, а система была такая в старом ВИИЯ: четыре часа урду ежедневно, затем преподаватели давали магнитофонные пленки слушать и переводить, на что давали еще три часа на самоподготовку. Я фактически занимался этим урду семь часов в день. Научился очень быстро. Знал бы кто-нибудь, что индийцы все говорят на урду, хотя там арабско-персидский шрифт.

В 1956 году вдруг ВИИЯ упразднили. Я оказался не у дел. Говорили, что даже маршал Рокоссовский возмутился разгоном ВИИЯ. Он воскликнул: «Какая тупая голова до этого додумалась?». Ему ответили: «Генерал Колпакчи, якобы сказавший, что все языки должны учить в Суворовских училищах и потому ВИИЯ не нужен...» Я не стал увольняться из армии, мне некуда было просто идти. Когда решили сделать Суворовские училища иноязычными, я вспомнил своего командира роты, он в то время уже был в Белоруссии, в Минске, замначальника Суворовского училища, а его

жена – режиссер бывшего драмтеатра нашего – также была при нем. Я написал ему письмо, рассказал про свою историю. Недели через две мне ответили: «Толя, место для тебя найдется. Сейчас напишу бумагу в Управление сухопутных войск, жди вызова». Такой же был парень из Свердловска, тот тоже написал подобную бумагу своему воспитателю, его брали в Суворовское училище в Свердловск. Приходит бумага, читаем – не верим глазам: меня вместо Минска отправляют в Свердловск, а того парня вместо Свердловска в Минск. Мы к нему, к тому полковнику, который это натворил. Он говорит: «Это я ошибся. Я вас прошу никому ничего не говорить, иначе меня уволят. Через год я вас поменяю». Ладно, и я загремел в Свердловск ни с того ни с сего.

Н. Р. : *Вы все-таки поменялись?*

А. З. : Конечно нет. Но я начал осваивать Урал. Перевелся из МГУ в Свердловский университет, на журфак, тоже на вечерний. Навел связи на Свердловской киностудии, сделал там четыре фильма («Советская Татария», другие документальные фильмы). Снимал комнату. Соседи – артисты. Освоился неплохо. Любил ходить в Театр оперетты, тогда лучший в стране. О переводе в Минск уже и не думал. Об урду никто не спросил. И вдруг... В Управлении сухопутных войск начали искать офицеров-воспитателей для Московского Суворовского училища, для чего в Свердловск приехал инспектор Генштаба, мой бывший преподаватель литературы: «Толя!.. Ты?». «Я», – отвечаю. «Забираю тебя с собой в Москву».

И я укатил из Свердловского в Московское Суворовское. Перевелся обратно в МГУ. Когда я был в Свердловске, я почти ничего не сдавал, а тут, приехав на третий курс, досдавал предметов десять. И за три года окончил журфак. Поехал в «Красную звезду» и говорю: «У меня диплом журналиста, я молод, вот мои публикации, если я вам нужен,

берите. Я бы хотел работать у вас». Поговорили со мной в отделах, отказа не последовало. Казалось, завтра окажусь в газете. Оказался, но не в «Красной звезде», а в «Красном воине». На каком-то совещании вдруг ко мне подходит в перерыве редактор газеты «Красный воин» Московского округа ПВО, где я печатался часто, и говорит: «Толя, хочешь работать у нас?». Я не стал ждать, пока «Красная звезда» меня позовет, и согласился. Так я попал в «Красный воин». За два года я объездил двадцать областей России. Женился, у меня ежемесячно было до двадцати материалов в прессе, в кармане зазвенел гонорар, стал неплохо жить.

Н. Р.: *А Восток-то как?*

А. З.: В одно прекрасное утро, уже я года два проработал в «Красном воине», вдруг вызывает редактор и говорит: «Толя, слушай, тобой интересовались в Округе, поезжай завтра, с тобой будут беседовать». Поехал в Округ, предлагают учебу в Дипакадемии. Я пошел к редактору посоветоваться, он: «Толя, завтрашняя газетная полоса, дай почитаю». Второй раз пошел, он: «Толя, полоса опять, дай почитаю». Лады, я поехал в Дипакадемию. Приемная комиссия, сидят генералы, меня рассматривают. Сажусь. Генерал-грузин, председатель комиссии, вдруг спрашивает: «Вы любите красивых женщин?». Отвечаю ему: «Люблю. Интересно, а кто их не любит?!». Все сорок голов комиссии повернулись в мою сторону. Добавил: «Но езжу отдыхать только со своей собственной женой». Не взяли никого, кроме меня, в эту знаменитую академию, в тот седьмой по счету набор.

Н. Р.: *А арабский?*

А. З.: Видимо, из-за знания урду попал на арабский – письменность почти одна и та же. Но грамматика ужасная, язык

труднейший. Мне гарантировали, что я журналистикой буду продолжать заниматься. Слово сдержали.

Н. Р. : *Дипакадемию Вы закончили?*

А. З. : Закончил. Во время выпуска наградили ручными часами. Выгравировано: «Тов. Егорину от ЦК КПСС и Совета министров», золоченые часы, они сейчас живы и здоровы. Это мне дали за отличное окончание Дипакадемии.

Н. Р. : *Но Вы не рассказали историю про Вашу маму.*

А. З. : Она была в 13-й армии, фронт ушел на Запад, она уехала с друзьями отца в Комаричи, райцентр недалеко от Суземки. Штаб сгорел, никакой пенсии, пособия матери не дали, всем было тяжело. Все, кто остался жив, начали заниматься тем, что стали из себя делать героев и стали присваивать себе дела, которые они не делали ни во время пребывания в лесу, ни позже. До сих пор не все сделано, чтобы правду-матку восстановить не только в Брянском крае, но и в других местах, где еще живы ветераны. Довоенный друг отца Михаил Семенович Андриющенко, ставший горвоенокомом Брянска, оказался настоящим человеком, помогал матери, интересовался нами, тогда суворовцами. Два брата матери пришли с фронта, один брат остался в том же районе, где жила мать. Прожила она до начала семидесятых годов. Мы навещали ее в районном поселке Локоть Брянской области.

Н. Р. : *Так она одна и была всю жизнь?*

А. З. : Да, сыновья приезжали только во время отпуска. Конечно, помогали ей. Она жила в лесничестве со знакомым еще до войны лесничим, другом нашего отца Трущенко Федором Денисовичем. Он прожил до 70 лет. Особо они ни на что не жаловались, я все время помогал,

денег присылал. Однажды мама зимой раздетая выскочила за дровами и простудилась, схватила воспаление легких и за полгода жизнь закончила. Ей был 71 год.

Н. Р.: *А память об отце удалось сохранить?*

А. З.: Большое противостояние идет в Брянске до сих пор между теми, кто был на стороне партизан при советской власти, и теми, кто вернулся из тюрем. Прошли годы, Суземка построилась. Было колоссальное противодействие восстановлению памяти о моем отце. Его похоронили, прошел год, мы с братом поехали, никакого памятника не поставили, прошел второй год – никакого памятника, опять ничего, два года прошло, уже начался 1946 год. Я вместе с братом писал письмо в «Правду»: «Вот так и так. Отец перезахоронен на площади под номером 13, с какой стати?». В это время из леса еще 45 могил притащили.

Н. Р.: *И сегодня проблема с военными захоронениями очень серьезная...*

А. З.: В принципе, если бы Захар Климович Егорин был партизаном где-то в Ровенской области, а не в Суземке, это было бы нормально, но в Суземке З.К. Егорина знали все. Он многих вывел в люди, многим помогал. Но и предателей называл не иначе как предателями. Об этом я написал начальнику отдела писем в «Правде», заголовок был такой – «Просящие люди». Не помогло – тогда написал в ЦК КПСС. И сделали мемориал. Быстро, неожиданно. Да еще открыли музей «Партизанской славы», он сейчас называется «Боевой славы». Мемориал – гордость поселка Суземка: 100 на 200 метров территория, ограда метра 2, ели голубые, заходишь, открываешь калитку. Плита мраморная, метр на метр на земле. Надпись: «Здесь похоронен бывший председатель подпольного Суземского райисполкома, заместитель командира партизанской бригады Егорин Захар Климович».

Далее дорожка метров 20, потом плита. Жив остался один художник, из бывших партизан отца, мы его нашли в Одессе, приехал, сделал панно справа и слева метр на пять метров, бронза и там выгравированы сюжеты на тему партизанской жизни. Дальше идешь, десятиметровые партизан и красноармеец в обнимку стоят, вокруг гранит и выбиты фамилии, кто погиб. За этим памятником слева землянка «Партизанской славы», абсолютная копия, как была у отца, и справа Вечный огонь. Прекрасный комплекс. 23 сентября – День освобождения и 9 мая – День Победы, как обычно, все отмечают. Это мне стоило больших трудов.

Н. Р. : *В каком году перезахоронение было?*

А. З. : В 1946-м или в 1947 году.

Н. Р. : *А Вы еще были курсантом Суворовского училища?*

А. З. : Да, с 1944-го по 1949-й я там учился. Я туда поехал, выкопали гроб на перезахоронение, открываем гроб, четыре-пять лет прошло. Смотрю на мертвого отца, лицо черное-черное, как брюки, но еще кожа есть, щетина большая выросла у мертвого. Там нашли еще летчика, самолет в болото ушел, и его вытащили. Летчик полностью как живой, ничего не изменилось, было все закрыто герметично, как будто он вчера заснул. Я его перезахоронил, и сейчас сделано все хорошо. В Суземский музей «Боевой славы» отдал все письма отца, но я переснял их, а сейчас живьем они лежат у меня в личном архиве, и я не знаю, что с ними делать.

Н. Р. : *Остались ли в памяти эпизоды военной жестокости?*

А. З. : Школьных девчонок жалко, до сих пор помню их имена: Тоня Коренкова, Ира Бунина и т. д. Нас везли вместе, на машине. Немцы расстреливали из самолетов. Девчонки почти все погибли, нужно было с нами ложиться, под машину залезть, а они перебежали, чтобы не с ребятами,

а лечь в другой траншее, с подружками. Это было просто ужасно. Постеснялись...

Н. Р.: *Вы были сыном полка. Вас так и называли – «сын полка»?*

А. З.: Нет, это литературное название, такой должности нет, я там назывался боец какого-то взвода. Я раньше стеснялся, никогда не выпендривался с этим делом. Считал, что воевали другие: меня, конечно, оберегали, хотя я делал всё, что мог. Эти простые солдаты меня больше воспитали, чем остальные воспитатели, вместе взятые.

Н. Р.: *Почему?*

А. З.: А вот, внимание ко мне, если куда-то иду с ними, обязательно скажут: «Ты что там надел? Надень на ноги что-нибудь потеплее, уходим в 12 часов надолго». Смотришь, сами еле живые, а обязательно у них было чего-то, чтобы меня подкормить.

Н. Р.: *А были какие-нибудь опасные ситуации с ними, с бойцами?*

А. З.: Были, но они меня прятали всегда. Сначала один сам вылезет посмотреть, а потом меня выпускают, если не опасно. Я запоминал здорово, особенно позиции. Вообще-то это была передовая, между прочим. Но если было какое-то серьезное наступление, сразу меня куда-то пытались спрятать, метров за 50, подальше.

Н. Р.: *Они не знали, что у Вас отец командир партизанского движения?*

А. З.: Потом узнали. Отец был жив, но он не знал, где мы, что с нами. А отец оказался рядом, в 100 километрах. По каким-то причинам не дошло, связи никакой, состав той же разведроты или состав подразделений не выходили никуда.

Н. Р. : *А особысты знали свое дело?*

А. З. : Может, оно и надо было так. Везде была жесткость.

Н. Р. : *Как был устроен партизанский быт? Как удавалось избегать болезней?*

А. З. : За этим следили. Откуда-то приходят на сутки, двое, сразу раз – идешь в душ, все эти шмотки снимаешь, в барокамеру, там пропаривают все, сразу мылом обмывают, и на выходе получаешь те же штаны, рубашку, чтобы не было никаких инфекций. Все-таки война и фронт, тем не менее порядок был. Почти никаких болезней, вшей не было. Раза три было так, что нас самих чуть не поймали, мы ушли в другое место, в другое расположение, там такая же система: первое, когда ты приполз еле живой откуда-то, тебя все равно сначала пропарят, чтобы ты с собой ничего не приволок, никакой заразы. Некая Рязанская санитарная служба, как шутили, но это было здорово сделано.

И второе – было внимание, даже уже когда мы были суворовцами на Параде Победы. Когда воины знамена бросали к стенам Кремля, нам отрывали находившиеся на знаменах какие-то побрякушки. Люди, которые после Победы ехали домой, говорили: «Я игрушку-медвежонка не довезу, на тебе». Нас, суворовцев, угощали, восемь часов в сутки мы парадно топали вместе с ними на тренировках, а в перерывы нам эти мужики давали конфетку и какие-то сладости, кто что. Видно было: они тосковали о своих семьях, я испытал все это на себе. Пока шла война, они просто одичали без ласки.

Н. Р. : *А озлобление на войне было? Заметно это было у людей?*

А. З. : Озлобление было, скажем, если погибли какие-то приятели в твоём полку или роте, за товарищом мстили здорово. Причем особенно мстили, если он погиб не в бою,

а так, пристрелили или что-то в этом духе. Снайперов очень не любили. Злость была. Снайперов не любили потому, что ни с того ни с сего голову из окопа не высунешь. Но вечером, ночью их было видно по вспышке. Либо он бухнет – тогда его слышно. По разным причинам, но их накрывали в первую очередь.

Н. Р. : *Сейчас много говорят о заградотрядах, которые специально шли, стреляли в тех, кто отступал. Было такое? Что Вы можете сказать?*

А. З. : Это преувеличено. То есть никто за спиной не стоял, я свидетель всего этого. Я видел отступление, это все было при мне. Формально говоря, такого, чтобы остутился и сразу в тебя стреляли, не было, там тоже думающие люди были. И наша 13-я армия была так измотана, что больше некуда. Поднимаешься и идешь в атаку, например, и не знаешь, как пойдет бой. Остался в живых, испытываешь какой-то фатализм. Но таких, чтобы убегали, мало было.

Н. Р. : *А водка? Последнее время об этом много говорят. Все решала водка, людей поили перед каждым боем, и они только в таком состоянии могли идти в атаку.*

А. З. : Нет, это ерунда.

Н. Р. : *Наш коллега Борис Николаевич Гашев, который прошел войну, сказал, что это глупость абсолютная. Это могут говорить люди, которые никогда не были на войне. По его словам, на фронте, сразу после первых дней, сильно обостряется инстинкт самосохранения, чувство опасности. А человек, который выпил водку, у него мозги хуже работают, эти инстинкты – где пригнуться, где проползти, а где встать и бежать – у него размыты, поэтому самоубийц не было, все жить хотели. Да и водку еще надо было достать...*

А. З. : Выпить после боя, если завтра более или менее спокойный день, конечно, приходилось, а так, если в бой, это было почти исключено. Когда ты не соображаешь, ты в первую очередь под пули попадешь, потому что ты неуправляем. Это все муть полная, это все абсолютная выдумка разных молодых режиссеров и прочих. Но на самом деле... бывало, выпивали...

Н. Р. : *Понятно, что выпивали, конечно.*

И еще вопрос: Вы человек верующий, крещеный? Были люди верующие на войне? Все были коммунисты, комсомольцы. Хотя деревня вся была верующая, церковные праздники отмечала...

А. З. : Я тебе мягко скажу, потому что всякое было, но, во всяком случае, многие относились к вере и к людям, претворяющим в жизнь ее каноны, как к обычной человеческой духовно воспитывающей службе. Многие считали, что это обычная служба, как все остальное. Всё, что хорошо было когда-то придумано, все, что сейчас идет, – это обычная служба: один служит в войсках ПВО, второй служит где-то на фирме, а третий служит в церкви. Большинство, между прочим, относилось к людям в рясах как к служивым людям, которые честно зарабатывают свой хлеб. И среди них, замечу, самое большое количество порядочных людей, хотя тоже есть исключения.

Н. Р. : *Многие говорят, что всю войну прошли с крестиком в кармане или с иконкой в гимнастерке.*

А. З. : Это все правильно, потому что этот крестик надела ему мать. У нас у каждого есть свой талисман и у нас у каждого есть свое какое-нибудь тринадцатое число, в магию которого есть некая вера. Это ни о чем не говорит. На самом деле священники – это такой же служивый народ, как те же военные или кто-то еще, в общем-то это правильно. А то,

что над нами есть какие-то сверхъестественные силы, нами управляющие, или есть загробная жизнь и все остальное, что весьма лихо расписано, все это, конечно, остается на совести тех, кто это или нечто подобное кому-то преподносит.

Н. Р. : *А Вы, наверное, крещеный? Вы же деревенский?*

А. З. : В деревне мы почти не жили, никогда церковь не посещали. Потом, когда нам стало, по-моему, 50 лет, пошли в церковь, жена настояла. Она у меня верующая: «Пойдем, хороший батюшка». Батюшка нас благословил, чтобы мы еще столько прожили, что-то в этом духе. Тем не менее, я еще когда работал в газете, понял силу церкви, когда писал всякие материалы для прессы или участвовал в общественных мероприятиях.

Н. Р. : *Почему?*

А. З. : Потому что то, что церкви собирают массу народу в одном месте, вселяя этому собравшемуся народу совершенно чистейшие правила взаимоотношений, – этим они делают великое дело. Они сплывают и воодушевляют народ и одновременно берегут его. Скажем, в деревне или в городе, если даже очень надо, нигде никого не соберешь, а в церкви соберешь и на Пасху, и на какой-то еще праздник, то есть в этом великая заслуга Русской православной церкви. Но относиться к этому нужно спокойно, а не задумываться, восклицая: «Ах, есть ли там Бог?».

Н. Р. : *Раз «что-то» есть, это «что-то» и собирает людей в церкви...*

А. З. : Это великое «что-то» усекли еще до нас, 1000 или более лет тому назад, я не знаю точно, когда, но за это предкам честь и хвала. Тема довольно значимая. Я отношусь к этому спокойно, но вместе с тем надо признать, что люди вместе стоят, друг друга видят не единожды в году,

вместе чему-то поклоняются, веря во что-то свое и обещая помочь кому-то и чему-то, друг друга хоронят и женят, венчаются, живут рядом в родном отечестве. Это все наши русские традиции, традиции нашего государства, это все я сознаю. Но в принципе я к этому отношусь прагматично в том плане, что не залезаю слишком далеко в душу, чтобы утверждать: «Ах, завтра мы с тобой после смерти встретимся». Конечно не встретимся. Но память оставим, оставим как бы себя для других.

Н. Р. : Скажите, смерть на войне... Тяжело это – убить человека, увидеть, как рядом с Вами убили человека в атаке или в других ситуациях? Происходит при этом что-то с Вами?

А. З. : Происходит, конечно... В принципе, чтобы ты кого увидел и сразу застрелил, это было редко. Это крайность, хотя вопрос, между прочим, серьезный. Есть некие каноны войны, о которых мало кто пишет. Когда ты идешь в атаку или когда ты подавляешь пулеметную точку, или когда ты делаешь что-то в военных целях, у тебя совершенно по-другому голова крутится. А чтобы в немца ни с того ни с сего стрелять – такого не было. Конечно, бывало всякое; может быть, пять минут назад твоего приятеля убили. И то не было, чтобы просто так убивали... Убийство как таковое, чтобы как сейчас, по-бандитски – просто так, – не было. Когда идешь в атаку, танки... – это разные вещи. А в пленных, как правило, никто не стрелял. Я такого случая не помню, хотя я этим занимался и их распознавал. Полицаи часто прятались под пленных.

Н. Р. : Вы говорили, что видели на войне представителей разных народов. Немцы, румыны, поляки, мадьяры... Кто-то из них выделялся жестокостью?

А. З. : Мадьяры. На Брянском фронте вместе с немецкими частями были две венгерские дивизии. И к нам Коминтерн

прислал человек сто этих самых венгров, и к отцу партизан человек пятнадцать прислали. С двумя из них я даже после войны встречался, чтобы получить там какую-то медаль. Они были немного жестковаты, жестче немцев. Немцы, у них же эти бесконечные приказы, но тем не менее, немцы в окопах не те, что в гестапо, спецслужбах... Это их самая большая ошибка была, что они наших мирных людей расстреливали за дело и без дела. Война им много списала. Но мы помним всё.

Н. Р. : *Расстреливали страшно, и детей, и стариков, их-то зачем?*

А. З. : Если бы немцы по-другому себя повели, может быть, по-другому бы всё пошло, они бы не так много уступили. А то, что такая преобладала жестокость, это вообще из-за тупости руководства. Видимо, у немцев, как и у нас, было: «Если не расстреляешь тех, кто ушел к партизанам, они расстреляют тебя». Но за что маленьких детей расстреливать? Немцы расстреливали, а на завтра вся деревня шла в партизаны. Завтра он вернется, и тот, у кого убили, уж кто-кто, а он найдет ходы, чтобы с убийцами расправиться, он пролезет, где хочет. За свою жену или за детей, например, немца этого он убьет рано или поздно. А к нам мадьяры были особенно жестоки почему-то.

Н. Р. : *Почему мадьяры? В чем эта жестокость проявлялась?*

А. З. : Я даже не знаю. Вот, они, скажем, ограбят дом, допустим, и чтобы об этом не узнали, расстреливали хозяина. С какой стати? Дикий народ. Кто-то видел, что мадьяры приходили, а ушли – и соседи убитого человека нашли. Сосед, который был ему хорошим другом, он найдет этих мадьяр, всех, может, не перебьет, но хотя бы к стенке поставит одного из них. Мадьяры ничего не хотели делать. Может

быть, они хотели перед немцами выслужиться или к нам имели какие-то претензии. Звери были, а не люди.

Н. Р. : *Можно ли привыкнуть к войне, к смерти?*

А. З. : К войне не привыкнешь, к смерти тоже, но... Это еще в 1941 году, в сентябре, я понюхал первую смерть, когда нас немцы с самолетов обстреляли. Перебили почти всех моих школьных друзей. Я остался среди этого неба и леса один. Хоть и не один, несколько человек живых осталось, все равно, это было ужасно. Дальше, конечно, когда погибали близкие, всегда было дикое переживание, что там говорить, к этому не привыкнуть. Война очень здорово сдружила людей. Как везде, там были и те, кто ругался, и те, кто дружил. Но чтобы автоматчики сзади стояли, заставляли воевать, ничего подобного не было, там по-другому к этому относились. Были хорошие или плохие командиры, или люди хорошие или плохие, но когда все поднимаются в бой – попробуй ты не пойдешь!

Вставали, шли, а там, я бы сказал, ты отключаешься на какое-то время. Когда чувствуешь, что ты можешь погибнуть, ты об этом не думаешь. Ты думаешь о том, как тебе сделать, чтобы не погибнуть. Что-то в этом духе. Особенно, когда полезли пятеро, и надо же – четверо пролезли, а пятого убили. Вот это самое тяжелое. Поскольку это было ежедневно, то какая-то вера, а вдруг тебя пронесет, пожалуй, больше значила. Кресты мало кто целовал, но носили многие.

Н. Р. : *Была ли любовь на войне?*

А. З. : Еще как была, без всяких разговоров. За моей матерью ухлестывали.

Н. Р. : *А красивая у Вас была мама?*

А. З. : Красивая.

Н. Р.: *Сколько ей было лет, когда война началась?*

А. З.: Она с девятьсот седьмого года, 34 года. Вот, правильно одна поэтесса сказала: «Если бы не женщины, вы бы, мужики, на войне не брились, вас бы никто в атаку не поднял и все прочее». Тема женская – особенная. Мы ведь были молодые, но там любовь, молодость совсем другие были, чем здесь и сейчас.

Н. Р.: *Почему?*

А. З.: Не потому, что считали, что жизнь коротка. По разным причинам. Но все равно основные требования оставались, чтобы она мне нравилась, а я – ей. На одну ночь, не помню, чтобы «складывалось», хотя бывало и такое. Женщины, пожалуй, были в этом сильнее мужчин; и это было здорово. Во-вторых, конечно, обстановка сближала и очень спланивала, какое-то товарищество было. Усталость бесконечная, не спишь, опять всем куда-то надо ехать, что-то делать, воевать. Но все рядом, все вместе.

Н. Р.: *Парад Победы, расскажите о нем. Вы же были участником Парада Победы, 24 июня 1945 года на Красной площади.*

А. З.: Парад Победы – это мы еще были суворовцами. Где-то за полтора месяца до окончания войны нам сказали, что мы будем участниками Парада Победы.

Н. Р.: *А как Вы узнали о Победе? Что Вы делали тогда, помните?*

А. З.: О Победе мы узнали 9 мая, мы были в Суворовском. По-моему, будний день был, наш старшина во взводе, вечно просыпавшийся первым, закричал в окно рано утром 9 мая о том, что всё, Победа!

Крики на улице мы слышали рано утром, наше училище было в центре Тулы, мы подхватились все. Конечно, Победа! Но... Та же зарядка, тот же осмотр перед завтраком, все было как всегда. А после завтрака всех выстроили и всех поздравили, мы кричали «Ура!». И потом через некоторое время, через несколько дней, нам объявили, что мы едем в Москву и будем участвовать в Параде Победы. И мы уехали в Москву, триста человек, нас разместили в Военно-воздушной академии Жуковского, восемь часов в день маршировали, тренировались для Парада. У нас было десять рядов по двадцать человек. И сделали так, чтобы все были по росту, чтобы маленький шел самый последний. Так приказал Жуков, командовавший парадом. Сталину это понравилось. Суворовцы стоят, подъезжает Жуков на белом коне. Говорит: «Здравствуйте, товарищи!» – и подъезжает к нам, четыре коробки было. Подъехал, стоят дети, он обычно что-то говорил, а тут минуту помолчал и говорит: «Здравствуйте, товарищи!». Когда пошли, равнение... Какой там – ровно, я, например, вперился глазами в Сталина, и все так и пошли, но уже автоматически соблюдали равнение, потому что ежедневно по 8 часов ходили, тренировались. Ничего не учили, не занимались, всё только делали для Парада Победы.

Н. Р. : *А отбирали как для парада?*

А. З. : Отбирали по физическим данным. А 24 июня целая история была: в Москве пошел дождь, мы были у кинотеатра «Ударник», часов в 6 утра нас туда привезли. Но я запомнил: там были две такие девицы, с аэростатами-заграждениями, спущенными вниз. Мы хотели потрогать эти аэростаты – грязные или нет, но эти девки не дали это сделать, одна меня даже схватила, откинула от себя. Помню, я об нее перчатки испачкал, они были белого цвета, а я в первой шеренге шел. Пришлось с братом Леонидом поменяться, он шел где-то

в седьмом ряду. А на Параде Победы, когда мы шли, все, что я запомнил, – это то, что, как и все, смотрел на Сталина. И только на него.

Н. Р. : *Отношение к Сталину у Вас какое? Оно всегда было одинаковым? Сейчас тоже не изменилось?*

А. З. : Да, без всяких разговоров. Нет, ни капли не изменилось. Каждый год, 24 июня, нас собирают в Москве – участников Парада Победы, для этого создана целая ассоциация. Дарят нам цветы, чтобы мы положили их вдоль Кремлевской стены, большинство до сих пор кладут на могилу Сталина, хотя там много могил других лиц. Потому что самое великое дело сделал Сталин, сумевший удержать такую махину, как СССР, в своих руках. Многие партизанские командиры в 1942 году в беседах со Сталиным просили, чтобы открыть Суворовские училища для беспризорных детей. Сталин спас тысячи таких, как я. Если бы не было этого решения о Суворовском училище, кем бы я сейчас был, оставшись один после войны? А Сталин еще в 1942 году сказал нашему Емлютину, одному из руководителей партизанского движения на Брянщине, что полководцы-то русские из кадетских корпусов вышли! Подход какой был! Это мы запомнили на всю жизнь.

Когда Сталин умер, нас выдвинули вечером к центру Москвы, и мы несли службу у его гроба, я раза четыре стоял прямо у гроба, а потом, когда Сталина уже несли к Красной площади, я стоял в шеренге поперек улицы Горького... Что можно сказать о Сталине и его делах? И сейчас тоже миллион сидит в тюрьмах, просто страна большая и есть недозволенные, но, может быть, кого-то и надо сажать. Перед той войной немецкая разведка здорово надула Сталина с Тухачевским, например, и мы поверили. Войну спецслужб мы проиграли, а раз так, не смогли правильно информировать Сталина о начале войны. До сих пор на ТВ показывают

Тухачевского, «дело врачей» и прочее, что не красит прошлые власти. Жестокость, конечно, была, может быть, нам и надо было иметь такого жестокого правителя. Для меня лично Сталин открыл Суворовские училища и дал тем самым путевку в жизнь. Я это помню и ценю.

***Н. Р. :** Что важное Вы бы хотели рассказать о войне? Чем для Вас стала война?*

А. З. : Война воспитала во мне человека, человеческие качества. Что мне еще запомнилось – это колоссальная терпеливость, стойкость народа, которые мы проявили в ту великую войну.

***Н. Р. :** Говорят, организм по-другому функционирует во время таких испытаний.*

А. З. : В человеке все работает. Абсолютно ежеминутно, ежедневно. Только нервную систему надо держать в руках. Как только ты чуть-чуть отпустишь себя – всё. В принципе, как ни странно, человеческие отношения среди людей и товарищество во время войны – это самое сильное было, как и забота друг о друге. Почему я стал таким? Я до сих пор помню, человеколюбие во мне осталось с детства. Как ко мне относились тогда, по-человечески, вот и я сейчас так стараюсь жить, у меня это до сих пор осталось, как ни странно, – военное детство, война. Меня берегли, хотя я много чего делал на грани срыва. Война меня воспитала как человека, как личность; как ни странно, но тем не менее – это так. Там как нигде чувствуется войсковая дружба, товарищество, взаимная помощь, взаимопонимание. Ни у кого никогда я не прочитал в глазах: «Хоть бы тебя убили вместо меня». 100 человек в роте, завтра в бой, мне говорят: «Ты там, чтобы за нами не лез». Ни у кого не было: «Ах, как бы спрятаться за спиной кого-то еще».

Н. Р. : *А Вы на войне были с оружием?*

А. З. : Конечно. К оружию я совершенно хладнокровно отношусь, меня трудно взорвать, это было во мне воспитано. Может быть, я не дожил бы до 85 лет, не знаю. Дожил. Но жизнь заставила держать себя в руках. «У тебя ничего впереди нет, запомни, только на себя самого надежда. Учись, учись, учись», – завещал мне отец. Все, что тебя касается, зависит только от тебя. Если есть угроза, что та сторона тебя убьет, ты на ту сторону не лезь. Если надо что-то делать, давайте подумаем, как лучше это сделать. Война как воспитатель для человека имеет большое значение. Миллионы людей хоронили и грустили о погибших, которые любили, которые были молоды, и женщины, и мужчины. Любовь к жизни, к человеку воспитала война. Эти заповеди моего отца, и я считаю их основополагающими в жизни.

А те, кто когда-то Россию предал, и те, кто оставил долг за собой, те сейчас пытаются выкрутиться из этого. Не выйдет. Запомните!

Н. Р. : *Что бы Вы сказали молодым, пройдя войну?*

А. З. : Самое главное для молодежи – это совесть. И второе – уважение к своим близким, уважение к другому человеку, считать другого человека равным себе и считать другого человека таким же жизнеспособным, не желать другим того, что не хочешь себе. В-третьих – самокритичное отношение к себе. Вот многие говорят, что молодежь не та. Молодежь – та, бóльшая часть очень достойные, хорошие люди. Нельзя судить по отдельным лицам, что вся сегодняшняя молодежь плохая, этого ни в коем случае нельзя делать. Большинство их также учится, также бьется как рыба об лед за свою жизнь, как это делали мы.

ЧАСТЬ 2

БЛОКАДА

Нина Дмитриевна Гаврюшина

Родилась 2 июня 1928 г. в Ленинграде

Окончила Ленинградский государственный университет (1950)

Кандидат филологических наук (1954)

Специалист по истории и развитию современной литературы хинди

Работает в ИВ РАН с 1958 г.

Старший научный сотрудник ИВ РАН

Ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда

Наталья Романова: *Пожалуйста, расскажите о Вашей семье.*

Нина Дмитриевна: Я – ленинградка. Моя мама тоже коренная ленинградка. Отец, правда, не ленинградец, но он учился в Ленинграде, пошел здесь на работу, женился на маме. Человек был очень талантливый. В 1936 году он издал книгу по своей специальности. Но в 1937 году, как очень многие наши люди, был репрессирован – в июне арестован, а в декабре уже расстрелян. И для семьи началась весьма тяжелая полоса. Но поскольку моя мама была врач...

Н. Р.: *Простите, а что за специальность была у отца?*

Н. Д.: Он окончил Лесотехническую академию, был преподавателем, преподавал студентам – будущим строителям, занимался геодезией. Мой папа был человек очень

интересный. В 1936 году в известном ленинградском научно-техническом издательстве вышла его книга «Геодезическая практика строителей».

Его все очень ценили и любили – и студенты, и преподаватели. А моя мама окончила Военно-медицинскую академию. Она туда поступила в 1920 году, а окончила в 1926-м. Это был, по-моему, первый послереволюционный набор, когда благодаря В.И. Ленину женщины получили такую возможность. Мама была, как и папа, из очень простой семьи, работала на заводе, окончила гимназию. Отец у меня в 35 лет пострадал, и мама в 35 лет, по существу, осталась уже вдовой. Она окончила Академию и стала врачом-педиатром, терапевтом. Хорошим врачом. Может быть, благодаря этому мы и выжили с братом. Интересный еще такой момент: мы жили тогда на Петроградской стороне... Сейчас этот проспект называется Каменноостровский, тогда он был Кировский. Мы жили, как и все в те времена, в большой коммунальной квартире. И я помню, что если с отцом все так серьезно произошло в 1937 году, то маму и нас не арестовали, не выселили и, в общем, не тронули.

Н. Р.: *А за что арестовали папу, что ему приписали?*

Н. Д.: Мы ничего тогда не знали. О том, что отец арестован, мне сказали в нашем дворе, прокричали на весь двор. И когда я прибежала в слезах домой, мама, которая говорила нам, что папа в командировке, призналась, что да, он арестован.

Н. Р.: *А Вы не пытались потом посмотреть его дело?*

Н. Д.: Нет, почему... Я тогда не пыталась, я еще была мала. Вы знаете, когда отца арестовали, мне шел девятый год, братишке моему было четыре года... В общем, за что – мы не знали, только было сказано матери, что десять лет без права переписки.

Н. Р. : *Это расстрел...*

Н. Д. : 58-я статья, а больше мы ничего не знали. Мама ходила, конечно, хлопотала, все мы старались что-то узнать. Война кончилась – хлопотали... Я приехала в Москву в 1955 году и отправилась в наш Верховный суд узнать о деле моего отца. Но там сказали... там на деле была какая-то шестизначная цифра... В общем, мы так ничего и не узнали. Ну, а уже в 1957 году мы получили официальную его посмертную реабилитацию.

Н. Р. : *Вам выдали справку о реабилитации Вашего отца?*

Н. Д. : Да, справку о посмертной реабилитации за отсутствием, так сказать, состава преступления. Имя моего отца Гаврюшина Дмитрия Трофимовича в Ленинграде занесено в расстрельные списки жертв политических репрессий 1937 года.

Ну вот, благодаря тому, что маму все-таки не тронули, она осталась дальше работать участковым врачом и воспитывать нас с братом... Брат маленький был, он 1932 года рождения, у нас разница в четыре года. Так прошли 1937-й, 38-й, 39-й, 40-й и 41-й годы. И начинается война.

Так получилось, не знаю даже почему, маму не вывезли, а оставили в Ленинграде работать врачом. Я ходила в школу, а брат в детский сад. И что важно... Никто не представлял тогда, что нас ждет дальше, что надо запастись продуктами...

Н. Р. : *А Вы помните, как началась война?*

Н. Д. : Вот я хочу рассказать Вам, как началась для нас война. Мама, у нее было довольно слабое сердце, в середине мая уехала на юг, в санаторий, в Хосту. 12 июня она вернулась в Ленинград и приступила к работе. А 22 июня начинается война. Мы потом часто задумывались над тем, если бы ее путевка продлилась, скажем, до 22 июня – она бы

уже не смогла вернуться к нам в Ленинград. Трудно сказать, получилось бы это у нее или нет... Я тогда окончила шестой класс – знаете, меня отец очень рано отдал в школу, и когда началась война, у меня уже был впереди седьмой класс. А брат еще продолжал ходить в детский сад. Был совсем маленький. 22 июня началась война, и в июле уже заговорили об эвакуации. Значит, где-то в конце июля нас должны были вывозить из города. И что делает мама: она его с детским садом отправляет в эвакуацию, но причем (*смеется*), как выяснилось, буквально навстречу немцам.

Брата вскоре увезли, а потом этот детский сад бежал обратно в Ленинград, их недалеко отправили. И вернулись дети чудом – там дорога была уже страшная, конечно. А нас со школой предполагали эвакуировать в Акуловку. К Акуловке, по-моему, немцы тоже подошли раньше, чем закрылся Ленинград. Город закрыли где-то 20 августа, а может быть, и раньше, я уже точно числа не помню. Официально блокада началась 8 сентября, когда немцы устроили массированный налет на Ленинград. Бомбы и раньше сбрасывали, но пока были единичные разрывы снарядов.

А я... Получилось так, что нас, школьников, не успели эвакуировать, и мы остались в городе. В общем, может, это к счастью так получилось. И начинается... Первое, что помню, бомбы падают на больницу Эрисмана и Первый медицинский институт на Петроградской стороне. Август–сентябрь – это еще отдельные снаряды, а в октябре месяце...

Н. Р.: *Простите, а в это время мама работала в своей поликлинике?*

Н. Д.: Да, моя мама продолжала работать. Ей тогда было 40 лет, она 1901 года рождения. В военный госпиталь ее не взяли, и она продолжала работать в Невском районе. Невский район – это верховье Невы, рабочий район, где очень много сосредоточено заводов... А мы жили

на Петроградской стороне. Чтобы попасть на работу, маме надо было проехать чуть ли не через весь город – нужно было подниматься по Неве к ее верховьям. И мама продолжает работать. В октябре уже начинаются бомбежки, и довольно серьезные бомбежки. Я помню, видимо, в конце октября был один такой налет, когда показалось, что бомба попала в наш дом. Это было часов в 12 ночи: мы легли спать, и в этот момент вдруг поехали наши кровати, и весь дом затрясся – а это был большой кирпичный дом. Оказывается, бомба разорвалась недалеко от ворот, но в сам дом не попала. Мы жили там еще где-то до 13 ноября.

Н. Р.: *У вас была комната в коммунальной квартире?*

Н. Д.: Две комнаты. Поскольку мой отец был очень хороший строитель и это был когда-то очень большой зал, он сам построил стенку, и у нас получилось как бы две смежных комнаты.

Но я еще очень хорошо помню 7 ноября 1941 года. Мы находились еще на Петроградской стороне, но мама уже с трудом добиралась на работу, через весь город, в Невский район. Надо было то идти пешком, то ехать на трамвае; трамвай еще, видимо, ходил... Но я вспоминаю: света уже нет, отключили, отопления, конечно, тоже нет. И вот как в моем сознании остался этот праздник 7 ноября: холодно, уже немножечко голодно... ну, не то что голодно совсем, но мы уже, конечно, были очень ограничены и в питании, и во всем. Главное – все время темно, холодно и чувствуется, что надвигается что-то такое... страшное...

Ну, еще, конечно, самый яркий день перед этим – 8 сентября. 8 сентября – это был день совершенно потрясающий и поразительный. В каком смысле? Говорят, что две тысячи фашистских самолетов тогда летели на Ленинград. Их было очень много. Во всяком случае, когда мы вышли на улицу в двенадцатом часу ночи, может быть, даже и в первом

часу, – мы вышли в совершенно освещенный город, хотя тогда электричества практически уже не было. Ничего не было, никакой энергии, никакого света, ничего – ночь, но было светло! Это горел Ленинград. Горел весь город, и, Вы знаете, зажигательных бомб, наверное, было сброшено тысячи. Когда говорят, что горели Бадаевские склады, это о событиях той ночи.

А что происходило на Петроградской стороне! Мы жили недалеко от Зоологического сада, рядом с ним находился Летний народный театр – там когда-то пел Шаляпин. И в тот день, 8 сентября, это все было уничтожено, все эти постройки горели. Говорят, что даже слон был ранен. Туда, видимо, тоже попали бомбы. И все было озарено: небо стало как будто розовое... Вот это и было начало, официальное начало блокады Ленинграда, 8 сентября 1941 года.

Дальше все становилось хуже, хуже, хуже; 7 ноября мы еще жили дома на Петроградской, а примерно 13 ноября мама говорит, что все: больше мы здесь не можем оставаться, надо уезжать. Ближайшие мамы родственники жили недалеко от ее работы, в Невском районе. И мы решили уйти к ним туда. Об учебе, о школах уже никакой речи не было...

Н. Р.: *А когда Вы снова пошли в школу?*

Н. Д.: Осенью школы уже не было, все уже, не было. В школу я пошла, по-моему, где-то в самом начале марта 1942 года, но уже в другом районе. Брат еще маленький был, и тоже никаких детских садов, ничего не было. И вот я помню этот наш переход из Петроградской стороны в Невский район. Мы шли пешком – значит, все трамваи остановились. 13 ноября, Ленинград...

Н. Р.: *И было холодно?*

Н. Д.: Невероятно холодно. То есть было настолько холодно, что из дома мы вышли очень закутанные... Ничего, конечно,

с собой не взяли, ну, что-то такое легкое было... Мама надеялась, конечно, что она еще сюда вернется... Нам повезло, мы прошли весь город и не попали под снаряды, хотя немцы обстреливали Ленинград уже фактически ежедневно...

И мы дошли, а идти было очень далеко. Вы знаете, это был переход грандиозный! И вот пришли мы в дом, где жил мой дедушка когда-то и где жили две его дочери – родные сестры моей мамы. Это был маленький одноэтажный деревянный домик на окраине города, в Невском районе. В нем было три комнаты. Когда мы пришли в этот дом, семья одной из маминых сестер как раз эвакуировалась с заводом «Большевик»: две девочки, муж, жена – все они уехали. Осталась еще одна мамина сестра. И больше в этом доме никого не было. Пришли мы. А дом этот, я считаю, нас спас... Спас от холода: мы стали изнутри сами разбирать дом потихонечку на доски, чтобы отапливать комнаты. Немножко создавать тепло...

***Н. Р.:** Да, легче протопить маленький деревянный дом, чем большую каменную квартиру с высокими потолками...*

***Н. Д.:** Конечно, это же и был маленький деревянный дом. И вот голод. Сестра мамина умирала страшно. Мы в одной комнате все были. Вторая сестра еще была жива какое-то время, она жила недалеко – и тоже вскоре умерла ...*

Вот тогда нам сообщили, что по семь тысяч в месяц умирали люди, начиная с декабря. Декабрь был очень тяжелый месяц, в ноябре еще более или менее люди держались. Декабрь, январь, февраль – это уже начался крошечный ад, люди погибали ужасно. Я помню мамину сестру... Она была постарше чуть-чуть мамы, и вторая сестра тоже постарше ее была. А маме тогда 41–42 года было... Они еще молодые, конечно, были женщины. И началось нечто ужасное. Но благодаря тому, что все-таки это был первый этаж...

Н. Р. : *А мамыны сестры ходили на работу? Карточки у них были?*

Н. Д. : Сестры были старше на несколько лет, им еще не было пятидесяти. Может быть, и ходили на работу, наверное, у них были карточки – трудно сказать, но ничего уже не спасало абсолютно. Я вспоминаю, организовали тогда такую вещь: в этом районе я ходила в столовые. То есть это не столовые были, а пункты выдачи небольшой порции теплой пищи. Там стояли очереди, все с кастрюльками приходили. Ну, а потом началось – то, что многие рассказывают. Ноябрь, декабрь... Мама мне просто не разрешала одной ходить за хлебом, потому что хлеб могли вырвать из рук. Люди с ума сходили от голода. Как-то к нам зашла моя двоюродная сестра, что-то такое мы ей дали, какой-то сверток, не помню что. Она едва вышла из нашего дома, как ее ударили, а то, что было в руках, – отняли. Она вернулась обратно к нам, с пустыми руками.

Н. Р. : *Вероятно, подумали, что это могла быть еда.*

Н. Д. : Вполне возможно. Вы знаете, у нас с мамой был такой страшный случай. Мы с ней куда-то ушли, а брат остался один дома. Он все-таки был еще маленький, только восемь лет примерно, в школу должен был пойти, в первый класс. Мы ушли, потом возвращаемся домой и видим: во дворе стоят двое мужчин в военной форме. Стоят – у одного лом в руках или что-то такое. Было темно. И мама... Она как-то так грозно с ними заговорила: «Что вы здесь делаете?» – «Да мы вот так, зашли...» А в дом по нескольким ступенькам подняться, и все... И они ушли. Ушли, нас не тронули, ни мать, ни меня. Двое мужчин в военной форме, в солдатской форме, естественно, не в офицерской... И сейчас в памяти эта картина...

Когда мы вошли в дом, в доме был только мой братишка. Дверь была закрыта изнутри на крючок. Они дергали дверь, а он им не открывал. Там воровать абсолютно нечего было. Маминой сестры тоже не было дома, куда-то отлучилась (она умерла где-то в январе месяце). Короче говоря, они требовали, чтобы брат открыл дверь, а он не открывал. Они дергали дверь, и когда мы с мамой туда вошли, дверь была уже вся раздерганная. Мы ее потом веревками привязали. Один мужчина прошел на чердак и пытался пробить потолок, а другой дергал входную дверь. Если бы мы пришли позже! Потом вспоминали, думали: они могли и нас совершенно спокойно убить – те двое мужчин с ломом...

Н. Р. : *Они хотели найти еду или какие-то ценные вещи?*

Н. Д. : Что они хотели – непонятно, но эпизод этот очень запомнился. Дальше начинается, конечно, очень суровое время. Декабрь, январь и вообще до весны состояние было ужасное совершенно, потому что начался страшный голод. Это уже был голод такой, что... Где-то в январе умирает, превратившись в скелет, одна мамина сестра, потом вторая... Я вспоминаю своего двоюродного брата, он был значительно старше меня, его не взяли в армию, и он продолжал работать на своем заводе. Его эвакуировали ранней весной по Дороге жизни. Ему было, наверное, двадцать лет с небольшим, взрослый парень, но от него остались одни кости, он был как святые мощи. Это было такое страшное поражение голодом, что, когда спустя десять лет после войны я его увидела снова, у него что-то случилось с головой. Мало того, что физически он был совершенно слабый, у него, знаете, что-то произошло, такой немножко ненормальный стал. Но потом ничего. Вот так у нас в Ленинграде прошел первый год.

Н. Р.: *А какова была судьба маминых сестер? У мамы было три сестры?*

Н. Д.: *У нее даже не три – у нее было четыре сестры. Две сестры уехали с семьями в эвакуацию.*

Н. Р.: *А когда они уезжали, не помните?*

Н. Д.: *Сейчас я Вам скажу: мы пришли в дом дедушки в ноябре 1941 года, значит, та сестра с детьми и мужем, которые жили в его доме, эвакуировались, наверное, за несколько недель до этого, это еще было до открытия Дороги жизни. В доме их уже не было. Но на Петроградской оставалась еще одна мамина сестра с двумя детьми, и она там пережила эту страшную зиму. Там почему было очень страшно: мы все жили на третьих–четвертых этажах... Нева была от нас за две остановки. Ни речек, ни водоемов, никаких источников воды. За водой надо было идти на Неву. Тут мы тоже на Неву ходили из нашего домика, но здесь было поближе. Этот домик был на расстоянии, может быть, одной остановки от Невы. Ну, и главное, нам было чем отапливаться. А в ленинградских квартирах люди оказались в полном холоде и без воды. И вторая мамина сестра: они уже эвакуировались по Дороге жизни, это был 1942 год, у нее муж был военный, он находился в этот момент под Сталинградом, и они направились к нему туда. Они как раз подъехали, можно сказать, к Сталинградской битве.*

Н. Р.: *Знаете, у меня дедушка был военный человек, генерал, танкист, всю жизнь свою посвятил армии и танкам. И даже он, в начале войны, уже будучи опытным человеком, полковником, перевез бабушку с моей трехлетней мамой, с няней, со всем скарбом, где-то зимой 1941 – начала 1942 года, в Сталинград, отправил их в безопасное место к родственникам. Потому что никто не мог представить...*

Н. Д. : ...Что там будет... И вот они (ее муж был какой-то очень большой специалист) из Ленинграда, из страшной блокады, 1942 год, прибывают на Волгу, в Сталинград, и там их на военном корабле везут дальше... Он был ранен к тому времени, когда они туда подъехали, и их отправили еще дальше – может, по его просьбе. В конце концов судьба их забросила в Киргизию. Туда, далеко-далеко-далеко. Это я про двух сестер, которые эвакуировались. А мамина тетя (сестра отца), которая жила в Москве, с двумя детьми поехала к мужу в Ровно, он там мосты строил. В первые дни войны он успел их посадить на грузовик, чтобы отправить домой. Но на грузовике они далеко не уехали, их высадили, а грузовик забрали для фронта. И она с двумя детьми несколько месяцев в обход добиралась до дома, до Москвы. А две мамины сестры, которые оставались в Ленинграде... и та и другая страшно умирали...

Н. Р. : *Они умерли почти сразу?*

Н. Д. : Да (*вздыхает*), в январе. И причем страшно умерли. Особенно та, которая с нами жила... И вторая сестра умерла вслед за ней в таком же состоянии.

Н. Р. : *Совсем ничего не было из еды...*

Н. Д. : Вы знаете, что спасло нашу маму: она была участковый врач, очень известный врач в районе, ее очень уважали. Помню, что, когда я шла со своей матерью по улицам Невского района, люди останавливались и здоровались. Думаю, что с мамой делились последним. Она что-то нам иногда приносила из еды, все что могла – люди давали. Но сестру поддержать она уже не могла.

А меня, видимо, спасло другое. (*Усмехается.*) Вы представляете, в 1940 году первую четверть учебного года я провела в санатории. Вопреки всему, ведь я должна была бы учиться! Но у меня было не очень крепкое здоровье, и мама

отправила меня в очень хороший санаторий на море, в Феодосию, где меня, как рождественского гуся, откормили так, что я оттуда приехала весьма плотной. И видимо, это мне потом очень-очень помогло.

Н. Р. : *Да, когда начался голод, это Вас спасло.*

Н. Д. : Так прошел первый военный год. А в конце 1942 года, в декабре – это я хорошо помню, было 22 декабря, моя мама шла на прием, то есть на вызов к больному, и во время артобстрела была очень тяжело ранена. Но это я только потом узнала... Вечером мама не вернулась домой, и на следующий день я пошла на ее работу узнать, что с ней. В детской больнице, где она работала терапевтом, мне все рассказали, что случилось, где она находится... Это было довольно далеко, надо было идти порядка двух–трех остановок.

Ну и вот, я пришла в больницу и увидела свою маму. Мама была в жутком состоянии. Переломы, голова забинтована, нога подвешена, с руками тоже у нее что-то было такое страшное – жуткий вид. Она пролежала два месяца, и что произошло: когда я ее навещала, она отказывалась принимать пищу. То есть она ела, но для нас с братом оставляла куски хлеба. Вот. А в городе к этому времени я и брат мой остались абсолютно одни. Никого не было, кто не успел уехать, те умерли, это уже был 1942 год. И маме пошли навстречу. В больнице сказали, что мы с братом можем перебираться к ним. А мы с ним жили уже только вдвоем во всем нашем домике. Причем когда мы приходили домой, к счастью, получалось так, что те, кто заходили в дом, нас там не заставляли. И ночью как-то раз, когда мы спали, тоже кто-то был... но нас не тронули. Только снежные следы на полу остались...

Н. Р. : *Кто-то заходил.*

Н. Д. : Кто-то заходил, что-то искали, хотели чем-то пожить. Но у нас уже нечего было брать, ничего не было,

еды тем более не было, это уж совершенно, знаете, точно. Мы с братом вдвоем собрали все, что у нас было, и ушли к маме в больницу. В больнице нам выделили изолятор – маленький такой бокс, какие обычно бывают, когда принимают больных, метров восемь, наверное. И я вот как сейчас помню, что я сижу со своим братом и говорю: «Боря, мы все-таки будем жить», – потому что было такое ощущение, что мы спасемся! Несколько месяцев мама лежала в больнице. В марте, когда она вышла, она пошла к нашему домику. А от домика не осталось даже фундамента... Он был весь разобран на дрова. Кто его разбирали? Ну, жители соседние и разбирали...

Это был уже 1942 год, и в Ленинграде все-таки ранней весной 1942 года стали открывать школы для ребят. У нас открыли школу, уже здесь, в Невском районе, и седьмой класс мой пролетел за три месяца, наверное. Где-то, может быть, март, апрель, май мы учились, я не помню точно. И Боря тоже пошел в школу, в первый класс.

Н. Р. : *Но вы тогда еще жили с мамой в домике... Мамины сестры уже умерли?*

Н. Д. : И одна сестра умерла, и вторая умерла... Но мама-то еще не была ранена...

Н. Р. : *А почему вас не пытались эвакуировать?*

Н. Д. : Мы остались с мамой в Ленинграде, об этом даже и речи не заходило, и мама не хотела, и мы боялись. Вы знаете, нас могли только двоих отправить. А мама все время работала в больнице.

Это был голод, это уже голод, это были, Вы знаете, страшные голодные смерти. Это было очень страшно. Но потом я посмотрела, какой вышла моя мать из больницы. Она была очень высокая женщина, она вообще походила на...

Н. Р. : *Как Вы? Вы, наверное, похожи?*

Н. Д. : Я? Я ниже ее значительно. Она была очень крупная женщина, а стала тощая и высокая, и вышла она немножко инвалидом, конечно. Ну, все-таки она еще молодая была, последствия этого с возрастом, позднее, стали довольно ярко проявляться.

Н. Р. : *Ну, а карточки – вы же получали карточки, уже давали побольше?*

Н. Д. : Конечно, карточки получали. Мы уже считали, что 1942 год – это совсем другое! Голодно было, но все-таки это уже не 125 граммов хлеба, это все-таки было уже 250 граммов на человека. Потом мы стали из травы варить всякие похлебки. Мы все что угодно собирали. И еще один момент, к которому я хочу перейти... Точный месяц я не помню, но мы сдали наши детские карточки в школы, и нас начали там кормить. Один раз мы там ели, ну, и вечером, конечно, что-то такое давали. Во всяком случае, вот здесь государство уже проявило какое-то сочувствие. Или, не знаю, это районное начальство сделало.

Здесь началась весна, и в июне месяце нас, старшеклассников (я уже такой считалась), восьмой–девятый–десятый класс, отправили работать, и все три года мы работали на подсобном хозяйстве. Работали на прополке, на сборе урожая и так далее. Нас там все-таки кормили. Неважно как, может быть, нам давали техническое масло и еще что-то, из турнепса щи варили, это роли не играет. Нас кормили! Был завтрак, обед – мы жили на казарменном положении. Вопрос другой: где мы работали. Это было верховье Невы. Там на правом берегу Невы (жили мы на левом) стоит 5-я ГЭС, это, по-моему, чуть ли не одна-единственная ГЭС, которая работала и давала электричество городу. И она жутко обстреливалась.

Н. Р. : *Вы, дети, работали рядом с ней – это было очень опасно.*

Н. Д. : Мы недалеко от нее работали, все эти три года. Там были поля, условий никаких, из удобств там тоже ничего не было... Стояли бараки, и жили мы в этих бараках все лето: июнь, июль, август, и так до сентября месяца (в сентябре мы заканчивали, и нас отвозили обратно, учиться). Если начинались обстрелы – мы с полей видели, как рядом в Неве рвутся снаряды, Вы знаете, это было все-таки страшно. Ну, и тоже великое счастье, судьба: сколько раз могла попасть под обстрел – вот, мама моя попала под обстрел, а я все-таки как-то прошла мимо. Вот такая вещь. Собственно говоря, наверное, вот за это мы и получили медаль. Это 1944 год. Мама была награждена медалью в 1943 году.

Н. Р. : *Всю блокаду вы прожили с мамой в больнице? Когда ваш домик разобрали, вы на квартиру свою прежнюю не стали возвращаться?*

Н. Д. : Мы всю блокаду прожили в больнице. А на свою квартиру мы не могли вернуться.

Н. Р. : *Это было очень далеко?*

Н. Д. : Это было безумно далеко, об этом даже речи не могло быть, настолько это было далеко! И потом у нас был такой режим работы... жизни нашей. В 1943 году мама, в числе первых ленинградцев, была награждена медалью «За оборону Ленинграда». И в это же время она была награждена медалью «За отличие», это трудовая такая медаль. Вы знаете, конечно, мама пережила страшно много. Я хочу сказать, что все-таки основной удар приняло на себя старшее поколение, которые спасали всех – и нас, детей, спасали, и стариков, и сами были в таком же тяжелом положении.

Защиты какой-то, чтобы мы куда-то могли спрятаться, никакой у нас не было. Это все-таки судьба, что мы не погибли! Я вспоминаю, как мы лежим в кровати вот в этой самой больнице. Больница – старое очень здание, еще дореволюционное, чуть ли не одноэтажное. Прятаться от бомбежки там негде, там нет ничего такого. Идет массивированный налет на Ленинград. Я вам говорила, что Невский район – это рабочий район, где было очень много заводов. Бомбежка идет невероятная очень рано утром. А мы лежим в постели и слушаем, как все вокруг сотрясается. Ну, наше счастье, пронесло!

Н. Р.: *А голод в Ленинграде, по Вашим ощущениям, когда закончился?*

Н. Д.: Я считаю, что в 1943 году. 1942 год – это уже такой переходный период все-таки. Самыми суровыми были поздняя осень 1941 года и зима и ранняя весна 1942-го... В 1943 году мы уже выезжали в центр, я вспоминаю эти свои выезды... Потом тоже было голодно, но все-таки мы работали в совхозе, значит, там что-то такое из еды нам давали, ну, не ахти что, но, во всяком случае, могли накормить. Ограничено все было, но все-таки тот страшный голод кончился. Однако начались кошмарные обстрелы. Я не знаю, кто как это все помнит... Но очень стало опасно из-за обстрелов. Вы знаете, обстрелы были жуткие, тут вообще немцы беспощадно били по городу, беспощадно, и сколько погибало людей! Да, ведь пошел трамвай! Трамвай пошел в Ленинграде в 1942 году. Пошел все-таки, хотя и не все маршруты! По-моему, в апреле, числа 14–15, запустили первый трамвай, но тогда очень опасно было. Немцы били прицельно по людям на трамвайных остановках. И спрятаться было негде. Иногда били и по трамваям. В 1943 году трамваи стали ходить нормально, уже можно было доехать куда надо...

В январе 1944 года пошли на окончательный прорыв блокады. Ну, ведь прорывов в Ленинграде было два... В 1943-м был частичный, там воссоединились войсковые части, и продукты смогли доставить в город. А в 1944 году 14 января Ленинград перешел в решительное наступление. И вот мы шли утром в школу, и я вспоминаю, что тогда мы уже не боялись, – это самое начало было, потом-то бои стали ожесточенными, а тогда зарево стояло не в городе, а за чертой города. Красная такая полоса зарева... Шла очень мощная артподготовка для наступления и прорыва наших войсковых частей. А на следующий день нас, старшеклассников, сняли с учебы. Мы работали в госпиталях, помогали, потому что раненых было невероятно много.

Н. Р. : *Расскажите, что Вы делали в госпитале.*

Н. Д. : Там очень, очень молодые ребята лежали, это я хорошо помню. Ну, мне уже шестнадцать лет было. Мы там в основном мыли полы, убирали, помогали как санитарки. Иногда нас просили, чтобы мы приходили в палаты, где лежали тяжелораненые, чтобы им почитать, поговорить, письмо написать. Мы их не развлекали уж особенно, но, во всяком случае, старались как-то отвлечь.

Н. Р. : *Когда вернулись Ваши родственники?*

Н. Д. : В 1944 году возвращается в Ленинград мамина семья, то есть семья одной из ее сестер, с двумя девочками. Ее муж работал на заводе, и, видимо, или завод возвращался в Ленинград, или возвращали рабочих. Семья должна была вернуться в этот наш домик... А домика нет. И вот тогда они поселились у нас на Петроградской стороне... Да, почему мы еще задержались за Невской заставой: семья сестры полтора года жила в нашей квартире.

Н. Р. : *А как вторая сестра?*

Н. Д. : Вторая сестра с семьей тоже вернулась. Где-то, наверное, в 1944–1945 году, из Киргизии в Ленинград. Сколько им пришлось намучаться, чтобы вернуться домой в Ленинград! Мама моя тогда помогла им вернуться в город. Ну вот, так прошла блокада.

Н. Р. : *По окончании блокады какие изменения произошли лично в Вашей жизни?*

Н. Д. : Я уже заканчивала десятый класс... Да, награждена была в девятом классе, в 1944-м, а в 1945-м я закончила школу. Нас мало было в Ленинграде: ведь очень мало в городе осталось детей и старшеклассников. И помню, зимой еще, кажется 1944 года, нам выдали учебники какие-то и повезли в школу в Петергоф... Такая была небольшая делегация старшеклассников из Ленинграда. Мы приехали в Петергоф, ехали на поезде. Ну, поезда какие тогда были: кругом одни военные, и все. Но в городе нас встретили, привели в школу, где только начали заниматься ребята после освобождения. Только-только все было освобождено.

Н. Р. : *Вы ходили в школу, учились, у вас были учебники, учителя, вы сдавали экзамены...*

Н. Д. : Ходили в школу, все, все сдавали, и мы даже в 1945 году получили первые аттестаты зрелости, их у нас только ввели. То есть это было буквально сразу после Победы. И нам тогда, я помню, вручили подарки: девочкам были подарены небольшие такие отрезки ситца на платье. А мальчиков у нас не было... И всем нам были подарены два тома трудов В.И. Ленина.

Н. Р. : *А где были ваши мальчики?*

Н. Д. : Тогда еще все обучение было смешанное, отдельное обучение значительно позже началось. Ну, просто мальчиков не было. По-моему, мальчики исчезли после 9-го класса, просто-напросто. Я думаю, что могли и на фронт забирать. Я еще вспоминаю какой-то бал школьный, шел 1945 год... Мальчиков было очень мало. А в младших классах мальчиков было, как обычно, довольно много...

Н. Р. : *Вы говорили про Петергоф 1944 года. Он был сильно разрушен?*

Н. Д. : Там почти все было разрушено. Нам показали: вот, в этой школе были немцы. Немцы боялись обстрелов и жили в основном внизу, в подвальных помещениях, а топили почему-то по-черному, и весь второй этаж, все было в копоти страшной. Потом нас повели в знаменитый парк (вы уж там все были, наверное) и провели нас мимо остова Большого дворца – от него ничего не осталось, просто стояли одни трубы... И еще нам строго сказали, что ни направо, ни налево – никуда не наступать, весь парк, все было заминировано. Мы немножко прошлись, даже вышли к заливу по главной аллее, там, где можно было пройти. А встречали нас, ленинградцев, почему-то очень торжественно, все это было так обставлено необычайно...

Вообще, было такое распоряжение, по-моему, что всех жителей из Петергофа, и особенно из Пушкина – там, где были большие дворцы, немцы выселяли в Гатчину. Впрочем, в Гатчине тоже был дворец, но все-таки у немцев там был какой-то перевалочный пункт. Но там были жаркие бои. Очень многие люди погибли. Ленинградцы, рядовые, обычные люди... У меня там погиб один дядя родной, со стороны отца. Может быть, Вам приходилось читать случайно

записки нашей известной писательницы, по которым фильм поставили, «Санитарный поезд» – я не помню...

Н. Р. : *Фильм «На всю оставшуюся жизнь»? Это Вера Панова*.*

Н. Д. : Да, она писала: было начало войны, они были в Пушкине. Когда сказали, что надо срочно уезжать, что немцы вот-вот сейчас войдут в этот городок, они пришли на остановку, а автобус был переполнен, и им сказали: «Подождите, еще подойдет одна машина». Но машина не подошла. Вошли немцы. И дальше она потом описала все в своих воспоминаниях, как они оказались тоже в Гатчине, из Гатчины их отправили в Нарву... Из Нарвы они отправлялись уже по оккупированной территории и в Ленинград вернулись где-то уже, наверное, в самом конце войны.

Ну, вот такие воспоминания получаются. Что еще можно сказать? Все было чудовищно, и пережили мы это, вероятно, потому, что не представляли, через какой ужас пройдет город. Вы знаете, второй раз такое не пережить! И многие ленинградцы, которые войну пережили в городе, – мы все-таки всегда очень боялись, как бы снова не началась война. Это очень пугало, висело над нами все время: не дай Бог, если война – это значит смерть. Смерть!

Н. Р. : *Нина Дмитриевна, как по-Вашему, что помогло вам выжить?*

Н. Д. : Мы выжили благодаря тому, что моя мама была врач. Но, я думаю, если бы мы остались на Петроградской, – просто погибли бы, как погибли очень многие. Мама не смогла бы работать, она не смогла бы ходить через весь город каждый день в свою больницу. Или она должна была бы уйти на другую работу. Но это вообще было невозможно совершенно.

* Имеется в виду экранизация повести «Спутники» Веры Пановой «На всю оставшуюся жизнь» (1975, реж. Петр Фоменко).

И благодаря тому, что был наш деревянный домик с печкой... Как мы топили? Топили печку тоже не дровами, мы весь дом не отапливали, это невозможно было, дров-то не было. Мы начали потихонечку разбирать полы, как могли, две женщины... То есть, вернее, одна женщина, я еще подросток была, и Боря совсем мальчишка. Но он тоже взялся за топор. Вот так мы и отапливали себя, потому что никаких других дров у нас не было. Холодно было, все равно было очень холодно... А потом наш дом вообще пошел на дрова. Мы могли умереть, особенно я и брат, не имея никакой поддержки, никаких родных... Было очень трудно и очень сложно. Но я все-таки считаю, что многое было предпринято для того, чтобы спасти народ. Все-таки нам организовали вот это маленькое питание. Потом, правда, оно прекратилось. Но то, что в школах нас кормили – это тоже было. Я вспоминаю, что в школу надо было ходить далеко, но мы все-таки шли: там был обед после занятий, а потом нас отпускали домой. И это питание, и специально организованная для нас работа в колхозе, где нас кормили... Правда, работать ехали только старшие классы преимущественно.

Н. Р. : *И так получилось, что Ваш десятый класс стал первым послевоенным выпуском.*

Н. Д. : Да. Из подаренного отреза ситца сшили платьице, и был, знаете, настоящий бал – только танцевали одни девочки. И более того, после этого нам устроили опять традиционный выпускной бал, городской, во Дворце пионеров – это бывший Аничков дворец, который Вы, наверное, очень хорошо знаете. Ну, и там преимущественно были одни девочки...

Н. Р. : *А сколько у Вас в классе училось человек?*

Н. Д. : Ну, нас вообще было немного. Наверное, человек 10–12, не больше. И это была единственная школа в Невском районе, в которой был десятый класс в 1945 году.

Н. Р. : *То есть фактически была одна школа на весь район?*

Н. Д. : Была еще одна школа в Невском районе, и мой брат учился в той школе, но там были только младшие классы. А старшие классы, по-моему, были только в нашей школе.

Н. Р. : *Получается, на весь Ленинград работало всего несколько школ? В нескольких районах?*

Н. Д. : Да. Вообще людей в городе было мало...

Н. Р. : *А сколько Вам было лет тогда?*

Н. Д. : Мне было еще шестнадцать, в июне исполнилось семнадцать лет.

Ну, а затем – все, война закончилась, вернулись наши родные, мамина сестра поступила на работу, и им дали вместо их домика комнату в общежитии, они еще года три-четыре, наверное, там жили, потом уже получили квартиру. Из больницы мы уже уехали к себе на квартиру, но не сразу. Могли вернуться к себе домой раньше, но маме было очень тяжело ездить, после своего ранения она еще была страшно слаба, да и я заканчивала десятый класс и переходить в другую школу не хотелось... Так что надо было оставаться здесь.

А затем, в 1945 году, я поступила учиться – это был первый послевоенный набор в Ленинградский университет. И получилось таким образом: к нам в школу приехал преподаватель из университета и стал рассказывать об университете и о Восточном факультете. И почему-то об Индии...

Н. Р. : *Он Вам рассказал про Индию, и Вам понравилось?*

Н. Д. : Да, очень интересно было! Под впечатлением я пришла домой и рассказала все маме, и мама вдруг говорит, что у нее на участке живет женщина, у которой муж индеец, он недавно приехал из Индии, может быть, сходим, познакомимся с ними, посмотрим... И действительно, мы пришли

с мамой в эту семью. Встретил нас высокий, очень красивый мужчина, индеец. (*Смеется.*) Тогда я не имела представления, что это был очень известный ученый и писатель Рахул Санкритьяян, который приехал в Советский Союз где-то году в 1938-м. Да, еще до войны он приехал работать в Ленинградский университет к знаменитому академику Щербатскому. Он женился на русской женщине. Потом он уехал в Индию, а русская жена с ребенком осталась в блокаде в Ленинграде. И вот этот маленький ребенок был на мамином участке – маленький русский индеец. Это уже был, наверное, 1945 год. Но каким-то образом Санкритьяян вернулся в Ленинград. В то время очень трудно было приехать в Советский Союз, но он приехал. Вернулся к жене и ребенку, очень их любил. И так я с ним познакомилась еще до своего поступления в университет. Более того, когда я пришла в университет, вдруг читаю (а уже начались занятия), что преподает у нас санскрит и читает лекции об Индии профессор Санкритьяян, тот самый индеец, к которому мама меня привела. Ну, писатель он очень интересный, очень интересный человек и интересная личность. В общем, он у нас преподавал 1945-й, 1946 год.

В 1947-м, по-моему, или в конце 1946 года он уезжает в Индию. Кстати сказать, о своем пребывании в Ленинграде в течение этих двух лет Рахул Санкритьяян в Индии написал книгу на хинди, очень хорошую книгу. Написал о том, какая была тяжелая, трудная и суровая жизнь. Он все-таки это еще немного захватил, хотя уже не было артобстрелов и не было того жуткого голода. Уехал он один, трудно сказать почему: жена не смогла или это оказалось очень сложно... Вероятно, ее с сыном не выпустили в Индию. В общем, он уехал в Индию и больше в Советский Союз не приезжал. В 1963 году (тогда он был уже далеко не молодой человек) он умер. Ну, к этому времени я уже знала, с кем я тогда

пыталась разговаривать, какой это был известный писатель и большой ученый.

В 1945 году в университет на первый курс (тогда наше отделение называлось «индо-тибетская группа», потом оно уже стало чисто индийское) поступило чуть ли не 19 человек. И здесь появились... ну, не мальчики, а взрослые юноши, может быть, человека два или три, которые пришли с фронта. Но на втором и третьем курсе нас уже было человек 10–12... А окончили, представляете, только шестеро. Шесть человек, и среди нас был один мальчик.

Н. Р. : *Кто выдержал эту учебу.*

Н. Д. : Да. (*Смеется.*) А непосредственно в индологии остались работать, понимаете, только три человека из этих шестерых.

После того как я закончила в Ленинграде аспирантуру, я приехала работать в Москву, в Московский институт востоковедения АН СССР, у них тогда не было специалистов по хинди, и мне предложили место. Это был 1955 год. Я думаю, что, если бы я немножко задержалась, вероятно, я бы здесь не работала. Тут уже появились свои специалисты.

Но и в Москве жизнь была не очень легкая. Хотя это была уже послевоенная Москва. Я приехала из Ленинграда и не имела права на прописку в Москве в течение десяти лет. Площади у меня здесь не было, восемь лет я снимала жилье, потом жила в общежитии, родилась дочка, потом, когда ситуация стала критическая, мне дали право на вторичное заселение, это так называется. Съезжал шофер со своей семьей, и мне дали постоянную прописку в его комнате. Это был уже 1963 год... Восемь лет прошло. Так что восемь лет я жила в Москве совсем нелегко. Но мне не хотелось расставаться с индологией, тем более что я занималась новейшей индийской литературой, а в Ленинграде в основном

специализировались по памятникам. Да и в Ленинград мне уже некуда было ехать, потому что брат мой подросток, окончил институт, женился. Жена у него была не ленинградка, и он привел ее к маме в нашу коммунальную квартиру... Так что тяжело – не тяжело, но я должна была как-то строить свою жизнь в Москве.

***Н. Р. :** Нина Дмитриевна, а как сложилась жизнь Вашей мамы и брата, что они делали после войны?*

Н. Д. : Мама еще довольно долго работала, но тут произошло несчастье с моим братом, он заболел. Борис окончил Военно-механический институт, работал на пороховом заводе, а потом стал работать на подводных лодках. И там, видимо, получил большую дозу облучения. В 1964 году ему стало плохо, да и детство блокадное сказалось; в один год он стареет и умирает. Мама остается одна. Ну и, в общем, мама меняет свою маленькую комнату на Москву. А мне тогда дали хорошую комнату (когда я из общежития с ребенком выезжала) в самом центре Москвы, откуда выезжал шофер. Это была громадная квартира. На деле там, по-моему, человек сорок проживало.

***Н. Р. :** А где это было?*

Н. Д. : Это была улица Станкевича (сейчас пер. Вознесенского. – Прим. Н.Р.), прямо напротив консерватории. Если выйти из главного входа консерватории, сразу упираешься в улицу Станкевича и справа видишь церковь. К церкви и примыкал тот самый дом. Между прочим, это тоже было очень интересно и любопытно. Квартира была особая, она как бы распространялась на два дома: часть квартиры была в одном доме, а часть, видимо, находилась в другом. Коридор был длиною с Невский проспект. Конечно, ванной там не было – невозможно было это устроить на сорок человек. Причем квартира вся была разделена, переделана

и перегороджена, и я попала в ту часть квартиры, где до революции, видимо, был огромный зал. Комнаты шли и с одной и с другой стороны. На стене были барельефы на античный сюжет, два огромных венецианских окна, роскошный паркет, высота потолков чуть ли не четыре метра... Но это, так сказать, были одна и вторая стена с окнами, а две других стены были из фанеры. Для меня это было роскошно совершенно: вы представляете, в общежитии я жила с ребенком в восьмиметровой комнате! А вообще, жить там еще сложнее было. Все было очень трудно.

Но вдруг мне предложили поехать в Индию. Это был 1964 год. И в итоге получилось, что я в этой квартире практически и не жила. Я уехала, а в 1965 году государство решило эту квартиру забрать себе и всех жильцов расселили по окраинам Москвы. А я в этот момент работала в Индии. И из центра я попадаю в эти наши знаменитые хрущевские дома. Получила я тогда в 17 квадратных метров комнату, это я из своей 22-метровой роскошной комнаты туда с девочкой переехала. Пятый этаж, хрущевский дом, малюсенькая однокомнатная квартирка. Почти вся эта квартирка помещалась в ту мою коммунальную комнату... Ну, мама тут со мной не очень долго прожила, мама была очень тяжелобольным человеком, она почти совсем перестала ходить. Ну и, в общем, вскоре мама умирает. Закончился ее путь. Ну, а мы дальше продолжаем жить, работать...

Н. Р. : *Нина Дмитриевна, Вы не рассказали, как началась война, как Вы узнали об этом?*

Н. Д. : Мама вернулась 12 июня 1941 года из санатория. 22 июня был воскресный день. Я вышла из дома и шла к Троицкому мосту, то есть теперь он Троицкий называется, а тогда был Кировский мост, и слышала из радиопроductоров о том, что началась война. И тут же новости по всему городу стали разноситься...

Мы это восприняли, конечно, тяжело – все-таки Ленинград только что пережил Финскую войну. Но все-таки Финская война была, конечно, не эта, не Великая Отечественная. На Финской войне было холодно – 1939 год был очень холодный. Но весь тот кошмар и ужас, который ждал нас впереди, я думаю, этого вообще никто себе не представлял. Никто не думал, что будет. Потому что возникали разговоры: надо было сдать город, сдать Ленинград. Я не знаю, что бы с нами сделали, если бы мы сдали город – ведь по планам немцы хотели уничтожить все. Так что здесь было бы всё очень тяжело. Люди понимали, что война есть война, что будет тяжело... Тяжело, но не так! А мы, дети, вообще иначе воспринимали, думали, что это может быть на уровне Финской войны, где-то далеко. В Финскую войну, я помню, было очень холодно. Но мы же тогда не знали ни обстрелов, ничего такого смертельного для нас не было. Правда, в Финскую войну я как раз обморозила свои руки, у меня теперь пальцы большие.

Начались, конечно, волнения, разговоры: что такое война, какая это будет война, что это началось? И вот уже в сентябре мы чувствуем – идет что-то страшное. В последний раз я пошла в кинотеатр – это был, по-моему, конец сентября, уже было холодно. Смотрели мы только что вышедший фильм-экранизацию по драме М.Ю. Лермонтова, знаменитый «Маскарад». Фильм несколько раз прерывался, а потом нам сказали: все, свет отключили. До конца фильм так и не досмотрели, и все, пошли домой. И на этом все закончилось – закончились фильмы, все-все-все закончилось...

А оживление началось только где-то в 1943 году. У нас пошли разные фильмы, и со знаменитой актрисой Диной Дурбин, работал Театр оперетты... Это все было, можно было туда попасть. Единственное, чем всегда сопровождались эти показы, – идет фильм (я сейчас вспоминаю знаменитый англо-американский фильм «Леди Гамильтон»),

потом вдруг объявляют: все, фильм прерывается, началась воздушная тревога. И нас всех выставляли на улицу. Никого не оставляли в зале, все ждали снаружи.

Однажды я бежала по Невскому проспекту, не одна, а с подружкой. Мы бежали по той стороне, которая была наиболее опасна во время артобстрела. Но так получилось, мы тогда не знали, что именно она наиболее опасна. Ну, нам опять повезло. Обстрел... он или только что закончился, или еще шел, но люди бежали в панике: кто-то упал, кровь... Ну, в общем, судьба...

Вообще, в Ленинграде совершенно правильно говорили, что не было ни одного метра, который бы тогда не простреливался. Немцы с присущей им аккуратностью обстреливали город очень методично. Потом я видела эти знаменитые дальнобойные орудия. Сейчас в Ленинграде эти орудия стоят в Артиллерийском музее. Это страшно, Вы знаете: дуло у этих орудий длиной, наверное, с эту комнату, если не больше. Стреляли с Ропшинских высот, чуть ли не из-под Петергофа, я не знаю точно, оттуда обстреливали Ленинград. Но бомбили, обстреливали ужасно, все это было.

Н. Р. : *Нина Дмитриевна, Вы ходили в бомбоубежище, у Вас силы были?*

Н. Д. : Нет, Вы знаете, пока мы были на Петроградской, мы ходили, спускались. В нашем доме было бомбоубежище, подвал такой. Это был конец сентября – октябрь. В ноябре мы уже никуда не выходили... А когда мы перебрались в наш домик, все остальные бомбежки пережидали в нем, и все. Там защиты никакой не было – или надо было выходить на улицу и пережить обстрел там. Все это было очень страшно.

Н. Р. : *А ваша больница в войну выстояла?*

Н. Д. : Выстояла. К счастью, в нее бомба не попала. Но в другую больницу, где мама тоже работала, бомба попала

и прошла как раз через ее кабинет. Но это было в шесть утра и мама была еще дома. А могла быть там... И на улице бомба могла попасть, и там, на работе. Вот сегодня иногда спрашивают: «Ну, почему всех ленинградцев так выделяют? Дети блокады, жители блокады, блокадники, получившие награды, не получившие награды...?». Детей тоже использовали – мы, старшекласники, за наш труд медали получили. А ведь каждый взрослый человек, да вообще каждый человек, даже маленький ребенок, который только родился, – никто не знал, что с ним завтра будет, где его снаряд захватит, Вы понимаете? Снаряды – они били, били и били.

Н. Р.: *А День снятия блокады помните?*

Н. Д.: А как же! Это было, Вы знаете, такое... Люди плакали, просто плакали. 27 января 1944 года, День снятия блокады. Он, конечно, ленинградцами тогда переживался гораздо, может быть, сильнее Дня Победы.

Н. Р.: *Об этом было объявлено по репродуктору?*

Н. Д.: Да, по радио, по репродуктору. Окончательно снята блокада. Это был праздник, конечно, праздник праздников. Потому что очень тяжело было перед этим... Такие даты, они запоминались.

Н. Р.: *А Победа? Как Вы услышали о Победе?*

Н. Д.: А о Победе, Вы знаете, я так услышала... (Смеется.) Я пришла в школу. Мы находились в своем классе. Одни девочки остались, нас тогда было человек 10–12. Вдруг бежит наша учительница по истории и кричит: «Девочки, девочки, кончилась война, женихи ваши скоро здесь появятся!». С такой радостью все это было! В 1945 году 9 мая люди собрались на Дворцовой площади, и я тоже там была со всеми вместе.

Еще помню день, когда наши войсковые части входили в Ленинград, – два дня они входили. Ну, конечно, мы все стояли с цветочками, все было очень трогательно. И помню, как вводили в Ленинград пленных немцев... Как их вели... Это уже, наверное, июнь–июль 1945-го. Я помню, как шли эти колонны. Я думаю, что ленинградцы могли бы этих немцев просто растерзать, но люди стояли и молчали... Не кидали в них ничего, не кричали, не издевались... Молча стояли и смотрели... Я видела их только в своем Невском районе. Возможно, и по Невскому проспекту их проводили.

Потом пленных немцев расселили по всему Ленинграду. И на той улице, где стояла мамина больница, была школа, где они жили. Они строили дома. В Невском районе был отстроен целый квартал, который строили исключительно немцы. А в конце этой улицы около школы был наш огород, ведь мы копали огороды вплоть до окончания войны, да и весь 1946 год, он еще был очень тяжелый в отношении питания. Мы копали, и вот как-то однажды я была на нашем огороде, где у нас были две грядки, и слышу, как из школы доносится знаменитая немецкая губная гармошка. Тишина, идиллия и звук немецкой гармошки... Вы знаете, ужас... что пережили мы, ленинградцы, и какие хорошие условия создали для пленных немцев...

Н. Р.: *Нина Дмитриевна, а у Вас отношение к немцам, к Германиии какое? Сейчас, тогда?*

Н. Д.: Ну, фашизм, как Вы понимаете, я ненавижу, так же как и все наши люди. Но вот так зверски набрасываться на них... Ну, не знаю, может, если бы меня довели уже до такой степени, я бы стала их рвать на части... Сколько пережил Ленинград! А я помню, что, когда эта колонна военнопленных была остановлена и немцы сели где-то на землю, вокруг них ходили люди, пережившие блокаду ленинградцы... Но чтобы в них летели камни или кричали

«бейте, уничтожайте», ничего этого я не помню. Я помню, что они работали, условия работы, как у всех у нас тогда, были тяжелые, но они работали, значит, к ним по-человечески относились... Ну, а фашизм есть фашизм. А то, что сегодня у нас в стране появился фашизм – неофашизм... я не знаю, как это может быть...

Я хочу сказать другое: такие вот, знаете, антисоветские настроения и все прочее... Мы пережили очень много – то, что я в самом начале рассказала, с отцом. Отца посадили и расстреляли. Он погиб в 1937 году – молодой, талантливый человек, 35 лет, книга его уже была издана – академическое издание, кстати сказать, она так и осталась в Ленинской библиотеке... Я там была, смотрю – стоит книжка, и сейчас можно пойти взять почитать. Но к нам, детям репрессированного, хуже относились не власти, а свои же соседи, жильцы в коммунальной квартире – разные были люди... И нам с мамой и братом кричали иногда, что «вас надо расстрелять, вас надо уничтожить», с этим мы сталкивались. В нашей большой ленинградской квартире жил очень разный народ, и, вероятно, кто-то был стукачом. Отец мой был человек беспартийный, далекий от политики, он с удовольствием занимался чистой наукой. Но на него сфабриковали донос. В 1947 году мы купили радиоприемник «Ленинград», и тогда один из жильцов нам кричал, что мы его купили, чтобы слушать «Голос Америки». И когда в квартире были скандалы и ругань, мне кричали, что неизвестно, по какому пути пойдет дочь врага народа.

В 1950 году мой брат закончил школу. Во всех отношениях он был, как говорится, красавец земли русской – высокий, сильный, добрый, умный. Он очень хотел поступить (был хороший спортсмен) в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского. И когда он сдавал свои документы, его спросили, что он делал в 1937 году. Ну, в 1937 году, Вы понимаете, три года ему было... Он еще

под стол ходил, совсем ребенок. И ему пришлось оттуда свои документы забрать, и в академию, о которой он мечтал, его не взяли. А поступил он в Военно-механический институт, туда его все-таки взяли, и стал, по существу, военным, потом конструктором. Ну, и погиб он тоже в результате своей профессии. Когда я поступала в 1945 году в университет, мне как-то против ни звука не было сказано. Может быть, потому что я была ленинградкой и у меня была медаль за блокаду, наверное, здесь мне она очень помогла. Но когда я окончила университет и стала поступать в аспирантуру – это был 1950 год, вот тогда же, когда мой брат пришел в Академию им. Жуковского, то в аспирантуре мне был задан вопрос: а где мой отец? 1937 год... Я говорю: «Где он – мы не знаем, мы знаем только, что в 1937 году его не стало с нами. Больше о нем ничего не знаем, сколько ни обращались – ничего». Ну, с большим трудом, Вы знаете, тут мне даже пришлось проявить характер, и если бы меня не защитил академик Баранников, который возглавлял тогда нашу кафедру... Он все-таки написал мне очень хорошую характеристику, и меня взяли в аспирантуру. Иначе мне пришлось бы уйти.

Н. Р. : *А Ваше отношение к Сталину?*

Н. Д. : Конечно, я волосы свои не рвала, как говорится, когда узнала, что он умер. Я сейчас вспоминаю, как я услышала о его смерти. Я шла заниматься в Институт востоковедения, шла по Кировскому проспекту и услышала об этом по радио. Был очень хороший день, солнце светило... Ну, я остановилась. Конечно, я не плакала, и никто из нас не стонал, хотя такое было состояние... Я ценила все-таки другое, я вспоминала своего отца, поэтому восприняла это без слез.

Все-таки тогда мы преклонялись перед военными людьми. Вообще, наша армия, наши военные – вот они были для меня святыми. Такое отношение к ним мы испытывали

в Ленинграде. Ну, а Сталин, Сталин был их главнокомандующим. Ну, а то, что пишут... Мы тоже не знали о всех этих потерях, все это было ужасно. Но военным я всегда отдавала должное. Вот кому поклониться готова была, как говорится, в ноги. Для меня остались они... солдаты и офицеры.

И второй момент я тоже очень ценила. Из-за того, что расстреляли отца, судьба наша могла сложиться гораздо хуже. Мать могли отправить в тюрьму – как тогда многих отправляли, а меня с братом – в детский дом. Но нам очень повезло в этом отношении. И все-таки сколько для нас сделали: пионерский лагерь, санаторий, все это было. Да, жили мы тяжело, как все люди тогда жили. И когда кончилась война, я видела, как город восстанавливался. Я всей душой, всем сердцем радовалась, потому что видела: было очень тяжело, но город расцветал, буквально расцветал. На восстановление Ленинграда были брошены такие силы... И мне казалось всегда, что, может быть, я человек «второго сорта» – ну, из-за того, что дочь репрессированного. Но все-таки я попала в Москву на работу в такой знаменитый институт! Но это был 1955 год... уже не было такого отношения, как раньше... И вскоре я узнала, что отец посмертно реабилитирован.

Я все-таки за социалистический строй. Во всяком случае, такая поляризация, которая характерна теперь для нас, и вообще капиталистический образ жизни – я его не приемлю. И что еще важно сказать, тогда люди отдавали все, любили страну и боролись. Все мы были патриотами своей страны... А сейчас видите, что стало: страна наша раздирается буквально на части.

Н. Р. : *Нина Дмитриевна, Вы много интересного рассказали, а какой-то яркий эпизод, связанный с войной, с блокадой, который Вам особенно запомнился?*

Н. Д. : С блокадой... Самое страшное, конечно, был голод, прежде всего. И еще я помню все время холод... Вши,

крысы – это все было. Это было очень тяжело. А самый страшный эпизод для меня был в 1942 году, когда была ранена мать. Вы знаете, здесь мне стало совсем жутко. Я поняла, как нам, детям, будет дальше трудно выживать... Как мы сможем пережить ее ранение... Что тут можно сказать? Конечно, были очень страшные ежедневные бомбежки. Бомбежки все были ужасны. Мы не сидели в бомбоубежище, а находились на поверхности, где нас в любой момент могло настичь... А праздники... Не праздники помню, а победы наши: прорыв блокады, снятие блокады – это было, конечно, чудом.

***Н. Р.:** Еще есть вопросы, которые, наверное, звучат странно для вашего поколения, но молодежь их часто задает... Интересен быт, повседневная жизнь: как на войне люди ели, готовили, мылись...*

***Н. Д.:** Мы не мылись. Выходили на улицу, собирали снег (но это окраина была, и снег был относительно чистый), растапливали, если это было необходимо. Мы были все грязные, со вшами, вшей было очень много, и они были голодные. И жили мы с мышами и крысами. Они просто бегали по нам. Спали мы все время с мамой втроем, все вместе, не раздеваясь, конечно. Ноябрь, декабрь, январь, февраль мы провели дома, снегом умывались, если была необходимость. А помыться впервые мне удалось только весной 1942 года. Рядом с нами были сплошные заводы, и в каком-то цехе мы смогли однажды вымыться в рабочей душевой.*

В домике были санки, к ним было привязано ведро, и с ними я ездила на Неву за водой. Я вспоминаю историю, как однажды у нас с братом упала кастрюлька с крупой. Мы кашу должны были варить. А варили мы ее в печке, печку топили и туда ставили нашу кастрюльку. Как мы с ним собирали эту крупу! Это было невероятно, ну как это возможно...

Пшенная крупа, по-моему, была – как ее собрать с пола, изо всех щелей. Но мы все собрали. Такой был у нас быт.

Н. Р. : *Когда умерла мамина сестра, вы сами ее как-то вывозили или ездили специальные бригады, которые забирали умерших?*

Н. Д. : Нет, ее мы не вывозили... Ее завернули и вынесли на улицу. А там умерших людей просто подбирали специальные бригады. В Ленинграде как было: мы шли по улице, а справа и слева – кругом лежали трупы, но завернутые, как правило, в простыни, не просто так люди лежали. А мама рассказывала, что однажды она ходила по вызовам и пришла в квартиру, где варили человеческое мясо. И это было. Вообще, мама говорила, что иногда ей приходилось прямо кричать, как будто она не одна, а кто-то с ней еще вместе идет. Очень страшно было входить в некоторые квартиры. Потом она старалась на вызовы брать с собой медсестру. Так что быт повседневный был страшный сам по себе. Конечно, что ж тут говорить – блокада! Блокада – она была нечеловеческой! И немцы – я не знаю, они, наверное, думали, что Ленинград все-таки сдастся... Но город не сдался.

Потом я помню, у нас стали появляться партизаны. Партизаны привозили продукты. Это уже, видимо, был конец 1942-го, 1943 год, когда где-то уже были прорывы. Внешне партизаны отличались: они почему-то были в таких полушубках – вывернутых тулупах, и у них были шапки-папахи с красной полосой. А так, что еще запомнилось? Было много военных. По всей Неве, вплоть до верховьев, были рассредоточены подводные лодки – стояли наши морские части. Они стояли в основном в устье реки, но и здесь были, потому что, помню, наверное, это был 1943 год, как к нам в школу пришли моряки с подводной лодки и мы устраивали им школьный концерт.

А в 1943–1944 годах уже работала замечательная Ленинградская оперетта! Это был очень известный театр, они работали в здании знаменитой Александринки, в центре города. И второй театр, где мы тогда слушали оперу Чайковского «Евгений Онегин», там, где Елисеевский магазин, на втором этаже был Театр комедии. Как там исполняли, какие были артисты, какие голоса!.. Кинотеатров было очень мало пока открыто, может быть, два-три кинотеатра, я не знаю точно, сколько их всего было в городе. В нашем Невском районе я вообще не помню ни одного кинотеатра. Мы ехали на трамвае на Невский проспект, это было прямое сообщение, но довольно далековато. Но мы могли смотреть фильмы о волшебной жизни.

Н. Р. : *Трофейные?*

Н. Д. : И наши, и довоенные, и трофейные. Смотрели эти знаменитые фильмы с Диной Дурбин... это были очаровательные совершенно фильмы: «Сестра его дворецкого»... Может быть, какие-то фильмы и Вы видели. Но тогда это казалось просто сказкой...

Н. Р. : *Конечно, старые фильмы... Был еще очень хороший фильм «Петер», только я не помню, кто там играет. Моя бабушка в войну, да и потом, обожала это кино.*

Н. Д. : А это была, Вы знаете, актриса Франческа Гааль. Но это еще довоенный был фильм, знаменитый фильм, очень знаменитый! И еще, что я до войны запомнила, – это роскошный совершенно фильм «Три поросенка», американский.

Н. Р. : *Еще вопрос, личный, если можете на него ответить, мы всем задаем несколько одинаковых вопросов. Ваше отношение к религии? Вы – верующий человек? У Вас как-то изменилось отношение к религии во время войны, после войны?*

Н. Д. : Вы знаете, я родилась в семье, где и дедушки, и бабушки, и тети мои – мама в меньшей степени, наверное, но мама тоже была верующей, – все были очень верующие люди... Я человек, конечно, крещеный... Тетя моя родная, которая уехала в Сталинград с двумя детьми, она была очень верующая и меня окрестила. И ее дочь, моя двоюродная сестра, тоже была очень верующая. Они ходили в храм, пели в церковном хоре... А я? Ну, как я отношусь к вере? У меня получилось так, что сестра моя двоюродная умерла, а ее дочь, моя племянница, ушла в монастырь, и она находится сейчас в Пюхтицком монастыре, который в Эстонии.

Н. Р. : *Это известный Пюхтицкий монастырь. Как раз напротив нашего института находится храм, это их подворье, Вы знаете?*

Н. Д. : Да, и моя племянница сюда приезжала, ее вызывали. И когда она приезжала, она меня, так сказать (*Смеется.*), поругивала: «Ну что, – говорит, – тетя Нин, ну как так? Вы, крещеный человек, не можете зайти в церковь!». Ну, действительно, наверное, я выросла такой неверующей. Я как-то к ней здесь зашла, и мы стояли в церкви, разговаривали. В этот момент мимо проходил священник, и вдруг он мне сделал замечание: «Как Вы можете так стоять? Вы пожилой человек, уже надо о другом мире думать, и так стоите». Напомнил мне о том, что я действительно пожилой человек, это все верно. Ну, в общем, он мне сделал очень серьезное внушение.

Н. Р. : *А как Вы «не так» стояли?*

Н. Д. : А я, оказывается, повернулась спиной к алтарю и разговаривала. Ну, в общем, я теперь, когда хожу в церковь... слежу за этим.

Н. Р. : *А Вы ходите в церковь?*

Н. Д. : Ну, я почти не хожу. Вы знаете, я иногда только лишь захожу, чтобы поставить свечи. И еще я захожу в церковь, когда приезжаю в Ленинград. Иду на кладбище, туда, где похоронен мой брат, куда мы отвезли прах моей мамы. Это Серафимовское кладбище, очень знаменитое кладбище, второе, по-моему, большое захоронение блокадников. Там я прихожу к памятнику захороненных ленинградцев и обязательно захожу в церковь. Но дальше этого я, конечно, не иду. Воспитание совсем другое. Я выросла в семье, где все мои тетушки, дядюшки и мой дедушка, чей дом нас, по существу, спас, где мы жили в блокаду, – они были действительно очень верующими. В доме всегда было много икон... А я не соблюдаю все-все праздники, устав... Ну, а так...

Н. Р. : *Нина Дмитриевна, еще вопрос: чем для Вас была война, что бы Вы хотели сказать молодым людям о войне сейчас?*

Н. Д. : Я бы сказала, конечно, во-первых, чтобы такой войны больше не было, чтобы вообще не было войны. Прежде всего это.

А второе... Мне кажется, когда я вспоминаю свои юные годы, до войны народ был добрее. Вот люди, мне кажется, очень изменились – после войны люди стали более суровыми. Может быть, это было вызвано тем, что такая война была! Но сказать что-либо против правительства или ненавидеть советскую власть – таких мыслей у меня вообще даже не возникало. Я все-таки очень гордилась своей страной и очень гордилась своим городом, Ленинградом, невероятно. И страной своей гордилась, и народом своим. И я очень переживала, что распался Советский Союз. Сначала хваталась за сердце из-за того, что страна распалась: наши Белоруссия, Украина, Грузия, Латвия... Мы очень

любили Латвию, ездили туда каждый год, старались отдохнуть там. Жили где-то в сараях, снимали комнату, угол, но вообще относились к латышам нормально, любили их, и были у нас аспиранты-латыши. Впрочем, хорошие отношения с аспиранткой-латышкой у меня остались до сих пор... Но только после этого я уже перестала туда ездить, это все уже стало не для нас. Ну, и такого отчуждения, конечно, я от них не ожидала.

Н. Р. : *Сейчас, Вы знаете, в Латвии, в Риге, недавно выкапывали останки советских солдат. Переносили их из центра в другое место, переставляли памятник...*

Н. Д. : Да, это все ужасно для меня. Я очень это переживала. Так же, как с Севастополем. Вот вчера мы слушали радио и радовались тому, что нам продлили пребывание нашего российского флота в Севастополе... (Интервью записано в 2013 г. – Прим. Н. Р.)

Н. Р. : *Да, согласна, это очень важно для нас.*

Н. Д. : Безусловно. И потом, мои двоюродные сестры – они все были замужем за украинцами. Вы понимаете, я все время считала, что мы – один народ, будь то украинцы, белорусы, русские... Меня иногда приглашают в школы, выступить. В 2005 году был такой же юбилейный год, я была в одной из школ района, где я живу. А потом эта школа пригласила меня поехать вместе с их ребятами в Брестскую крепость. И я поехала с ребятами туда. Посмотрела Брестскую крепость, эту трагедию наших защитников. Если кому не приходилось бывать в Брестской крепости, я расскажу. Там кругом вода, а сама Брестская крепость – как бы островок. Кругом вода, люди были зажаты, и их расстреливали. Начали их обстреливать где-то в 3–4 утра, и когда в 4 утра люди стали выбегать из дома (стреляли по этой крепости) – это было страшно! Вообще-то, что они там пережили, – ад.

Это был ад. А сохранили жизнь те, кому удавалось забежать в церковь. Церковь выстояла. Очень многие здания пострадали, пострадали стены. И немцы расстреливали так, что... Это было все очень страшно. И они все-таки держались!

Н. Р.: *Вся страна держалась! А Ленинград? Разве Вы не держались?*

Н. Д.: Вся страна держалась, несмотря ни на что... И я бы молодым сказала, конечно, прежде всего, не нужно нам больше такой войны. А второе: все-таки любите свою Родину – она у нас одна. Что бы ни было, что бы мы ни пережили, я не могу себе представить, чтобы я куда-то уехала, где-то поселилась. Это, по-моему, невозможно. Ведь было много хорошего в нашей стране. А сейчас мы просто пожинаем многие моменты того, что было тогда, распада этого колоссального и утраты очень многих черт.

Я вспоминаю Кировские острова. Моя юность, мои шестнадцать-семнадцать лет... Я занималась академической греблей, и мой брат тоже.

Н. Р.: *Это было уже послевоенное время?*

Н. Д.: Это был уже конец сороковых – начало пятидесятых. Тогда все ребята занимались в секциях, мы гуляли по Кировским островам, там можно было за копейки купить себе какао, кофе, пирожок и так далее. И вот сейчас, когда я приезжаю в Ленинград и иду на кладбище (Серафимовское кладбище находится рядом с Кировскими островами), а потом иду на Кировские острова – я их не узнаю. Куда делись эти аллеи, куда вообще делся этот совершенно великолепный остров, все эти спортивные базы... одна, вторая, третья... Сейчас я увидела другое: все эти аллеи порушены абсолютно. Основная аллея, та, что идет вдоль Невы – там же два рукава Невы, там, конечно, стоят эти богатые лодки, яхты и так далее. И когда вы выходите из этого

центрального выхода, вы видите, что тот старый Ленинград разрушен и ушел куда-то. Сейчас там выстроили целый городок для наших судей. У нас суд переехал, да? Верховный суд...

Н. Р. : *Да, это Конституционный суд переехал.*

Н. Д. : Ну, им выстроили, конечно, совершенно потрясающие дома, потрясающие абсолютно. Это знаменитый Петровский остров, где раньше были только спортивные базы, и этими базами пользовались все ребята – из школы, из института, из университета. Сейчас этого, по существу, ничего нет...

Людмила Григорьевна Стефанчук

Родилась 20 июля 1933 г. в Ленинграде

Окончила филологический факультет МГУ (1957)

Кандидат исторических наук (1975)

Специалист по политическим и социально-экономическим проблемам Новой Зеландии

Работала в ИВ РАН с 1960 г.

Старший научный сотрудник ИВ РАН

Ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда

Умерла в 2016 г.

Наталья Романова: Людмила Григорьевна, вначале общий вопрос для всех. Как у Вас возник интерес к Востоку и почему Вы стали востоковедом?

Людмила Григорьевна: Вы знаете, для меня это трагический вопрос. Я – пушкинистка. Я ученица Сергея Михайловича Бонди, сейчас будут издавать о нем сборник. По всяким различным причинам я долго не могла устроиться на работу. И потом мне все это надоело: унижения с поступлением в университет, когда я с медалью не могла два года устроиться... Сначала я работала в «Журнале мод», потом в музее А.С. Пушкина и была одной из подающих надежды, самых-самых. Но мне все это надоело. В Москве в музее на Кропоткинской я работала с 1958 по 1960 год. Я пришла туда поздно, ставки не было, оформили как зав. оформительским отделом, потом еще как-то... А тут создавался

журнал «Азия и Африка сегодня», и знакомые ребята меня туда позвали... Я пошла. Сейчас обо мне есть упоминание в юбилейном номере журнала, ему исполнилось 50 лет.

Н. Р.: *А заканчивали Вы какой университет?*

Л. Г.: Я заканчивала филологический факультет Московского университета как пушкинистка. Диплом мой, который даже хотели напечатать, назывался «Посмертная фальсификация жизни и творчества Пушкина». Когда я ушла в журнал, директор музея был очень недоволен, ведь я делала экспозицию третьего Онегинского зала. Он кричал, что я погналась за длинным рублем. Там я получала 69 рублей, а в журнале мне дали 120. Но не в этом дело... Мне все надоело. Вот понимаете, было такое состояние. Я работала с Корнеем Чуковским, у меня есть автографы, я работала с Александром Леонидовичем Слонимским... Но пробиться, хотя Слонимский писал мне «жить-быть не хочу, а будете Вы в Детгизе», я никуда не могла. И мне это надоело. И я поступила сюда, в журнал «Азия и Африка сегодня», тогда он назывался «Современный Восток».

Н. Р.: *Какой это был год?*

Л. Г.: Это был 1960 год. 4 июня 1960 года я пришла сюда литературным редактором журнала, хотя числилась младшим научным сотрудником Института востоковедения. Проработала я в нем 10 лет. 10 лет (я буду говорить иронически) я писала, уже не дочитывая фразы до конца: «Бьет последний час колониализма». Это были 60-е годы, и это мне тоже надоело... И я поняла, что мой час окончания работы в этом журнале пробьет скорее.

Я пошла к директору института Гафурову. Гафуров очень удивился, потому что считал, что я получаю деньги как научный сотрудник и зачем мне переходить в институт, но поскольку он уважал ученых, дочь у него была филолог,

он спросил: «Ну, хотя бы высшее образование у Вас есть?» Высшее образование у меня было. Мой муж, Л.А. Фридман, договорился, что меня возьмут на Среднюю Азию или куда-то еще. Но Гафуров решил по-иному и, может быть, правильно. Муж меня еще толкал на Индию, и Ира Смилянская смеялась, что Индией люди занимаются всю жизнь, а я прямо сейчас, с подачи гениального Фридмана, стану индологом. Этого бы, конечно, не случилось.

А тут создавался Отдел тихоокеанских проблем, новый, руководителем которого стал Ким Владимирович Малаховский, о котором я тоже расскажу смешную историю. Он тоже был не специалист ни по Новой Зеландии, ни по Тихому океану. Он когда-то работал в Голландии от «Международной книги», туда приехал Гафуров, и Малаховского попросили сопровождать Гафурова. Малаховский был человек яркий, он очень понравился Гафурову, и Гафуров сказал: «Вот Вам моя визитная карточка... В трудную минуту жизни приходите». Эта трудная минута (это я знаю непосредственно от Малаховского) наступила. И он пришел, сел в предбаннике перед кабинетом Гафурова, где висела карта. И Малаховский сообразил, так же как сообразила я, что ни Индию, ни другие страны он не потянет из-за языка. И вдруг «Эврика!» Он увидел свободный, незанятый континент – Австралию, пошел и сказал, что хочет заниматься этим. Гафуров дал ему группу, потом она все время росла, стала отделом, думали, что даже институт будет. Так создался в Институте востоковедения Отдел южнотихоокеанских исследований. Вот так я попала, будучи пушкинистом, в «востоковеды». Можно ли сказать, что у меня было призвание – боюсь, что нет.

Н. Р.: *Но Вы столько лет успешно работали, у Вас есть научные труды, статьи...*

Л. Г.: *У меня две книжки есть. Уже столько лет сижу в отделе, с 1971 года. Кандидатскую я защитила в 1975 году.*

Если говорить откровенно, Пушкин был интереснее. Тем более что я люблю поэзию.

Н. Р. : *Понятно. Еще расскажите, пожалуйста, про Вашу семью. Вы родились в Ленинграде?*

Л. Г. : Я родилась в Ленинграде в 1933 году, жила на Васильевском острове, 13-я линия, д. 46, кв. 6. У меня была хорошая память, я все отчетливо помню. Мой отец был высококвалифицированный специалист, работал когда-то в Гипрогоре – Государственном институте по проектированию городов, был заведующим отделом. Трудился в Академии архитектуры, где занимался районными планировками и экономикой. Был членом Союза архитекторов. Мама работала экономистом на Ленинградской трикотажной чулочной фабрике «Красное знамя». Сестра Тамара училась в школе.

Н. Р. : *Родители не были репрессированы?*

Л. Г. : Не были. Был репрессирован мой двоюродный дядя, Фридман, однофамилец моего мужа. Люминесцентные лампы – его изобретение. Несмотря на то, что он получил Сталинскую премию и они отдали эту Сталинскую премию на какое-то вооружение (в доме висела грамота, подтверждающая это), его забрали. Он сидел в шарашке вместе со знаменитым Львом Копелевым, которого Солженицын изобразил как Рубина... Ну, Вы знаете, о ком идет речь – персонаж романа А.И. Солженицина «В круге первом». Он был известный филолог, защищал потом немцев. А в книге «Утоли моя печали» Копелев изобразил и моего дядю, поскольку сидел с ним в одной шарашке.

Н. Р. : *Вы говорили, что со школьной медалью у Вас были определенные проблемы... С чем это было связано?*

Л. Г. : У меня была серебряная медаль. На экзаменах мне поставили одну четверку... Однажды меня уже включили

в список, но потом какой-то заместитель проректора вычеркнул ...

Н. Р. : Почему?

Л. Г. : Ну... был пятый пункт, еврейская национальность. Вообще, на моем курсе в институте таких, как я, евреев, были единицы. Училась я и ставший мировой известностью лингвист Игорь Мельчук. Все было совершенно понятно. Я не была дочерью какого-нибудь крупного руководителя, чтобы попасть на дневное отделение. Мне два года не удавалось поступить на филологический факультет, а на второй год уже кончалось действие серебряной медали. Ну, а на заочный я имела право поступить без всяких экзаменов, и меня взяли туда. Я все сдавала, естественно, на «отлично», и когда умер генералиссимус (Сталин. – Прим. Н.Р.), меня все-таки перевели на очный.

Н. Р. : Расскажите о войне. Помните, как для Вас началась война?

Л. Г. : Как началась война – помню. Я маленькая очень хорошо читала. Меня даже сразу записали во второй класс. Осенью я должна была пойти в школу.

Н. Р. : Вы еще не ходили в первый класс?

Л. Г. : Я никуда еще не ходила, когда началась война. Мне было 7 лет. При материнской фабрике был особый детский сад. Он находился на Петроградской стороне, а я жила на Васильевском острове, но туда ходил трамвай. А я умела читать и читала все вывески. Однажды мы с мамой ехали в трамвае. Увидев слово «внимание», я бодро произнесла, это было как раз перед самой войной: «Внимание! Внимание! На нас идет Германия! С пушками, с матрешками, с большими поварешками». Это был известный стишок, я, вероятно, где-то его слышала, у меня была хорошая

память. В трамвае все обмерли. У матери на лице изобразился ужас. Значит, я могу сказать, что почти предсказала эту войну. А когда началась война, был ужас. Было воскресенье, мы пошли мыться в баню. Когда стали выходить, я вдруг замешкалась и услышала слово «война». В тот момент мне это ровно ничего не говорило. Ну, война... Это было 22 июня 1941 года.

Отец пошел добровольцем, но у него была сильная близорукость, и его перевели в какой-то интендантский отдел. Его институт, Гипрогор, может быть, чтобы «спасти» его от армии, а может, действительно это было необходимо, послал отца в командировку в город Молотов, теперешнюю Пермь. И отец уехал, особенно ни о чем не беспокоясь, потому что в Ленинграде был порядок. Нам было известно, что 20 сентября мы с семьей эвакуируемся. И когда все куда-то рыпались, волновались... мы знали, что спокойно уедем, мама работала, и все-таки отец был вроде как высоко... В общем, все были уверены, что мы приедем к нему в Молотов и все будет хорошо. В Ленинграде тогда оставались: я, моя сестра, которая на шесть лет меня старше, моя мама, мой дедушка, моя бабушка, и еще домработница у нас была хорошая, тогда это было принято. И отец не волновался. В Ленинграде был оцеплен вокзал, но никто не рвался, у всех было назначено свое время, когда приходиться.

Н. Р.: *Вокзал был оцеплен, то есть самим нельзя было уехать?*

Л. Г.: Нельзя. На вокзал проходили по пропускам. Было известно, какое учреждение и когда эвакуируется. Я точно помню, что у нас эвакуация была назначена на 20 сентября... Ехать в эвакуацию мы должны были с маминой фабрикой, потому что папин директор, по-моему, уже уехал, а Гипрогор еще оставался в Ленинграде. И в этот же день, такое роковое

совпадение, кажется, был взорван мост. С этого началась блокада. Немцы взорвали мост через реку Волхов... 27 августа проскочил последний эшелон, и началась Ленинградская блокада. «Особых» людей вывозили на самолетах, как вывезли Шостаковича, как предлагали уехать известному архитектору Льву Ильину (умер в блокаде 11 декабря 1942 г. – *Прим. Н.Р.*). Остальные остались в блокаде. И когда мама пошла узнавать, что нам теперь делать, начальник сказал, что Вы не беспокойтесь, вы все улетите... Но мама понимала, что они улетят, а мы – вряд ли.

Мы, дети, все уже были эвакуированы, это я самолично знаю, под Ленинград в Старую Руссу. Вредительство это было или, как всегда, наша беспонятливость, бестолковость... Не успели мы туда приехать, с какими-то одеялами за плечами, как немцы сбросили бомбу, и всех детей немедленно вернули обратно. И мама нас с сестрой забрала домой. А тех детей, которых сразу не забрали, отправили в Сибирь, и многие потом не могли найти друг друга. Вот так для безопасности эвакуировали детей из Ленинграда.

В результате мы снова все вместе оказались в Ленинграде. Запасов продовольствия у нас никогда не было, потому что отец запрещал их делать, ему было неудобно. На всех углах пели частушки, в которых высмеивали тех, кто что-то запасает из еды... О блокаде сняты десятки фильмов, но на самом деле, сколько я ни смотрела этих фильмов, все было значительно хуже и страшнее, это я Вам точно могу сказать на своем личном опыте.

Н. Р. : *Поэтому и записываем Ваши воспоминания.*

Л. Г. : Ну, что писать, мне даже неудобно, у меня такие мрачные впечатления...

Началась блокада. Мы остались в Ленинграде без всего. Если была какая-то наволочка сухарей, мы ее быстро сжевали. Мы все в семье были иждивенцы. Одна мама работала.

Н. Р.: *А бабушка с дедушкой были старые, не работали?*

Л. Г.: Да, были старики. Еще была домработница и я с сестрой.

Н. Р.: *А сестре сколько было лет?*

Л. Г.: Мне было 8 лет, а ей 14. Так что нигде сестра не работала. Она вспоминала, что они очень как-то даже обрадовались войне. Вот скучная жизнь закончится, они будут дежурить на крыше, набивать песком какие-то там чулки. И зажигалки... в общем, активная деятельность! Но Ленинград вымер. Моя мама, которая на фабрике работала до последнего, занималась только тем, что отправляла бригады хоронить трупы. Она сидела в диспетчерской и отсылала работниц, которые были этим очень недовольны. Кричали ей, что вот ты здесь сидишь в тепле, а мы мертвых хороним.

Н. Р.: *А когда начался голод, настоящий?*

Л. Г.: Настоящий голод, наверное, начался уже в сентябре, потому что именно в сентябре (8 и 10 сентября были массивные немецкие авианалеты. – *Прим. Н.Р.*) горели так называемые Бадаевские склады, на которых, как говорили (хотя вряд ли), было на 10 лет продовольственных запасов. В них и еще на американских горках (был такой аттракцион в Центральном парке) были продовольственные запасы для Ленинграда. Немцы, вероятно, знали, где они, и обстреляли их. Было огромное зарево, которое я хорошо помню, и эта земля, которую все разбирали, ездили за ней... Я сама ее ела.

Н. Р.: *Земля была пропитана сахаром или чем-то еще?*

Л. Г.: Ну... она была пропитана маслом и сахаром, а есть же все равно что-то надо.

Н. Р. : *А в магазинах?*

Л. Г. : В магазинах ничего не было. В Ленинграде с карточками вроде был строгий порядок, в отличие от Москвы, где можно было одно заменить на другое. В Ленинграде, если у тебя талон был на крупу, то это был талон только на эту крупу. Получали, по-моему, рабочие вначале 350, потом 250 граммов, а все иждивенцы и, по-моему, служащие (мама была не рабочая, а служащая) получали по 125 граммов хлеба. Это я помню и сейчас. Такой кусочек, который был, как известно, на 50% из глины, и ничего больше.

Я очень хотела есть. Но в отличие от других, у меня не осталось страха голода, я равнодушна к еде. Тогда все ленинградцы говорили только о еде, вспоминали, что ели перед войной. Я этого ничего не вспоминала. Я все время вспоминала свой детский сад. Я была общительная и любила, в отличие от других, ходить в детский сад. И я все время просила маму отвести меня туда назад. Мы с мамой даже однажды встретили мою руководительницу из детского сада, и она сказала: «Ну, что Вы, приводите к нам в сад ребенка... там все-таки что-то дают». Не знаю, что им давали, были какие-то обеды... Но у мамы уже не было сил меня водить. Мы жили на Васильевском острове, а детский сад был на Петроградской стороне. Трамваи не ходили.

Н. Р. : *Надо было идти туда пешком?*

Л. Г. : Да, полчаса или больше. Я в свои 8 лет даже прибежала к маме на работу, под обстрелом. Пули свистели, а страха у меня не было. Один раз снаряд попал в наш дом. У нас была собственная трехкомнатная кооперативная квартира (которую впоследствии государство сделало своей, в одночасье объявив своим фондом), и один коридор был с окном. Туда влетел снаряд, пробил швейную машину...

А мы даже не вздрогнули. Мы уже не ходили ни в бомбоубежище, никуда... Не было сил.

Я помню, как я ходила по улице, все наступали по стеклам, которые летели от обстрела Петроградской стороны. Немцы обычно начинали педантично, точно в семь тридцать вечера, обстреливать город. Это не производило никакого впечатления, потому что оставался только голод и бессилие... Я вспоминаю свое состояние и теперь понимаю, что это была депрессия, я больше ничего не хотела. Я, уже читавшая с четырех с половиной лет, активная девочка, больше ничего не читала. Я даже, по-моему, ни о чем не думала. Все говорили только о еде... Тогда я впервые поняла, что, во-первых, все, что говорят, – ложь, а во-вторых, я столкнулась, так сказать, с социальным неравенством. Я была из благополучной семьи, и поскольку у нас была большая квартира, к нам из разрушенного дома вселили жилищку с девочкой моих лет. И вот эта девочка, когда что-то говорили о конфетах, очень удивлялась и говорила, что она никогда такого не ела. Икру она не знала... В общем, меня поразила, так сказать, пропасть между тем, какие у меня были еда, игрушки и вещи, и какие были у нее.

И второе меня поразило... Уже когда мы приехали в эвакуацию в Сарапул... Это под Ижевском, Южный Урал. Население, которое к ленинградцам еще положительно относилось, потому что мы жутко выглядели, к москвичам относилось плохо; местные все время говорили, что, в отличие от москвичей, они ничего, кроме ржавой селедки, в магазинах не видели. И даже вроде было какое-то злорадство... Это мое первое впечатление от блокады, что не все люди жили так, как я. Я была капризная девочка, поступившая сразу во второй класс, такой еврейский ребенок, «такого в мире больше нет...» Я читала «Капитанскую дочку», «Полтаву» знала наизусть... У меня был полный дом книг, и всю жизнь они давят на мою психику. К чему

я это говорю: когда началась блокада, к нам пришел какой-то человек, вероятно скупавший книги, и за всю нашу огромную библиотеку предлагал плитку столярного клея, который ленинградцы тогда варили и ели. Но тут даже моя сестра возмутилась и сказала – нет. Не знаю, жалели ли мы потом об этом, но это было именно так.

Н. Р. : *А книги Вы сохранили? Вы ими не топили, чтобы как-то согреться?*

Л. Г. : Нет, у нас был журнал «Большевик». Мы топили «Большевиками», а потом мебелью. Потом какие-то ленинградские книги даже оказались у нас в Москве; у меня до сих пор не продохнуть от книг...

Н. Р. : *Наши родственники в Ленинграде в блокаду своими книгами топить не могли, но когда их не стало, всю их библиотеку сожгли соседи. ... Скажите, начиная с сентября, у Вас уже была очень маленькая порция хлеба... Так было с самого начала блокады?*

Л. Г. : С самого начала блокады мы почувствовали голод. Маму послали рыть окопы, которыми потом благополучно воспользовались немцы... Так под Ленинградом мы себе рыли оборону. Как-то маме даже удалось добыть немного картошки, хотя всех обыскивали. В общем, мы были не очень предприимчивы. Были предприимчивы те, кто работали известно где: в булочных, в торговле... До сих пор, хотя я понимаю, что это не всегда соответствует действительности, у меня неприязнь к тем, кто занимается торговлей. Это воспитывается с детства. Были дети, у которых родители работали. У меня же папа был далеко, а рядом были старики... Бабушка умерла довольно быстро. Я помню, что боялась заходить в ту комнату, где она лежала.

Н. Р. : *Бабушка умерла еще до зимы?*

Л. Г. : Первая умерла бабушка. Она, по-моему, умерла уже зимой. Я не помню, как ее хоронили, на каком еврейском кладбище... Мама потом пыталась найти могилу, но, естественно, не нашла.

А многим, и спасением своим, мы обязаны нашей домработнице, которая была у нас как член семьи. Она была молодая девушка, приехавшая из провинции, очень симпатичная. Мама умудрилась, с большими трудностями, вписать ее в эвакусправку как члена нашей семьи. Она эвакуировалась с нами, жила с нами в эвакуации, вернулась с нами в Москву, поступила на завод и тогда стала строить свою отдельную личную жизнь.

Н. Р. : *Ваша домработница Вам помогла выжить?*

Л. Г. : Да, в чисто хозяйственных делах. Ей иногда давали еду солдаты, может быть, иногда сухари какие-то или еще что-то... Она была красивая и светлая.

Н. Р. : *Как ее звали?*

Л. Г. : Таня, Танечка. Знаете, когда у меня были дедушка, бабушка, домработница и я при этом еще ходила в детский сад... тогда я это как-то не особенно ценила. Я знаю, люди продавали все, что имели... Весь Ленинград был заполнен антикварными вещами, люди были готовы за хлеб отдать что угодно.

Н. Р. : *А что еще, кроме хлеба, у Вас было?*

Л. Г. : Я не знаю, может быть, давали какой-то сахарин... Вообще, ничего, кроме этого хлеба, не помню. Помню, как еще до войны, до блокады, мы ели желуди. У меня такое отвращение сейчас к желудям, когда их вижу. Я знаю, что ела дуранду, это какие-то отходы, жмых... Ела горчицу, мы вымачивали ее

и затем пекли оладьи. У нас оставался кофе, и мы тоже его использовали. Делали из кофейной гущи какие-то оладушки или еще что-то. Я ела все, кроме кошек. Моего симпатичного рыженького кота, боясь, что его съедят, родители все-таки усыпили. Поехали в лечебницу и еще в начале блокады усыпили. Ведь кошек как таковых в Ленинграде не осталось... Ну... о чем говорить, были случаи людоедства. Это известно, писали об этом. Я сама ела конторский клей, который продавался как гороховая мука... Думаю, это имело свои последствия. В 30 лет я уже была инвалидом по кровоточащей язве.

Н. Р. : *А как было с водой?*

Л. Г. : Вот тут началось самое худшее. Мало того, что в Ленинграде был такой голод... Начались проблемы с водой. Сначала что-то пустили не так, потом лопнули трубы.

Н. Р. : *Это было во всем городе?*

Л. Г. : Это было во многих частях города. Вот почему все топили книгами. И мы все в нашей огромной квартире стали жить на кухне, где была плита, было тепло. К плите пристроили какую-то буржуйку, и все мы, шесть человек, ютились в этой кухне. Я сидела, не слезая с плиты, спина спиной к сестре.

Выйти вообще было невозможно. Сначала еще было электричество, а потом уже не было ни электричества, ни отопления, ни воды. Воду многие брали на Неве. У нас на это сил не было... В общем, обходились снегом, который был около дома, что тоже не способствовало здоровью. Вот такая была жизнь...

Н. Р. : *Говорят, что зима тогда была очень суровая?*

Л. Г. : Зима была очень холодная. Я помню, что до 30 градусов мороза доходило. Но я не выходила из дому. Я всю эту зиму просидела на плите, закутанная во что-то.

Н. Р.: *Осенью Вы еще ходили по Ленинграду, а зимой уже не выходили из дома?*

Л. Г.: Нет. Не выходили. Последнее, что я помню, это обстрелы...

Н. Р.: *А мама зимой работала?*

Л. Г.: Мама еще какое-то время в начале зимы работала. Но потом, уже перед самой эвакуацией, ей было настолько хуже других, что ее положили в фабричный стационар, у них была довольно крупная фабрика. Мама, когда ее положили в больницу, в халате с начесом (а она была все-таки ростом повыше меня) весила 32 кг. Это было уже где-то в феврале...

Мы к этому времени были на последнем издыхании. И здесь я вдруг отличилась необычайной волей! Я одна сдерживала порывы своей старшей сестры съесть все сразу. Я твердо смотрела на часы, отрезала по маленькому кусочку... Теперь я понимаю, что мне было немножко легче. Что дедушка часть своего продуктового пайка отдавал мне, но я этого не знала. Я была его любимицей, и мне он был ближе, чем все остальные... И тогда моя сестра, ничтоже сумняшеся, дала из Ленинграда папе очень смешную телеграмму: «Приезжай немедленно, Тамара». Как будто это было так просто...

Н. Р.: *А тогда можно было просто пойти на почту и дать телеграмму?*

Л. Г.: Ну, не знаю, как-то они с Таней добрались до почты и дали эту телеграмму. Это я точно помню. И отец сумел добиться пропуска в осажденный Ленинград.

Понимаете, в свое время отец чудом выжил во время еврейского погрома. Ему было 16 лет, он случайно уехал, а семья осталась дома. Когда он вернулся домой, вся семья,

все сестры... все были порублены, убиты. Был погром. И он тогда остался жить для того только, чтобы отомстить. И он хотел продолжения рода; к сожалению, родились две девицы... Так вот, получив телеграмму, он сказал начальству, что второй раз семью потерять не может.

Н. Р. : *Где это случилось?*

Л. Г. : Это называется... когда я начинаю вспоминать, нервничаю... Деревня называлась Ручаёвка, Белоруссия, Гомельская область... После этого отец был в каких-то продотрядах, которые должны были карать бандитов, устраивавших эти погромы...

Он умолял начальство; не знаю как, но ему это удалось, и он приехал за нами в Ленинград. Потом к нам в гостиницу в Молотове ходили толпы людей, которые спрашивали, как отец добился пропуска в осажденный Ленинград. Но в это самое время мы в Ленинграде получили наконец свою справку об эвакуации и должны были срочно эвакуироваться, в один день.

Н. Р. : *Это уже был март–апрель?*

Л. Г. : Это было 19 марта 1942 года. И тут началось... Впервые, нужно было собрать вещи. Была семья татар, которая нам помогала, и один из них украл наш чемодан. Но нам было уже не до чемодана. Что мы бросали в чемодан, я не знаю, у меня нет особой привязанности к вещам. Как ни странно, сестра бросила моего целлулоидного пупса, с закрывающимися глазами, это тогда было редкостью. Этот пупс, как ни странно, потом оказался с нами в Москве. Более ценных вещей у нас, наверное, не было. Хотя какие-то были, мы их потом меняли в эвакуации.

Мы приехали на вокзал, все срочно-срочно... Там нас поместили в теплушку, где было 60 человек. Она стояла три дня. Нас кормили. Три дня нам читали лекции, что

не надо есть всю еду сразу. Многие умирали, тут же сразу много наевшись. Тем не менее мы с сестрой съели вот такую буханку черного хлеба в один присест.

И тут начались мучения, которые были не меньше, чем в блокаде. В Ленинграде мы жили все-таки своей семьей. Не было хлеба, не было ничего... но не было и соприкосновения с ужасным окружающим миром. Хотя и в Ленинграде я видела своими глазами, как какой-то мальчик схватил довесок, когда продавали хлеб, и положил его за щеку. Толпа набросилась, и здоровые мужики хотели вырвать у него этот кусок уже просто из горла. Это действительно все было на моих глазах.

Н. Р. : *А карточки? Вы говорили, что у Вас украли карточки...*

Л. Г. : Да, сразу когда мы приехали... Маме однажды выдали вместо служащей рабочую карточку, по которой давали значительно больше. Так вот, она ее вернула, она же была честная интеллигентка. Не знаю, были ли еще такие случаи в Ленинграде, но, в общем, вот так.

Ну вот, а когда мы сели в поезд, тут и началось... Во-первых, у нас украли нашу эвакусправку, по которой мы получали еду, и только случайно кто-то заметил, что одна женщина получает больше продуктов. Когда эта женщина поняла, что об этом узнали, она попыталась нашу карточку порвать. Ее, правда, потом саму чуть не разорвали... А еле дышащая мама ходила в конец вагона (поезда), чтобы нам дали что-то из продуктов, ведь эвакусправки не было. Во-вторых, поскольку все передали (а кормили нас, как ни странно, каким-то жиром с рисом), у всех были поносы.

Н. Р. : *А эвакусправка... Вы потом все-таки ее нашли?*

Л. Г. : Женщина, которая ее украла, успела ее надорвать, но потом отдала. Кто-то спросил маму, может, вызвать

милицию и высадить её? Но мама была аристократка, сказала, пусть едет! В общем, та тетка тоже доехала до своего места.

Н. Р.: *Вы стояли три дня в теплушке. А как Вы туда добирались?*

Л. Г.: Это было интересно. Мы ехали по Ладожскому озеру на машине. И это я запомнила навсегда.

Н. Р.: *По Дороге жизни, из блокадного Ленинграда.*

Л. Г.: Все дети ехали в автобусе без родителей, а я как всегда была очень капризной и не захотела разлучаться с мамой. Нас впихнули в грузовик, в кузов грузовика. И мало того, что я себя так проявила, я в середине Ладожского озера захотела в туалет. И шофер, вот это я помню как никогда, остановил машину, и я вылезла на этот снег, на эту летящую дорогу. Это оставило во мне неизгладимое впечатление. Эта Дорога жизни запомнилась мне очень светлой. А потом мы 14 дней ехали из Питера в город Молотов.

В Ленинграде, когда мы уезжали, стало чуть лучше. Нам дали какую-то клюкву, дали сахар, который сестра съела в один присест... Уже появилась мороженая картошка. Возникла мысль, по-моему, мама высказалась, что, может быть, нам надо остаться в Ленинграде... Но сестра сказала, что ей так обрыд этот город, что она душевно не может уже переносить эти черные затемненные окна, трупы людей, которые падали от голода и умирали на улице, черный снег, который мы ели...

Н. Р.: *Черный снег? Потому что все время были пожары?*

Л. Г.: Потому что он был грязный и уже давил на психику, хотя я очень люблю Ленинград. Считаю, что он красивее Москвы.

Н. Р.: *А сестра не ходила дежурить, как многие?*

Л. Г.: Это было в самом начале блокады... Они бежали по крышам, дежурили. У них была молодая бригадирша; попавший

в дом снаряд убил единственного человека, это как раз оказалась она. Больше никого не задел, прошел в землю. Там, в их команде, было много коллизий. У сестры был товарищ по школе, немецкий мальчик Штрум, который говорил, что, когда придут немцы, он будет нас укрывать у себя в квартире. В результате он оказался тоже где-то за Уралом и, по-моему, в Ленинград больше не вернулся. Самое смешное, что там был даже еврей. Очень интеллигентный, который ждал немцев, который говорил, что немцы – культурная нация и что вряд ли они действительно так зверствуют... Мало ли что пишут... Он умер-таки во время войны. Из эвакуации вернулись одни мы, и тоже не в Ленинград, а в Москву.

В эвакуации были и процветающие, имевшие большие материальные возможности товарищи отца... Знаменитый архитектор Юрий Киловатов, который приходил к нам домой, видя мою совершенно исхудавшую сестру, одни кожа да кости, говорил, что ей надо взбодриться и кататься на лыжах. Не знаю, наверное, у него были другие возможности. Самое смешное, что, когда мы приехали из Ленинграда в эвакуацию, сестра была как жердь, а я была опухшая от голода и круглая как шар. У меня была водянка на почве голода.

Так вот, этот четырнадцатидневный переезд из Ленинграда в Пермь запомнился мне больше всего. У нас не было сил. Смешно, но когда мы стояли в Вологде, надо было пойти дать телеграмму отцу, чтобы встретил, но не было сил. А потом оказалось, что отец, который в это время пробирался в Ленинград, стоял где-то рядом с нашим составом. Только мы ехали туда, а он ехал обратно. Он выменял свои «лонжероновские» часы на какой-то пуд хлеба, вез нам продукты... В результате он оставил эти продукты дома нашей жиличке. Мы боялись, что она займет нашу квартиру, но она оказалась честной и впоследствии съехала. А вот наша домоуправша... Дочка ее училась с моей сестрой в одном классе, часто приходила в гости к нам домой. Но оказывается, они тоже были социально обездолены,

сразу почувствовали ненависть, что мы так хорошо жили, и после отъезда разграбили всю нашу квартиру...

Отец вернулся домой через пять дней, после того как мы уехали, а в квартире уже ничего не было, все вынесли. Позднее эта женщина действительно получила за свое мародерство восемь лет, но достала справку, что она психически больная. И умудрилась нашу хорошую квартиру отдать работнику райкома. Когда мама, добившись в 1944 году разрешения вернуться в Ленинград, приехала туда, мы эту квартиру получить назад уже не могли, туда вселился со своими родственниками работник райкома, который сам уехал на партийную работу в Ригу. И нам даже не с кем было судиться. Нам предлагали две комнаты... В результате мы оказались в Москве. Потому что раньше Гипрогор в основном был в Ленинграде, а филиал был в Москве. После войны стало все наоборот, и сейчас он в Москве базируется.

Н. Р. : *Папу перевели в Москву и квартиру уже дали в Москве?*

Л. Г. : Да. Мы переехали в 1944 году. Какая это была квартира! Я жила в алькове, а вокруг были художественные архитектурные мастерские, где, кстати, работал Георгий Данелия, знаменитый теперь кинорежиссер. И мы выходили из своего алькова только ночью.

Н. Р. : *Очень интересно, но расскажите про эти 14 дней поездки... А ехали все ленинградцы? Блокадники?*

Л. Г. : А ехали все ленинградцы, культурные. Потом началось... ты моё место занял, ты съел это... Вплоть до того (и это тоже произвело сильное впечатление на мое детское воображение), что одна профессорша, очень изысканная, с ленинградским прононсом, которая говорила не «што», а «что», когда ее сын уходил получать по эвакусправке обед, дама очень волновалась, что он выловит всю лапшу из супа, а ей останется одна жидкость... Такие детали запоминаются.

А кончилось все это так: мама сидела на нарах на второй полке в шубе, не шелохнувшись, и в спорах не могла сказать ни «да» ни «нет». В основном, как понимаете, выступала я. Выступала я много, потому что мне надоела вся эта борьба за место под солнцем.

Н. Р.: *А Ваша старшая сестра?*

Л. Г.: Она тоже была менее активной. «Пепел Клааса» стучал в моем сердце, и когда мне это надоело, я произнесла роковую фразу, сказав: «Чихать я на вас хочу 33 раза». Это им так не понравилось, что они решили, без шуток, выбросить меня из вагона. Зачем такой отпрыск нужен... Я не помню, испытала ли я страх, но у кого-то из взрослых хватило ума и меня оставили в вагоне. Дедушка мой, который меня защищал, к этому времени умер. В Мельничных ручьях его просто вынесли на снег. Все удивлялись потом, как так можно, но другого выхода не было. И нам тут же донесли, что даже его каракулевую шапку, которую на него надели, тут же украли. Вынесли просто на снег... Я не знаю, как их тогда хоронили... И где могила моего дедушки, я не знаю.

Н. Р.: *Дедушка умер от истощения, сил не было? Сколько ему было лет?*

Л. Г.: Ну... наверное, к 70 годам было. У меня есть фото, где он еще молодой. Дедушка был удивительный человек. У меня жизнь полна тайн. Моя мать, оказывается, была из «бывших». Я узнала это поздно, и родилась она не в Харькове, как было написано в документах, а в Варшаве. И дедушка мой вроде был даже капиталистом. А после того, как пришли большевики, он все отдал и сам работал на ткацком станке. Имел грамоты от всяких артелей...

Мама моя окончила два вуза: юридический и народного хозяйства, до этого – классическую гимназию. Тем не менее она не могла получить диплом, и отец мой, который был

более пролетарского происхождения, пригрозил декану или ректору, что зарежет его... После чего диплом ей выдали. Она тогда хорошо печатала на машинке. Вообще, моя мама во многом была образец. Я еще раньше заметила, когда занималась Пушкиным и женами декабристов, что те, кто привык в детстве к хорошей жизни, как-то лучше приспособляются и ведут себя более достойно. Моя мать никогда ни на что не жаловалась, никогда не лезла и никогда ничего не просила, хотя она с детства воспитывалась в другой обстановке. Единственное, чего она боялась... или это была внутренняя неприязнь, – получить какую-нибудь справку в каком-нибудь домоуправлении... Это была для неё целая проблема, она с этим сталкиваться не любила. Она всю жизнь работала. Позже работала не просто экономистом, а инженером-экономистом, ездила по городам и весям, отец ей помог.

Н. Р. : *Как ее звали?*

Л. Г. : Сима Борисовна. Отец мой имел фамилию, которую я быстро сменила, потому что в детстве я была Каплан. И меня все время дразнили, что я убила Ленина. В свои самые тяжелые годы в университете я была известна под этой фамилией. А про отца была частушка: «Что мне Госплан, когда я сам Каплан...»

В общем, мы приехали в Молотов, и мама с вокзальной площади позвонила на работу отца сообщить, что мы приехали. И вот тут началось смятение. Сослуживцы отца сказали: «Как же так?! Мы думали, что Вы давно уже умерли. А он поехал в Ленинград забрать детей!». Сестра Тамара начала плакать, это я тоже помню, вокруг нас собралась толпа. Все думали, что мы хотим есть, и совали нам сахар...

А отец поехал за нами... Друзья отца все-таки устроили нас в единственное здание семиэтажной гостиницы, в которой поселяли избранных. В то время там был размещен Кировский театр оперы и балета, балетная труппа. Я видела

знаменитую Наталью Дудинскую каждый день. Она каждый день мылась до пояса, условия там были не очень. Я двери особенно не прикрывала, и ее это беспокоило, и она мне даже как-то сказала: «Девочка, закрывай дверь!». Помню, как они репетировали прямо на дорожках в садике перед гостиницей. Артисты! И мы тоже там жили, и было все очень хорошо.

Н. Р.: *А когда вернулся Ваш папа?*

Л. Г.: Через какое-то время вернулся отец. Он был в Ленинграде 5 дней, попытался увидеть всех, кого смог найти. У меня до сих пор живет двоюродная сестра в Ленинграде около Смольного. Отец попытался устроить какие-то наши дела, заплатить за квартиру. Но это помогло нам, как мертвому припарки. А соседи ему сказали, что «они уже выехали, но вряд ли они живыми доедут». В таком состоянии люди уже не двигались.

Н. Р.: *А что Вас больше всего поразило во время блокады, какое самое яркое воспоминание у Вас осталось?*

Л. Г.: Темнота...

Н. Р.: *Темнота?*

Л. Г.: Помню, что, когда я здесь уже, в Москве, смотрела известный фильм «Жила-была девочка», мне показалось там всё не так, детские игрушки по сравнению с тем, что пережила лично я.

Н. Р.: *Вы сказали, что после блокады стали вообще другим человеком.*

Л. Г.: Да. После того, как я сказала: чихать на вас хочу 33 раза и так далее... я стала ярым, что называется, антисоветским человеком. Я ни во что не верила, я слышала бесконечные разговоры, как жирует правительство... Я же читала и видела это своими глазами, все, что было на самом деле... И когда

меня однажды спросили, от чего я так рано прозрела, я ответила, не задумываясь, – от блокады! Все остальное, даже мое поступление в университет, началось именно после того, когда я пережила Ленинградскую блокаду и увидела, что такое действительность. И это оказалось правдой. Жданову икру и свежие фрукты доставляли на самолете.

Н. Р.: Правда?

Л. Г.: Это, к сожалению, все правда.

Н. Р.: Знаете, когда мы готовили для публикации письма нашего знаменитого академика И.Ю. Крачковского («Неизвестные страницы отечественного востоковедения». Вып. 3. – Прим. Н.Р.), мы читали, как тяжело он пережил блокаду, сколько у него погибло близких в семье, казалось бы, великий ученый, академик...

Л. Г.: Погибали все. Падали просто на улице, и никто даже не нагибался, потому что, во-первых, сам боялся упасть, во-вторых, ну что ты можешь сделать...

Н. Р.: А вот такой личный вопрос, Людмила Григорьевна: Вы допускали мысль, что можно проиграть войну? Или таких мыслей вообще никогда не возникало?

Л. Г.: Я лично об этом вообще не думала. Откровенно говоря, я не знаю, что такое героизм. Я понимаю, что куда было деваться... герой ты или нет... Деваться было некуда, должен терпеть. Героизм это или нет, все равно у тебя другого выхода нет. Даже если бы ты захотел, ты бы не смог убежать.

Н. Р.: А главное ощущение от блокады, прежде всего это темнота и холод? Не столько голод для Вас, сколько темнота и холод?

Л. Г.: Да. Вообще оцепенение. Полное оцепенение. Ни встать, ни пошевелиться...

Н. Р. : Ну да... организм обычно старается меньше двигаться, потому что надо сохранить силы.

Л. Г. : Когда я приехала в Молотов, там был знаменитый детский врач Сперанский. Меня ему показывали, потому что я вообще почти ничего не говорила, только мычала. И смотрела исподлобья, как зверек. Он сказал, что это пройдет. У меня был огромный живот, даже когда спала опухоль от водянки. Я уже не напоминала прежнюю девочку. Я знаю, что у многих после блокады остался комплекс по отношению к еде: много есть, ничего из еды не выбрасывать и так далее... У меня этого нет.

Н. Р. : А Ваша сестра? Она была взрослая девочка, 14 лет...

Л. Г. : У нее, наверное, было больше страха и больше понимания того, что происходит. Я же тогда только слышала разговоры о том, кто как выживает. Я знаю, что скупали за бесценок все, что еще оставалось в Ленинграде от «бывших». У них были драгоценности, мебель, картины, и можно было это все купить. Что и делали искусствоведы и коллекционеры, которые не могли пройти мимо этих уникальных красивых вещей и которые все равно потом умерли от голода...

Н. Р. : А вот скажите, Ваше отношение к немцам, к Германии, оно как-то изменилось после войны или никак не изменилось?

Л. Г. : Вы знаете, мне не понравилась Германия. Не знаю, гены это или что, но, когда я приехала в Германию, может, я ее плохо увидела...

Н. Р. : В каком это было году?

Л. Г. : В первый раз я была на экскурсии в Берлине, наверное, семь лет тому назад. Три года назад я снова была в Германии, в городе Эссен. Немцы мне очень не понравились. Я приехала и сказала своей подруге, известной переводчице

Соне Фридлянд: «И эта занюханная нация хотела завоевать мир!». Она очень оскорбилась. Мне не понравился язык. Во-первых, я его не знаю, во-вторых, это рыканье – неизвестно, как мне там было с ними объясняться. Люди выглядели как-то серо... Еще и эмигранты меня запугали, я же была у эмигрантов, естественно, – туда не плюй, туда не садись, не дай Бог, если ты не прокомпостируешь билет в трамвае, сразу огромный штраф и так далее... Я была вообще зажата... И после, когда я из Германии приехала в Амстердам, я вздохнула, я поняла, что такое Европа. И насколько Амстердам мне понравился! Он как Ленинград, как Венеция... А по сравнению с немцами...

Н. Р.: *Вам немцы просто не понравились или причиной этого всё-таки была война?*

Л. Г.: Немцы мне просто не понравились. А моя сестра, которая с 1974 года живет в Америке, притом что она окончила романо-германскую группу филологического факультета МГУ и знала немецкий язык, сказала: «В Германию жить не поеду ни за что! После того, что немцы сделали с евреями (хотя это вроде относится к холокосту, а не к блокаде Ленинграда), никогда!». Вот ее отношение. А у меня чувства мести к немцам нет... И расовых предубеждений вообще нет... Просто они мне не понравились, как мне показалось, своей серостью, как они одеты... В общем, и не Париж, и не Амстердам, и не Америка...

Н. Р.: *Еще вопрос: был в блокаду? Готовясь к этой книге, я спрашивала у студентов: если бы у вас была возможность, что бы вы хотели узнать у ветеранов войны, у людей, переживших блокаду, прошедших фронт... Все задавали очень разные вопросы... И часто спрашивали – был на войне: как они стирали, мылись, как одевались, что ели... Про еду Вы*

уже рассказали, а вот какие-то элементарные бытовые вещи: туалет, помыться... Как это могло быть?

Л. Г. : Ну... какой туалет... Я сидела закутанная во все тряпки, на сестре тоже были одеты все шубы, какие были в доме, еще даже моя, кажется, шубейка... Мама тоже... Топили и сидели на печушке... Какой там быт, никакой! Я не помню посуды: во-первых, нечего было есть, а потом, о чем говорить, если не было воды. Какой быт! Как мыться, в холоде и без воды? Когда сил, чтобы ходить, у людей уже не было? Так что я просто даже не могу ответить.

Н. Р. : *Конечно, все понятно... А как Вы попали в Москву из Молотова?*

Л. Г. : Как я попала в Москву? Сначала мы попали на Урал, там такой город есть, Сарапул, если кто-нибудь знает. Там мы жили где-то на горе. Ни одна лошадь на эту гору не поднималась, а нам нужны были дрова. И когда меня послали с санками, я ничего лучшего не нашла, как лечь на санки и поехать с той горы вниз! Вот теперь у меня шрам на всю жизнь. К чему я это говорю – тот быт я хорошо помню, и это был очень трудный для нас быт.

Н. Р. : *Почему?*

Л. Г. : Потому что нам с трудом выдали комнату. Там к блокадникам вроде неплохо относились, в отличие от москвичей, которых недолюбливали. В Сарапуле уже было много эвакуированных. Кстати, там и раньше было много культурной интеллигенции, из высланных, поэтому школы и все остальное там были хорошие. У нас была крошечная комната. Я смеюсь и предъявляю родителям претензии, что я не выросла, потому что спала на таком сундуке, где ноги некуда было девать. А за стеной жил туберкулезник, который умер. И у меня туберкулез бронхиальных желез обнаружили...

Мама по-прежнему работала на какой-то фабрике. Очень трудно было добыть дрова. Отец тоже приехал вместе с нами в Сарапул, но потом его куда-то отправили в командировку, уже не помню. А потом началось... Мы хотели вернуться в Ленинград, а в Ленинград нужны были пропуска...

Н. Р.: *А Вы там уже ходили в школу, наверное?*

Л. Г.: Немножко ходила. В общем, я в 1944 году в Москве пошла сразу в четвертый класс. Меня не хотели брать, но я как-то доказала, что могу учиться в 4 классе. И вот, фактически ранее не учась, я стала с 4 класса учиться здесь, в 329-й школе, где потом размещался ИМРД. Это была моя школа.

Н. Р.: *А ИМРД, что это такое?*

Л. Г.: Институт международного рабочего движения, Колпачный переулок. В эвакуации у меня была подружка, с которой я даже здесь поддерживала отношения. Она была с Якиманки, из Москвы. Ну, в общем, там было много эвакуированных. В основном мы занимались тем, что вещи, которые еще у нас остались, меняли на хлеб, на яйца... Вот там я и узнала, что у них до войны ничего в магазинах не было, и сейчас нет. Но на рынках, за всякие брошечки, за всякие «украшения», можно было купить все. И вот все вещи, которые у нас остались, мы меняли на еду. Хотя папа уже работал и мама работала. И даже Таня, по-моему, где-то работала. Рядом была замечательная река Кама. Нас посылали на сбор грибов и ягод. Там я дала отпор мальчишкам, и меня перестали дразнить... В общем, там была нормальная жизнь, только непривычная для горожанина. Это маленький городок.

Н. Р.: *Сколько Вы там прожили?*

Л. Г.: Наверное, больше года. А потом встал вопрос, что делать дальше. В Ленинград многие из эвакуированных не вернулись, но мама добилась того, что фабрика прислала

ей вызов. Мы приехали в Ленинград, но квартиру нам не давали, жить было негде. Даже если бы нам предоставили две комнаты, это, вероятно, было бы не сразу. И тогда папа согласился на предложение московского филиала Гипрогора переехать работать в Москву.

В Москве нас поселили сначала по Казанской дороге, в поселке Ильинское, в мансарде. Дом этот потом сгорел. А затем мы переехали в самый центр Москвы, был такой дом, где находились архитектурные мастерские: огромный корпус, залы, коридорная система. И первое время мы жили в этом алькове, а днем в мастерских работали.

***Н. Р. :** Жили все вместе? Ваша домработница Таня уже уехала, Вы жили вчетвером, с сестрой, с мамой и с папой... Вы там только спали, наверное...*

***Л. Г. :** Домработница Таня уже уехала, мы жили вчетвером: мама, папа и мы с сестрой. Мы там только спали... Сначала спали на столах...*

***Н. Р. :** А о Победе 9 мая Вы там узнали? Как это было, помните?*

***Л. Г. :** Ну... о Победе, замечательно было! Я тогда уже жила на улице Разина, где мы потом получили огромную комнату. Потом туда перевезли многих из разбомбленных домов в Марьиной роще. И плиты газовые стояли прямо в коридоре. У нас же кухня была в бывшей самоварной. Потом Гипрогор выстроил себе здание. Сейчас это улица Варварка. Я жила между Красной площадью и площадью Ногина. И высываясь из окна, мы видели Кремлевские куранты. Я жила как раз в самом центре, где проходили все демонстрации, и меня кто-то взял на первый послевоенный физкультурный парад.*

И в День Победы мы были на Красной площади, где действительно все обнимались-целовались. Я это все видела своими глазами.

Н. Р. : *А когда вели пленных немцев?*

Л. Г. : Когда немцев вели, я не видела. Сестра видела, а ее подруга даже обрушила на голову какого-то пленного немца кулаки. Она была латышка.

Н. Р. : *Латышка?*

Л. Г. : У латышки, как ни странно, было имя Эрика. Она моя родственница, я стала женой ее двоюродного брата. Ее звали Эрика Фрицевна. Мать, чтобы ее не смущать, кричала: «Эрика Францевна, идите обедать!». Когда она получила свой паспорт, на нее там недоуменно посмотрели, а она была очень остроумная женщина и ответила им: «Бывают Фрицы и советские!» – и с этим удалилась. Она высокая была, светлая... И с высоты своего роста она обрушила на какого-то немца, проходящего по улице Горького, свое возмущение. Но сестра Тамара вспоминала, что немцы проходили спокойно, некоторые их жалели и совали хлеб...

Н. Р. : *А Москва тогда уже нормально жила? В 1944 году, в 1945 году?*

Л. Г. : Москва жила нормально. В Москве уже давали по карточкам продукты, которых теперь нет. Я как сейчас помню свиные язычки, конфеты... Черная икра была доступна, по цене селедки. Мой отец работал в Гипрогоре, на Кузнецком мосту, в доме 20. Гипрогор по всему городу был разбросан, пока на Белорусском вокзале для них не выстроили здание. Потом он работал в Академии строительства и архитектуры. Мой отец много в жизни путешествовал: он был год на Камчатке, в Хабаровске... Это был институт по проектированию городов, неудивительно, что они строили Баку, чего они только не строили... Отец во всем этом участвовал, не зная отпуска. Ни отпуска, ни выходных дней. И мало того, поскольку с нами в коридоре жили и другие

гипрогоровцы, и некоторые высокопоставленные служащие из Госплана, тоже в таких же условиях, в таких же мастерских, то без конца, когда кончался рабочий день, они собирались и вновь обсуждали дела своего учреждения, политические проблемы, и все это я слышала. У нас была очень веселая и тесная семья, мы не жили замкнутым мирком. Все, кто работал, кому не могли сразу предоставить жилье, жили в этом огромном веселом коридоре.

Н. Р.: *А Девятое мая помните? Как Вы узнали о Победе? Все слушали радио? И ждали?*

Л. Г.: Да, все слушали радио и ждали Победу. Левитана все помнят... И все пошли... побежали на Красную площадь, поскольку она у нас была рядом. Я там была с сестрой и с ее подружкой... Там все пели, обнимались, танцевали... Понимаете, то, что показали в фильме «Летят журавли», это соответствовало действительности, это были святые минуты!

Ну, что еще конкретно? Я могу Вам только сказать, почему я была сломанный человек. Пережив все это... блокаду... как меня хотели выбросить из вагона, когда ехали в эвакуацию... Как я пришла в московскую школу, которая считалась одной из лучших в городе, и там ходили девочки с бантиками, которых бабушки кормили обедом, которые волновались – «отлично» или «хорошо» им поставили на уроке... Ну, что мне это все было? Я сразу почувствовала, что, так сказать, шагаю не в ногу. Какие у меня могли быть с ними общие интересы, когда я столько пережила, и объяснить им это я никак не могла...

ТЫЛ

Виктор Георгиевич Растянников

Родился 17 февраля 1928 г. в Москве
Окончил Московский институт востоковедения (1950)
Доктор экономических наук (1972)
Индолог, специалист по аграрным вопросам
Работал в ИВ РАН с 1955 г.
Главный научный сотрудник ИВ РАН
Ветеран Великой Отечественной войны, труженник тыла, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
Умер в 2015 г.

Наталья Романова: *Виктор Георгиевич, скажите несколько слов о Вашей семье.*

Виктор Георгиевич: Мои предки – крепостные крестьяне из Боровского района Калужской области, есть такой знаменитый монастырь... И были они монастырскими крестьянами. Родители – рабочие в первом поколении.

Н. Р.: *Это знаменитый Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь...*

В. Г.: Да, и своих крестьян монастырь освободил гораздо раньше 1861 года. Мои предки и со стороны матери, и со стороны отца жили на территории этой епархии. Мама примерно со времени Первой мировой войны и позже работала на ткацком предприятии ткачихой. Это была наиболее

распространенная отрасль промышленности в то время. Отец работал в «Мастязжарте» (Мастерская тяжелой артиллерии), потом стал слесарем по ремонту ткацких станков. Нас в семье было трое. Я – старший, моя сестра помоложе меня на полтора года, а брат младше меня уже на девять лет. Когда началась война, мне было тринадцать. Я пошел на работу в ремесленное училище, это было 2 января 1942 года. Ремесленное училище поставляло кадры для нынешнего электрокомбината (он и до войны назывался электрокомбинатом); тот, который расположен на Электrozаводской улице в Москве. На этом электрокомбинате в годы войны было образовано четыре предприятия, я работал на двух – завод 624, бывший трансформаторный, и завод 632, бывший электроламповый. Они были тогда оборонными заводами. Инструментальный цех трансформаторного завода был моим первым испытанием. Там я обрабатывал заготовки для танковых динамо. Высверливал окна в матрицах для пуансонов. Второе, что я делал, – это так называемые плашки, которыми резьбу делают, по четыре раза я просверливал каждую из них. Это тоже была моя работа. Большую часть времени я проводил у сверлильного станка, а это довольно тяжелый труд.

В ремесленном училище нас прикрепили к этому заводу. Оттуда в армию забрали довольно много людей в Отечественную войну. И чтобы кадры не прерывались, пока женщин научат... Вот мое поколение 14-летних мальчиков и встало к станку. Считалось, что через три месяца учебы мы овладеем азами слесаря-инструментальщика. Знаете, как их пекли, специалистов? Как блины пекли... И нас выпускали на эти самые заводы. Конечно, там был мастер, который приглядывал за нами.

Н. Р.: *А по сколько часов Вы работали?*

В. Г.: Я работал по 6 часов. Один час – перерыв. Это до шестнадцати лет. После шестнадцати лет я стал работать уже

по 8 часов. Вообще, я работал до семнадцати с половиной лет, до того как пойти в 10-й класс. Меня с завода отпустили. Из армии уже стали приходить люди: те, кто демобилизовался, и я уже не был столь нужен, как, скажем, в начале войны. Работа на заводе была монотонная. А человеческая память так устроена, что остаются только пятна воспоминаний, яркие эпизоды или вспышки. Поэтому четко могу сказать, чем я занимался, когда и как, но никогда не вспомню, какое именно событие было для меня существенно важным, когда работал на заводе. Бывали случаи, когда работал без выходных дней. Ничего не поделаешь, так нужно было.

Знаете, какие у нас потери танков были? О них я стал узнавать, когда начал читать литературу о Великой Отечественной войне. Громадные потери были. В Третьей танковой армии маршала Рыбалко за три-четыре месяца боев состав мог смениться и наполовину, и на две трети, а иногда почти целиком! Но и успехи были большие. Я, честно говоря, когда отчет о Третьей армии прочитал, мне не очень хорошо стало. Третья армия Рыбалко – одна из лучших танковых армий Великой Отечественной войны, которая входила в состав фронта Конева, в 1-й Украинский фронт.

Н. Р.: *А как Вы решили стать востоковедом? Вы – рабочий парень, стояли у станка и вдруг оказались известным экономистом, индологом...*

В. Г.: Хорошо, хорошо! (*Смеется.*) Очень правильный вопрос. Люди моего поколения были очень любопытны и любознательны. Я, между прочим, в это время уже покупал книги, как бы это ни показалось странным. В 11–12 лет начал покупать военно-морскую литературу, потому что я хотел стать военным моряком. Деньги на эти покупки выделяла мама. У меня до сих пор от того времени сохранились книги. Не все, но наиболее любимые, такие как «Суда-ловушки», «Оперативно-тактические взгляды германского военно-морского

флота», книга Крылова «Потери кораблей от артиллерийского огня». Крылов был знаменитый академик, специалист в области стали... Я все эти книги сохранил, вместе с заводским пропуском, который я Вам показал. Эти реликвии у меня сохранились до сих пор.

***Н. Р. :** Вы знаете, я сама сохранила книги своего деда, он был танкистом, генералом, полжизни отдал советским танкам... Рука не поднялась выбросить книги, еще самими авторами деду подписанные.*

В. Г. : Ни в коем случае нельзя этого делать!

***Н. Р. :** Ну, вернемся к Востоку. Все-таки Вы стали ученым, а не моряком. Так почему у Вас возник интерес к Востоку?*

В. Г. : В пятнадцать лет я увлекся приключенческой литературой и стал ее собирать. Тогда был целый ряд изданий, например, такого видного книгоиздателя, как Сойкин, затем был Сытин... Это те, кто издавали приключенческую литературу.

***Н. Р. :** Но это же старые книги, дореволюционные!*

В. Г. : Конечно, дореволюционные! Я эти дореволюционные издания и собирал.

***Н. Р. :** Во время войны?*

В. Г. : Во время войны, представьте себе! Я был настолько фанатиком, что даже в голодное время продавал хлеб (продавал по 200 граммов хлеба), чтобы купить роман Жюль Верна! Я собрал Жюль Верна почти полностью. По Сойкину, у него было около 60 романов, и почти все я собрал. Это было издание Сойкина, кажется, 1913 года. Был в Москве такой специальный рынок, «толкучка», на пересечении Пушкинской улицы и Камергерского переулка. Тогда это было доступно, люди продавали и покупали книги. Я как

раз в тот период собрал еще сочинения такого писателя, как Луи Жаколио (*Смеется.*), у которого есть роман «В трущобах Индии». Сейчас он называется «Покоритель джунглей», а тогда Сойкин его так перевел. Я этот роман прочитал и был потрясен тем, что собой представляла Индия, какие там были тайны... Секта тугов-душителей и так далее, словом то, что впоследствии оказалось выдумкой красивой. Там было описано сипайское восстание – великое национальное восстание... Я был увлечен. Поэтому я решил, что в дальнейшем хочу заниматься Индией.

Н. Р. : *Вас эта книга так потрясла?*

В. Г. : Совершенно верно – именно так, как бы ни казалось это странным. Еще был целый ряд и других книг. Например, «Пожиратели огня», это тоже Жаколио, его австралийские экскурсии. Майна Рида читал. Но самое главное – я решил стать востоковедом и заниматься Индией именно под влиянием этого Жаколио. В школе я учился хорошо. Но с первого раза в индийскую группу меня не приняли, естественно. Я провалился на первом экзамене, на сочинении. Ну, откуда мальчик с завода мог усвоить русский язык, чтобы писать грамотно? Я писал довольно грамотно, но сделал две ошибки, к сожалению, грамматических. И за это мне поставили тройку на экзамене.

Н. Р. : *Куда Вы поступали, Виктор Георгиевич?*

В. Г. : В Московский институт востоковедения (МИВ) в 1946 году. Я набрал 23 балла из 25, и это были высокие баллы, меня зачислили на первый курс Ближневосточного факультета и определили на Афганистан.

Н. Р. : *Не Индия, прямо скажем!*

В. Г. : Не Индия, а я очень хотел на Индию. А потом целый ряд обстоятельств помогли мне перейти в индийскую группу.

Н. Р.: *А что, там был такой большой конкурс?*

В. Г.: Конечно, был. Тогда уже пришли с войны, с фронта. В моей группе было восемь человек с фронта и всего лишь три парня таких, как я. Фронтвики тоже сдавали экзамены, им надо было лишь сдать... Короче говоря, все люди сидят с орденами и медалями, и я, такой мальчик маленький... Вы видели мой пропуск, фото, я не очень изменился с тех пор. (*Смеется.*)

Н. Р.: *Вы там очень симпатичный, но совсем ребенок, мальчишка! И стояли у станка...*

В. Г.: У станка, конечно. Но у меня сохранилась другая интересная справка. Это 1944 год. Всеобуч. Меня готовили в солдаты. Это справка, которую я очень берегу и ценю. Просто потому, что я должен был пойти в армию, меня должны были призвать в 17 лет в 1945 году! Вот так... Видите, 150 часов обучения. Конечно, 150 часов там не было, но 75 часов там было. Я овладел пистолетом-пулеметом Шпагина достаточно хорошо. Ну, как – овладел: сборка-разборка и так далее...

Н. Р.: *А какое самое яркое воспоминание о войне?*

В. Г.: Представьте себе, оно связано не с моей работой на заводе, а с тем, как я посетил родную деревню в Подмосковье, только что освобожденную от немцев. Я поехал туда вместе со своей мамой. Ей дали пропуск на фабрике, где она работала ткачихой. Она очень хлопотала, потому что у нее там жили ближайшие родственники, мои дедушка и бабушка, ее отец и мать. Пропуск был на троих – с нами еще поехала моя двоюродная сестра. Поезд ходил только до города Наро-Фоминска: Москва – Наро-Фоминск, а деревня находилась в Калужской губернии на стыке Московской и Калужской областей.

Н. Р. : *Какой это был месяц, не помните?*

В. Г. : Я помню не только месяц, но и день! Под Москвой наступление на немцев началось 5 декабря 1941 года, и нашу деревню освободили где-то в конце декабря. 12 января 1942 года мы с мамой уже поехали посмотреть, что там осталось... До Наро-Фоминска – 70 километров, и оттуда нам нужно было пройти пешком в мороз (примерно минус 20–25°) по просеке, которая шла в сторону дороги Балабаново–Боровск. По этой просеке ездили на лошадях, телегах... я это точно знаю.

Н. Р. : *Удивительно, но я знаю эти места. У меня недалеко там дача. Там весь лес изрыт окопами и воронками от снарядов. Там шли страшные бои!*

В. Г. : Вот, я Вам скажу, как она выглядела тогда, в январе, во время войны. Я по этой просеке ходил всего три раза в жизни. Один раз летом и два раза зимой. Была очень морозная зима: огромные сугробы, очень много снега. Это, вообще, известная вещь, что первая военная зима была очень холодная. 12 января мы поехали в нашу деревню и должны были пройти 20 километров по этой просеке, там оказалась протоптанная тропинка, и дойти до деревни Митяево, она как раз находится в 20 километрах от Наро-Фоминска, и оттуда уже полтора километра до нашей деревни Башкардово.

Что меня тогда поразило? Там шли страшные бои... Солдаты убрали трупы наших бойцов. Но, когда мы проходили мимо, я увидел торчащую из снега руку, серую, в рукаве... обшлаг сизый, немецкая летняя одежда. Торчит рука немецкого солдата. Дальше – каска валяется, потом – вот такая морда видна из сугроба. И это меня потрясло... Честно скажу, я вообще впечатлительный, и на меня это не очень хорошо подействовало, чисто психологически. Их, конечно, потом

всех захоронили, так как весной там невозможно было бы ходить совершенно!

Н. Р. : *А сколько часов Вы шли?*

В. Г. : Примерно пять часов... Маме было около 40 лет, она из крестьянской семьи, довольно крепкая тогда была. А я – 13-летний мальчик, который никогда не болел и свободно мог передвигаться на большие расстояния. Плюс сестра моя двоюродная тоже была такого же типа. И мы в такой компании спокойно дошли. Ну, как – спокойно? Устраивали привалы, но, по-моему, всего раза два отдыхали, не больше, и то минут по пять, наверное. Хорошо, что тогда тропа была! Она нас здорово выручила, иначе мы просто не смогли бы пройти!

А когда мы пришли в нашу деревню... Деревня была сожжена практически полностью. Только трубы одни стояли. Лишь несколько домов осталось, не то что каменные, а глиняные, мазанки, из камня сделанные. Они остались целы, кроме крыш, разумеется... Вот это для меня самое трагическое как раз и было, посещение моей деревни.

Н. Р. : *И внутри, конечно, все сгорело...*

В. Г. : Внутри, да. Когда мы увидели бабушку с дедушкой, они сказали, что немцы их всех, поскольку шли бои, отправили в село Федотово и согнали в местную церковь. А там оставались только старики и дети, которым некуда было деться. Примерно два с половиной километра нужно было туда идти. Что еще меня больше всего поразило? Сгоревшие избы. Их, оказывается, немцы специально поджигали. Была такая команда поджигателей, которая, когда немцы уходили, полностью выжигала всё, чтобы нашим солдатам негде было остановиться. Они о жителях меньше всего думали. Но они не успели сжечь всё-таки нашу баньку, которая была два на два или два на три метра. Она стояла у ручья, примерно в двухстах метрах от нашего дома... Вот

там дедушка с бабушкой тогда и жили. Это была изба, которая по-черному топилась...

Потом я понял мудрость приказа нашего командования, что все поджигатели заочно приговариваются к расстрелу. Как только вы почувствуете запах бензина на руках или от одежды кого-то из немцев, взятых в плен, немедленно уничтожайте их. Это поджигатели. Им нет пощады! Это преступники, которые покушаются на то, чтобы уничтожить не наших солдат, а мирное население целиком... Я убедился в этом.

Н. Р. : *А сколько человек жили в вашей деревне?*

В. Г. : Она средняя была, порядка 60–70 домов. Может быть, даже меньше. Я просто помню по колхозному собранию, поскольку мне иногда приходилось там присутствовать. Там все взрослые были. Женщины приходили, мужчины, все, кто там жил. Человек 70–80 приходили, не все, конечно.

Н. Р. : *Ну, приходил, наверное, кто-нибудь один от семьи.*

В. Г. : Приходили все! Всем всё было интересно! Ну, что Вы, это же информация все-таки!

Н. Р. : *А что с деревней после войны стало? Она осталась?*

В. Г. : Конечно! Ее всю от начала до конца отстроили! Выдали деньги... В 1947 году все уже новое стояло. Дома пахли свежим деревом: елью, иногда – березой... Все восстановили! Мои дедушка и бабушка со стороны отца получили полностью новую избу. А мамины родители, к которым мы приезжали, вскоре умерли: один в мае, другой в июне, не помню, кто из них раньше умер.

Н. Р. : *Это в каком году случилось, в 1947-м?*

В. Г. : Нет, нет. Они умерли в 1942 году. Я могу понять, отчего они умерли, почему не выдержали. Физиологически

и психологически такой надрыв был! Дедушка и бабушка привыкли к традиционному укладу жизни, к ритмичному, спокойному... И вдруг обрушилось такое несчастье.

Н. Р. : *Полное разрушение всего, всей жизни...*

В. Г. : Полное, абсолютное, абсолютное... Они могли только иногда говорить, что они пережили... Мама только плакала. Ну, понимаете, когда такое встретишь... Мы думали, что они могут с ума сойти. Деревни не осталось как таковой... Мы только понимали, что они не умрут с голоду. Почему? Потому что, когда наши наступали, убили немецкую громадную лошадь прямо в палисаднике нашего разрушенного дома. Я лично ее рубил топором, отрубал от нее куски... До сих пор помню, насколько вкусным было это мясо после хронической голодовки. Великолепно! Просто великолепно! Но, оказывается, через некоторое время мимо проезжала какая-то наша воинская часть, и эту лошадь они забрали, не считаясь со стариками, которые где-то на обочине, за двести метров в бане жили... Так они лишились последнего.

И еще вторая вещь, которая меня тоже потрясла. Мне перед войной купили пиджачок. Мне, 13-летнему маленькому мальчику, купили хороший пиджачок, с карманами. Так вот, когда я пришел в деревню, пиджачок мой остался цел, он не был уничтожен, из него только были выдраны рукава... Немцам, которые у них жили, почему-то они понадобились! (*Смеется.*)

Н. Р. : *А что с жителями стало?*

В. Г. : Жители потом вернулись, но не все вернулись. Многие умерли, дедушка с бабушкой говорили, прямо там, в церкви. Было сыро и холодно, еды было очень мало. Когда вернулись, все запасы были уничтожены, хотя наши снабженческие организации каким-то продовольствием

их обеспечивали, но не думаю, что это было в достаточном количестве, поскольку 1942 год был один из самых трудных в истории нашей Родины. Так мне кажется...

Н. Р.: *А что они Вам рассказывали? Как жили при немцах?*

В. Г.: Они не рассказывали. Не могли. Они только говорили, как они жили в этой церкви... Больше молчали. Это было для них настолько сильное потрясение, что такая реакция объяснима. Я только потом осознал, насколько это было страшно. Мама всё время плакала после того, как они увиделись, а те просто не могли ничего сказать... Всё это очень тяжело было. Погибли они не оттого, что было плохо, что остались ни с чем, а именно из-за того, что стресс сильный пережили и в конечном итоге они так и не смогли от него оправиться.

Дедушку с бабушкой со стороны отца мы не увидели, они где-то скрывались. Но впоследствии они вернулись. А мы должны были спешно возвращаться в Москву, тогда с пропусками очень строго было. Если вовремя не вернешься, какие-то санкции последуют. И на другой день мы опять прошли тот же самый путь – 20 километров – и к вечеру были на станции Нара.

Н. Р.: *А какой был Наро-Фоминск тогда, зимой 1942 года, помните?*

В. Г.: Ну, что я запомнил? Недалеко от вокзала была фабрика старинная – огромная ткацкая фабрика. Вот она пострадала: было выломано что-то, трещины громадные, везде выбиты окна, полуразрушенные дома... Некоторые дома очень сильно пострадали. Это был прифронтовой город, конечно, он сильно пострадал...

Вот еще: Вы всем задаете вопрос, что Вы делали в момент объявления Победы? Правильно? Я помню только одно – к нам приходила дочь подруги моей матери,

и они беседовали, все радостные были, веселые. И вечером я пошел ее провожать, когда начались салюты. И салюты были из одной тысячи двадцати четырех орудий. То есть они длились довольно долго. И было огромное количество фейерверков, огромное количество огней. Это даже на нашей захудалой улице было видно!

Н. Р. : *А где Вы жили тогда?*

В. Г. : Я жил недалеко от Бакунинской улицы, на Почтовой. Мы шли вдоль электрокомбината до Преображенской площади, и был этот салют! Это то, что я запомнил. И еще помню состояние эйфории. Все время было напряжение какое-то, подспудное, я только потом это осознал, а потом вдруг сразу эйфория – всё кончилось! Всё кончилось! Победа! Такая радость, знаете! Я испытал это чувство дважды. Первый раз, когда по радио передали о том, что клещи замкнулись у Сталинграда и немцы попали в окружение, со своей огромной армией. Вот тогда это на меня подействовало очень сильно, радость была необычайная. Потому что напряжение все военное время было очень сильное. Я все время был уверен в том, что мы победим, мы победим, мы победим! Меня сестра упрекала за то, что я слишком часто упоминаю все, что «скоро будет наша победа!». Но, тем не менее, внутреннее напряжение было у всех. Я помню это чувство эйфории, когда Левитан передал, что замкнулись клещи наших фронтов. Это было очень сильное психологическое, очищающее воздействие.

Н. Р. : *А второй раз?*

В. Г. : И второй раз – это Победа! Это самое сильное мое переживание. Потому что о других городах мы только знали: освободили, освободили, освободили. Это всё давало импульсы радости, успокоения, уверенности. Но такое сильное состояние эйфории было именно в эти два дня.

Н. Р. : *И еще, Вы обещали рассказать о быте во время войны.*

В. Г. : Да, всю войну я безвыездно жил в Москве. Первый раз нас переселили зимой 1941–1942 года в корпус, где была котельная, и поэтому мы там не замерзали. Там очень хорошо топили, а зима тогда была очень морозная. Так мы всей семьей спаслись от холода. Но зима 1942–1943 года – совершенно другое. Мы вернулись в свою комнату, в которой не работал водопровод, полностью отключено тепло. А жили мы на четвертом этаже и нам приходилось все время носить воду. Мы поставили буржуйку и топили. Дрова нам давали по разнарядке, у нас на кухне все это было складировано. Представляете, кирпичный дом и там складированы дрова. Вши были, никуда от них не денешься... Мы их утюгом уничтожали, обрабатывали утюгом по швам. А утюг был на угольках. Газа тогда тоже не было. Две керосинки у нас были. Вот в таких условиях мы и жили. И я еще занимался по учебникам шестого класса, хотел шестой класс пройти самостоятельно дома, чтобы сразу в седьмой поступить... Когда отключали электричество, приходилось заниматься при коптилке. А потом я учился в школе рабочей молодежи.

Н. Р. : *А питались вы как?*

В. Г. : Еда? Еда была по карточкам, регулярно. Я, как рабочий, получал 600 граммов хлеба; сестра пошла на завод, где сколачивали специальные ящики для хранения мин. Там была целая группа молодежи, которая занималась этой работой. Ей в 1943 году исполнилось 14 лет, поэтому она уже могла работать и тоже имела карточку на 600 граммов. А я в 1944 году был переведен с одного завода на другой по разнарядке ремесленного училища. Когда пошел в 10-й класс (это уже был 1945 год), уволился с работы. Почему? Потому что фронтовики стали возвращаться из армии. У нас ведь тогда девятимиллионная армия была. И многие демобилизованные

стали возвращаться, и меня уже можно было отпустить, а иначе я должен был бы еще три года на заводе отработать. В 1946 году я закончил школу и мог поступать в институт. Вернулся домой отец. Он был в зенитной батарее.

Н. Р. : *Про отца расскажите! Его когда призвали?*

В. Г. : Сначала было так: после 16 октября 1941 года, когда была большая паника в Москве, вышел приказ, что немцам ничего не должно достаться в случае сдачи Москвы, и нужно было разрушить отцовскую фабрику. Каким образом можно было эту фабрику разрушить? А отец на ткацкой фабрике работал. Ее не стали взрывать, а дали молодцам, которые на фабрике работали, даже не отбойные молотки, а кувалды, которыми стали рубить, портить валы (трансмиссию). Валы – это то, что приводило в движение линию этих ткацких станков. От мотора отходили как раз эти самые валы. И отец тоже рубил, уничтожал эти самые валы, работники сами действительно это сделали. После этого с отца сняли бронь и в октябре его взяли в армию.

Их поместили в Чернышевские казармы, где-то в районе Парка культуры имени Горького. Там они пробыли недолго. Поскольку армия у нас тогда терпела поражение, один военный котел следовал за другим, кадровая армия была почти полностью уничтожена. Из пяти миллионов человек примерно три миллиона сразу попали в плен, это по официальным данным. Поэтому с армией было плохо, и пришлось маршевые роты посылать в те части, которые еще действовали на фронтах. И отца послали туда.

Он мне рассказал совершенно удивительную вещь. Тогда было плохо с вооружением. Как это ни странно, но это было действительно так. В их маршевой роте насчитывалось 150 человек. Послали их в район Можайска, причем пошли они туда практически безоружные. Объясняли им так: там наверняка кого-нибудь убили, вы заберете это оружие, и оно

будет ваше. Они пошли. Это далековато, километров 100... А пространство-то было голое. Отец рассказывал: «Мы пришли, а нет ни одного человека, к кому можно было бы обратиться! Никого! Кому доложить, что прислали маршевую роту...» И после того, как они не нашли ни-ко-го, я еще раз подчеркиваю, меня потрясло это больше всего, – *никого*, к кому можно было бы обратиться и встать в строй... Их отправили обратно в Чернышевские казармы.

Н. Р. : *И сколько же времени они так ходили и искали?*

В. Г. : Примерно недели две или дней десять...

Н. Р. : *А как они питались?*

В. Г. : У них с собой какой-то сухой паек был... И они за это время не смогли найти никого, кто бы сказал, к какой им части присоединиться. И они вернулись обратно в казармы, и их старший доложил начальнику этой казармы о произошедшем. После этого отец, который был артиллеристом, был направлен служить под Москву в зенитную батарею, подносчиком снарядов. И там он прослужил всю войну. Защищал небо над Москвой. Начал войну простым солдатом, а закончил в звании ефрейтора.

Н. Р. : *А он к Вам домой не мог приходить? Он же недалеко от Вас служил?*

В. Г. : Нет, ну что Вы! Это было невозможно! Мама к нему иногда ездила. Не разрешали, но договаривались, как обыкновенно. Командиру подразделения непосредственно бутылку водки приносили, и он отпускал на свидание с женой на два часа такого-то ефрейтора! (*Смеется.*)

Н. Р. : *А военные награды у него были?*

В. Г. : Да, награды были: «За победу над Германией», «За оборону Москвы», еще другие медали были...

Н. Р.: Скажите, пожалуйста, как Вы узнали о том, что началась война? Помните, что Вы делали в этот момент?

В. Г.: Могу сказать: мы с отцом – это было воскресенье, по моему, – утром пошли в баню. Воскресенье! Мне это безразлично было, а для отца это был ритуал – либо в субботу вечером, либо в воскресенье утром. В данном случае пошли в баню в воскресенье. Идем обратно по дорожке, там у нас была такая Молочная горка, не знаю, почему она так называлась, такой маленький спуск... И где-то там, я не помню, к столбу у нас привязывали громкоговорители... Голос (позже я узнал, что это был голос Левитана) мужественно, твердо говорил, что началась война, что немцы коварно напали на нас без объявления войны. Так в этот день, 22-го числа, в 12 часов дня я услышал о начале войны. Тут же сразу появилась масса людей, все говорили только об этом. Слухи, кстати, о войне даже раньше распространялись. Я понял из этих слухов, что в самом деле война возможна.

Н. Р.: Тем более после Финской войны, да? Было ощущение, что будет война?

В. Г.: Конечно, конечно. Вообще-то, что будет столкновение – такое ощущение витало в воздухе, в народе все время было... Конечно, я рефлекторно все это мог чувствовать... Ухватывал все это дело, конечно. Когда мы пришли домой, конечно, обсуждение уже началось. (*Вздыхает.*) Мама особенно переживала.

Н. Р.: Ну да, понятно, Ваш отец попал под призывной возраст...

В. Г.: Отцу было уже тогда 40 лет.

Н. Р.: А Вы не помните Ваши ощущения тогда? Многие говорят, что, когда пришло известие о начале войны, не было

чувства ужаса. Думали, что это будет буквально месяц-два – и все быстро закончится. Не ожидали, что это будет такое страшное испытание и так надолго. У Вас было ощущение катастрофы?

В. Г. : Нет, нет, нет, не было.

Н. Р. : *В Москве?*

В. Г. : Я не знаю, как в других местах... В Москве, во всяком случае – из того, что мог усвоить мальчик в возрасте тринадцати лет, который был патриотом своей страны, причем яростным патриотом, и который все-таки не верил в то, что будет такая война, думалось, что через два-три месяца или полтора-два месяца война закончится. Моя сестра допускала некоторые сомнения. Но она была моложе меня. Ей было одиннадцать лет. Мама молчала, никогда ничего не говорила. А я все время говорил, что все равно победа будет наша. Потом, когда мы оставили Минск, под Смоленском были длительные бои, родилось ощущение общенациональной трагедии.

Н. Р. : *Это было уже потом, а когда началась война, первый день...*

В. Г. : Нет, нет, нет!

Н. Р. : *Вы знали нашего Бориса Николаевича Гашева?**

В. Г. : Знал, да.

Н. Р. : *Вот он рассказывал, что, когда они услышали о том, что будет война, а их сразу взяли на курсы стрелков, все почти что обрадовались! Думали, что война будет месяц-два, они дойдут до Берлина, посмотрят Европу, на девчонок немецких посмотрят... А жил он в городе где-то на Урале...*

* См.: Б.Н. Гашев, глава «Фронт».

И для них это была возможность выехать куда-то, мир посмотреть, Европу... Может быть, для Москвы это не так ценно было, а для них, в провинции, в глубинке, это была возможность посмотреть мир... И у нас такая великая армия, мы их всех разобьем моментально!

В. Г. : Ну, я думаю, во-первых, он черпал свои сведения из той среды, в которой он оказался: это были курсанты и так далее... Во-вторых, наверняка их там и воспитывали соответствующим образом – что мы в течение... месяца-двух... разобьем немцев. (*Смеется.*) Вот, примерно так. Я думаю, это в какой-то степени и наложило свой отпечаток.

Н. Р. : *А вот такой вопрос: скажите, пожалуйста... Ваше отношение к Германии, какое у Вас было до войны, во время войны и сейчас?*

В. Г. : Ну, во-первых, мы этому заявлению ТАСС, конечно, не поверили – то, что немцы наши друзья и так далее и что они проводят плановую передислокацию войск.

Н. Р. : *Когда было это заявление ТАСС?*

В. Г. : Заявление ТАСС было 15 июня, по-моему, где-то за неделю до начала войны. Это было заявление ТАСС о том, что «ходят слухи относительно того, что немцы могут напасть на Советский Союз. В связи с этим мы должны объявить, что у нас договор с Германией. Мы не можем исходить из того, что они могут на нас напасть...» и так далее, в таком вот духе... Это как раз очень важный фактор, понимаете? Короче говоря, моя мысль состоит в том, что никто в договор о дружбе с Германией не поверил в то время. Не то, чтобы никто не поверил, но, во всяком случае, было большое сомнение. «Как же так, – люди говорили, – как же это, с немцами... с фашистами, мы будем дружить?». Потому что мы уже были так воспитаны, что с фашистами дружить не будем.

Что-то непонятное было с заявлением ТАСС. Во всяком случае, я не сказал бы, что мы были уверены в том, что это заявление ТАСС является истиной какой-то, вот.

Н. Р. : *Виктор Георгиевич, Вы не ответили... Ваше отношение к Германии. Все очень по-разному отвечают на этот вопрос.*

В. Г. : Я тогда поддавался влиянию очень многих факторов и очень многих мнений. И вот одно из таких мнений высказал товарищ Левитан, который процитировал Илью Эренбурга по радио. Суть состояла в том, что если встретишь немца – убей его! Немец приносит то-то – убей его! Убей немца! Я лично слышал это по радио... После этого транслировали выступление Сталина, суть которого состояла в том, что Советская страна борется с фашизмом, а не с немецким народом. Немецкий народ был, есть и будет. Среди них есть рабочие, крестьяне... Это было где-то в октябре либо в начале ноября. Это тоже передавали по радио. Чтобы понять эту позицию, скажу лишь, что немцы, по существу, были изуверами. Когда они оккупировали какую-то часть территории нашей страны, то принесли столько разрушений, которые не были оправданы военной необходимостью как таковой...

Н. Р. : *Жестокость, неоправданная жестокость, да.*

В. Г. : По существу, это был геноцид. Я могу Вам рассказать, что мне рассказал молодой парень (он был чуть постарше меня, 1925 года рождения), демобилизованный солдат, родственник нашей соседки, который остался жив. Он пришел к ней в 1945 году... Что немцы сделали – у него под Волоколамском сожгли деревню, убили его тетку, убили его мать... Вот с этим багажом он пошел на войну. Когда он подошел к самому Берлину и увидел, как немцы, жители какого-то дома, спрятались в подвале, он подошел и дал сразу автоматную очередь по всем ним. Почему? Потому что у него убили

всех. Он говорил: «Дал очередь прямо по этим самым... Вот вам, будете знать... Узнаете, что это такое». Вот такая вот вещь была. Я был потрясен именно тем, что это не жестокость сама по себе: у него это была месть. Было желание отомстить.

Н. Р. : *Солдат жил с этим чувством три года, и когда он получил возможность, он это сделал.*

В. Г. : Нет, эти годы он воевал против фашистских захватчиков. Я точно не знаю, просто вспомнил, что я увидел в нашей деревне... в которой мои бабушка и дедушка умерли от голода и шока... которых выбили полностью из их жизненного уклада, убили, уничтожили, собственно говоря... Хотя они умерли своей смертью, но, по существу, они были убиты...

Н. Р. : *Уничтожены тем, что с ними сделали...*

В. Г. : Да, да. Я человек довольно мирный... Но после этого я сказал, что это правильно, – поджигателей надо немедленно уничтожать на месте. Это оправданно. Не надо их брать в плен. Только почувствовали бензин – услышали, так сказать, запах – расстрелять! Этот приказ был оправданно отдан. Я поступил бы точно так же...

Н. Р. : *Вам приходилось много работать, а удавалось следить за ходом боевых действий?*

В. Г. : О, это отдельная история! Понимаете, я в тринадцать лет повесил карту и на этой карте синим карандашом, синим, обратите внимание, отмечал наши удары по немцам. А когда немцы били (у меня не было другого карандаша, тем более контрастного), отмечал красным. Представляете себе? Потом, когда мне сказали, что могут быть последствия из-за того, что я неправильные карандаши ставил туда-сюда, я уничтожил эту карту. Ну, представьте себе: фронт, движение немцев – красными стрелами... Глазами

постороннего человека – это был ужас, наверное! А мне просто удобно было, синий – хороший карандаш был, только по этой причине.

Н. Р. : *Интересный факт.*

В. Г. : Интересный. Для меня был такой «висящий» факт, я бы сказал, нависающий... Ну, тринадцать лет только мне было, но все равно – мама тогда могла бы пострадать, все что угодно могло случиться в такую пору. Представляете себе?

Н. Р. : *Только потому, что неправильно выбрали карандаши, красный цвет для немцев... Но Вы не сказали о Вашем отношении к Германии. То есть месть, озлобленность – я поняла, а вот отношение к Германии после войны? Оно изменилось?*

В. Г. : Ну, во всяком случае, не было никакого дружелюбия. Разве что только через много лет...

Н. Р. : *Люди очень разное говорят. Один человек говорит, что с удовольствием поехал в Германию, в Берлин, дружил с немцами... Другой, наоборот, сказал, что никогда в жизни не ступал на землю Германии, никогда не был в немецком посольстве, хотя его туда звали, ничего им не простил, ничего не забыл...*

В. Г. : Да, я могу его понять. Сам я ездил в ГДР, когда была нужда, два или даже три раза. Командировки были, конференции и так далее. Общался очень свободно и легко. Для меня это было прошлое – конечно, трагическое очень прошлое. Но все равно, это тяжелое прошлое таким бульжником, такой глыбой лежало между отношениями двух народов, да. Хотя, с другой стороны, общался я со всеми моими немецкими коллегами, с которыми свела судьба, очень хорошо: прекрасные были отношения, беседы шли легко. Не вспоминали мы того, что происходило сорок и более лет тому назад, когда была война. Тем более что они родились уже

после окончания войны. Так что я не был таким экстремистом в этой области.

Н. Р.: *Часто спрашивают: можно ли привыкнуть к войне? Говорят, что человек привыкает ко всему, а к войне?*

В. Г.: Нет. Война вторгается в вашу психику цепью ужасных событий: через хроническое голодание, через невозможные бытовые условия, похорожки в разрушенные семьи. Вообще, страшное это чувство – осознание массовой гибели людей нашей страны. И конечно же, то, что я лично видел... До сих пор передо мной торчит та немецкая рука из сугроба. Замороженная рука, я даже до сих пор ее вижу, и этот изгиб руки... В нескольких метрах от меня это было...

Н. Р.: *А вот такой еще вопрос: Парад Победы? Помните что-то о Параде Победы?*

В. Г.: Нет, не помню. К сожалению, 24 июня я на Красной площади не был.

Н. Р.: *Какую роль в Вашей жизни сыграла война? Что она для Вас значила, как она на Вас повлияла, на Ваше мировоззрение, на Вашу дальнейшую судьбу?*

В. Г.: На мою судьбу она никак не повлияла – вернее, на мою персональную судьбу... У меня, конечно, были потери: дядя, например, второй дядя, мои ближайшие родственники пострадали в эти самые годы... Я работал тогда и не считал, что это какая-то особая моя заслуга. Наоборот, считал себя включенным в активную жизнь общества. Я произношу сейчас слова, которыми я не мыслил тогда, естественно, но я осознавал, что причастен к этому самому великому действу. Я работал на Победу. Это было действительно так. Учился я потом в институте – то же самое все было, общался с ребятами. Я с удовольствием все это делал. Но с точки зрения личной, персональной – у меня не было

ощущения, что война изменила мою жизнь и я стал другим человеком... Я остался тем, кем я был...

***Н. Р. :** Люди, которые в детстве пережили блокаду, рассказывали, что они стали после блокады другими людьми... Они были веселыми, обычными детьми, а после блокады стали совершенно другими... Одна из блокадниц призналась, что осталась пессимистом на всю жизнь...*

В. Г. : Правильно, совершенно, абсолютно... Дневник девочки-блокадницы Тани Костериной не раз публиковался. И всем врезались в память ее слова: «Умерли все. Осталась одна Таня». Она умерла вскоре после того, как ее вывезли в Кострому.

***Н. Р. :** Недавно одна газета опубликовала потрясающие страницы из дневника, который случайно нашли несколько месяцев назад на помойке в Санкт-Петербурге... Потрясающей силы дневник, дневник блокадницы, она пишет, как умер один ее ребенок, второй... Обычный дневник, страшный в своей обыденности и простоте. В газете дали несколько больших выдержек из него... Сильнейшее впечатление оставляет.*

В. Г. : Понятно, понятно.

***Н. Р. :** А вот такой вопрос: Ваше отношение к Сталину – до войны, во время войны и сейчас – оно как-то изменилось?*

В. Г. : К Сталину... как сказать... Это сложное отношение, не так все просто. Я, во-первых, считаю, что Сталин являлся той мобилизующей силой, которая в конечном итоге оказала огромное влияние на положительный исход войны. Сталин был организатором и...

***Н. Р. :** Главнокомандующим?*

В. Г. : Ну, не только главнокомандующим... Как раз здесь, может быть, главные решения ему подсказывали маршалы

Василевский и Жуков. А с точки зрения того, что Сталин за пределами собственно главнокомандования вместе с тем являлся организующей силой – это несомненно. С другой стороны, я узнал впоследствии о таком обилии политических репрессий, в том числе против командных кадров. И в этом отношении Сталин для меня стал преступником, как мы охарактеризовали бы его в нынешних понятиях. То есть я должен был примириться с мыслью о том, что преступник, который находится у власти, может руководить государством для решения насущнейших задач самой жизни Советской страны. Я понял это, когда был еще студентом, это были 1948–1950 годы. В этот период у меня произошел перелом по отношению к Сталину (Сталин был еще жив). И для меня проблема состояла в том, чтобы примирить две, казалось бы, непримиримые вещи: Сталин, с одной стороны, возглавлял режим политических репрессий, а с другой – был идеологом и организатором той великой Победы, которую мы осуществили. Точно так, как скульптор Эрнст Неизвестный сделал памятник Хрущеву, помните его памятник на Новодевичьем кладбище?

Н. Р. : *Да, половина черная и половина белая.*

В. Г. : Вот примерно и здесь то же самое. Потому что иного варианта я совершенно не вижу... Тут борются две тенденции: полностью обелить Сталина или полностью очернить его... Как будто ничего нет. Из уст Леонида Гозмана прозвучала мысль (сам слышал), что советский народ победил не благодаря Сталину, а вопреки Сталину. Понимаете, самая одиозная такая мысль! Как будто бы Сталин как организатор ничего не сделал! Как будто он не принимал никакого участия! Я предлагаю как раз двоякую, двойственную идею. Я признаю за ним в Великой Отечественной войне и вообще в развитии советского общества в тот период роль мобилизующую. Тогда, в аграрной России, где еще большое место занимало традиционное хозяйство, – Вы представляете себе, если бы

не было этой мобилизующей силы? Сила организации тогда играла первенствующую роль, дорога еще не была накатана. Уберите сейчас у американцев президента – Америка будет жить и работать по тем же самым законам, по каким она работала. Мы не могли ни тогда, ни потом, да даже сейчас еще не сможем то же самое сделать чисто автоматически. Моя мысль состоит в том, что чем менее развита страна, тем более высока роль организации в ее функционировании. Авторитарная власть – это конкретное воплощение...

Н. Р.: *Я поняла Вашу мысль. Хорошо, а такой еще вопрос... Вы – человек неверующий, атеист. Хотя Вы из крестьянского рода. Рядом знаменитый Боровский монастырь, уверена, что Ваша семья была глубоко верующая. А лично Ваше отношение к Богу, к религии – во время войны, до войны, после войны – оно как-то менялось?*

В. Г.: Ну, в общем, я атеист... с оговорками. Могу Вам сказать следующее: мои дедушка и бабушка, особенно бабушка, свято соблюдали все церковные обряды. На меня в детстве это очень сильное впечатление производило. Дедушка меньше говорил, он был молчаливым, интровертом очень выраженным, но, во всяком случае, так же думал, как и бабушка. Они были очень верующими. Когда отец и мать мои переехали из деревни в Москву (они были из одной деревни), то попали в совершенно другую социальную среду.

Н. Р.: *А мама с папой были верующими?*

В. Г.: Они были молчаливыми верующими, крещеные. И я, конечно. Кто же в 1928 году не крестился?!

Н. Р.: *Бабушка, наверное, окрестила...*

В. Г.: Да нет, меня мама с отцом здесь, в Москве, окрестили. Тогда не было такого сильного давления... Просто не молились, но крестились. В Бога верили, конечно. Отец тоже

вспоминал «Богородице Дево, радуйся...» и так далее... Я могу Вам прочитать сейчас молитву «Отче наш», если хотите... Этому меня учила бабушка – помолиться перед тем, как сесть за стол. Я впитал эту молитву с детства. Лично я очень благожелательно отношусь к религиозным устремлениям своих коллег, если они есть. Но для меня важно, чтобы это, как говорится, не перехлестывало через край.

Н. Р.: *Но сами Вы в церковь не ходили, Вы были коммунистом?*

В. Г.: Я был коммунистом, но это ничего не значит, что коммунистом. Это сплошь и рядом была оболочка. Но тем не менее в церковь я ходил. Ну, не так чтобы ходил, но на некоторые праздники, на Пасху, например, по великим праздникам иногда. Специально не ходил, а прогуливался рядом, входил туда, свечки ставил...

Н. Р.: *Но Вы считаете себя верующим человеком?*

В. Г.: Нет, не считаю верующим. Но здесь не проходит «или – или». Я, скажем так, неверующий с сомнениями.

Н. Р.: *То есть «Бога нет»?*

В. Г.: Нет, я не скажу: «Бога нет». Не хочется сбиваться на спор Остапа Бендера с ксендзами. Это несколько более сложно... Для меня пока еще не является доказанным происхождение мира. Полностью, от начала до конца. Вот в этом вся суть. Я не верю в какую-то потустороннюю силу, но тем не менее... Я ставлю под сомнение всякие теории относительно взрыва сверхновой и так далее. Недавно как раз еще одну книжку купил про космические катастрофы. Понимаете, элементы не то что неприятия, но элементы того, что называется сомнением, еще до сих пор остаются – это действительно так и есть.

Н. Р. : Но при этом Вы можете зайти в храм и поставить свечку.

В. Г. : Конечно, конечно... с удовольствием даже все это делаю. Я бы сказал по-другому. Сомневаюсь не в наличии Бога, а в том, как наука объясняет происхождение Земли и жизни в целом. Понимаете, сомнения и там и здесь... Нет, я ставлю свечи, мне приятно и, самое главное, я думаю о тех людях – им приятно было бы, что я поставлю свечу, понимаете... Судя по всему, я как раз очень в этом отношении религиозный...

Н. Р. : И еще последний вопрос: что бы Вы хотели сказать в завершение нашей беседы молодым людям о войне? Что-то важное?

В. Г. : Вопрос, я бы сказал, трудный... просто по той причине, что так с ходу и не скажешь. Я могу сказать по этому поводу лишь одно: в войне наибольшие шансы на выигрыш получает именно тот, та сторона или та группа, которые являются патриотами своей Родины. Я могу сказать Вам так, я – человек русский, из русских крепостных крестьян по происхождению. Я имею в виду патриотизм русского народа. Это одно из самых важных слагаемых. Там еще масса всякого рода слагаемых есть, но все надо продумывать очень тщательно... Я верю в то, что сцепка, взаимосвязь людей между собой, объединенных чувством патриотизма, была главным условием Победы! Вообще, это фундаментальное условие преодоления любых трудностей, которые могут возникнуть.

Анна Петровна Муранова

Родилась 12 ноября 1927 г. в с. Карабаново
Владимирской области

Окончила Московский институт востоковедения,
отделение японистики (1951)

Кандидат экономических наук (1963)

Специалист по экономике стран Юго-Восточной
Азии

Работает в ИВ РАН с 1957 г.

Старший научный сотрудник ИВ РАН

Ветеран Великой Отечественной войны, труженица
тыла, награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне»

Наталья Романова: *Расскажите, Анна Петровна, из какой Вы семьи? И как возник Ваш интерес к Востоку? Была какая-то причина или это просто случайность?*

Анна Петровна: Моя семья рабочая. Мама не работала, а папа имел среднее техническое образование, был специалистом по турбинам, занимался монтажом и ремонтом электростанций и разъезжал по всей стране. Кстати, когда строился Магнитогорск, он и там монтировал электростанцию. Семья наша была трудовая, большая – было пять человек детей, включая меня.

Н. Р.: *Вы были старшая, младшая?*

А. П.: Я была предпоследняя, первой была старшая сестра, за нею – брат, а потом мы, три девочки. Жила я не в Москве,

а в 120 километрах от Москвы, рядом со знаменитой Александровой слободой – городом Александровым. В 10 километрах от него есть небольшой городок – Карабаново. Он был известен до последнего времени тем, что там находился огромный хлопчатобумажный комбинат, который начал развиваться с середины XIX века. О его значении свидетельствует то, что В. И. Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России» назвал его одним из крупнейших предприятий в России в конце XIX века. В советское время комбинат работал в основном на экспорт, но в 90-е годы он «благополучно почил в бозе» – корпуса и оборудование распродали, все уничтожили, и несколько тысяч человек остались без работы.

Окончила я школу в 1945 году с золотой медалью. Из-за медали у меня возникли некоторые сложности. Дело в том, что Постановление Совета народных комиссаров СССР о награждении отличников золотыми и серебряными медалями было принято в июне 1944 года, а Положение о золотых и серебряных медалях было утверждено Советом народных комиссаров СССР только 30 мая 1945 года, и к концу июня ни новые аттестаты для отличников, ни сами медали еще не были изготовлены. Поэтому на выпускном вечере в июне я не получила аттестат вместе со всеми окончившими школу, и это в какой-то мере повлияло на мою дальнейшую судьбу.

Н. Р. : *А как Вы стали востоковедом?*

А. П. : Как я стала востоковедом? Я очень хотела поступить в Институт внешней торговли. Мне нравилось изучать и экономику, и иностранные языки, а как раз это сочетание дисциплин преподавалось в Институте внешней торговли. Однако я не успела сдать документы, потому что мне вручили аттестат только 29 июля, а прием заявлений заканчивался 31 июля. Я приехала в приемную комиссию института

с аттестатом, но оказалось, что нужна была еще характеристика комсомольской организации школы, утвержденная в районном Комитете ВЛКСМ. Ее я получила спустя три дня, но было уже поздно. Когда я, огорченная неудачей, приехала в Сокольники, где жила моя старшая сестра и где я останавливалась, то напротив выхода из метро увидела огромный щит: «Московский институт востоковедения производит набор студентов на 1945/46 уч.г.». И я подумала – ну, что ж, пойду в Институт востоковедения. Не скрою, что меня привлек и размер стипендии, который был несравненно выше, чем в других вузах, – 430 рублей на первом курсе с повышением на 50 рублей на каждом последующем курсе. А тогда, как например, в МГУ, стипендия была 170 или 190 рублей.

Это было очень важно для меня, поскольку помогать мне никто не мог – мама не работала, а папа уже был смертельно болен. Я была вынуждена рассчитывать только на себя. Мне как медалистке нужно было сдать экзамен только по иностранному (немецкому) языку. Я успешно сдала его и была зачислена на первый курс. Хотела поступить на индийское отделение, но мне в приемной комиссии сказали, что на индийское отделение свободных мест нет, а есть места на монгольское и японское отделения. Так как ни о Монголии, ни о Японии я почти ничего не знала, то решила пойти на японское отделение, которое в то время не было столь престижным, как теперь. Вот так, совершенно случайно я приобщилась к Востоку, даже не думая заранее о специальности востоковеда.

Н. Р. : *Вы учили английский и японский?*

А. П. : Да, японский был первым языком, а английский язык – вторым. Я занималась увлеченно, было очень интересно. У нас были великолепные преподаватели, которые сами очень любили Японию и студентам прививали любовь

к ней. Я всегда с благодарностью вспоминаю их всех, и особенно преподавателя японского языка на первом и втором курсах – очень душевную и отзывчивую Александру Петровну Орлову (маму великолепного исследователя культуры Японии Татьяны Петровны Григорьевой) (сотрудница ИВ РАН. – *Прим. Н.Р.*), которая терпеливо помогала мне преодолеть трудности овладения сложнейшим языком (на первых порах это давалось мне с большим напряжением). Некоторые из моих учителей – ученые с мировым именем: академик (тогда еще член-корр.) АН СССР Н. И. Конрад, д.фил.н. Н. И. Фельдман, д.фил.н. А. Е. Глускина, известный переводчик японской поэзии В. Н. Карабинович (Маркова).

Однако, когда в 1951 году я окончила японское отделение, меня, как и других выпускников, ждало глубокое разочарование. Оказалось, японисты не нужны, так как с Японией практически никаких связей не было. Пришлось менять специализацию. В конце 1940-х – начале 1950-х годов в связи с развернувшимся в Азии национально-освободительным движением и образованием новых государств стало остро не хватать специалистов по Юго-Восточной Азии. В аспирантуре МИВа открылись вакансии по региону ЮВА, я сдала экзамены и стала изучать Бирму (с 1989 года страна стала называться Мьянмой). Так я из японистки вынужденно превратилась в бирманистку. Кстати, очень многие японисты стали специалистами по странам Юго-Восточной Азии. Так, О. Г. Барышникова стала известным исследователем Филиппин, И. С. Латышева изучала Малайю (еще до образования в 1963 году Малайзии), А. Ф. Жабреев – тоже переквалифицировался в бирманиста (все они работали в ИВАНе). Такое передислоцирование японистов в регион ЮВА объяснялось также и тем, что во время войны эти страны были оккупированы Японией и было много документов и других

важных материалов на японском языке, которые, несомненно, представляли общественный интерес и которые японисты могли бы использовать для исследований.

Мало кто знает, что в подвальном помещении МИВа находилось огромное количество книг, журналов и других материалов на японском языке, привезенных из Харбина после окончания войны. Директор МИВа Д. Тарновский предложил мне и моей подруге-японистке А. П. Шилтовой, поступившей вместе со мной в аспирантуру по специальности «история Вьетнама», разобрать и «оприходовать» имевшиеся материалы. С этой работы и началась моя аспирантская жизнь и мое приобщение к научным исследованиям.

К сожалению, КПД был очень низкий – для диссертаций ни я, ни моя подруга почти ничего не нашли, хотя времени на «раскопки» было потрачено немало. Правда, эта работа была «компенсирована» официальным продлением срока пребывания в аспирантуре на полгода.

В 1954 году Институт востоковедения закрыли, вернее, его слили с МГИМО, и там образовался восточный факультет. Одних наших аспирантов перевели в Московский университет, других – в МГИМО. Меня направили в аспирантуру исторического факультета МГУ. Поэтому считается, что я окончила аспирантуру Московского университета, хотя я училась все время в МИВе. После окончания аспирантуры в 1955 году я какое-то время была без работы, были лишь случайные заработки. В сентябре 1956 года по рекомендации замечательного человека-индолога Е. В. Паевской (мир не без добрых людей!) меня приняли в МГИМО на должность преподавателя истории Бирмы. Курс истории и внешней политики Бирмы я читала в МГИМО до 1962 года, но с 1957 года – по совместительству, поскольку в июле 1957 года была принята на должность младшего научного сотрудника в сектор конъюнктуры – только что созданное новое подразделение Института востоковедения

АН СССР, которое возглавил удивительно добрый человек д.э.н. Б. М. Данциг.

Н. Р. : *Занимаетесь экономикой Юго-Восточной Азии?*

А. П. : Да. Сначала я занималась только Бирмой, ее историей и экономикой, а уже с конца 1970-х годов – экономикой всего региона Юго-Восточной Азии. Но с любимой Японией меня судьба все-таки свела. Каким образом? В 1968 году бросили клич среди всех японистов – принять участие в работе ЭКСПО-70 в Японии (г. Осака). В Институте стран Азии и Африки, созданном в 1956 году взамен МИВа (оказалось, что специальный ориентологический вуз все-таки нужен), были организованы курсы для того, чтобы подготовить японистов для работы на ЭКСПО-70. Собрали японистов разных выпусков, и мы два года снова изучали японский язык, но теперь уже, конечно, быстрыми темпами. По сути, было повторение, восстановление забытого.

В марте 1970 года я поехала в Японию и проработала на ЭКСПО-70 почти 7 месяцев в качестве консультанта у стенда «Образование». Было невероятно интересно и приятно общаться с японцами, которые охотно посещали советский павильон, пользовавшийся огромной популярностью. Они были чрезвычайно любознательны и задавали массу всевозможных вопросов. Очень многие посещали павильон несколько раз. Их желание узнать о жизни в СССР было так велико, что энтузиасты с вечера занимали очередь и стояли всю ночь, чтобы обязательно попасть в павильон. Очереди были длиннющие, и иногда надо было стоять 2–3 часа. Приходило много бывших военнопленных, которые жили в лагерях в Советском Союзе до начала 1950-х годов. Они вспоминали русские слова и песни, тепло отзывались о своей жизни в лагере и проявляли очень большое дружелюбие.

Пребывание в Японии было очень счастливым временем. Работа на выставке доставляла огромную радость: ведь я была востребована по моей первоначальной специальности. Я смогла воочию увидеть страну, познакомиться с повседневной жизнью японцев, побывать у них дома, путешествовать, посетить древнюю столицу – великолепнейший город Киото – и другие места и, что немаловажно, активизировать свои знания японского языка, поскольку в течение всей рабочей смены восемь часов приходилось разговаривать с посетителями по-японски. С тех пор к языку я стала иметь большее отношение. Какое-то время занималась им. А потом, когда при Институте востоковедения был создан Восточный университет, его ректор Н. М. Хрящева предложила мне преподавать японский язык, и я проработала там по совместительству с 1993 до 2009 года.

Н. Р. : *Вернемся к теме войны. Как для Вас началась война? Вы помните 22 июня 1941 года?*

А. П. : Очень хорошо помню. Такое не забывается. Это был яркий солнечный день, воскресенье. Мы вообще-то жили крайне бедно – ни электричества, ни радио у нас не было. Поэтому только от соседей услышали, что началась война. Считали, что война кончится скоро, и никто не предполагал, что это будет такое долгое и тяжелое испытание. Взрослые, конечно, понимали, а мы, дети, особенно мальчишки, даже радостно кричали: «Война! Война началась!». Мальчишки друг друга мутузили, фехтовали палками. Поскольку расстояние от Москвы по прямой линии было не очень большое, то вечерами, когда были налеты на Москву – уже в июле и в августе (а городок расположен на высоком месте), – все дети бегали на самое высокое место смотреть, как «опять Москву бомбят». Были хорошо видны вспышки зениток и лучи прожекторов в небе.

Уже где-то в самом конце августа нас собрали в школе и сказали, что нам надо ехать помогать колхозникам собирать урожай, так как почти всех мужчин в деревне мобилизовали в армию и не хватало рабочих рук. И мы поехали в колхоз.

Н. Р.: *Сколько Вам было лет, когда началась война?*

А. П.: Тринадцать с половиной. Мы поехали, вернее, пошли в колхоз всем классом. Деревня от Карабаново – примерно в 10–12 километрах, никто нас не отвозил, шли пешком с котомочками. У нас были так называемые «сидоры». Что это такое? Это обычный мешок из ткани. Внизу в оба угла мешка клали картошину или катушку и завязывали веревкой, клали вещи и вверху мешок тоже завязывали веревкой, так что ляжки были веревочные, узкие. И вот мы со своими пожитками в «сидорах» прошагали пешком это расстояние.

В колхозе мы работали до первых чисел октября, пока не пошел снег и не начались заморозки, а в тот год заморозки как раз наступили очень рано. Я помню, что 6 октября в легкий морозец мы собирали морковь. Земля еще не промерзла, замерз только верхний слой, и мы с трудом вытаскивали из земли эту самую морковь. Картошку успели выкопать до морозов. Нас кормили, давали молоко, кашу и однажды даже побаловали нас пирожками с рисом и изюмом, которые были очень редким явлением в моей жизни (рис только по праздникам!). Один пирожок я съела, а второй решила приберечь для мамы и порадовать ее, когда вернусь домой. Какое же было огорчение, когда дома разломил пирожок и увидели, что начинка заплесневела.

Все работали, никакого нытья не было. С нами был классный руководитель, и дисциплина была строгая. Это были первые месяцы войны, и они были, пожалуй, самые напряженные и тяжелые, потому что было беспокойно из-за положения на фронте, начались ранние заморозки,

к которым не успели подготовиться, выпал ранний снег, обострились трудности с продовольствием. Но в конце концов все налаживалось. Нам выдали карточки. Они выдавались на один месяц с указанием категории – иждивенец, служащий или рабочий. На лицевой стороне карточки в квадратах были напечатаны числа месяца. В магазинах продавцы эти квадратики вырезали и сохраняли для отчета. Вначале хлеб продавали только за тот день месяца, какой указан в карточке. Потом стали продавать и за два, и за три дня, а к концу войны уже разрешалось купить сразу за весь месяц. Наиболее ловкие люди покупали несколько карточек, «отоваривали» их по твердым государственным ценам и продавали купленное по рыночным ценам.

Я не помню дату, когда карточки ввели, но практически сразу. Мама и все мы, сестры, считались иждивенцами, и нам полагалось по 300 граммов хлеба в день; служащим давали по 400 граммов, а вот рабочим, я уже забыла, то ли по 500, то ли по 600 граммов в день. По карточкам у нас в Карабаново никакого сахара и масла не полагалось. Но в Москве по карточкам выдавали сахар, масло, крупу, муку, какие-то еще продукты, но в очень ограниченном количестве, по так называемым «нормам». У нас ничего этого не было, только хлеб. И в Москве, и у нас в городке обычно жителей «прикрепляли» к определенным магазинам, и только там можно было «отоварить» карточки. Потерять карточки было очень страшно, это была настоящая беда.

Н. Р. : *Расскажите, как Вы в войну учились в школе.*

А. П. : Зимой 1941/42 года стало, конечно, очень трудно: очень голодно и особенно холодно. Учеба осенью 1941 года в школе началась где-то в конце октября – начале ноября, когда мы уже вернулись из колхоза. Это был седьмой класс. В начале осени мы еще как-то держались, но когда наступила зима и грянули жуткие морозы, жизнь стала очень

тяжелой. И дома, и в школе было холодно. В школе иссяк запас дров (в ней было автономное отопление с котельной, для которого были нужны дрова), и мы сидели в нетопленных классах. Писали мы обычно перьевыми ручками, обмакивая их в чернила. Чернильницы у нас были «непроливайки», а были и «проливайки». Зимой писать стало невозможно, так как чернила замерзали.

Мы ходили все, как кочан капусты, – каждый надевал на себя все, что мог. Сверху обвязывались вязаными платками (у нас их называли вязенками). На руках были варежки, и то не у всех. Но не такие красивые варежки, какие сейчас надевают. Это были варежки с пальцем, которые сами шили из ткани. Вот так сидели мы в холодных классах, полуголодные, плохо одетые, замерзающие.

Еще у нас было то, что называли завтраком. Конечно, никакой столовой не было. А нам давали каждый день крошечный кусочек черного хлеба, всего 50 граммов. У каждого класса был свой мешок (а в классе было по 35–40 человек), на котором было написано: «Седьмой класс “А”, пятый класс “Б”...» и т.д. Дежурный класса приходил с этим мешком к завхозу, который привозил хлеб, разрезал буханки на кусочки по 50 граммов и набирал на всю группу эти куски. Мешок называли «кусочница». Никого не надо было спрашивать идти с этим мешком за хлебом. Дежурили по очереди. Почему? Потому, что дежурный получал дополнительный кусочек хлеба. Он приходил в класс, по партам раскладывал куски, и каждый получал свою долю, свою пайку.

Н. Р. : *А чай?*

А. П. : Никакого чая. Кипяток был, но никакого чая не было. Сразу же, как война началась, сели на голодный паек – и дома, и в школе. Дома у нас был, конечно, свой огород. Поэтому какие-то запасы овощей сделали. Но поскольку

никто не думал, что война будет такой длительной (ведь нам внушали «разгромим врага могучим ударом»), то много земли не вскапывали. У нас, как и у всех, были маленькие участки, и мы высаживали овощей не очень много. Поэтому картошки, морковки, капусты хватило только до начала февраля 1942 года. И весной 1942 года стало особенно голодно.

Н. Р. : *А какое-то масло, жиры?*

А. П. : Ничего. Никакого сливочного масла мы, конечно, не видели в течение всей войны (да и в первое время после войны, пока в декабре 1947 года не отменили карточки). Очень скоро началась свободная торговля на городском рынке и обменная (бартерная) торговля в деревнях, куда городские жители ездили за продуктами. Мы крестьянам привозили промтовары, какую-нибудь одежду, туфельки – у кого что сохранилось, а они нам в обмен предлагали пшеницу либо картошку, либо еще что-нибудь съестное. Везде образовались рынки, где можно было купить практически все, если были деньги.

Когда я сейчас вижу возле Кузнецкого моста женщин, продающих с рук различные товары, мне это невольно напоминает жуткие годы войны и становится очень грустно. Я не могу видеть эту картину без горечи и душевной боли. Тогда так же стояли женщины и продавали вещи. Эта ассоциация навеивает глубокую тоску и страшно угнетает. Повторяется плохое!

Я не помню, чтобы у нас в семье было подсолнечное масло. Льняное масло было, потому что недалеко от Александрова были совхозы, где сеяли лен, но и оно покупалось не очень часто. Использовали для жарки какой-то отвратительный технический жир, который сейчас вспоминается с содроганием.

Н. Р. : Немцев не было в ваших окрестностях?

А. П. : Нет. В наших окрестностях их не было, но они были не очень далеко. Ведь немцы подошли к Крюкову, а по прямой расстояние до Москвы небольшое – около 80 километров. У нас был случай в августе месяце – стояли ясные, солнечные дни, вдруг залетели к нам два немецких самолета. У нас проходит железная дорога на Иваново и Кинешму в одном направлении и на Александров, через который поезда идут на север и на восток, – в другом. Самолеты летали над городом и сбросили две бомбы. Они, видимо, метили разбомбить железную дорогу, но попали в пятиэтажный кирпичный дом, вернее, в край дома, и стена обвалилась. Взрывной волной были выбиты стекла в доме. К счастью, жертв не было, но одной четырнадцатилетней девочке осколком стекла выбило глаз. Самолеты и из пулеметов стреляли и ранили одну женщину. Но, опять же, мальчишки, когда кружили самолеты, радостно кричали: «Эй, самолеты!». Один из самолетов пролетел над нашим домом на бреющем полете так низко, что была отчетливо видна свастика.

У нас, конечно, была не прифронтовая полоса, но взрослые, безусловно, очень опасались.

Когда началась война, нам сразу же было приказано рыть бомбоубежище. У нас был деревянный частный дом. При доме был сад, а в саду росли яблони, вишни, черемуха, сирень, акации. И мы под большим деревом черемухи вырыли бомбоубежище. Сначала выкопали яму, потом сверху сделали настил из досок и покрыли его дерном.

Н. Р. : Вы туда спускались?

А. П. : Нет, мы туда не спускались, потому что оно было сделано для того, чтобы укрыться, если будут бомбить или если немцы войдут в город. Рыли бомбоубежище и для

школы – в парке, который рядом с нею. Школьники вместе со взрослыми вырыли огромное бомбоубежище большой протяженности, траншею с деревянным настилом.

В конце августа 1941 года мы пошли собирать урожай в колхоз, в деревню Таратино. Жили на сеновале и трудились в поле, собирали картошку и морковь. Потом мы каждое лето ездили в деревни помогать колхозникам. Обычно это было недалеко, в радиусе 10–12 километров. Но в 1943 году нас отправили в деревню Малые Верстки, которая почти в 40 километрах от Карабаново. И от самого дома мы шли пешком с «сидорами» на спине. Утром вышли и пришли поздно вечером. Уже было совсем темно. Когда нас разместили в каком-то доме, мы сразу легли на пол, совершенно обессиленные. Нам не хотелось ни есть, ни пить.

В этом колхозе мы работали с первых дней августа до середины сентября – пололи, рыхлили почву, выкапывали картофель, скирдовали снопы, подвозили их к молотилке, сгребали сено в копны, теребили (то есть выдергивали) лен, связывали его в маленькие пучочки, обмолачивали их деревянными валиками, расстилали лен на лугу, а потом его собирали.

Работали с раннего утра до позднего вечера, а если было очень нужно, то иногда и ночью. Перерыв был только на обед. За работу начисляли трудовни, как взрослым. Именно в этом колхозе вели строгий учет всей проделанной нами работы. Всем школьникам выдали самодельные «трудо-вые книжки». Преподавательница, с которой мы поехали в колхоз, записывала в трудовую книжку каждого школь-ника объем сделанной работы и полагающееся число тру-додней. Трудовая книжка у меня сохранилась.

Н. Р. : *И обратно так же, с вещами пешком 40 километров?*

А. П. : Да. Никто нас не перевозил.

Н. Р. : *Вам не разрешалось брать из колхоза какую-нибудь еду? Картошку, например, морковку?*

А. П. : Нашу работу оплачивали натурой. За каждый трудодень что-то давали, сейчас я, конечно, не помню что. Ну, что могли дать? Картошку или пшеницу. Получить это за свой труд было такой радостью! Это же была помощь семье. Правление колхоза нас пожалело и выделило подводу с лошадью, чтобы мы не несли тяжелый груз на своих плечах (что-то сами мы несли, конечно, но не основную тяжесть). Никаких машин тогда не было и в помине. Мы погрузили все, что полагалось нашей группе, на телегу, а потом, уже в школе, раздали всем в зависимости от заработанных трудодней.

Н. Р. : *А сколько вас туда ходило работать, класс или два?*

А. П. : В деревню Малые Верстки ходили два класса. Сестра тоже ходила со мной, она на два года моложе меня. В другие деревни ходили одним классом.

Н. Р. : *В 13 лет, сестра ходила тоже 40 километров?*

А. П. : Ей в августе исполнилось 14 лет, все мы шли пешком, и она тоже. И когда мы получили пшеницу, то опять же пешком пошли в соседнюю деревню, где была мельница, чтобы перемолоть эту пшеницу в муку. Это была такая радость, потому что был 1943 год, мы уже изголодались, хлеба не хватало. А того, что мы сажали в огороде, было недостаточно.

Н. Р. : *Как вас мама кормила, пятерых детей?*

А. П. : Жилось очень трудно, особенно во время голода начала 1930-х годов. Я до сих пор помню, как я и младшая сестра стояли в кухне и плакали. Нам очень хотелось есть, и мы просили маму поискать «хоть корочку хлеба».

Хлеб в то время выдавали по карточкам, но наша семья их не получала, потому что их выдавали по месту работы главы семьи, а папа работал в Москве, и ему карточки тоже не выдавали, так как семья жила в Карабаново. Вот такой был заколдованный круг. От голода нас спасло то, что родители продали сруб дома, который они начали строить в конце 20-х годов, и на эти деньги купили корову. Молоко продавали и покупали хлеб и другие продукты.

Во время войны нас, детей, осталось только трое. Старшая сестра уже жила в Москве со своей семьей. Брат до войны учился на мехмате в МГУ, а в июле 1941 года он добровольцем пошел воевать. 3 июля по радио выступил И. В. Сталин и призвал весь народ встать на защиту Родины. За пять дней, с 3 по 7 июля, в Москве было сформировано 12 дивизий народного ополчения. В одну из них – 8-ю Краснопресненскую дивизию народного ополчения – и вступил мой брат. Она была сформирована из трудящихся предприятий Красной Пресни, преподавателей, аспирантов и студентов МГУ, геологоразведочного и юридического институтов, консерватории (была рота музыкантов), артистов Театра революции (ныне – Театр им. Маяковского), членов Союза писателей (была писательская рота, знаменитый писатель Виктор Розов тоже был бойцом этой дивизии). Сначала дивизия принимала участие в строительстве Можайской линии обороны, на подступах к Москве, в конце августа была передислоцирована в район г. Дорогобужа, а в конце сентября – к г. Ельня, где создалась угроза прорыва немецких частей. Сюда-то и перебросили дивизию, чтобы помочь 24-й армии остановить немцев. 6 октября 1941 года дивизия вступила в бой и практически погибла (в ней было почти восемь тысяч бойцов). Для двух третей бойцов это был первый и последний бой: они были убиты. Многие были ранены и взяты в плен. Небольшая группа бойцов попала в окружение и смогла выйти

из него и присоединиться либо к партизанским отрядам, либо к частям действующей армии.

Память о дивизии увековечена в нескольких местах близ г. Ельня, а студенты МГУ на свои средства поставили памятник в виде пушки возле села Уварово в память о 975-м артполке дивизии, в котором были в основном мехматовцы, в том числе и мой брат. Мой брат был ранен и попал в плен.

Н. Р. : *Сколько ему было лет? С какого курса он ушел?*

А. П. : Он был студентом четвертого курса, 22 года ему было.

Н. Р. : *Он пошел добровольцем?*

А. П. : Да. Он пошел добровольцем. В ополчении все были добровольцами. Он был невоеннообязанным, потому что в детстве, катаясь на лошади, он упал, и лошадь наступила ему на правую руку, и она у него почти не поднималась. Но в то время, конечно, все были такие патриоты – и он, и все его товарищи. Все они пошли воевать добровольно.

Н. Р. : *Как его звали?*

А. П. : Володя. Владимир Муранов. Мы не знали ничего о его судьбе и долго его искали. Нам все время присылали извещения о том, что он пропал без вести. Потом через Международный Красный Крест нам сообщили, что он попал в плен. А после обращения в Центральный архив Министерства вооруженных сил СССР в г. Подольске мы узнали, куда направили эту группу пленных ополченцев. Оказалось, что они дошли пешком до города Гродно, где на окраине немцы устроили для них концлагерь. Но это был не такой концлагерь, какой был в Дахау или Освенциме. Никаких строений там не было. Военнопленных разместили в чистом поле и заставили их рыть для себя землянки, в которых пленные и жили. Их почти не кормили.

Мы, три сестры, в 1980 году поехали в Гродно, чтобы увидеть место гибели брата. Предварительно мы написали письмо в военкомат г. Гродно и попросили помочь устроиться в местной гостинице. Работники военкомата оказались очень чуткими, откликнулись на наше письмо, забронировали места в гостинице, встретили на вокзале и показали все памятные места, связанные с войной. Они также познакомили нас с директором Гродненского музея, в котором есть большой раздел, посвященный Великой Отечественной войне. Директор музея (во время войны ей было 16 лет) рассказывала, что она видела, как шли наши военнопленные, все измученные, по дороге.

Н. Р. : *Той осенью было очень холодно?*

А. П. : Конечно. В тот год холода наступили очень рано. Директор музея говорила, что вокруг Гродно было девять лагерей для военнопленных. Когда пленные шли по дороге, то местные жители пытались бросать им хлеб. Немцы сначала жителей отгоняли, а потом уже стали стрелять в них. Она рассказывала: «Знаем, что должна быть еще какая-то группа. Нам передавали, когда должна эта группа пройти. И мы тогда заранее клали где-то на обочине что-нибудь из еды – картошку, хлеб... Но когда военнопленные наклонялись, немцы в них стреляли».

Мой брат попал в этот концлагерь и там умер 27 декабря 1941 года. Я думаю, поскольку он был ранен, то умер и от холода, и от голода, и от раны. В Гродно, как и во всей Белоруссии, очень хорошо относятся ко всем, кто воевал, и свято чтут память о погибших. У них прекрасные памятники и несколько братских могил, за которыми хорошо ухаживают.

Н. Р. : *Сколько лет вы искали вашего брата?*

А. П. : Много лет. Только через 35 лет нам сказали точно, где он умер. И тогда мы написали в военкомат письмо и поехали в Гродно.

Н. Р. : *У Вас остались письма Вашего брата?*

А. П. : Остались. Мы многое отдали в музей при МГУ, часть отправили в Гродненский музей (но сделали копии). Брат писал письма и нам домой, и папе, который в это время был в командировке в г. Черемхово недалеко от Байкала. У нас был еще дневник брата, который брат вел, когда учился в школе.

Н. Р. : *Расскажите, как же Вы жили во время войны?*

А. П. : Первый военный год у нас был очень трудный. Продовольствия не было. Дома очень плохо топили, так как не хватало дров, и было холодно. У нас даже электричества не было, потому что не было денег, чтобы купить столбы и провод. Вот такая была бедность! До войны были керосиновые лампы со стеклянным абажуром, но во время войны ее не зажигали, так как керосин стал очень дорогим. Вместо керосиновых ламп у нас были «коптилки». Это – металлический узкий цилиндрический сосуд высотой примерно 12–15 сантиметров, в который наливали керосин и опускали фитиль, сделанный из толстых грубых ниток. Кончик фитиля зажигали, и он медленно горел. «Коптилку» ставили в середину стола. Так, при «коптилке» мы прожили все военные годы – ели, пили, учили уроки, читали, шили.

Н. Р. : *Так мало керосина уходило?*

А. П. : Да, мало керосина уходило. Купить керосин было очень трудно и очень дорого. Сразу же все стремительно повысилось в цене.

Н. Р. : *Сестра не могла помочь из Москвы?*

А. П. : Нет, не могла, потому что муж был в действующей армии и у нее было двое маленьких детей. Наоборот, она детей привезла к нам, в Карабаново, а сама работала в Москве.

Что еще осталось в памяти? Бумаги чистой не было совершенно. На чем писали? У кого-то были газеты, у кого-то книги, старые журналы. Писали поверх напечатанного – и сочинения, и контрольные, и домашние задания по всем предметам.

Н. Р. : *Это между газетных строк, на полях?*

А. П. : Да.

Н. Р. : *И при такой учебе Вы смогли получить золотую медаль и сдать на отлично экзамен по немецкому языку?*

А. П. : Я очень старалась. Учеба увлекала, я хотела получить как можно больше знаний. Я с радостью занималась, хотя, конечно, очень трудно было. Мы должны были позаботиться и о хозяйстве, и о дровах для дома. Купить дрова стало очень трудно. До войны крестьяне всегда привозили дрова на рынок, где можно было договориться с хозяином, и он за какую-то сумму привозил дрова к нам домой.

Во время войны этого не стало, лошадей почти не было, мужчины мобилизованы, и нам самим пришлось заготавливать дрова для отопления. Каким образом? Как только выпадал снег, утром рано, задолго до занятий в школе (они начинались в 8.30), мы, все три сестры, вставали, брали большие санки, пилу и топор и отправлялись в лес. Чаще всего вставали часа в четыре или в половине четвертого.

Н. Р. : *Вам было тринадцать-четырнадцать лет, старшей семнадцать, а младшей было одиннадцать-двенадцать?*

А. П. : В начале 1942 года, когда начались наши «экспедиции» в лес, мне уже исполнилось четырнадцать лет, сестре

постарше – девятнадцать, а самой младшей – двенадцать с половиной. Лес от нас – километра три. Ехали с санками туда, где можно было найти дерево нам по плечу и свалить его. Мы сначала его пилой подпиливали, потом наклоняли, а то, что не подпилено, подрубали топором. Потом дерево начинали пилить на равные части, длиной примерно по метру, чтобы потом уже дома распилить еще на три части. Накладывали в санки и везли – две впереди, а третья сзади подпирала повозку. Особенно тяжело было везти санки в гору, которая была на нашем пути домой.

Самым главным в этой операции было успеть затемно, до рассвета, приехать домой, пока нас не увидел лесник, потому что мы занимались заготовкой дров без разрешения. Но тогда все так поступали. Если деревца попадались тонкие, то мы быстро их срубали и тогда успевали до занятий съездить в лес два раза. Дома дрова пилили, сами кололи и вот так обеспечивали себя. А летом 1942 года (я очень хорошо это помню, поскольку зимой 1941/42 года мы в школе замерзали), как только в мае кончились занятия, нас тотчас же отправили на лесозаготовки уже для школы. Мы поехали вместе с классным руководителем. Лесник определил для класса делянку и установил норму. Мы опять же валили лес, разрезали каждое дерево, обрубали сучки, все это складывали в одну кучу, чистые бревна складывали в поленницу. А поленницу складывали так, чтобы лесник мог измерить и посмотреть, выполнили мы норму или не выполнили. Выполнили норму – можно идти домой, не выполнили – значит, надо еще поработать.

А зимой 1942/43 года, когда уже выпал снег и можно было ездить на санках, нам дали в школе большие сани, мы ездили в лес, где стояли поленницы дров, клали бревна на сани, впрягались в сани по два человека и везли дрова в школу. Одни привозили, другие пилили, третьи кололи.

Вот так мы обеспечивали школу дровами, чтобы можно было зимой заниматься в отапливаемом помещении.

Н. Р. : *И так все годы войны?*

А. П. : И так все время.

Н. Р. : *А на работах чем вас кормили?*

А. П. : Практически каш не было, в основном это была картошка, капуста. Было и молоко. В более богатых хозяйствах давали иногда мясо. Когда мы жили в какой-нибудь избе, то хозяйке выдавали пшеничную или ржаную муку, и она сама пекла хлеб, удивительно вкусный, душистый. Дома повседневная пища была очень скудная. Ни о витаминах, ни о минералах тогда и понятия не имели. Картошка в любом виде, капуста, свекла. Самая лучшая пища – отварная картошка. Когда картошки к концу зимы не хватало, то ели ее вместе с кожурой – готовили так называемую тюрю. Картошку тщательно мыли, терли на терке, заливали горячей водой, кипятили и, если было молоко, то добавляли немножко молока. Это было наслаждение, невероятно вкусно. После войны я решила эту тюрю снова приготовить. Но теперь уже очистила картошку, натерла на терке, залила кипятком, молока добавила. Но божественного вкуса, как во время войны, не ощутила.

Конечно, у нас не было ни кускового (пиленого) сахара, ни сахарного песка (да и до войны у нас в семье сахара потребляли очень мало; пили чай с «колотым» сахаром, то есть покупали «головку» сахара и раскалывали ее щипцами на мелкие кусочки, брали по 4–5 кусочков – в общей сложности не более 20–25 граммов; этот сахар был экономнее, чем «пиленный», который очень быстро растворяется). Как мы выходили из положения? Сажали сахарную свеклу и обычную красную свеклу, но хорошие сорта (я до сих пор помню, что египетский сорт считался самым лучшим, так

как свекла была очень сладкой). Нарезали свеклу тоненькими кусочками, клали на противень и ставили в горячую русскую печку, чтобы кусочки подсохли и превратились в нечто вроде цукатов. Особенно вкусной была сахарная свекла. Вот это и заменяло нам сахар. Правда, иногда покупали на рынке знаменитые «подушечки» – самые дешевые «пролетарские» конфеты.

Н. Р.: *Чая не было, пили кипяток, а что заваривали?*

А. П.: Да, чая не было, заваривали травки различные. Чай, может быть, и был какого-нибудь плохого сорта, но как-то на это внимания не обращали. Сажали и заготавливали на зиму много капусты. Засаливали в отдельные бочки зеленые листья и белые кочаны. Белую капусту, особенно засоленную кочанами, ели редко, а зеленую – каждый день. Из нее варили щи (так называемые «пустые», то есть без мяса), солянку. Капуста, картошка и вода – вот весь набор продуктов для первого и второго зимой.

Летом, начиная с июля, и осенью добавлялись свекла, морковь, лук, огурцы, тыква. Помидоры не выращивали. Но поскольку хранить эти овощи было негде, да и их урожай был небольшим, то к началу зимы их уже не было. Если не работали в колхозе, то ходили за грибами, которых во время войны было очень много (старики говорили: «Это не к добру, к войне»). Грибы, так же как и огурцы, солили на зиму, но не очень много. Кстати, и соль была очень дорогая – стакан соли стоил до 200 рублей.

Н. Р.: *Что такое 200 рублей? Это было много?*

А. П.: Да, много. Для сравнения – у папы до войны зарплата была примерно 450–500 рублей. Потом уже, к концу войны, деньги девальвировались.

Н. Р.: *Доехать до Москвы сколько стоило?*

А. П. : Не помню. Да мы и не ездили, потому что, чтобы приехать в Москву, надо было получить разрешение, пропуск. Моя старшая сестра, которая жила и работала в Москве, имела пропуск. Ее дети жили во время войны с нами, и к нам в Карабаново она ездила часто.

Один раз, в 1943 году, я ездила с ней в Москву. Мы доехали сначала до Загорска (ныне Сергиев Посад. – *Прим. Н.Р.*), а потом поехали на московской электричке. Мы доехали только до Москвы-Третьей, так как на Ярославском вокзале проверяли пропуски, а у меня его не было. На Москве-Третьей мы вышли потому, что к этой станции примыкает Сокольнический парк. Если пройти через парк, то можно выйти к метро Сокольники, – и ты уже в столице. Так приезжали в Москву многие, у кого не было пропуска. Только вот таким окольным путем.

Н. Р. : *А на вокзале проверяли патрули? Поехать просто в гости к сестре было невозможно?*

А. П. : Да.

Н. Р. : *А в театр тем более? В 1943 году в Москве уже работали театры.*

А. П. : Да, работали, но посещать их иногородним было невозможно. Я помню Москву 1943 года, когда я приехала нелегально. Это, наверное, была весна, погода была теплая. Я запомнила улицу Горького (теперь Тверская). Она была пустынная, никого народу не было. Вся Москва показалась мне опустевшей и унылой. Люди шли с напряженными, грустными лицами, одеты были во все темное. И я вспомнила довоенную Москву, куда я приезжала – не помню – то ли в 1937 году, то ли в 1939-м. Какая она была красивая, оживленная, шумная! Люди были веселые, нарядно одетые.

Запомнился фильм «Моя любовь» с Лидией Смирновой, который я смотрела в кинотеатре «Ударник», а также очень вкусное мороженое с вафлями, которого нынче нет и в помине. Были маленькие круглые аппаратки, в которые клали вниз вафлю, затем продавщица из чана ложкой вынимала мороженое, укладывала в аппаратик на вафлю, покрывала его еще одной вафлей, нажимала на что-то, и мороженое выпрыгивало, выстреливало из аппаратика. Языком слизывали мороженое, а в конце съедали вафли.

Н. Р. : *А со школой Вы не ездили в Москву?*

А. П. : Со школой мы ходили только в колхозы, никаких других поездок не было. Но зато в школе у нас была очень хорошая самодеятельность. Очень милая и скромная преподавательница музыки Лидия Васильевна Милешина привлекала всех петь в хоре, и у нас в школе было три хора: школьников начальных классов, учащихся 5–7 классов и старшеклассников. Объединенный хор учащихся даже выступал по местному радиовещанию. Великолепная молодая преподавательница литературы и русского языка, выпускница Московского пединститута и большая театралка Зоя Александровна Флоринская прививала нам любовь к литературе и театру. Под ее руководством мы ставили спектакли – «Мцыри», «Цыгане» и что-то еще, теперь уже забылось. Постоянно были концерты, в которых принимали участие и ученики младших классов, и старшеклассники. Так что школа компенсировала в какой-то мере нехватку культурного досуга в городе. Мы устраивали вечеринки дома, заводили патефон, который был тогда далеко не у всех (у нас его не было), танцевали, пели, дружили с мальчиками. Во время войны в городе было три госпиталя, и мы посещали раненых и устраивали концерты.

Н. Р. : Анна Петровна, Вы в школе учились вместе с мальчиками, ваши мальчики не уходили на фронт, по возрасту не попадали?

А. П. : Мальчиков стали брать на фронт после девятого класса в 1943 году и в 1944-м. Поэтому некоторые мальчики заканчивали восьмой класс и уезжали устраиваться в техникум или какое-то профессиональное училище, где давали бронь. Многие ушли на фронт. Когда я заканчивала десятый класс, у нас ни одного мальчика не было.

Н. Р. : После девятого класса Вам было шестнадцать-семнадцать лет. Сколько осталось мальчиков в живых? У сестры в классе примерно сколько осталось в живых?

А. П. : Очень мало. Сестра окончила школу в 1941 году. У них как раз в субботу был выпускной вечер, а утром началась война. Из восемнадцати выпускников после окончания войны в живых осталось только семь человек.

Н. Р. : Армия, фронт как-то чувствовались? К вам приезжали эвакуированные из Москвы?

А. П. : Эвакуированных было очень много, и не только из Москвы. Некоторые из эвакуированных девочек со мной учились. Была одна девочка из Ленинграда, которая перенесла блокаду Ленинграда (правда, она училась вместе с моей младшей сестрой, но и я дружила с ней). Приехала в Карабаново, потому что в нашем городе жила ее тетя. Мне очень запомнился ее рассказ о том, как они спаслись. Оказалось, что ее папа был очень хозяйственный человек и очень любил запастись продуктами. И когда началась война (а надо сказать, что еще до войны снабжение продовольствием было не очень хорошим, люди стояли в очередях, а уж когда началась война, паника была повсеместной; выстраивались длиннющие очереди, и продавали по одному

килограмму, а то и по полкилограмма), ее папа несколько раз стоял в очереди и сделал запасы всяких круп. Вот так они спаслись и приехали в Карабаново, когда блокаду прорвали. Были эвакуированные из разных мест – из Дмитрова, откуда-то с Украины.

Я помню еще один эпизод, который остался в памяти. В первые месяцы войны откуда-то с Украины или с Белоруссии, сейчас не помню, гнали скот вглубь страны. И вот шли эти стада коров, быков, бараньи отары... Сопровождавшие их люди выглядели уставшими и измученными. Они проходили через наш городок и шли куда-то дальше. Где они потом размещались, я не знаю. Может быть, их как-то по колхозам распределили.

Н. Р. : *У вас сразу, 22 июня, начались призывы в военкомат?*

А. П. : Да, прямо сразу. Призвали и наших преподавателей. У нас было несколько молодых преподавателей-мужчин, все они ушли на фронт и все погибли. В школе с тех пор преподавателей-мужчин никого не осталось.

Когда мы пережили тяжелую осень и зиму 1941/42 года, весной 1942 года, чтобы выжить, очень многие, даже те, кто никогда не занимался выращиванием овощей, стали искать свободные участки земли. Началось скваттерство, то есть самозахват земли без разрешения властей. В городке был луг в пойме реки, и каждый, без всякого разрешения, никого не спрашивая, выходил на луг и отгораживал себе участок земли (то есть ставил колышки по его углам), руководствуясь принципом «чем больше, тем лучше». В течение весны 1942 года весь луг был разделен и вспахан. Поднимали целину, что было делом весьма нелегким, так как из орудий была только лопата. Правда, однажды наш двоюродный брат, которого не мобилизовали из-за плохого здоровья, привез нам плуг, чтобы мы могли вскопать участок земли под картошку, который выделили нам на колхозном поле.

Мы, три сестры, впряглись в плуг вместо лошади, а брат стоял за плугом и вскапывал землю, которая была очень твердая. К огромному нашему огорчению, тогда картошку мы там так и не смогли посадить из-за того, что не было денег для покупки семенной картошки. На вскапываемых участках земли мы сажали картошку, капусту, морковь, огурцы.

Н. Р. : *А охранять не надо было?*

А. П. : На первых порах даже охранять не надо было, все-таки какие-то нравственные устои были. К тому же все были в одинаково трудном положении. У нас было три или четыре небольших участка в пойме реки, где сажали капусту, свеклу, огурцы. Надо было и пропалывать, и поливать. Работы всегда хватало.

Н. Р. : *Ваш папа не воевал?*

А. П. : Нет. Ему уже было 54 года. Как я уже говорила, во время войны он работал на электростанции в Черемхово, это Иркутская область. Он подавал заявление о том, чтобы его приняли добровольцем в действующую армию и направили на фронт. Он был особенно активен, когда узнал, что без вести пропал Володя, единственный сын. Он решил мстить немцам за него. Но у него была язва желудка, да и по возрасту он не проходил, и в армию его не взяли. В Черемхово его болезнь обострилась, его положили в местную больницу. Он прислал нам письмо, в котором сообщил, что он очень плохо себя чувствует. И моя старшая сестра, оставив детей у нас, добилась, чтобы в гостресте «Энерго-ремонт», в котором папа работал, ей выписали пропуск для поездки в Черемхово. Мы ее провожали.

Ее проводы – еще один пример ужасной нашей жизни во время войны. Мы пошли пешком из Карабаново в Александров, так как именно там была посадка на поезд до Читы,

следовавший мимо Черемхово, а ехать в Александров было не на чем. У нее был тяжелый чемодан, и мы, три сестры, по очереди несли его на плече, так как в руке нести его было невозможно. Посадка в поезд Москва–Чита даже с пропуском и билетом была делом чрезвычайно трудным. Поезд пришел битком набитый, все тамбуры были заняты, и сесть в поезд было невозможно. Несмотря на то, что сестра показывала проводницам и пропуск, и билет, они отказывались впускать ее в вагон. Остановка поезда была короткой, и мы, боясь, что поезд вот-вот тронется, в отчаянии чуть не плача бегали вдоль состава и умоляли проводниц впустить сестру в вагон. Наконец одна из них сжалась и разрешила войти, вернее, втиснуться, сначала на подножку, потом в тамбур, в котором сестра очень долго ехала, стоя на одной ноге. Через какое-то время она все же вошла в вагон и через 7 дней прибыла в Черемхово. Папа, конечно, не ожидал, что сестра приедет, и, увидев ее, расплакался...

Обратный путь тоже был очень тяжелым, тем более что у папы не было сил и он должен был лежать. Мы втроем встречали их в Александрове.

Н. Р. : *И как Ваш папа?*

А. П. : Папа приехал такой худющий, как Кощей Бессмертный, так что мы еле узнали его. Он с трудом передвигался, а нам ведь было нужно опять пройти пешком 10 километров до Карабаново. И вот мы с ним шли, еле-еле... Это был октябрь 1943 года. Я помню, что погода была теплая, поэтому можно было ходить легко одетой.

Н. Р. : *Он потом выжил у вас? Вы его вылечили?*

А. П. : Мы его не вылечили, потому что тогда невозможно было вылечить язву, он просто погибал. Лекарств никаких не было, он пил только соду. На рынке стакан соды стоил 100 рублей. Папе определили вторую группу инвалидности

и назначили пенсию в сумме 141 рубль в месяц. Денег у нас не было. Старшая сестра что-то вязала, собирала какие-то вещи, и это обменивали на стакан соды. Папе этого стакана хватало только на один день.

Папа умер 28 января 1946 года. У меня в жизни несколько раз было так, что радостное событие совпадало с трагическим. Так было и в январе 1946 года. На выпускном вечере, как я уже говорила, мне медаль не вручили. Дирекция школы получила ее значительно позже, и было решено вручить ее 31 января. Этот день до 90-х годов прошлого века был особый в жизни школы (открывшейся еще в 1898 году), да и в жизни городка.

В этот день ежегодно, начиная с 1940 года, проводился традиционный вечер выпускников в очень торжественной обстановке. Обычно приезжало много давно окончивших и только что окончивших выпускников, которые рассказывали о своей жизни. Ученики школы готовили концерты, и все старались не пропустить этот вечер. Я знала, что 31 января мне будут вручать медаль, и радовалась этому. И вдруг умирает папа. Он ведь так хотел увидеть медаль – в его тяжелой жизни это было маленькой радостью. Хотя я была очень расстроена, я все же пошла в школу, чтобы получить медаль и поблагодарить всех. Все знали о моем горе, а директор школы и преподаватели со слезами на глазах вручили медаль, которую папа так и не увидел.

Н. Р. : *Анна Петровна, а какой для Вас эпизод, связанный с войной, самый яркий?*

А. П. : Только само окончание войны.

Н. Р. : *Расскажите, как Вы встретили Победу?*

А. П. : Опять же, радио у нас не было. Слышим, как на улице все радостно кричат: «Война кончилась! Война кончилась!». Удивительное совпадение – как началась война

в солнечный яркий день, так и кончилась тоже в яркий солнечный день. Жители городка (а их было тогда около 30 тысяч человек) высыпали на улицу и, не стовариваясь, пошли на площадь, где был клуб и обычно проходили демонстрации. Учащиеся школ пришли туда колоннами, и начался стихийный митинг. Все радовались, обнимали друг друга, и особенно солдат, которые оказались в городке в этот момент. Всем хотелось вместе разделить радость. Стали петь, танцевать.

Такое радостное возбуждение и ощущение всеобщего счастья мне посчастливилось пережить еще только один раз – когда полетел Юрий Гагарин и москвичи также стихийно направились на Красную площадь. И весь коллектив нашего ИВАНa стройными колоннами влился в никем не организованную демонстрацию, направившуюся на Красную площадь. Такие мгновения невозможно забыть.

Н. Р. : *А во время войны допускали мысль о поражении или такое даже не приходило в голову?*

А. П. : Нет, никогда. Даже в 1941 году. Несмотря на то, что 16 октября в Москве была паника из-за того, что немецкие войска были на ближних подступах, мыслей о поражении не было. В моей среде (а это рабочий простой народ) и в голову такое никому не приходило. Даже в октябре 1941 года все говорили: «Если немцы здесь появятся, все пойдем в партизаны». Кстати, вспоминали 1812 год и Наполеона, который в конце концов потерпел поражение. Твердо верили, что также будет и с Гитлером. Я очень хорошо помню 16 октября, потому что как раз в этот день старшая сестра должна была привезти своих детей, и я с младшей сестрой, взяв санки, несколько раз приходила на станцию встретить ее. Она приехала с большим опозданием, так как ехала в поезде, который тогда назывался «пятьсот веселый».

Почему такое нелепое название? Дело в том, что пассажирских составов не хватало, и для перевозки пассажиров стали использовать товарные составы. А они нумеровались, начиная с цифры 500. Никаких скамеек не было, и пассажиры сидели на полу (так было, по крайней мере, в начале войны). Ехали очень долго, так как то и дело состав останавливали и пропускали в первую очередь эшелоны стратегического значения. Пассажиры нередко пели песни, поэтому такие составы и стали называть «пятьсот веселый». Это означало также, что поезд идет очень медленно и долго. До Карабаново тогда можно было доехать на пассажирском поезде за 2 часа, а сестра с детьми ехала, точно не помню, то ли 6, то ли 8 часов. Но ситуация была такая, что люди были счастливы, если удавалось купить билет хотя бы на такой поезд.

Н. Р. : *Сестра приехала к вам 16 октября сама или у них уже начиналась эвакуация?*

А. П. : Сестра приехала самостоятельно, у нее на работе эвакуации не было. Когда немцы продвинулись близко к Москве и уже стало очень опасно, она решила привезти детей к нам. Они и прожили у нас в течение всей войны.

Н. Р. : *А отношение к Германии: до войны, во время войны и сейчас – изменилось?*

А. П. : Не могу сказать, не знаю. Во время войны, конечно, все ненавидели «фрицев». Сейчас отношение к Германии, как мне кажется, в общем-то, нормальное. Все понимают, что оболванили немецкий народ.

Н. Р. : *А к Сталину отношение до войны, во время войны и сейчас, когда многое стало известно?*

А. П. : До войны Сталин – «наша Слава боевая», и во время войны тоже было такое же отношение.

Н. Р. : *Вы знали про репрессии?*

А. П. : Конечно. Слышали разговоры взрослых о «страшном 37 годе», но мы, дети, мало что понимали. К тому же, наверное, в нашем городке не было больших репрессий, по крайней мере, среди тех, кто был вокруг меня. Моему кругу было неизвестно, жили ли в городке репрессированные до войны и во время войны. Мы были очень далеки от этого и даже не знали, что в Александрове жила Марина Цветаева, а в соседнем Струнине – Осип Мандельштам. Узнали об этом много-много лет спустя. Репрессированные у нас появились позже. Городок считался за 101-м километром, и после войны стали приезжать репрессированные, которые рассказывали о себе. От них я много узнала о репрессиях.

Н. Р. : *А что рассказывали репрессированные?*

А. П. : Они рассказывали о своих бедах и о том, где и как они жили до и после ареста. Одна из пострадавших снимала комнатку в нашем доме (мама уже осталась одна, так как средняя сестра вышла замуж, а я и младшая сестра учились в институте). Она до ареста в 1937 году работала библиотекарем и отсидела 10 лет в Казахстане только за то, что муж у нее был вторым секретарем райкома партии в каком-то городе (сейчас не помню). Была она одинока, так как сын ее (кажется, 1926 года рождения), живший в Москве у сестры мужа (золовки), умер во время войны. Климат в Казахстане был для нее неподходящий, и она после того, как ее выпустили из заключения, решила уехать оттуда. Естественно, жить в Москве у золовки или даже приезжать к ней в гости ненадолго она не имела права. Она приехала в Карабаново по совету своей подруги, с которой она вместе сидела в Казахстане и у которой в Карабаново жил брат.

Но, приехав в Карабаново, она испытала новые унижения, так как когда узнавали, что она репрессированная,

ей никто не хотел сдавать в аренду комнату. Только когда брат ее подруги обратился к моей маме с просьбой сдать ей комнату и прописать ее (крайне важный момент проживания в те годы), она наконец-то нашла приют. Она прожила у мамы несколько лет, пока не вышла замуж за овдовевшего брата своей подруги. Мы с ней поддерживали отношения до самой ее смерти и всегда вспоминаем ее с теплым чувством симпатии и уважения. Это была очень скромная, тихая, трудолюбивая прекрасная женщина.

Н. Р. : *А муж?*

А. П. : А муж у нее был расстрелян через 24 часа.

Н. Р. : *Как ее звали, не помните?*

А. П. : Рутковская Татьяна Иннокентьевна. Она была, кажется, 1905 года рождения. Она рассказывала, как арестовали мужа, как взяли ее, как она сидела и работала в Казахстане и насколько унижительно все это было. Она была мягким, душевным человеком, говорила тихим проникновенным голосом. Когда я и сестра приезжали домой в выходные дни или на каникулы, она всегда расспрашивала и о жизни в Москве, и о студенческих делах. Она любила читать и много читала – чтение было для нее отдохновением. Она часто ходила в библиотеку в карабановский клуб, где были еще книги из прекрасной дореволюционной домашней библиотеки бывшего (до 1917 года) владельца комбината и новые книги, уже советского периода. Татьяна Иннокентьевна давала нам полезные советы по всяким бытовым вопросам.

Н. Р. : *В каком году она приехала в Карабаново, не помните?*

А. П. : В 1947 году. Когда она приехала, то не только жилью, но и работу долго не могла найти. Наконец ее приняли на работу уборщицей в самый тяжелый и вредный

цех – красивый, где она безропотно проработала до выхода на пенсию. Судьба все-таки смиростивилась – после длительного периода одиночества и лишений она вышла замуж, как я уже говорила, за вдовца – брата своей подруги, очень доброго, интересного и интеллигентного человека, и прожила в покое и счастье оставшуюся жизнь, занимаясь в саду цветами, которые очень любила.

Н. Р. : *А сейчас отношение к Сталину?*

А. П. : Сейчас, конечно, изменилось. А в детстве мы, как и все, восхваляли его, на него молились. И во время войны, да и в первые годы после войны все так же было, вплоть до разоблачения культа личности.

Н. Р. : *А Ваше отношение к Богу, к религии. Вы были человек верующий, крещеный?*

А. П. : Крещеная, но не верующая.

Н. Р. : *Война Вас не изменила? Говорят, когда шли на войну, у многих крестики, иконки с собой были...*

А. П. : Нет. У нас мама тоже была крещеная, и икона у нас висела в красном углу, но она никогда не соблюдала никакие посты. Она и в церковь не ходила, поскольку церковь была уничтожена в 1937 году. Конечно, в молодости она, наверное, ходила.

Н. Р. : *У вас церковь ликвидировали в 1937 году? Как это было, расскажите.*

А. П. : Да, это было ужасно. У нас церковь считалась очень красивой, стояла на горе, хотя на самом деле ее архитектура была эклектичной. Общий вид был действительно чудесным: вокруг росли липы, боярышник, сирень, ограда тоже была красивая. Рядом стояли светлые дома для церковнослужителей, окруженные сиренью. Липовая аллея вела

от церкви к погосту. Все выглядело, как на картине. Но вот в 1937 году решили церковь взорвать. Заложили динамит. Первый раз взорвали – здание не рухнуло, только появились трещины. Мы, взрослые и дети, стояли огромной толпой и видели, как содрогнулась церковь.

Н. Р. : *И не жалко было?*

А. П. : Взрослые, наверное, смотрели со слезами на глазах, а мы же были маленькие и не понимали трагичности происходившего на наших глазах. Люди, руководившие взрывом, решили попытаться взорвать церковь во второй раз. Они заложили уже больше динамита и взорвали его. Зрелище было ужасное – столб красной пыли, рушащиеся колокольня и стены. Здание церкви развалилось на огромные глыбы.

Эти глыбы пролежали огромной кучей с 1937 года до начала 50-х годов. Местные жители подходили, очищали кирпичи от известки и использовали их для своих нужд. Постепенно от церкви ничего не осталось, кроме заросшей бурьяном глубокой ямы. Через какое-то время после того, как взорвали церковь, у мужчины, руководившего взрывом, оторвало правую руку – видимо, он неосторожно что-то делал на станке. И в городе говорили: «Это за грех, который он взял на себя». Вот так жители восприняли его действия. Церковь была восстановлена по старым чертежам и вновь открыта в 2010 году.

Н. Р. : *О чувстве мести: Вы были маленькой девочкой, у Вас не было желания отомстить фашистам, не было чувства озлобленности?*

А. П. : Нет, чувства озлобленности не было. Наверно, во-первых, потому, что война не прошла по нашему городку. Во-вторых, наша семья еще до войны была знакома с немцами – порядочными и интеллигентными, и у нас

составилось представление о немцах как о хороших людях. Дело в том, что после прихода Гитлера к власти некоторые немецкие коммунисты с семьями приехали в Советский Союз. Один из них был арестован. Что с ним стало, мы не знали, но у него был сын Эрих (ему было лет 18–19), который приехал в Карабаново, очень дружил с моим братом и часто бывал в нашем доме. Он был очень начитанный, добрый и воспитанный. Человек высокой культуры и с большим чувством достоинства.

Н. Р. : *Часто говорят о том, что человек может привыкнуть ко многому. Можно привыкнуть к войне?*

А. П. : Я думаю, что все-таки нет. Можно, конечно, подавить чувство страха, но привыкнуть к войне, к постоянному страху невозможно. Хотя у нас была не прифронтовая полоса, но как же невыносимо было переносить тяжести военного времени нам, детям! Это было очень тяжело и морально, и физически. Ведь не было ни одежды, ни обуви, а хотелось одеться красиво. На ноги надевали бахилы. Но это не те бахилы, которые сейчас надевают в лечебных учреждениях. Нет с ними ничего общего! Наши бахилы мы шили сами из ткани и ваты. Разрезали материю по форме ноги, клали вату, сверху – вторую полосу ткани, простегивали. Покупали галоши, надевали на бахилы – и обувь готова.

Мы все время голодные были, голод просто донимал! Вот эти 300 граммов хлеба получишь – и хочется их сразу съесть! У меня постоянно была такая мечта – поскорее бы наступило такое время, когда можно будет купить буханку черного хлеба, сесть, взять стакан или два стакана молока и съесть эту всю буханку, и выпить эти два стакана молока, и наконец-то наесться! Вот это чувство голода было просто ужасным.

Да еще была и проблема помывки. У нас в городке была баня, но во время войны из-за нехватки топлива она

часто не работала. В теплое время года помыться не представляло проблем, но зимой все осложнилось. У нас в доме (да и не только у нас, а у всех, у кого были настоящие русские печки) эту проблему решали таким образом. Внутри печки внизу, на пол, настилали солому, на нее ставили тазик с теплой водой. Через чело (отверстие, через которое в печку кладут дрова) влезали внутрь осторожно, чтобы не задеть стенки и свод (в русских печах он обычно высокий) и не испачкаться сажей. Мылись не сразу, а спустя минут 5–10, чтобы после пропаривания было легче смыть грязь с тела. Еще одна проблема – стирка белья. Мыло было очень дорогое. Поэтому для стирки белья использовали настой золы, который называли щелоком. Это действительно очень эффективное щелочное средство.

Н. Р. : *А в Вашем городе много людей погибло, много похоронок получали?*

А. П. : Много, я не могу сказать точно, но много. У соседей, у одноклассниц погибали отцы, братья, другие родственники.

Н. Р. : *Комбинат работал во время войны?*

А. П. : Да, работал все время. Эффективно работал до 1992 года, когда провели акционирование и создали ОАО. После этого начались деградация и разрушение производства. Самое обидное, что где-то в конце 80-х годов было закуплено в Германии и Японии новое оборудование для того, чтобы можно было ткать не 70-сантиметровые или 80-сантиметровые полотна, а выпускать хлопчатобумажные ткани шириной в полтора и даже в два метра. Поскольку комбинат был ориентирован на экспорт, то нужно было осуществить модернизацию комбината.

И вот только новое оборудование закупили, как наступила новая эпоха в нашей стране и началось на комбинате

открытое разграбление всего накопленного за полтора столетия. Население сейчас не может без содрогания вспоминать 90-е годы, их начало. Все распродано. Производство полностью прекратилось. И стоят пустыми огромные мощные корпуса, построенные еще в XIX веке, теперь уже с выбитыми стеклами и заколоченными окнами. Тишина вместо мерного гула. Зрелище потрясает своей безысходностью. Это было единственное градообразующее предприятие, где было занято более 5 тысяч человек. Если учесть членов семей, то как минимум примерно 15 тысяч человек остались без средств к существованию. Трудоспособное население вынуждено искать работу в других местах – в Александрове, где ее тоже мало, Сергиевом Посаде, Пушкине, Мытищах, Москве. Люди теряют квалификацию, работают сторожами, охранниками (сутки работают, трое суток дома), губят здоровье.

Н. Р. : *Как назывался комбинат?*

А. П. : Хлопчатобумажный комбинат имени Третьего Интернационала.

Н. Р. : *А какая сейчас численность в Карабаново?*

А. П. : Сейчас, я думаю, около 40 тысяч человек.

Н. Р. : *А того фабриканта как звали?*

А. П. : Баранов. Начало комбинату было положено его дедом И. Барановым в 1846 году. С той поры деревня Карабаново (принадлежавшая до 1843 года известному коллекционеру древних рукописей, книг и старинных предметов быта П. Ф. Карабанову), где была заложена первая фабрика, постепенно разрасталась в рабочий поселок. К 1917 году была создана солидная социальная инфраструктура – построены на средства Барановых 13 многоэтажных кирпичных домов для рабочих, которые и сейчас еще называют «спальнями», коттеджи для инженерно-технических

работников, преимущественно англичан (поэтому и сейчас их по-прежнему называют «английскими» домами), больница, родильный дом, богадельня для одиноких бывших рабочих, сначала начальная школа, а потом огромное двухэтажное здание «большой» школы (которую я окончила и которую разрушили в 90-е годы, через сто лет после ее открытия), клуб для служащих с библиотекой, церковь. Баранов широко занимался благотворительностью и был, если использовать современную лексику, социально направленным предпринимателем. У двух его братьев были хлопчатобумажные предприятия в Александрове и Струнине (этот небольшой городок так же, как и Карабаново, ведет начало от даты возведения текстильной фабрики).

Н. Р. : *Анна Петровна, заканчивая наш разговор, скажите, какую роль сыграла в Вашей жизни война?*

А. П. : Однозначного ответа нет. Война сближала людей – почти все переживали трудности, старались помочь друг другу и поддерживать оптимистический настрой. Это очень важно для воспитания дружелюбия, сопереживания, участливости. Война закалила меня, приучила к лишениям, к терпению и терпимости, скромности в своих притязаниях. Поэтому те трудности, которые мы сейчас переживаем, мне кажутся пустяками по сравнению с тем, что было во время войны. Она научила ценить маленькие радости и воспринимать их как большие. Научила понимать, в чем заключаются главные ценности.

В то же время война была для меня событием разрушительным. Она обездолила меня. Каким образом? Погиб брат, умер из-за отсутствия лекарств папа. В семье не осталось мужчин, а мы-то росли, зная, что у нас есть отец и старший брат. У меня не стало опоры, которую они могли бы мне дать. И я, и моя младшая сестра были обречены опираться только на собственные силы. Мама получала пенсию

в связи со смертью кормильца всего 190 рублей, и не она мне, а я ей всегда помогала, так как моя стипендия была гораздо больше. При более благоприятных условиях я, может быть, смогла бы больше сделать. Конечно, тяжкая жизнь во время войны не забывается. Это – психологическая травма.

Н. Р. : При этом все работало и вас, детей, настолько хорошо учили, что Вы смогли поступить в один из ведущих московских институтов.

А. П. : Да. Преподаватели были очень хорошие, некоторые из них работали в этой же самой школе еще до Октябрьской революции.

Н. Р. : Мальчиков не было в выпускном классе?

А. П. : Нет. У нас мальчиков не было, остались только девочки.

Н. Р. : Вы не пожалели, что получили такое образование, пошли в востоковедение?

А. П. : Нет. Никогда не жалела и не жалею. Это – мое любимое дело, которое помогает переносить все жизненные невзгоды. Единственно, о чем я действительно очень жалею и корю себя, так это то, что я упустила шанс заниматься Японией, когда в 1970 году вернулась с ЭКСПО-70 и заведующий Отделом Японии Игорь Александрович Латышев предложил перейти в его отдел и заняться экономикой Японии. Я смалодушничала, побоявшись снова переквалифицироваться. И напрасно!

Н. Р. : Что бы Вы сказали сегодня молодым людям о войне?

А. П. : Война – это тяжелое испытание. Она разрушает и физически, и нравственно. Люди ожесточаются. Хотя она и закаляет, помогает определить нравственные ориентиры. И все же, не дай Бог жить во время войны!

Эрик Наумович Комаров

Родился 19 июня 1927 г. в Москве

Окончил Московский институт востоковедения (1950)

Кандидат исторических наук (1953)

Индолог, специалист по истории Индии

Работал в ИВ РАН с 1954 г.

Научный сотрудник ИВ РАН

Ветеран Великой Отечественной войны, труженник тыла, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»

Умер в 2013 г.

Наталья Романова: *Пожалуйста, скажите несколько слов о своей семье.*

Эрик Наумович: Дед у меня по линии матери был старый большевик, ни много ни мало. И бабушка тоже была член партии. А родители мои были комсомольцами 20-х годов. Отец в молодости был даже участником Гражданской войны, но никто из них впоследствии партработником не стал. Дед работал в Наркомфине (Министерстве финансов. – Прим. Н.Р.), отец был инженер, а мать – архитектор. У меня история семьи подробно изложена в моей книжке «В России и Индии»*. Братьев-сестер у меня нет.

* Комаров Э. Н. В России и Индии. Из воспоминаний и наблюдений индолога. М., 1998.

Н.Р.: *Вы помните день начала войны, 22 июня 1941 года? Что Вы делали тогда?*

Э.Н.: Прекрасно помню. Накануне мне как раз исполнилось 14 лет – 19 июня у меня был день рождения. Я был в пионерском лагере, и я помню, как во время полдника (чая) мы были в столовой, это такое длинное помещение с навесом, и старший вожатый объявил, что вот, началась война.

Реакции своей на это я не помню, скажу откровенно, но сразу на территории пионерского лагеря, а лагерь был в старом помещицьем имении, местные жители стали рыть укрытия. И вот это меня и всех нас как-то сразу насторожило. А потом нас скоро из этого лагеря вернули в Москву.

Н.Р.: *А где Ваш лагерь находился?*

Э.Н.: В Перхушково, рядом с Москвой. Это был лагерь Архитектурного фонда – ну, мать была архитектор, член Союза архитекторов. А первый раз я особенно запомнил, что насторожился, когда один мамин сослуживец вдруг сказал: «Немец прет». То есть немецкие войска уже сильно продвигались на нашу территорию. Уже начиналась эвакуация, и я тоже вскоре уехал.

Но перед эвакуацией я помогал обороне на крыше нашего дома. А дом наш был особенный: это тогдашний высотный дом в Гнездниковском переулке, он и сейчас есть (знаменитый дом Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке. – *Прим. Н.Р.*). Он был построен где-то в 1908-м или 1912 году на американский манер. Этот дом был десятиэтажный, но этажи были очень высокие, даже можно сказать, что там был одиннадцатый этаж – он сильно возвышался и имел плоскую крышу. Крыша служила нам двором: как у ребят бывает двор на улице, так у нас вместо двора была крыша. Мы там на велосипедах ездили и даже

в футбол играли! Там были скамейки, цветники, был даже клуб для детей и для взрослых. В общем, такой необычный дом был, элитный; в нем жил во время процессов прокурор Вышинский, как раз под нашей квартирой.

Я дежурил на крыше во время первых воздушных налетов на Москву. И оттуда, с крыши, открывалась поразительная картина. Раньше с нашей крыши был общий вид Москвы, очень красивый. Это было море огней. А теперь это было темное пространство, на котором (мне тогда такое сравнение являлось) вроде как черный бархат, а на нем какие-то розы, такие пылающие костры – не с полдюжины, а с дюжину – это были пожары. А небо было расцвечено по-своему – прожекторами и трассирующими снарядами зениток. Наша крыша была как бы в два этажа, и на верхней крыше был установлен зенитный пулемет. А зажигательные бомбы мы должны были – вы, наверное, знаете про это – сбрасывать, если они падали на крышу.

Для этого были специальные кадки с водой, мешочки с песком, клещи, которыми надо было ее захватить. Но ни одна бомба на мою крышу и на мою площадку не упала. Я, собственно, был один на определенной площадке, а на других площадках были другие ребята. Но очень противно было слушать свист бомбы, потому что время от времени раздавались взрывы фугасных бомб. Зажигательных бомб бояться вроде было нечего – а кто ее знает, какая бомба падает и свистит – зажигательная или фугасная? Вот это было очень даже страшно.

Н. Р. : *Эрик Наумович, потом Вы поехали в эвакуацию. Расскажите об этом.*

Э. Н. : Это было в конце июля или, скорее, в начале августа... В эвакуацию я поехал с бабушкой. Мама осталась в Москве, потом со своим учреждением она была эвакуирована в Новосибирск. А работала она... по-моему, тогда это

учреждение называлось «Военпроект», но когда – до войны, после войны – я уже точно не помню. Она занималась в это время маскировкой Москвы. То есть они там – Вы, наверное, видели это иногда в документальных фильмах – раскрашивали Москву. Они раскрашивали крыши, чтобы сверху по возможности спрятать путем окраски наши характерные здания – Большой театр и прочие, по-другому их все раскрасить, замаскировать от бомбежки. Мама рисовала эскизы, что-то в этом роде.

А после войны в Военпроекте она делала уже надгробия для красноармейцев, наших фронтовиков. Проекты надгробий. Мама стала заслуженным архитектором. У нее был такой проект, я сейчас хочу на ее могильном камне на кладбище это схематически изобразить, – проект назывался «Дом Коминтерна». Этот дом построен не был, но проект был оригинальный. Он получил международную известность среди специалистов, и во всех книжках по архитектуре 20-х годов – и у нас, и за рубежом – этот проект фигурирует среди других ввиду своей оригинальности. Вот так. А отец был инженером, инженером-электриком. Но он на войне не был, он еще раньше заболел туберкулезом и умер от него во время войны.

Вот, и поехали мы с бабушкой в эвакуацию в Чкаловскую область, ныне Оренбургскую. Место называлось село Лабазы, это километрах в тридцати от Бузулука... Помните фильм «Чапаев»? Или песню «Степь да степь кругом... в той степи глухой умирал ямщик...»? Это вот там. Конечно, это была особая жизнь для московского мальчика. Ведь это было совершенно неожиданно – вся эта жизнь тамошняя... Я работал в колхозе, на МТС (машинотракторная станция. – *Прим. Н.Р.*), был молотобойцем в колхозной кузнице, что мне нравилось.

Н. Р.: *А почему Вы оказались в этом месте?*

Э. Н.: Эвакуация была организована Союзом архитекторов. Не только мы, многие семьи туда поехали. Потом некоторые

вернулись, а мы с бабушкой оставались там до 1943 года. А летом, в июле–августе, вернулись домой, в Москву.

Н. Р. : *И как Вам показалась Москва летом 1943 года?*

Э. Н. : Ну, в 1943 году военная Москва, понимаете, вообще-то не так чтобы очень сильно внешне отличалась от довоенной Москвы. Я помню, меня очень поразило, что, когда мы с бабушкой приехали в Москву, поезд пришел достаточно поздно, часов в 11 ночи, и мы ехали в освещенном метро. Я оказался в метро, уже забытом за два года, как бы совсем в другой жизни. И когда мы вышли из метро (нынешний «Охотный ряд»), чтобы пройти до нашего Гнездииковского переуллка, а это напротив Елисеевского гастронома, Москва была затемнена совершенно. И мы с бабушкой по абсолютно темной улице Горького (ныне Тверской) шли пешком, наверх, к себе домой.

И еще на меня сильное впечатление произвел первый салют по случаю взятия городов Орла и Белгорода. Мы жили на 9-м этаже, там и сейчас живут мои дети, и там тоже вид такой открывался – Москва была совершенно темная... И первый салют был без всяких ракет, фейерверков, только гул стоял – гул от орудийных залпов. Это тоже произвело впечатление – над такой затемненной, почему-то немножко туманной Москвой стоял гул... Это был первый военный салют, первый, без ярких огней, без ракет, и только гул был, только гул. А последний военный салют – это уже репродукторы разносили слова «Тридцать залпов из тысячи орудий».

Да, военная Москва... Все-таки, по моим воспоминаниям, она не особенно отличалась. Она, видимо, сильно изменилась тогда, когда я уехал в эвакуацию. Вы же знаете, что в октябре 1941 года в Москве была паника... В 1943-м я уже видел, как шли девушки в форме и несли аэростаты. Были такие аэростаты заграждения, тоже необычное зрелище. Это огромный дирижабль, надутый воздухом. И этот

дирижабль на канате поднимали на высоту примерно двух-трех километров. Их довольно много было, чтобы самолет не мог спикировать, иначе он рисковал задеть за этот трос и пропасть. Занимались этими аэростатами заграждения девушки в форме, «военизированные» девушки.

Н. Р.: *Эрик Наумович, в 1943 году в Москву уже стали театры из эвакуации возвращаться. Вы это помните?*

Э. Н.: Да, и по этому поводу я вам могу такую вещь характерную рассказать. Я учился в школе-экстернате, это была ускоренная такая школа. Поскольку ребята много пропускали – из-за эвакуации и по другим обстоятельствам, – были сделаны такие школы-экстернаты, где можно было пройти три класса за один круглый календарный год. Именно там я впервые увидел книжки Ромена Роллана об индийцах – Ганди, Вивекананде, это был уже Восток, Индия.

В этой школе-экстернате мы дружили – группа ребят, и девушки с нами были, ну, как это обычно бывает. И ребята говорят: «Надо бы в театр пойти», а я сказал: «Тогда давайте пойдем в оперетту!». А меня осмеяли, замахали руками. И знаете почему? Потому что в то время в оперетту достать билеты было совершенно невозможно. Потому что фронтовики шли в первую очередь туда. Почему? Ну, чтобы отойти от ужасов войны. Понимаете, после фронта их не очень-то занимали отношения и проблемы Анны Карениной и Вронского.

Н. Р.: *Конечно, фронтовикам хотелось смеха и музыки, и именно оперетты!*

Э. Н.: Да, оперетты! Ребята меня, конечно, высмеяли, но я приехал из эвакуации и не очень знал об этом. Билеты туда достать было невозможно!

И тогда мы пошли в кино. Впервые, после уроков... Здание школы было недалеко от Дома кино. И там впервые шел фильм «Два бойца», песня там знаменитая звучала – «Темная ночь», ее исполнял Марк Бернес. И вот в связи с этой песней я почему-то запомнил такую картину: на нашем доме зенитный пулемет с крыши уже убрали, а командный пункт воздушной обороны еще оставался. С десятого этажа, сверху вниз, в доме шли плавные красивые лестницы, и какие-то две девушки в форме спускались с крыши по этой лестнице и пели «Темную ночь». А я мальчишка был, шестнадцать лет... А она очень впечатляла тогда, эта песня. Да она и сейчас впечатляет...

Н. Р.: *Эрик Наумович, а Ваши родители что делали во время войны?*

Э. Н.: Папа умер в 1942 году от туберкулеза, в эвакуации. А мама вернулась в Москву раньше нас. Если мы вернулись с бабушкой летом 1943 года, она вернулась, наверное, в начале 1943 года и потом вызвала нас. Папа уехал в Бузулук, чтобы быть ближе к нам с бабушкой. Там, в Бузулуке, он работал на заводе. Мы с бабушкой жили в колхозе, но я часто приезжал к нему в Бузулук, туда, где он работал, и он тоже приезжал к нам в наше село.

И мне очень запомнились его похороны. Нам пришла телеграмма... Причем, знаете, это был единственный раз в жизни, никогда у меня такого не было, – в колхозе были свободные избушки, и мы с бабушкой в одной из них жили; вот однажды ночью я услышал, как выла собака – я никогда раньше, ни до, ни после, такого воя собачьего не слышал... Как она завывала... А наутро из сельсовета принесли телеграмму из больницы, где сообщили, что умер отец... Я тут же отправился пешком, на каких-то попутных лошадях, 30 километров. Но я мог и пешком пройти эти

30 километров, потому что я землю пахал, а чтобы пахать землю на лошадях, идти за плугом...

Н. Р.: *Надо быть физически крепким человеком.*

Э. Н.: Более или менее. Я просто посчитал: это в степи, в один конец (это назывался гон) что-то около десяти километров в одну сторону, а потом еще назад. Всего получалось около 30 километров в день. В общем, я отправился в больницу, где отец умер. И похороны... мне запомнилась небольшая похоронная процессия. А там, в Бузулуке, в это время формировалась чешская воинская часть генерала Свободы*. Вы, наверное, слышали о нем? Чешские солдаты там ходили, пели хорошо, стройно... А тут не солдаты, а два офицера шли нам навстречу, и мне запомнилось, как они отдали честь нашей похоронной процессии.

А потом мне тоже запомнилось, уже на кладбище, перед могилой, видимо, секретарь парторганизации, такой простой человек, что-то говорил – отец был старый член партии, участник Гражданской войны, все такое, в Бузулуке он инженером работал. И этот человек над могилой произносил какие-то хорошие слова, что именно – я совершенно не помню. Но помню, что у него сапог был подвязан проволокой. Понимаете, подошва подвязана проволокой.

Н. Р.: *Даже у него, секретаря парторганизации, сапог не было?*

Э. Н.: Да, наверное, секретарь цеховой парторганизации. Вряд ли заводской, так я думаю: заводской, наверное, выглядел бы посolidнее. Ну, в общем, вот это мне запомнилось.

* Людвиг Свобода (1895–1979) – чехословацкий военный и государственный деятель, генерал армии ЧССР, трижды герой ЧССР, Герой Советского Союза (1965), президент ЧССР (1968–1975), народный герой Югославии. Один из инициаторов создания в 1942 г. в Бузулуке (Оренбургская область) 1-го отдельного чехословацкого пехотного батальона из чехословацких патриотов-националистов.

А еще Вам расскажу... из бузулукских воспоминаний. До чехов там формировалось польское войско во главе с генералом Андерсом*. Этот Андерс вообще плохо к советской власти относился, и в конце концов эти поляки во время войны ушли через Иран, и дальше, в Англию**. Ну, это история печальная по-своему. Очень даже печальная. Причем, Вы знаете, я с поляками работал вместе... С другими, не с этими, сейчас расскажу, с какими и как. Это были те поляки, которых вывезли после занятия Западной Украины, в том числе там были офицеры – не всех успели расстрелять в Катыни. Я не знаю цифры, но там тысячи были расстреляны. Сейчас Вам расскажу: поляки, андерсовцы образовали свою воинскую часть. Я не знаю, сколько их было в Бузулуке: полк, дивизия... Причем я знал, что эта воинская часть была совершенно самостоятельная, у нее был свой военный суд, и они там даже своих расстреливали.

Н. Р.: *Вы, правда, помните такое? А за что расстреливали?*

Э. Н.: Да, мне сельчане, соседи рассказывали. Я не знаю за что. Просто важно то, что они были самостоятельны. В начале 1942 года, значит, их собрали... но они ушли. Они поссорились с советской властью и ушли через Иран к союзникам, к англичанам. Тогда стали собирать из оставшихся новое войско – то, что называлось Войско Польское. И прежде чем их забрали в это самое Войско, двое из них работали со мной вместе в кузнице. Причем один из них был поляк, а другой – еврей, такой высокий, крупный. Поляк, я помню, во Львове или где-то в Западной Украине раньше был брандмайором, то есть офицером-пожарником...

* Владислав Андерс (1892–1970) – генерал-лейтенант польской армии, командовал отдельными польскими формированиями во время Второй мировой войны.

** Многие офицеры Армии Андерса из-за пакта Молотова–Риббентропа не хотели воевать под знаменами СССР. В 1942 г. армия Андерса ушла в Иран, а в 1943 г. была преобразована во 2-й Польский корпус и вошла в состав британской армии.

Я с ними работал в колхозной кузнице под началом пожилого кузнеца, похожего на купцов – героев Островского, такого толстого, с бородою. Советскую власть кузнец очень не любил (в основном колхозы, конечно), но вернувшись в родное село из Ташкента, куда уезжал на заработки работать на заводе, с полуудивлением говорил, что на заводе шел со смены домой уже в пять часов, а каждый шестой день был выходной (семичасовой рабочий день и шестидневка были до 1940 года).

В колхозе работали от рассвета до заката без выходных. А вернувшись без сил вечером в избу, надо было заниматься домашними делами – ухаживать за скотиной, печь хлеб, заготавливать дрова, полоть огород, собирать урожай... Но во время войны кузнец все же из города вернулся к семье, к земле – на селе теперь было сытнее. Хотя работа на селе требовала тяжелого физического труда. Пахали и на тракторах, и на лошадях, иногда мне самому приходилось проходить за плугом до 30 километров в день. Очень тяжелая работа была молотить зерно, причем кидать вилами снопы надо было без остановки, иначе «полетят» зубья молотильного барабана. В колхозной кузнице работа казалась легче.

Н. Р. : *Как Вашего кузнеца звали?*

Э. Н. : Ой, сейчас я уже не помню точно. Это тоже отдельная тема, очень интересный был типаж... И вот с этими двумя поляками и с этим кузнецом я работал. Сначала были только кузнец и я, потом они двое добавились. Там они мне много всякого рассказали, это отдельная повесть.

Н. Р. : *Что Вам поляки рассказывали, как это все происходило?*

Э. Н. : Собственно, они были сильно обижены на советскую власть. Они же были репрессированные. Но тем не менее они были мобилизованы в армию – уже не в Андерсовскую армию, а в Войско Польское, имени Костюшко оно

называлось, по-моему. Интересно, что у меня по отцу, по той линии был двоюродный брат, Вацлав, у которого отец был коминтерновский поляк. И вот моего двоюродного брата, хотя он жил в России, родился здесь, его тоже взяли в это Войско Польское, уже не в андерсовское, а, так сказать, в советское... А этих двоих.. Поляка звали Юзеф, а вот еврея – совершенно не помню. Моя бабушка была родом из Ростова, мать у нее была полька, а отец украинец; она всякие польские присказки говорила, немного язык польский знала, и она с этими двумя общалась. Я запомнил, как они ей говорили... Хотите, похвалюсь?

Н. Р. : Конечно!

Э. Н. : ...Юзеф сказал моей бабушке: «Эрик – хороший мальчик и не ругается».

Н. Р. : Бабушке было приятно.

Э. Н. : Бабушке было приятно. Вот видите, такие вещи были. А потом они пропали. То есть их взяли уже в армию. Это был какой-то выход для них... Видимо, они были до этого в лагере, а потом работали у нас в кузнице – ну, видимо, несколько месяцев. И потом взяли их в это Войско Польское. Выжили они, не выжили – не знаю.

Н. Р. : Эрик Наумович, а рассказать про чешскую часть Вы что-то можете?

Э. Н. : Нет, я их не много видел. Вот про поляков-андерсовцев у меня в памяти такой эпизод.

Вы знаете, в Бузулуке был рынок. Такой старый рынок, представляете, это же довоенный фактически и сравнительно небольшой город, это не Москва – это Бузулук. Я бывал неоднократно в Бузулуке, хотя жили мы недалеко в селе, в 30 километрах. И почему-то я оказался на рынке – может быть, что-то надо было прикупить,

совершенно не помню. Но только мне запомнилось, как на рынке стоял такой высокий – из андерсовцев еще... польский офицер, высокий, в конфедератке, а с ним, видимо, какой-то ординарец, но так, ростом поменьше. И знаете, у меня было какое впечатление? Вам это трудно представить. Перед войной мы смотрели кинофильмы про Гражданскую войну и Красную Армию – «Чапаев», «Мы из Кронштадта», другие фильмы, где были эпизоды с белополяками на Украине. И вот мне показалось, что город занят белыми. Представляете – когда я увидел этого офицера! Такого, как в кино. Это очень запомнилось. Видите, мне многие вещи не запоминаются, а это – ну, прямо как фотографию вижу! Когда я увидел офицера, такого, как в кино, в конфедератке и на рынке в Бузулуке...

Н. Р. : *Эрик Наумович, как поляки относились к русским?*

Э. Н. : Собственно говоря, они все-таки, если говорить точно, не относились плохо специально к русским, они плохо относились к советской власти. Но это же особое дело, потому что советскую власть сильно не любили и те колхозники, которые жили в моем селе. А не любили они не только саму советскую власть. Главным образом они колхозы не любили, считали коллективизацию делом неправильным, вредным.

Н. Р. : *А почему? Как они жили до войны?*

Э. Н. : Какими они были до войны, – я не знаю. А вот в это военное время те, кто там жили, конечно, зажиточными их нельзя было назвать, но что важно сказать – вот если Вы читали Федора Абрамова... Село во время войны где-то на северо-западе России, представляете, да? Там все время говорится, что они, крестьяне, голодают, живут полуголодные. Нет, в моем селе все-таки люди не были голодными. Не были. Зажиточными я бы их никак не назвал, но не голодали. Было поле, я сам тоже кормился в поле. На трудодни

почти ничего не давали, а в поле кормили. Колхозные приусадебные участки были у всех, при этом они были сильно обложены налогом, эти приусадебные участки...

Это специальная сложная тема. Колхозы они сильно не любили, до слез ненависти, что называется. Это особая наша история, которую просто и коротко не расскажешь. Крайне противоречивая история. Крайне. И конечно, тяжелая.

Н. Р. : *Эрик Наумович, а когда Вы вернулись в Москву, сам Ваш дом изменился? Как его жильцы пережили войну?*

Э. Н. : Да, состав сильно изменился. Знаете, в нашем доме вообще была тяжелая ситуация; он был, конечно, специфичен. Конечно, это не такой дом, как знаменитый Дом Правительства, «Дом на набережной», но у нас жил не только один Вышинский. У нас жил директор завода ЗИЛ Лихачев и другие видные люди. Поэтому многие семьи были в 1937 году репрессированы. И у ребят моих тоже были отцы репрессированы. В нашей семье, хотя дед был старым большевиком, отец и мать – члены партии, никто не пострадал. А по дому много пострадало людей. Много. И понимаете, перед войной у ребят в московских дворах была такая блатная романтика. Песни пели блатные. Их пели даже в нашем пионерском лагере Фонда архитекторов, эти песни там знали. И некоторые из этих ребят занялись грабежами квартир эвакуированных. Но их быстро скрутили и, естественно, отправили в лагеря. И некоторые там погибли. Некоторых в армию взяли.

Вообще, в армию ушли старшие ребята, старше меня. Я-то ведь как раз был на грани: мне исполнилось 18 лет в 1945 году. А кто постарше был, тех забрали в армию, хоть на год, и всё... И там многие просто погибли. Хорошие ребята... В нашем доме есть мемориальная доска с именами погибших в боях жителей, ее установили сами наши жильцы.

Н. Р. : *И много человек в вашем доме погибло?*

Э. Н. : Человек пятнадцать, думаю. Вообще, наш дом был известен в истории Москвы как дом Нирнзее. Там бывали Маяковский, Есенин, многие известные люди. Внизу находился цыганский театр, а до революции – знаменитое театральное кабаре «Летучая мышь», такой кафешантан, так сказать.

Н. Р. : *Как встретили Победу, помните?*

Э. Н. : Помню. Конечно, всеобщая радость была, ликование... Мне больше всего запомнилось расцветенное салютом небо. И в небе, поднятый на аэростатах, освещаемый зенитными военными прожекторами, огромный портрет Сталина... Это тоже как-то особенно запомнилось.

Н. Р. : *Скажите, а как война повлияла на Вашу жизнь? Она изменила Вас?*

Э. Н. : Война, понимаете... Общение во время войны, в деревне, потом с ребятами в моей школе-экстернате, чтение разных книжек, общение – оно, конечно, сильно перевернуло меня. Я был такой насквозь московский интеллигентный мальчик...

Вы знаете, кто одержал победу в Великой Отечественной войне? Вот это я важное для Вас сейчас скажу – десятиклассники и студенты младших курсов! Что это значит? Это значит то, что это была городская или ставшая городской молодежь, получившая советское образование и советское воспитание, в том числе идеологическое, идейное.

Н. Р. : *А крестьянская молодежь?*

Э. Н. : Эта молодежь была все-таки городская, потому что это были десятиклассники и студенты младших курсов – они, может, и были исходно из деревни. Ко времени войны

большинство населения городов, примерно две трети, были выходцы из деревни, это в процессе индустриализации. Но они уже не были деревенскими ребятами, даже если они или их родители приехали из деревни. Они уже прошли советскую школу. Или уже первые курсы университетов и институтов. Их всех забрали в военные училища во время войны, и они стали младшими командирами. Вот они и вели в бой советских солдат. Понимаете, да? Они не были маршалами, они не были полковниками – потом могли ими стать... А сначала именно они вели в бой – вот тех простых сельских ребят, у которых было только три-четыре-пять классов образования. А были и взрослые мужики, бывалые... Командир – лейтенант молоденький, а под его началом взрослые мужики, лет по сорок... Вот эти лейтенанты и вели в бой.

Я видел таких ребят, уже после войны. И у нас был один такой, без ноги... Мы его называли Валечка-разведчик. Он действительно был разведчик, фронтовой разведчик, как в «Звезде». И как он говорил: «Смерть моя пришла», то есть вместо смерти у него ногу отняли... То есть не убили, а как бы в замену смерти... А у него целиком не было ноги, не по колено там, а... полностью. Он рассказывал, как он там воевал... и расстреливали там...

Чтобы Вы это ярче представляли себе, что это были за ребята и с каким настроением, можно прочесть... было у нас в свое время одно издание сделано. Солженицын в 1939 году был студентом – студентом ИФЛИ. Это был известный Институт философии, литературы и истории. Вот если Вы воспоминания Лунгиной слушали, она там много упоминает ИФЛИ. А Московский институт востоковедения, который я закончил, помещался в здании ИФЛИ, в Сокольниках. И вот эти все ребята из ИФЛИ, «мальчики державы», все они оттуда, а мы, значит, уже были из Московского института востоковедения. Так вот, есть переписка Солженицына 1939 года. Он высказывал претензии к Сталину, знаете,

по какой линии? Что Сталин слишком много занимается Россией и мало занимается мировой революцией. Вот менталитет какой! Как в «Звезде» у Вадима Кондратьева.

Видите, какой был менталитет у этих ребят! Это такое особое поколение ребят, к началу войны им было по 18–20 лет, они прошли советскую школу и младшие курсы. На мой взгляд, вот они победили, в первую очередь... Погибло их очень много, как вот эти, из ИФЛИ, – они все пошли на войну. Чтобы получить об этом представление, сделали телепередачу, «Мальчишки державы» называлась, это о поэтах времен войны, неплохо сделано...

***Н. Р.:** Эрик Наумович, еще ответьте: Сталин – сейчас о нём очень много пишут, говорят... Скажите, Ваше отношение к Сталину до войны и сейчас – оно изменилось?*

Э. Н.: Вот, знаете, странное дело, у меня особенно к Сталину во время войны какого-то такого специального отношения не было. Хотя я знал, что среди этих колхозников никакого пиетета тоже не было. Я как-то немножко стоял в стороне, что ли, от этого. Я помню, женщины говорили: «Чего он там, Сталин? Он там у себя в Кремле булочки ест». Вот это я запомнил.

***Н. Р.:** Это было в колхозе?*

Э. Н.: В колхозе, да, в колхозе. Был там один такой старик, который говорил, что у Сталина голова закружилась – это он так понял – была у Сталина такая статья, я не знаю, вряд ли Вы знаете...

***Н. Р.:** «Головокружение от успехов»?*

Э. Н.: Вот именно. Это была статья Сталина о коллективизации. Против перегибов в коллективизации. Статья была, по-видимому, достаточно лицемерная. А старик так понял, что у Сталина голова закружилась. Они специально

о Сталине не высказывались, может быть, боялись – кто его знает? Хотя мне трудно судить. И я как-то тоже не очень на него реагировал.

А после войны, помню, один мой школьный товарищ сказал о Сталине, и это на меня произвело впечатление, что теперь ему остается только бояться зависти богов. Зависти богов! Так высоко он возвысился. Ну, а потом уже, конечно, после смерти Сталина... Но даже еще раньше, чуть ли не перед самой войной как-то моя бабушка говорила, что дед, старый большевик, был недоволен возвеличиванием, культом Сталина, что-то вот такое возникало.

***Н. Р. :** Даже так! Интересно.*

***Э. Н. :** Да, но это не высказывалось. Потом мама мне рассказывала, что они между собою, ее коллеги, друзья, товарищи, говорили: как же так, столько репрессий, откуда столько взялось врагов народа? Откуда они – вдруг, ни с того ни с сего? Это было еще перед войной. А когда Сталин умер, моя бабушка, которая давно была аполитичной (она была членом партии во время революции, во время Гражданской войны, а потом, в 20-х годах, она автоматически выбыла из партии по болезни, так бывало), говорила, и мне это тоже запомнилось, как раз во время смерти Сталина, что вот тут все рыдают, а в Кремле, наверное, радуются. То есть чуяла она это как-то, чуяла. Причем именно каким-то своим политическим чутьем, потому что действительно они таки радовались, Сталин готовил репрессии на эту верхушку, на Молотова, на них всех, это известно.*

***Н. Р. :** Эрик Наумович, а вот сейчас, когда столько всего говорится о Сталине, что даже с плакатов, которые посвящены войне, надо убрать фото Сталина...*

***Э. Н. :** Абсолютно. Категорично и решительно. Ибо я считаю, что те, которые пытаются как-то, хоть как-то оправдывать*

Сталина... эти люди либо просто безнравственные, либо с мозгами, некогда повернутыми набекрень культом Сталина, сознательно насаждаемым им самим. Ну, знаете, ветеранов можно понять. У меня был соседом очень хороший человек, он умер уже, он был летчик военный. Вот ему долго приходилось объяснять. А он повторял, что они шли «за Родину, за Сталина».

У людей не очень мыслящих, понимаете, это было впечатано. А есть самые настоящие безнравственные люди, которые, даже все зная и понимая, игнорируют, что он погубил миллионы, превратив их в могильный прах и лагерную пыль. Я им говорил даже у нас в институте, на семинаре: «Представьте себе, вот мы сейчас сидим на семинаре, пришли домой, а потом раз – и в лагерную пыль, и – долой из жизни». Это я называю, не обижая людей, знаете, некоторым недоумством. Ведь были чудовищные преступления. Преступления, которые вполне можно квалифицировать как преступления перед человечеством, на которые нет срока давности. Это человек, повинный в гибели людей и в чудовищных мучениях. Так что тут у меня отрицательное отношение безусловное и бескомпромиссное.

Н. Р. : *Эрик Наумович, а вот еще вопрос, который очень интересен, – о Вашем отношении к Богу... Вы атеист?*

Э. Н. : У меня в книге есть такая маленькая главка, которая называется «Сказка про Бога. Тагор как Белинский?»... Я ведь все-таки воспитывался с дедушкой и с бабушкой, и когда мне было лет 6–7, дед мне сказал, и это мне почему-то запомнилось: «Ты уже большой, пора тебе рассказать сказку про Бога». Что он мне рассказал, я не помню, но я знаю одно – мой дед, бабушка, их характеры и взгляды сложились в конце XIX века... Я знаю, бабушка родилась в 1875 году, то есть к началу XX века ей было 25 лет. Они были из простых семей, из низшей передовой

интеллигенции. И передовитость – она особенно проявлялась в антиклерикализме. Поэтому бабушка рассказывала мне такие польские шутки-анекдоты – по-польски, про пьяного ксендза на кафедре...

Н. Р. : *Эрик Наумович, Вы так и остались в этом настроении?*

Э. Н. : Да, я остался в этом настроении. Я – стопроцентный атеист. Но это сложная очень вещь. Ну, меня привлекает, как и Неру... Ганди был религиозным человеком... А Неру был атеистом, но его привлекало то, что он называл «духовным подходом». Вот это меня тоже интересует. Я писал об индийских реформаторских движениях и прочих религиозных вещах. Интересует, привлекает, но я в этом смысле, как Неру, который говорил, что «я не верю в Бога или богов», но настаивал на «духовном подходе».

Н. Р. : *Последний вопрос. На Ваш взгляд, что помогло победить в войне нам, русским, советским людям? И что бы Вы сказали о войне молодым сегодня?*

Э. Н. : Вы знаете, очень сильно помогла вот эта советская власть, «диктатура пролетариата»... Очень сильно помогла... Тут много загадок, не все ясно до конца... Понимаете, вот эта организационная сила. Причем меня крайне удивило, что недавно даже по телевизору, сейчас порой вообще много говорится всякой чепухи, что неудачи во время войны объяснялись российской расхлябанностью и бюрократизмом. И вот любопытно: как же так получилось, что вдруг через полгода (я имею в виду битву под Москвой) и расхлябанность куда-то делась, и бюрократизм куда-то делся. Всего через полгода! То есть это полнейшая чепуха. Расхлябанность расхлябанностью, она, так сказать, есть. Но это глупое объяснение. Сейчас мы с вами это дело не решим, потому что там всякие очень сложные хитросплетения, факторы, не до конца ясны все

эти соотношения. Но среди других разных обстоятельств, которые, может быть, еще не вполне осознаются, сила государственной централизованной власти несомненно сыграла огромную роль! Понимаете? И в то же время эта сила, если так дальше продолжать, ее другая чудовищная, преступная сторона привели к огромным потерям, в том числе и во время войны. Иными словами, можно было победить без чудовищных потерь.

А ответственность за эти потери несет не кто иной, как власть во главе со Сталиным, и прежде всего сам он. Лозунг – крик «За Родину! За Сталина!» отнюдь не сам собой родился в народе, но внедрялся по распоряжению самого Сталина и не раньше перелома в ходе войны. Неудивительно, что этот лозунг-крик врезался в сознание шедших на смерть, в атаку, и оставался в сознании выживших. Его старались насаждать также и пошире, в народе, который нес чудовищные тяготы войны, трудился, ждал Победы.

Меня даже тогда, в 18 лет, поражало, когда война закончилась... Как так получилось, что немцев пустили до Сталинграда, потеряв половину промышленности и всего, а потом на другой половине – победили. Как же так вышло: значит, можно было не пускать немцев до Сталинграда?

Н. Р. : *И все-таки сегодня что Вы хотите важного сказать о Великой Отечественной войне?*

Э. Н. : Это довольно трудно так сказать о войне. Это было одно из важнейших событий или явлений – слово даже не могу подобрать – в истории России. Огромное событие в истории России! Более крупных, более значительных, исторически более важных войн в России не было. Победа в войне действительно сыграла очень существенную, позитивную, нужную роль в мировом развитии. Все-таки мы победили нацистов, фашизм, и можно сказать, в некотором

роде, спасали тем самым американцев и англичан – в том смысле спасали (они, конечно, политики очень умелые, в отличие от нас), что их потери несопоставимы с потерями российского... русского... советского народа. Понимаете, мы тем самым как бы сохранили жизни им... Они бы победили немцев – не сомневаюсь в этом. Там уже атомную бомбу изобрели, и все такое. Но Россия спасла им миллионы жизней... Отдав миллионы своих.

Мария Николаевна Орловская

Родилась 19 мая 1926 г.д. Мантрово Смоленской области

Окончила Московский институт востоковедения (1950)

Доктор филологических наук (1996)

Монголист, специалист по монгольскому языку

Работала в ИВ РАН с 1954 г.

Ведущий научный сотрудник ИВ РАН

Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»

Умерла в 2016 г.

Наталья Романова: *Расскажите, пожалуйста, про свою семью.*

Мария Николаевна: Про семью... ну, семья была простая: папа у меня железнодорожный строитель, прораб. Они строили железнодорожные мосты, переправы всякие, вокзалы... И поэтому, когда началась война, его не взяли на фронт, потому что уже возраст был у него такой. Ему тогда было, наверное, 48 лет, под 50. Потому, может быть, не взяли, что он был строитель. Он двигался за фронтом, когда немцев от Москвы уже прогнали. Они шли вслед за войсками и восстанавливали вокзалы, мосты. И он дошел чуть ли не до Смоленска, даже жил в то время в Вязьме – на пути к Смоленску.

Мама не работала, потому что нас было трое детей, я средняя. Младшая сестра много болела, и мама часто находилась с ней в больнице, а меня как-то некуда было деть... Я до семи лет жила с бабушкой в Смоленской области. Конечно, летом ко мне приезжали родители, но в основном я жила с бабушкой. Старшая сестра, когда приезжала на каникулы, пыталась учить меня писать цифры; считать я уже умела. Помню, у меня никак не получалась цифра «5», а сестра мне выговаривала, что другие девочки умеют ее писать, а я нет, и мне было очень обидно.

Учиться тогда начинали с восьми лет. А там была рядом сельская школа, и меня приняли с семи. Первый класс я проучилась там. А когда нужно было переходить во второй класс, меня перевезли в Москву. Папа привел меня в небольшую кирпичную четырехклассную школу (от железнодорожного ведомства), где мне сначала устроили маленький экзамен, могу ли я учиться, после сельской школы, во втором классе. По итогам определили все-таки во второй. Это была специальная железнодорожная школа, очень хорошая, небольшая, с замечательными учителями. Сейчас страшно слышать, что делается в наших школах... Вспоминаю, как мы учились... Еще осталось в памяти, что в этой школе ученикам с отличными оценками давали в конце года подарки: письменные принадлежности, глобусы, портфели и даже гитары. Вот в этой школе я до четвертого класса проучилась, а потом с пятого до седьмого класса – еще в одной школе, семилетке. И также остались самые хорошие воспоминания о наших учителях.

В это время, буквально перед самой войной, построили недалеко от нас новую школу. Белая, красивая, огромный физкультурный зал, светлые классы... Но поучиться в этой школе мне удалось только один год, в восьмом классе. И началась война. Все сразу разъехались кто куда, ведь

началась эвакуация. Вы знаете, эвакуировалось довольно много учителей, да и родители с детьми поуждали.

Н. Р. : *Как Вы узнали, что началась война?*

М. Н. : Ну, что ж, могу рассказать... Был хороший солнечный день, очень теплый, и я отправилась в магазин купить подарок для своей родственницы. Подарок купила, вернулась домой и включила радио. У нас тогда почти у всех радиоприемники были в форме черных тарелок. И вот эта «тарелка» сообщила, что ночью началась война. Говорил Молотов. Все, конечно, призадумались, что дальше будет. Приуныли. Сталин выступил, по-моему, через несколько дней. Очень такой голос у него был, с акцентом сильным грузинским. И голос был расстроенный. Конечно, ободрял, говорил, что победа будет за нами. Вот так началась война.

Н. Р. : *Мария Николаевна, а было у Вас ощущение, что эта война надолго?*

М. Н. : Нет, сначала не было.

Н. Р. : *То есть в первое время страха не было, не было ощущения, что будет так страшно?*

М. Н. : Нет, мы верили, что это ненадолго. Первые два месяца, если дальше продолжать, было очень волнительно и даже страшно, потому что прорывались на Москву немецкие мессершмитты.

Н. Р. : *А уехать в эвакуацию?*

М. Н. : А в эвакуацию мы не поехали. Папа не мог уехать. И старшая сестра работала. Она работала на железной дороге бухгалтером. Сказала, что тоже никуда не поедет. И никуда мы не уехали. Когда мы, оставшиеся в Москве, пришли в девятый класс, нас собрали и сказали, что нужно помочь, надо ехать собирать картошку в колхоз. Мы там,

наверное, дней десять-двенадцать проработали. Тоже, к счастью, была очень хорошая погода. Картошку мы собирали быстро, все-таки по пятнадцать лет нам было, работали весело. Спали в домах деревенских на полу. Кормили неплохо, картошка, молоко, хлеб, мясо, то есть не голодали. А потом...

Н. Р. : *Там было еще безопасно?*

М. Н. : Понимаете, мы не представляли себе, опасно это или безопасно. Наверное, небезопасно, потому что, когда уже слышались орудийные залпы, нас быстренько собрали и увезли обратно в Москву.

Н. Р. : *Это значит, что фронт был уже настолько близко, что были слышны...*

М. Н. : Да, слышались орудийные залпы. Ну вот, мы вернулись в школу, и нам сказали, что учителей и учеников осталось мало и школа закрывается. Нам выдали свидетельства об окончании восьми классов, и мы расстались с этой красивой школой. Нас же, подростков четырнадцати- и пятнадцатилетних, домоуправление стало возить на Волоколамское шоссе рыть противотанковые рвы. Конечно, сейчас вспоминаешь это... Тяжело, конечно, было.

Н. Р. : *Ужасно, в четырнадцать лет...*

М. Н. : Да, туда залезешь с лопатой, кто-то в четырнадцать лет большой, кто-то совсем маленький... Надо было лопатой забрасывать землю наверх. Было, конечно, очень трудно, но все знали, что надо. Мы там не жили, нас привозили-увозили. Проработали мы там недолго, потому что это же западное направление... А потом целый год, наверное, я провела дома: школ не было поблизости, а в это время искать школу трудно было. В общем, я так и сидела дома...

Н. Р. : *Вы помните первые бомбежки Москвы? Как это было?*

М. Н. : Первые бомбежки... Мы жили в районе Сокола, но поближе к железной дороге, которая ведет на Ригу. Рижская дорога, сейчас уж я не знаю, как она называется. Вот там самолеты как раз летели на Москву. Западная часть... Мы выбегали на улицу, смотрели, как пересекают небо прожектора и виден самолет. Он продолжает лететь, а мы смотрим и думаем, упадет бомба или не упадет. Но чаще на такие здания сбрасывали небольшие зажигательные бомбы, и мы все смотрели, попадет или не попадет. Если кто знает район Сокола, то там был Амбулаторный переулок, рядом с Песчаной улицей. Это недалеко от метро «Сокол». В 1935 году эта станция строилась, и мы, дети, бегали туда смотреть, как ее роют. Она строилась, в отличие от всех, сверху, это станция неглубокого залегания.

И вот объявили первую тревогу. Это было лето еще, но ближе к осени. Нам перед этим объявили, что, когда будет тревога, надо бежать в метро «Сокол». Как сейчас уже понятно, это было настолько глупо! Потому что, во-первых, далеко бежать, от нас, по крайней мере, было пятнадцать минут. Потом, я не зря сказала, что метро рылось сверху. Оно было неглубокое, и при настоящей бомбежке все бы мы так и остались в том метро.

Ну что, добежали мы туда. На рельсах были разложены топчаны такие деревянные, что-то мы захватили с собой. Переночевали эту ночь и решили никогда туда больше не бегать. Да и бежали-то зря: эта тревога оказалась учебной, хотели знать, как поведет себя народ при бомбежках. И больше мы туда не бегали. Сигналы тревоги еще не раз объявляли, но мы уже не обращали на них внимания и только смотрели в небо, куда летят самолеты.

Но были и настоящие бомбежки. Первые мессершмитты устремлялись в центр, там было несколько разрушений,

и я помню, что на Красной площади даже один писатель известный погиб. А у нас на Соколе сгорела одна булочная, в которую мы за хлебом ходили. Это уже позже. И еще был большой студгородок, восемь корпусов, по четыре с двух сторон зеленого сквера, где долго стояла скульптура «Девушка с веслом». Так вот, в один из корпусов попала бомба. Часть здания срезало, но весь корпус остался целый. Жертв не было, так как студенты в это время были на каникулах. Что касается наших домов – у нас только дрожали стекла. Но с началом войны мы их сразу заклеили.

Н. Р. : *Неужели это могло помочь? Наклеивание бумажек...*

М. Н. : Газетами заклеивали, да. Помогало. Не трескались и не вылетали стекла от взрывной волны. Это было все-таки не зря. Ну, а на ночь всем выдавали совершенно плотные, черные, даже не бумажные... промасленная такая бумага, шторы черные на окна...

Н. Р. : *А магазины работали?*

М. Н. : Конечно, магазины работали, на рынок можно было бегать. Даже палаточники работали. На хлеб уже ввели карточную систему.

Н. Р. : *А какая была еда, что Вы ели? Это была уже осень, немцы были под Москвой.*

М. Н. : Я не помню точно, когда ввели карточную систему. Помню только с того времени, как я уже на работу устроилась. По карточкам рабочий получал 600 граммов хлеба, инженерный состав – 500 граммов, находившиеся в семье на иждивении – по 400 граммов в день. Кроме хлеба выдавали муку, крупу (рис, пшено), яички, которые чаще стали заменять яичным порошком, а сливочное масло – кокосовым. Были и другие какие-то продукты, но малокалорийность их сказывалась, и было для многих голодно.

Я после школы год провела дома, а на второй год соседка сказала, что в одном месте нужны рабочие кадры. И я пошла с ней туда. Оказалось, название этого РЕМ – как будто это вагоноремонтные мастерские, но на самом деле это был замаскированный военный завод. Тогда было несколько таких. Там был полный цикл: плавильный цех, формовочный цех, в общем, все, вплоть до выхода снарядов. Потом их упаковывали в деревянные ящики и отправляли на фронт.

Меня приняли. Но сначала не хотели: мне еще не исполнилось шестнадцати лет. Это было 7 мая, и мне должно было исполниться шестнадцать через две недели. Был закон не принимать на работу раньше шестнадцати лет. И мне говорят – придете, когда паспорт получите. А я говорю, что уже через несколько дней буду паспорт получать, и меня зачислили как раз 7 мая 1942 года. Через две недели я получила паспорт, уже была совершеннолетняя. Мне определили первую должность – ученица токаря. Там мне нужно было делать одну небольшую деталь. Станок токарный, но это, знаете, такие токарные станки, которые теперь можно только в каком-нибудь музее увидеть. Корпус довольно тяжелый был, 2 килограмма 200 граммов. И вот, подвозили к станку, и нужно было обработать эти детали. Шестьсот штук в смену. Смена была с 8 утра до 8 вечера, а вечерняя – с 8 вечера до 8 утра.

Н. Р. : *Как тяжело!*

М. Н. : Да. Я вот сейчас вспоминаю вечернюю смену с каким-то ужасом, потому что очень уж хотелось спать.

Н. Р. : *Вы в 16 лет тоже по 12 часов работали вместе со всеми?*

М. Н. : Да, конечно.

Н. Р. : *Ужасно.*

М. Н. : А как же? Вот, значит, до двух-трех часов еще ничего, а потом так хотелось спать... Мне нужно было в станок вставить этот корпус. Моя функция была нарезать резьбу, чтобы вернуть пропеллер. А сам этот снаряд нужно было держать клещами. Нужно было эти клещи держать и держать деталь, и поэтому у меня на ладошках были мозоли. И когда я поступила в институт, честно говоря, я даже стеснялась своих ладошек в этих самых мозолях. И так, значит, я проработала год. Но учебу-то надо заканчивать...

Н. Р. : *Мария Николаевна, а Вас на заводе как-то кормили или нет?*

М. Н. : Да, была большая столовая, кормили прилично: супы давали, каши и чего-нибудь к кашам. Ничего, в общем, да и кисель давали. Вот я только не помню, платили мы или не платили; возможно, удерживали из зарплаты, но кормежка была.

Н. Р. : *А как Вам удалось закончить школу? Задатки будущего ученого, доктора наук, не могли реализоваться на военном заводе.*

М. Н. : Учиться мне очень хотелось. Нужно было окончить девятый и десятый классы и получить аттестат, который был введен впервые в 1943 году. Я узнала, что поблизости есть школа-экстернат, где можно сдать экстерном. Она была для рабочей молодежи. Но здесь у меня возникли трудности.

Н. Р. : *Но Вы же были рабочей молодежью...*

М. Н. : Да, но и тогда были бюрократы. Я пошла туда, мне сказали: «Пожалуйста, приносите справку, что вы работаете, и тогда можете у нас сдать за девятый и десятый класс». Но когда я пришла на работу за этой справкой, мне ответили: «Принесите справку, что вас зачисляют». Я еще раз

туда съездила. Но там опять сказали – приносите справку. И я поняла, что мне туда не попасть... На заводе не давали справку, потому что им нужно было два раза в год давать мне отпуск на сдачу экзаменов. По закону они обязаны были это делать.

Н. Р. : *Как же Вам все-таки удалось пойти учиться?*

М. Н. : Я узнала, что недалеко, в школе, где я семилетку заканчивала, открыли вечернюю школу рабочей молодежи. И я пошла в эту школу. Но тогда возникла другая сложность. Ночная смена... я заканчиваю в восемь вечера, а занятия там начинались в шесть-семь. Я обратилась к начальнику цеха, доложив ему, что меня зачислили в школу рабочей молодежи. Но он мне ответил: «Кончится война, тогда и будешь доучиваться».

Пришлось обратиться в партком завода. Председателем парткома была еще молодая, симпатичная женщина, которая из-за работы даже вечером не покидала завод и спала в своем кабинете. Но, к сожалению, и она мне помочь не смогла и посоветовала обратиться в «более высокий партком» и дала адрес, куда мне следовало поехать. Я съездила, и там учли мое желание учиться, обещали помочь. Через несколько дней меня перевели в стержневой цех, чтобы я успевала в школу. Моя обязанность была таскать песок для этого цеха. Работа, конечно, была тяжелая, потому что, представляете, таскать ведра с песком! И к тому же грязная, нужно было прибежать еще, помыться. Душа не было. Хорошо, что я жила недалеко, успевала и на работу, и на учебу.

Н. Р. : *Своей работой на заводе Вы, наверное, очень помогли своей семье.*

М. Н. : Семье... Когда я уже проработала на заводе больше года, в нашей семье случилось огромное горе. Не стало

нашей мамы. Она, не обладая крепким здоровьем, не хотела быть иждивенцем и устроилась на работу. Наступило холодное время года, она сильно простудилась и получила двустороннее воспаление легких. Ее положили в больницу. Лечение и уход там были хорошие, но не было очень нужного лекарства – пенициллина. Насколько мне известно, это лекарство появилось в Англии незадолго до войны, у нас оно тоже было, но отправлялось на фронт. Маму спасти не удалось. Ее не стало в 48 лет.

Я до сих пор отчетливо помню этот страшный день. Где-то в середине дня я поехала в больницу передать кое-что маме. В вестибюле больницы разделась, надела белый халат (в то время это было обязательно) и подошла к окошку с передачей, а мне говорят: «Девочка, подойди к другому» – и указали на окошко. А я говорю, что мне не надо туда, я хочу только отнести передачу. Но меня упорно направляли к другому окну, где мне и сообщили эту ужасную весть. Я не помню, как вышла из больницы. Хотя был только конец февраля, светило яркое солнце и таял снег, и хотя до дома было далеко, я шла пешком, не разбирая дороги, по лужам. Надо было срочно вызвать папу. Он в тот момент был по своей работе в Вязьме. Папа, конечно, знал, что мама в больнице и за ней там хороший уход, и для него это тоже был большой удар.

Через два дня маму хоронили. Машины не было, везли до Ваганьковского кладбища на конной упряжке...

Н. Р. : *Сколько лет Вы проработали на этом заводе?*

М. Н. : Прямо до самого конца войны. Но уже в разных должностях. Со временем надо мной, наверное, сжалились... это я так шучу. Меня перевели в бухгалтерию счетоводом. Я росла, знаете. Сначала счетоводом, потом сделали бухгалтером. И так я уже работала до конца войны. Закончила десятый класс. Закончила неплохо, но все-таки получила

одну четверку и осталась без медали. Пришлось сдавать в институт экзамены.

Для сдачи экзаменов мне, как положено, дали отпуск. А с завода отпустили меня уже только после окончания войны, в июне. И я чуть не опоздала подать документы в институт. Документы я отнесла в Институт востоковедения, был такой московский институт, МИВ. Когда я пришла в приемную комиссию, там было пусто. Сидела только одна женщина, и та уже собиралась уходить. Все-таки документы у меня приняли, но уже на оставшиеся языки. Я хотела на Ближний Восток, а оставались Корея и Монголия. И женщина, которая там принимала документы, стала меня утешать и настойчиво предлагать Монголию. Как выяснилось, это была преподаватель географии на монгольском отделении. И я написала заявление. Что же касается завода, то приказ «об отчислении ввиду ухода на учебу» был издан только после моего зачисления в институт – 15 сентября 1945 года.

А при распределении, когда мы уже были у директора, он посмотрел мои документы, – вроде бы у меня и аттестат неплохой (причем это первый год был, как ввели аттестаты), сдала экзамен я тоже хорошо... и говорит: «А Вы не хотите на китайский?». И тут, вдруг, у нас был такой ученый-бурят. Он был деканом восточного факультета и вел монгольское отделение, был потом и преподавателем, и деканом всего факультета. Потом даже здесь, в нашем институте, руководил Отделом Монголии*. А тогда в институте, оказался и моим научным руководителем в аспирантуре. И вот он, когда директор спросил, не хочу ли я на китайское отделение, заявил: «Нет, нет, нет! Вы же видите, она сама написала заявление, хочет на монгольское». Представляете? А я так растерялась, что промолчала.

* Гарма Данцаранович Санжеев (1902–1982). Преподаватель МИВ с 1931 по 1954 г.

Но, Вы знаете, потом не пожалела. Языки все интересны для исследования. Какая разница? Я в Монголии бывала чаще, чем кто-то в Китае. Но, оказывается, в Китае скоро свершилась культурная революция, и наготовили столько китаистов... А их некуда было устроить. Их даже несколько групп оставили, чтобы готовить переводчиков-синхронистов. Многие потом пошли работать с западным языком. То есть учили пять лет китайский, и он им не понадобился. И в этом отношении я потом не пожалела, что я на монгольском. Хотя я хотела на Ближний Восток... Арабский изучать или еще что-нибудь в этом духе. Но монгольский язык оказался тоже очень интересный, своеобразный. По крайней мере, им занимаются везде. У меня сейчас есть работы, которые читают в других странах. Монголоведение очень развито до сих пор и на Западе. А у нас сейчас, честно говоря, в лингвистическое монголоведение как-то никто не хочет идти. Знаю, что язык учат в ИСАА, и никто не хочет идти не только на язык, но и на историю. Все хотят закончить, получить диплом и идти куда-то деньги зарабатывать.

***Н. Р.:** Скажите, откуда у Вас был такой интерес к Востоку? Как получилось, что во время войны Вы, стоя у станка, решили выбрать такую профессию?*

***М. Н.:** Я не знаю, у меня был интерес к языку. В то время я еще не очень понимала, какой язык лучше и какая страна интереснее. Просто были интересны эти страны Востока.*

***Н. Р.:** А расскажите, пожалуйста, как Вы узнали о том, что Победа? Что было на улицах?*

***М. Н.:** Ой, Победа... Победы ждали долго. Последние два года все люди ждали второго фронта. Вы знаете, ведь вся страна ждала и надеялась! Когда же этот второй фронт откроется! Хотя и не всё, конечно, передавали, но мы слышали, как наши деревни, населенные пункты то взяли,*

то отдавали... Такое время было тревожное, даже к концу войны. Но перед этим осталось в памяти, когда целые шеренги пленных прогнали по Красной площади, и все бросились смотреть...

Н. Р. : *Как они шли? Кто-то рассказывал, и это многим запомнилось, когда они шли, был такой странный звук... у них бряцали сапоги... и дребезжала ложка о кружку, которую каждый нес с собой.*

М. Н. : Знаете, народ стоял такой... конечно, не плевались, не кидались, но все стояли... не то чтобы злые... Но сидели, стояли, смотрели... и любопытно, и в то же время – как же вы могли... И какой-то такой вид у них, что их даже жалко было...

Н. Р. : *А правда, что потом следом шли поливальные машины и смывали их следы?*

М. Н. : Ну... после них поливали, конечно... Причем сам День Победы тогда тоже такой получился – шел дождик, вот что у меня осталось в памяти... Шел дождик на 9 мая. А нам нужно было готовиться к экзаменам на аттестат зрелости. Мы готовились на аттестат зрелости и, в общем, туда не побежали.

Н. Р. : *А как Вы услышали о том, что всё, Победа! Передали по радио? Или кто-то сказал, как это было?*

М. Н. : По радио. Радио все время работало, эти наши «тарелки». Все так устали от войны, что считали, что это уже последние дни... Поэтому неожиданно это не было...

Но для многих эти дни были и с горечью. У меня, например, двоюродный брат, единственный сын у родителей, погиб буквально восьмого числа, накануне Дня Победы. И не где-нибудь, а в Латвии.

Н. Р. : *Накануне Победы!*

М. Н. : Вы знаете, его там убили просто. Тогда в Латвии были эти самые эсэсовцы... Не знаю, как убили... Родителям точно ничего не объяснили. Знаю, что он как будто вез секретные материалы и его убили, сбросили с поезда. Другой двоюродный брат у меня тоже погиб – в первых боях за Москву.

Н. Р. : *Скажите, а какой был самый трудный период в Москве?*

М. Н. : Когда Ленинград был в блокаде. Тут уж следили за каждым днем. Потому что передавали, какой голод, как умирают люди от голода, как дети там остаются... Семья моего мужа из Ленинграда. Сам он был на фронте в это время, в Заполярье служил. А в Ленинграде оставалась его тетьа с маленьким мальчиком. Они страшно голодали и чуть не умерли с голоду. Но там недалеко служил мой будущий свекор, он туда как-то пробрался и спас ее с мальчиком. Он и сейчас, этот мальчик, живет в Ленинграде. Мальчику уже восьмой десяток, блокадник. Конечно, блокада Ленинграда, она настолько осталась в памяти... Как туда пытались везти продукты! Возили на машинах, а я представляю, на каких машинах – пятитонки и трехтонки... И как они там на льду проваливались...

Ну, а сама Москва... Первые два месяца была бомбежка, а потом в самом городе более-менее спокойно стало. На фронте шли тяжелые бои. В Москве формировались отряды добровольцев, шли мужчины, не призванные в армию. Шли на фронт учащиеся старших классов, иногда целыми классами.

Н. Р. : *А как Ваша бабушка, у которой Вы жили в детстве? Она там оказалась рядом с немцами.*

М. Н. : Да! Немцы зверствовали на захваченных территориях. Бабушку мою погнали в плен. А ей был уже седьмой

десяток, где-то по пути она заболела, ну и бросили ее. И мы даже сейчас не знаем, где она похоронена. Папа мой, ее сын, пытался найти, где хоть, в каком месте... Но никто не знает. Гнали, и все.

В той деревне, где я до семи лет у бабушки жила, у меня завелась подружка. И я потом уже узнала, что, когда немцы заняли этот район и узнали, что местные старались связаться с партизанами, они ее поймали и казнили. А она была моя ровесница, может, на год постарше. Такое не забывается.

Н. Р. : *А в деревне бабушкин дом остался или его сожгли?*

М. Н. : Нет, там ничего уже нет.

Н. Р. : *Скажите, отношение к Германии, к немцам во время войны и после войны какое у Вас было? И какое сейчас?*

М. Н. : Ой, сложно сказать, какое отношение. Сейчас уже другая страна, другие немцы. Туда уехало столько наших людей! У меня там есть знакомые, даже по нашим дачным участкам. У одной дочь туда уехала, вышла замуж за немца, у нее уже дети. Дети – немцы. И как к ним относиться? А тогда... У нас же в стране были немцы, и сейчас живут. Целые области были, где немцы жили, и поэтому у нас не было к ним плохого отношения, поскольку они у нас в стране жили. И такой, честно говоря, ненависти, как сейчас, не было ни к кому.

Н. Р. : *Ни к какой национальности?*

М. Н. : Ни к какой! Вы знаете, я вот за свою жизнь в шести школах побывала... И только сейчас вспоминаю, что у нас были и татары, и евреи, и украинцы, и белорусы... Мы даже не замечали, что они у нас какие-то другие, не русские. Это, знаете, появилось не сейчас, а в последние годы советской власти как-то стало проявляться, не знаю почему. А тогда все-таки национальная политика велась, по-моему,

совершенно правильная. У нас никогда ни к кому не было никакой вражды.

Н. Р. : *Мария Николаевна, могли ли Вы представить, что Советский Союз мог проиграть войну, или таких мыслей никогда не возникало?*

М. Н. : Нет, Вы знаете, нет. Честно. Нет, нет, нет... Мы и в Москве остались, потому что были уверены, что Москву не сдадут. И говорили, что Сталин здесь, значит, Москву не сдадут. Все верили, что не сдадут.

Н. Р. : *А вот такой вопрос: как относились к людям, которые попадали в плен?*

М. Н. : Все время показывали, как над нашими издевались, особенно над разведчиками. Про ту же Зою Космодемьянскую. Это же все показывали. Как ее повесили... Сейчас как-то... с иронией к этому относятся, а тогда люди плакали. И дома сжигали. Сколько разрушений было! Мы жили недалеко от западной железной дороги, которая и сейчас существует, Рижская дорога. И проходили все эти сгоревшие поезда, обгоревшие вагоны... И все это шло с запада. Те, кто уцелел и вернулся, рассказывали, как целые села выжигали и людей вместе с домами сжигали.

Н. Р. : *Скажите, а к войне привыкаешь? Вообще, можно к такому привыкнуть? Говорят, человек привыкает ко многим вещам...*

М. Н. : Ну, раз четыре с половиной года терпели! И жили, и работали, и ходили в магазины. Люди женились, дети рождались... И любовь была, еще какая была!

Н. Р. : *Понятно. Мы всем задаем вопрос: Ваше отношение к Богу? Вы крещеный человек или нет?*

М. Н. : Конечно, крещеный. В то время всех крестили. Но не сказала бы, что я верующая... Я к церкви скептически отношусь, между нами говоря.

Н. Р. : *Понятно. И еще вопрос, уже последний: что Вы хотели бы сказать о войне сейчас молодым людям?*

М. Н. : Ну, кое-что могу сказать... Что очень важно – все-таки был огромный патриотизм, любовь к своей стране. И такая жертвенность! Все было направлено на Победу. И такие тяжести в жизни... все было для Победы.

Н. Р. : *Вас изменила война? Ведь она пришлась на Вашу молодость, вашу юность.*

М. Н. : Естественно, изменила... Если бы я продолжала нормально учиться... А если бы я была в эвакуации, это было бы вообще, наверное, ужасно. Некоторые возвращались из эвакуации и не получали свои квартиры. Но, с другой стороны, они там нормально учились, заканчивали школы. А мне все не очень-то легко досталось, хотя бы даже физически.

Шайкен Галимбекович Надиров

Родился 1 сентября 1929 г. в Павлодаре КазССР
Окончил Казахский государственный университет (1950)

Кандидат экономических наук (1956)

Специалист по экономике и политике Монголии

Работал в ИВ РАН с 1991 г.

Старший научный сотрудник ИВ РАН

Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника в Монгольской Народной Республике

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла

Умер в 2017 г.

Наталья Романова: *Шайкен Галимбекович, скажите, пожалуйста, несколько слов о себе: в какой семье Вы родились, кто были Ваши родители?*

Шайкен Галимбекович: Я родился в Павлодаре, Казахская Республика. Родители мои – казахи. Отец был по образованию математик. В начале 30-х годов, когда стали появляться в Казахстане города, газеты, грамотных людей не хватало, и ему предложили перейти на работу в газету.

И вот с 1933 года отец работал в редакциях разных газет. Короче говоря, свою жизнь отец посвятил журналистике. Ему приходилось часто менять место жительства, работу. Дело в том, что его отец, то есть мой дед, был религиозным

человеком; в свое время совершил паломничество в Мекку, хадж называется. Он был сначала просто скотоводом, а потом стал религиозным деятелем своего региона.

Н. Р. : *Он был муллой?*

Ш. Г. : Нет, муллой не был. Дед был грамотным человеком (тогда алфавит в Казахстане был арабский), много читал, много писал, поэтому стал признанным авторитетом в области религии. И когда совершил хадж, на него уже стали смотреть как на всеми уважаемого религиозного деятеля. В те времена совершить хадж было подвигом. И тех, кто совершил хадж в Казахском регионе, называли хажы. Из-за этого моего отца в свое время преследовали.

Н. Р. : *В каком году он совершил хадж?*

Ш. Г. : В 1898-м.

Н. Р. : *Столько лет прошло, и люди это помнили?*

Ш. Г. : Да. Обстановка тогда в Казахстане, как и во всей нашей стране, была сложная, я имею в виду прежде всего политическую обстановку. Естественно, эта обстановка позволяла нечистоплотным людям совершать свои преступные дела. Все время преследовали моего отца как сына хажы – сына крупного религиозного деятеля, крупного феодала. Поэтому на него писали доносы, и он был вынужден переезжать с одного места на другое.

Н. Р. : *И дедушка Ваш тоже жил в Казахстане, в районе Павлодара?*

Ш. Г. : Да, но из родного аула был вынужден уехать. Новые власти его не забрали, не подвергли репрессии: человек он был миролюбивый, добрый. У него отобрали весь его скот, все имевшиеся ценности и сказали – уезжай отсюда на все четыре стороны! А мой отец в 1933 году работал в Караганде.

Караганда тогда развивалась как крупный промышленный центр, и отец был ответственным секретарем газеты, работал там вполне успешно.

Н. Р. : *Как называлась газета?*

Ш. Г. : «Социалистык курылыс» – «Социалистическое строительство». Потом изменили название и стали называть эту газету «Караганды пролетариаты», то есть «Карагандинский пролетариат». И вот, как мне рассказывал отец, в начале 1937 года его пригласил работник обкома партии, а отец мой был беспартийный, и говорит: «Галимбек, на тебя поступила грязная бумага. Если я дам ход этой бумаге, у тебя будут большие неприятности. Я знаю, что твоя жена больна туберкулезом легких. Я знаю, что у тебя тяжелая ситуация в семье. Подумай, что делать». Нас тогда, детей, уже было трое.

Н. Р. : *Вы младший, старший?*

Ш. Г. : Старший. И еще дедушка и его сын от третьей жены.

Н. Р. : *А дедушка тот, который был на хадже?*

Ш. Г. : Совершенно верно. У дедушки было три жены. И третья жена была молодая и красивая женщина. Но она от него ушла и вышла замуж за председателя сельсовета. А сына своего она оставила деду. Но этого мальчика взяла к себе моя мама. Тогда меня еще не было, а ему было года три всего, по существу, я его воспринимал как брата. Он погиб в Сталинграде в 1943 году. И только тогда я узнал, что это был не брат, а дядя, младший сын моего деда.

Н. Р. : *Какая у Вас была разница в возрасте?*

Ш. Г. : Четыре года, он 1925 года рождения, я 1929-го. Ну вот, отец выслушал этого работника обкома партии, который

сказал: «Знаешь что, уезжай. Иначе будет тебе плохо. Скажи, что у тебя жена больная, надо менять климат... и уезжай».

Н. Р.: *Он оказался порядочным человеком.*

Ш. Г.: Да, порядочным. И буквально на другой день мой отец взял семью и уехал в Павлодар, в Кагановический район, в колхоз имени Сталина (бывший аул № 7). В колхозе он работал три месяца учителем математики, сентябрь–октябрь–ноябрь.

Н. Р.: *Это какой уже был год? Осень 1937-го?*

Ш. Г.: Совершенно верно. В начале ноября приглашает его к себе директор школы и говорит: «Знаешь, Галимбек, уезжай. Едут из райцентра гости, они едут за тобой. Мне сообщил это мой близкий друг». «Гости» – так называли тогда работников НКВД. И мой отец взял меня одного, мне тогда было 8 лет, семью оставил в колхозе и на последнем пароходе в начале ноября уехал.

Н. Р.: *А куда уехал?*

Ш. Г.: В Железнинский район той же Павлодарской области, Прииртышский зерновой совхоз. Там жили одни русские, и туда каким-то образом занесло его сестру Рашиду и ее мужа. И мой отец решил поехать к русским. На последнем пароходе мы приехали в этот зерновой совхоз, он меня оставил у сестры и на другой день исчез. Уехал опять в какой-то совхоз или колхоз в Железнинском районе, в общем, прятался среди русских.

Н. Р.: *А сколько ему было лет, какого он года рождения?*

Ш. Г.: 1907 года. И вот, я жил у его сестры, а он таким образом исчез. И только в 1938 году, летом, когда уже было объявлено, что сын за отца не отвечает, отец появился. Это Иосиф Виссарионович Сталин сказал, что сын

за отца не отвечает. И вот тогда отец мой вышел, так сказать, из подполья, приехал к сестре, забрал меня, поехал в колхоз, где находилась наша семья. Там мы где-то неделю прожили, и он всю семью увез в Степняк. Степняк входил тогда в Акмолинскую область Казахстана. Это золотой прииск, там добывали золото, было несколько шахт.

А почему он попал в Степняк? Там его другая сестра с мужем жила, в основном это был тоже русский город. Его все время тянуло в русскую среду, потому что это давало какое-то успокоение, что на него не будут писать доносы и т. д. Писали на него, как правило, казахи.

***Н. Р.:** Почему? Ваш отец и дед были образованные, грамотные люди. Казалось бы, уважение, которое испытывают люди к тем, кто совершил хадж, должно было бы сказаться и на его сыне.*

***Ш. Г.:** Я думаю – зависть. Обстановка была тяжелая, произошло страшное расслоение общества.*

***Н. Р.:** В Казахстане? Даже среди казахов?*

***Ш. Г.:** Бедность у казахов была жуткая. Часто плохие погодные условия, эпидемии или какие-то другие причины уносили массу скота. Без скота казах становился нищим. В те времена казахи занимались только скотоводством, причем кочевым скотоводством, города только-только появлялись. В Степняке отец работал в газете; небольшая газета, больше похожая на многотиражку. И работал он до 1942 года. В 1941 году началась война. Первое мое впечатление о войне: вечер 22 июня. Мы жили в Степняке. Я ходил в русскую школу, в третий класс. Приходит отец вечером мрачный. Человек он был жизнерадостный, а тут мрачный. И начинает разговор с матерью. Мать у меня была неграмотная.*

Н. Р. : *Мать не работала, сидела с детьми?*

Ш. Г. : Она не работала, была домохозяйкой. И вот отец рассказывает матери, что началась война и, видимо, это будет тяжелая война. Я впервые тогда услышал об этом. И по тому, как рассказывал отец, по его лицу, я понял, что действительно что-то произошло тяжелое, крупное такое. И на другой день уже все ребята говорили об этом.

Н. Р. : *А Вы уже не учились, был июнь, каникулы?*

Ш. Г. : Да. Мы играли в лапту, в футбол. Футбольного мяча у нас не было, была покрывка, и она была забита тряпками и всем прочим. А мяча не было, потому что не было денег, жизнь была тяжелая. Дом, где мы жили, называли бараком. Таких стояло сорок бараков. Все удобства на улице. С водой было страшно плохо, воду возили в больших бочках, обычно утром ее подвозили и кричали: «Вода! Вода!». Тогда мама или кто-то другой выбегал с ведрами и брал воду.

Н. Р. : *Город был маленький?*

Ш. Г. : Город был, конечно, маленький. По-моему, жило максимум тысяч десять человек. Но я потом узнал, золота тогда добывали прилично.

Ну вот, война... Ребята тоже были озабоченные. Ну, конечно, мы мало что соображали, мало что понимали, но то, что война – это страшное дело, мы это знали по кинофильмам, по рассказам... В 1941 году у моего отца была бронь. Если бы его забрали в армию, то газету некому было бы больше выпускать. Главный редактор был симпатичный человек, пожилой, но малограмотный. В отличие от моего отца, он был членом партии, и поэтому его сделали главным редактором. Но, по существу, газету делал мой отец.

Н. Р. : *Главный редактор был русский или казах?*

Ш. Г. : Казах. Его звали Имак Токпанов. Я хорошо его помню, он был такой добрый, милый человек. Как рассказывал мой отец, отношение к нему было очень хорошее.

Но в 1942 году отца все-таки мобилизовали в армию. Что удивительно, мы его провожали, мама стояла у окна, а я не плакал почему-то... Это было удивительно.

Н. Р. : *А когда его призвали? Весной, летом?*

Ш. Г. : Это было в июне. В начале их три месяца обучали в Северном Казахстане, мы оттуда получали письма, а потом его отправили на фронт. Он был на Ленинградском фронте, защищал Ленинград. Он прошел всю войну, был демобилизован только в октябре 1945 года, уже после Победы. Отец рассказывал, что его хотели и на японский фронт отправить, но почему-то там в верхах поменялись планы, и в каком-то российском городе продержали некоторое время и в октябре его демобилизовали.

Н. Р. : *А в каком звании он воевал?*

Ш. Г. : Он воевал в звании старшего сержанта. Пошел рядовым и вернулся старшим сержантом.

Н. Р. : *Вы говорили, что он был математиком. А где он учился?*

Ш. Г. : Он закончил русскую гимназию в Омске, и в Омске закончил училище. Но, как он рассказывал, это было на уровне института.

Н. Р. : *А училище какое у него было, не помните?*

Ш. Г. : Наверное, педагогическое, он вышел учителем математики. И вот, он старшим сержантом вернулся домой, в Степняк, это было в октябре 1945 года. А я в 1943 году

продолжал свою учебу, шестой класс, седьмой класс. В нашем бараке по соседству с нами жил очень симпатичный человек, инженер-геолог Шумилин. Однажды он меня подзывает и говорит: «Слушай, Саша (меня звали и в школе, и все ребята – Саша), я вижу, у тебя хорошие друзья. А не хотите ли вы поработать, будете зарабатывать?». Я говорю: «А какая работа?» – «Я все время летом уезжаю в степь искать золото, организую геологическую партию. Чернорабочими, копать канавы или на еще какие другие работы ко мне пойдете?». Мы согласились. Короче говоря, мои друзья – Виталий Дёмин, Коля Кулагин, Виктор Светлов – и я пошли в партию этого геолога. И в степи стали искать золото. Ну, что мы искали, мы то не знаем, это геолог знает. Он нам только говорил: «Копайте здесь!». И мы копали эти канавы.

Н. Р.: *Какой это был год?*

Ш. Г.: Первый раз – 1943 год. И так все летние месяцы, все каникулы мы работали, в 1943 году, в 1944-м и в 1945-м.

Н. Р.: *Золото вы нашли?*

Ш. Г.: Вы знаете, в 1945 году нашли! Это было удивительно, мы напали на одно место. У нас был коллега Бронислав Чукчеев, он кричит: «Ребята! Идите сюда!». Он напал на куст. Кустом называется сосредоточие белого кварца, и там ворсинки золота. Пришел геолог, посмотрел, говорит: «Ребята, молодцы! Тут что-то есть». Обнаружилось, что в этом районе есть так называемые жилы, в которых содержатся крупинки золота. Это был грандиозный шум. Короче говоря, нас в Степняке встречали как героев-космонавтов, люди уже знали.

Н. Р.: *А вы были одни мальчишки и геолог? Кто еще был в вашей группе?*

Ш. Г. : Была женщина, такая симпатичная, она была его помощницей, была женщина-повар, был старик-конюх и нас было 17 или 18 мальчиков. Мы все копали канавы, и сам геолог Шумилин работал с нами. Он не знал, что такое сон, и днем и ночью он был занят. Мы вернулись в начале сентября, нас пригласили на грандиозное мероприятие, дали нам грамоты. А через несколько месяцев появилась Доска почета, и на ней висели наши портреты, всех моих 18 друзей.

Н. Р. : *Это вам было всем по 15 лет, мальчишки?*

Ш. Г. : Совершенно верно. Так вот, в 1945 году я уехал в Алма-Ату и поступил в Казахский университет на факультет журналистики. Ну, журналистика в нашей семье была что-то святое, отец работал в газете. По-моему, это было в конце 1945-го или в начале 1946-го, не помню, в деканате секретарь говорит: «Ты знаешь, тебя приглашают в Сталинский райисполком г. Алма-Аты». И называет фамилию женщины, вот к ней мне надо. Ну, раз надо, так надо, я пошел. Встретила женщина, молодая такая, интересная, и говорит: «Ну, я поздравляю тебя! Вот тебе выписали удостоверение и вот медаль». И вручает мне удостоверение труженика тыла и медаль. Оказывается, в Степняке, где я рыл канавы, не только наши фотографии на Доску почета повесили, но и записали, что мы труженики, внесли свой вклад и т. д. С этой медалью я появился на факультете, меня действительно как героя встречали. Таким образом я оказался тружеником тыла. Не ожидал совершенно.

Н. Р. : *А много людей ушло на фронт из барачков? Казахи, русские?*

Ш. Г. : В бараках жили только русские. Там было 40 барачков, 10, 10, 10, 10 – в линейку.

Н. Р. : *Одноэтажные, двухэтажные?*

Ш. Г. : Одноэтажные, каменные.

Н. Р. : *А внутри?*

Ш. Г. : Две комнаты и кухня. Туалет на улице, на 2 барака один туалет. С водой было страшно, ее привозили. Самое тяжелое – климат: очень холодные зимы, очень жаркое лето. Там жили те, кто добывал золото в порядке мобилизации. Надо было добывать золото, государству нужно было золото.

После войны мой отец перевез всю семью из Степняка в Караганду. В годы войны на фронте, на передовой, он вступил в коммунистическую партию и решил, что теперь, наверное, от него отстанут. Не станут его преследовать, не станут его тормозить. И отец вернулся в ту же самую газету, которую оставил в 1937 году. Он работал там примерно год ответственным секретарем, потом его сделали заместителем главного редактора. И работал он там до 1968 года.

Н. Р. : *Как называлась газета?*

Ш. Г. : Газета называлась «Орталык Казахстан» – «Центральный Казахстан». В то время Караганда уже была крупным центром, мощной промышленной базой.

Н. Р. : *Я хотела про отца расспросить, как он воевал: у него были какие-то награды, ранения?*

Ш. Г. : У него было пять или шесть медалей, и в газете ему вручили орден Трудового Красного Знамени. За войну орденов не было, были медали. А служил он в пехоте. Дошел до Северной Силезии, и там, по-моему, и закончилась война.

Н. Р. : *Всё обошлось без ранений?*

Ш. Г. : Были ранения. Дважды он был ранен. Первый раз двойное ранение – в ногу и через ребра навывлет, а второй

раз где-то справа еще был ранен. И дважды после госпиталей его возвращали в армию, на фронт. А мой брат-дядя погиб в Сталинграде.

Н. Р. : *Ваш дядя был такой молодой, когда же его призвали?*

Ш. Г. : В конце 1942 года. Вот когда его провожали, я заплакал. Отца провожал – не плакал. Мама даже тогда на меня посмотрела: «Что у тебя, каменное сердце?». Видимо, я тогда не соображал, а вот когда Рашида, моего дядю, забирали на фронт, тогда заплакал. В 1943 году его убили под Сталинградом. Я потом специально туда летал. Там, знаете, таким кругом сделан памятник, на этой самой горе Мамаев Курган. И там по порядку идут фамилии погибших, и я его нашел – Надиров Рашид... Сделал фотографию, больше никаких следов не осталось.

Н. Р. : *А где он был? В каких войсках?*

Ш. Г. : Тоже в пехоте.

Н. Р. : *У Вас остались фронтовые письма папы, дяди?*

Ш. Г. : Рашид писал, когда был на учебке. Он, как и отец, в течение нескольких месяцев проходил военное обучение в Северном Казахстане; писал, что едет в Сталинград. И всё, больше никаких писем. Он только окончил десятилетку и закончил свою жизнь так трагически. Из моих родственников остались: мой младший брат – физик, он сейчас доцент Алма-Атинского политехнического института, кандидат физико-математических наук, сестра Клара – она доктор медицинских наук, профессор, академик Академии медицинских наук Казахстана.

Н. Р. : *Они все живут в Алма-Ате?*

Ш. Г. : Брат в Алма-Ате, а сестра переехала, сейчас живет в Петербурге. У нее там дочь Алия, она тоже ученый, и вот она там живет вместе с мужем и дочерью. И еще есть младшая

сестра – она экономист, доцент кафедры экономики промышленности, тоже в Алма-Ате, тоже в Политехническом институте.

Н. Р. : *Вы из бедной казахской семьи, а все дети сумели выучиться настолько хорошо, что даже получили ученые степени. Наверное, учителя были хорошие, школа была хорошая?*

Ш. Г. : Безусловно, все учились в русских школах, это, видимо, сказалось на нашей общей подготовке. Видимо, интеллектуально мы были готовы воспринимать науку, особенно наша Клара – профессор медицины, она очень талантливый специалист, хирург.

Н. Р. : *А как Вы стали востоковедом? Ведь Вы пошли учиться в Алма-Атинский университет на журфак, правильно?*

Ш. Г. : Да, я окончил журфак, был секретарем комитета комсомола университета. В то время это давало мне право продолжить учебу. Ректором университета тогда был профессор Тажибаев, а я был членом ЦК комсомола Казахстана. В пятидесятом году я был поставлен перед важным выбором. Сам Семичастный, присутствовавший на очередном съезде комсомола, предложил мне должность секретаря ЦК комсомола по пропаганде. Ну, для меня это было неожиданно, тем более накануне, буквально, по совету ректора профессора Тажибаева я подал заявление в аспирантуру при кафедре политэкономии. Я тогда зашел к Тажибаеву и говорю: «Вот, мне предлагают на комсомольскую работу в ЦК комсомола секретарем». Тажибаев говорит: «Воздержитесь, лучше Вы поучитесь в аспирантуре. Комсомольская работа, ну, поработаете 2–3 года, а потом что?».

Короче говоря, я выбрал аспирантуру. Заведующим кафедры был профессор Мейштадт Соломон Аронович, это был действительно крупный экономист. Вы знаете, похож на Маркса, только без бороды. Моим руководителем стал

академик Баишев Сактаган Баишевич, он был вице-президентом Академии наук. Я работал в университете после аспирантуры, после защиты диссертации был преподавателем, доцентом, потом деканом экономического факультета. И вот как-то приглашает меня в Москву заместитель министра высшего образования Прокофьев и говорит: «Мы бы Вам советовали поехать в Монголию на один год. У них там появился новый экономический институт, и мы бы просили Вас наладить там экономическое образование, как у вас в университете». Честно говоря, мне не хотелось, но он так просил, язык просто не поворачивался сказать: «Нет, не могу». Сказал: «Хорошо».

Я взял семью и поехал в Улан-Батор на один год. Экономический институт им. Сухэ-Батора. Монголы приняли меня хорошо, поработал год, они потом стали просить еще на год остаться. И я еще полгода поработал, и вот, однажды приглашает меня посол Советского Союза Русаков Константин Викторович и говорит: «Вы знаете, мы изучили Ваше личное дело, у Вас очень хорошая биография. Что если Вы поработаете в нашем посольстве? Здесь очень тяжело, такая сложная интеллигенция, а у Вас, по нашим данным, появились хорошие контакты с некоторыми интеллигентами, и Вам будет легко с ними работать. Поработайте. А потом Вы будете жить в Москве. Я сделаю так, что Вы будете в Москве». И это мне вскружило голову, Вы знаете...

Н. Р.: *Вам хотелось в Москву? Была такая большая разница между Москвой и другими городами?*

Ш. Г.: Безусловно, это был недосягаемый мир для нас, провинциалов, это было что-то заоблачное.

Н. Р.: *А в каком году Вам это предложили?*

Ш. Г.: Это было начало 1963 года, он только-только появился в качестве посла. И когда он сказал, что такая может

быть перспектива – Москва, я сразу сказал: «Я согласен». Он тут же меня купил. И вот таким образом я сначала стал первым секретарем посольства, потом советником и в качестве советника работал до 1965 года.

Н. Р.: *Это уже дипломатическая карьера?*

Ш. Г.: Совершенно верно. Я, честно говоря, полюбил Монголию. Уже как работник посольства стал ездить по стране. Это громадная страна, яркая страна... Западные районы – сплошь высокие горы, южные – это знаменитые пустыни. И везде чудесные краски, и монголы – простые труженики, очень милые, гостеприимные. Особенно среди интеллигенции я нашел много интересных людей. Я близко познакомился с академиком Ширендыбом, он был долгое время президентом Академии наук Монголии, академиком Содномом – крупный физик, он был заместителем директора Ядерного института в Дубне, а у себя дома после Ширендыба стал президентом Академии наук. Тумур-Очир, которого, к сожалению, преследовали и выгнали, он был секретарем ЦК по идеологии всей Монголии. Дело в том, что в 1963 году монголы отмечали юбилей Чингисхана и, видимо, они перехлестнули. Чингисхана представили как величайшего деятеля всех времен, хотели поставить ему памятник, пытались Улан-Батор назвать именем Чингисхана и так далее. Ну, и конечно, инициатором всего этого был Тумур-Очир, в данном случае он выражал не только свою позицию, но и позицию всей монгольской интеллигенции. Но ему это в итоге дорого стоило... Одним словом, друзей у меня там было много.

После 1965 года меня определили в аппарат ЦК КПСС, в отдел Валерия Панюшкина, это был Отдел зарубежных, дипломатических и внешнеэкономических кадров. Работал я там до 1968 года, в 1968-м был направлен в Улан-Батор советником-посланником. Но, видимо, я был

неосторожен: однажды мы ездили на охоту и, это было уже глубокой осенью, заночевали в юрте. В юрте было страшно холодно. Ночью проснулся, а в боку будто все окаменело. После этого заболела у меня правая почка, и врач говорит: «Немедленно домой и лечиться дома, иначе будет плохо». И тогда я уехал в Москву, это было в 1970 году.

В Москве я живу с 1965 года. Предоставили мне тогда квартиру, приличную, в ЦК было тогда с этим солидно. Лечился я в санатории в Крыму. Вообще, надо сказать, медицина у нас великолепная, кадры были изумительные, ну, наверное, были разные, но в целом это было здорово, они вылечили мою почку. В 1970 году я приехал в Москву. Русаков, он уже был в ЦК, заместителем Андропова, а Андропов был тогда заведующим отделом коммунистических и рабочих партий соцстран, приглашает к себе в отдел: «Давайте поработаем». Ну, я согласился и проработал в этом отделе вплоть до своей пенсии, до 1990 года. Работа была интересная. В отделе Панюшкина я занимался Монголией и Польшей, здесь занимался только Монголией.

Н. Р.: *Давайте вернемся к войне. Как Вы услышали о Победе?*

Ш. Г.: Это было таким образом. Я работал в геолого-разведочной партии, лето 1945 года, в мае мы уже не учились, частенько мы и в сентябре работали, частенько и в мае. Но геолог как-то договаривался с нашими преподавателями и директорами. В мае геолог велел нам поехать в город за продуктами, которые у нас заканчивались. Мы поехали, конюхом у нас был старик, это было уже числа 15 мая. Ехали, ехали, приехали в одно село, конюх говорит: «Давай зайдем, чаю попьем». Зашли в какой-то дом, там сидит одна женщина и говорит: «Милые мои, я вас поздравляю!». Что такое? Мы ничего не знаем. Никакой связи не было.

Н. Р. : *А сколько ехать до вашего Степняка, далеко?*

Ш. Г. : Мы работали тогда в 70 километрах от города, это надо было часа два-три ехать. Короче говоря, эта женщина нам и рассказывает: «Кончилась война! Победили мы!». Мой конюх бросился ее обнимать, целовать, плачет. Оказывается, у него сына убили на фронте. Короче говоря, эта женщина нас угостила настоящим обедом, и мы поехали. Там было три или четыре села по пути, и каждый раз нас поздравляли, каждый раз хотели накормить, напоить... И так всю дорогу. Приехали в Степняк, там тоже радость, шум, танцуют дети, взрослые... Конечно, это был праздник!

Н. Р. : *Многих из Вашего городка забрали на фронт?*

Ш. Г. : Да. И заметно было, что многие не вернулись. Особенно запомнился наш классный руководитель, Николай Дмитриевич Яблоков. Он преподавал физкультуру, это был военный человек, красивый, сильный. Я любил его. Ну, конечно, когда началась война, его в числе первых призвали. И вот, в 1944 году я иду по улице, и навстречу с палочкой медленно идет Николай Дмитриевич. Худой, одна кожа буквально, бледный, и усы. Усов никогда не было у него. Он меня сразу узнал, даже имя помнил: «Саша, как жизнь? Как отец?». А вскоре он умер. Он был ранен страшно, в результате с легкими было неладно и с сердцем, это мне рассказывала наша преподаватель по математике Каскова Валентина Константиновна. Тоже удивительная женщина, она еще тогда получила орден «Знак Почета». Жила в нашем бараке. Она мне рассказывала, что у него было много ран. В общем, война его буквально исковеркала. Я был на его похоронах и плакал. Это был молодой совсем человек, ему не было и сорока. И у Валентины Константиновны было два сына: Игорь и Юрий. Это были гигантские ребята, я рядом

с ними был замухрышкой, оба окончили блестяще школу. Оба погибли, а какие были ребята!

Н. Р. : *Как Вы сейчас относитесь к Германии и к немцам?*

Ш. Г. : Мне уже 81 год, я и по возрасту, и по натуре должен думать, размышлять честно, объективно... То, что произошло с Германией, я думаю – это великая трагедия немецкой нации. То, что вдруг она оказалась в плену бредней этого сумасшедшего человека, Гитлера... Что бы ни писали о нем, что бы ни говорили, это был ненормальный человек. И вот то, что нация пошла за ним, – это трагедия. А ведь народ, любой народ, он в принципе мудрый, но его очень легко обмануть. Очень легко его вывести на ложный путь, это удивительная загадка жизни, это парадокс. Действительно, великая немецкая нация, которая дала мировой культуре Гете, Шиллера и многих других гениев. Нельзя ненавидеть эту нацию, можно только сожалеть. Это трагедия нации, трагедия человечества, и то, что эту трагедию буквально подталкивали, всячески ей способствовали, это факт! Те же англичане, тот же Мюнхен, они подталкивали, способствовали, вместо того чтобы вовремя осадить. Вы знаете, я был только что в Восточной Германии. Когда была Германская Демократическая Республика, я имел возможность объехать ее вдоль и поперек. Конечно, это нация, достойная глубокого уважения. Но я добавлю «и сожаления», безусловно.

Н. Р. : *А Ваше отношение к Сталину? До войны, во время войны и после? Особенно сейчас, оно изменилось?*

Ш. Г. : Вы знаете, я Вам уже говорил, я был секретарем комитета комсомола. Каждое второе наше слово было «Сталин», на любом собрании принимали тексты телеграммы Сталину. Сама обстановка буквально нас воспитывала в таком духе: «Сталин! Сталин! Сталин!». В этом плане действительно наша пропаганда воспитывала нас. Скажу Вам

такую вещь. Я читал курс политической экономии в университете, и всегда всякие комиссии посещали мои лекции. То комиссия партбюро, то комиссия райкома, горкома, то из ЦК. И вот однажды на моей лекции была комиссия горкома партии, и вдруг председатель этой комиссии начинает меня критиковать: «Вот Вы говорили об этом, а почему не привели слова товарища Сталина?».

Н. Р. : *Какой это был год?*

Ш. Г. : Это был примерно 1951–1952 год, Сталин еще был жив. Я говорю: «Но, подождите, в данном контексте не может прозвучать мысль товарища Сталина, тут совершенно другое». Меня критиковали за то, что я не использовал работу товарища Сталина, такая была обстановка. Не знаю, как это было в Москве, но на периферии были такие перегибы, такие глупости, это уму непостижимо. Такое было, к сожалению. Что касается его деятельности, иногда в нашей семье высказывались... не критика, не попытка как-то поставить под сомнение, такие вопросы: «Но почему же так?». Старший брат моей мамы – Амен Жашибеков, я его хорошо помню, я его обожал, красивый был такой человек, член партии, председатель колхоза. В 1937 году его как врага народа расстреляли. А отец мой, как я уже рассказывал, все время мотался только потому, что на него все время писали доносы.

Н. Р. : *А дедушка, который совершил хадж, его не посадили, он уберегся?*

Ш. Г. : Вы знаете, я говорил уже, он был очень добрый, очень такой милый человек, ему прямо сказали: «Мы тебя пожалеем, уезжай на все четыре стороны». И дедушка уехал. Его не стали сажать, но весь скот и все имущество забрали. Он жил до 87 лет.

Н. Р. : *А в каком году ему сказали уезжать?*

Ш. Г. : В 1931 году, когда председатель сельсовета забрал его третью жену, его попросили уехать. Вы знаете, конечно, до войны, особенно в годы войны, о Сталине было только одно мнение – восторженное. Что это действительно великий деятель, который вел страну к победе и т. д. Что касается нынешней ситуации, мое отношение такое: сейчас кому только не лень поливают его грязью как могут, причем даже солидные люди. Вы знаете, чтобы судить о деятельности человека, нужно глубоко изучить ту эпоху, когда он жил и работал, в какой обстановке он находился, что тогда творилось. Много, безусловно, простить ему нельзя, многие были уничтожены незаслуженно. И в то же время надо учитывать: шла гражданская война... Это была страшная война, жуткая война, брат на брата, отец на сына... Сын убивал отца... и эта логика гражданской войны продолжалась до конца 1945 года.

Н. Р. : *И в Казахстане это было видно?*

Ш. Г. : Да, совершенно верно. Я согласен с теми учеными, что это была гражданская война, а с 1945-го уже «холодная война». Наверное, в этом зерно и семя есть. Страшная была обстановка. Мы вышли оттуда, иначе не могли мыслить, иначе не могли себе представлять мир. Это его не оправдывает, не защищает, но это факт. Я повторяю, много творилось страшного по его вине, и ему этого простить нельзя. То, что касается войны, то, что некоторые пишут, говорят, что Советский Союз победу одержал вопреки Сталину, что всего добились вопреки Сталину, это не так. Конечно, он допустил много ошибок, были ошибки трагические, безусловно: он допустил уничтожение значительной части командного состава до войны, он не сумел, как политик, предвидеть, к чему ведет Гитлер, он поверил ему. Короче

говоря, к Сталину отношение должно быть также объективное, нельзя оправдывать, но нельзя его и поливать грязью. Это наша история, история нашего государства.

Н. Р. : *Ваше отношение к Богу? Вы были убежденный атеист? Дедушка Ваш совершил хадж, а отец?*

Ш. Г. : Отец был убежденный атеист. Это был человек, созданный для науки. Жизнь у него так сложилась: он служил в печати, он страшно много читал, у него библиотека была колоссальная, он молился только науке.

Н. Р. : *А Вы? Вы не мусульманин?*

Ш. Г. : Никакого отношения ни к мусульманам, ни к религии я не имею. Я уважаю религию и с удовольствием читал Библию, Коран. Это замечательные сочинения, которые составляют раздел философской мысли человечества, нельзя этим пренебрегать. Но я атеист, как и моя семья, я поклоняюсь только науке.

Н. Р. : *Могли бы Вы рассказать о быте во время войны? Когда Вы учились в школе, Вас там кормили?*

Ш. Г. : В школе не кормили, в школе не было даже практики такой, ни до войны, ни в годы войны. Что касается нашей жизни, жизнь была очень тяжелая. Вы знаете, в казахском ауле жизнь была лучше: было натуральное хозяйство свое, скот и прочее.

Н. Р. : *Папа был на фронте, мама домохозяйка и четверо детей-иждивенцев. Как вы все выживали?*

Ш. Г. : Карточная система, причем отоварить карточку была проблема. Часто не могли ее отоварить. Ночами дежурили у магазина, занимая очередь, чтобы по карточке получить хлеб.

Н. Р.: *А что было по карточкам?*

Ш. Г.: Хлеб, по-моему, по 200 граммов на душу.

Н. Р.: *Сахар, соль?*

Ш. Г.: Это как-то покупалось. Власти все-таки думали о людях. Я полагаю, в целом в государстве была тяжелая обстановка. Власти не могли помочь, они давали землю. У нас тоже был огород около дома. Потом в степи нам дали участок, мы там сажали картошку и каждый год имели по несколько мешков, это было наше спасение.

Н. Р.: *А школа? В школу приносили с собой что-то из еды?*

Ш. Г.: Не помню, чтобы кто-то ел в школе. У нас в школе никаких обедов не было. Нас спасало то, что у нас была корова. Корова, картошка и хлеб по карточкам – вот что нас спасло.

Н. Р.: *Молоко вы могли сдать или выменять на что-то, на масло, хотя бы на жир какой-то?*

Ш. Г.: Да. Моя мама так любила эту корову, что, когда отец после фронта повез нашу семью в Караганду, она не захотела оставлять корову и увезла ее с собой в товарном вагоне.

Н. Р.: *Скажите, мы многих спрашиваем: что может помочь выжить во время войны? Кто-то говорит, как ни странно, привычка. Кто-то говорит, что это так тяжело, что к этому невозможно привыкнуть.*

Ш. Г.: Вы знаете, году в 1963–1964-м, когда я был в Монголии, туда приехал маршал Рокоссовский. Он был знаком с послом Русаковым, они были на «ты». И Русаков пригласил его к себе домой, и меня тоже позвал. Когда мы беседовали за чашкой чая у посла Русакова, маршал Рокоссовский сказал удивительную вещь, и я полностью с ним

согласен: «Война – удивительное явление, конечно, страшное, но в войну особенно выпукло и ярко обнаруживается нутро человека, то, чем он живет, то, чем дышит. Именно в войну обнаруживаются и подлецы, и предатели, и в то же время война у людей выявляет удивительные качества... чувство солидарности, чувство взаимного уважения, чувство взаимной помощи. Это удивительно, незнакомые ранее люди в годы войны оказываются очень близкими». «Ты это замечал, Костя?» – спрашивает у Русакова. – «Да, замечал. Я ведь ленинградец» (а Русаков действительно вырос в Ленинграде).

Вот такой был разговор, и я полностью согласен с Рокоссовским. Действительно, многого не было, многого не хватало. Обнажилась масса неприятных людей, негодных людей, и в то же время основная масса людей удивительным образом переносила тяжести и обнаруживала солидарность.

Н. Р. : *А как повлияла война на Вашу жизнь? Все Ваше детство пришлось на войну, убили Вашего любимого дядю Рашида. Дорогие Вам учителя... по ним тоже прошла война. Это изменило Вас как-то, Вы стали более жестким человеком?*

Ш. Г. : Вы знаете, мне кажется, я стал более самостоятельным. Это удивительно, ведь когда меня избрали секретарем комитета комсомола университета, это было на третьем курсе, мне всего-то было 18–19 лет. Я рано стал по-взрослому смотреть на вещи. Характер у меня стал как у взрослого человека. Я думаю, что повзрослел благодаря войне. Приходилось думать о маме, о младших в семье. И, между прочим, тому, что мой младший брат окончил университет и сестры пошли по моим стопам, в какой-то степени я поспособствовал. У меня папа очень много работал, рано утром уходил и поздно ночью приходил. Газетная работа тогда была жуткая, это потом упорядочили, а тогда все шло

только через него. И когда мой младший брат Еркен окончил десятилетку, мы поговорили с папой, и он сказал: «Надо его в техникум, пусть он там немного поучится и поработает». Время было еще тяжелое, послевоенное. Я говорю: «Нет, пусть он получит высшее образование, пусть идет к нам в университет». И причем я это сказал таким решительным тоном, что папа на меня посмотрел внимательно и согласился. Брат поехал в Алма-Ату и жил со мной. Когда я стал секретарем комитета комсомола и уже имел свою отдельную комнату, он жил в моей комнате и получил блестящее образование у профессора Вулиса* на кафедре общей физики.

Н. Р. : *Что бы Вы сегодня сказали молодежи о войне?*

Ш. Г. : Откровенно говоря, я затрудняюсь сказать, потому что сейчас мы живем в совершенно другое время, в другой обстановке... Молодежь у нас совершенно другая, по сравнению с тем, какой она была в годы войны и после войны... Родители совершенно другие. И главное, вот эти средства связи (СМИ), значительная масса людей старшего и младшего возраста находятся в плену у этих средств массовой информации.

Я живу в Кунцево, это рядом с Филевским парком, часто гуляю по парку и почти не вижу людей. Даже стариков, с кем я работал, с кем я жил рядом... Не вижу их, тем более молодежь не вижу, в чем дело? Телевизор, сидят у телевизора, человек становится рабом телевидения, это кажется парадоксально. Говорили о свободе, об активной деятельности и вдруг все оказались в плену этой коробки, телевидения. Я говорю, что еще не все, конечно, но очень многие попали под влияние ТВ. И попробуйте им что-то сказать, они плюнут на вас. Они совершенно других воззрений,

* Профессор Лев Абрамович Вулис (1912–1973) – теплофизик, доктор технических наук. Родоначалник одной из научных школ в Казахстане, заслуженный деятель Казахстана (1961).

других взглядов. То, что Вы слышали, что войну выиграла американцы и т. д., это они не высосали из пальца, это они слышали, читали, об этом пишут и говорят. Давать какой-то совет, я считаю, просто бесполезно. Никто слушать меня не будет. Я смотрю в основном только канал «Культура», остальное я не смотрю. Вы знаете, страшно слушать, с ненавистью говорят о Советском Союзе, с ненавистью говорят о советских фильмах. С ненавистью говорят обо всем том, что было при Советском Союзе.

Н. Р. : *А какую роль война сыграла для нашей страны?*

Ш. Г. : Конечно, это была страшная трагедия для нашего народа. Официально говорят, что двадцать миллионов погибло, а все народное хозяйство в западных районах было разрушено. Это была страшная трагедия, причем погибли наиболее молодые, наиболее способные, наиболее талантливые люди. То, что в последующем Россия все время испытывает какие-то катаклизмы, это в какой-то степени результат войны, она лишилась замечательных людей, своих сыновей. Но в то же время так случилось, что была эта война, все-таки народ ее выиграл и вывел Россию, Советский Союз, в передовые великие державы мира. До этого нас никто не слушал, никто даже признавать не хотел. Америка установила дипломатические отношения с Советским Союзом только в 1932 году.

Война, победа в войне оказала громадное влияние на третий мир, на арабский мир, на мусульманский мир. Все проснулись. И то, что социал-демократы получили великолепные позиции в ряде стран, это было влияние Советского Союза. Норвегия, Швеция, их часто некоторые наши социологи называют социалистическими странами. Я беседовал с Панкиным – это бывший министр иностранных дел, он был послом в Норвегии. И он говорит, что это все социалистические страны, конечно, не нашего

образца, а современного, норвежского. И Франция тоже социалистическая страна. То есть вот эти элементы социализма появились во многих странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, под влиянием Советского Союза. Этого нельзя отрицать. И наша победа сыграла в этом ведущую роль. Сталин вышел на уровень таких великих западных деятелей, как Рузвельт, Черчилль, они относились к нему с величайшим уважением. А сейчас Сталина обливают грязью. Поэтому, я думаю, наши исследователи-ученые правы: нужно объективно, честно подходить к тому, что было в нашей стране, что было в мире.

Владимир Петрович Липеровский

Родился 13 августа 1927 г. в Москве

Окончил Московский институт востоковедения (1953)

Доктор филологических наук (1987)

Индолог, специалист по грамматике языка хинди и его диалектов

Работает в ИВ РАН с 1956 г.

Главный научный сотрудник ИВ РАН

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла

***Наталья Романова:** Владимир Петрович, расскажите, откуда Вы родом, кем были Ваши родители?*

Владимир Петрович: Я родился в Москве в семье служащих. Мать в Москве с 1916 года, уроженка города Черни Тульской области. Она окончила в свое время гимназию в городе Ефремове Тульской области. А отец из-под Коломны, он учился, кажется, в духовной семинарии. Участник Первой мировой войны.

***Н. Р.:** А кем они работали?*

В. П.: В основном счетными работниками, бухгалтерами. Отец 1891 года рождения, был контужен во время Первой мировой. После этого он уже был признан не годным к военной службе. Контузия была такого рода, что ему пришлось научиться писать левой рукой, поскольку правая

рука не действовала. Пришлось овладевать бухгалтерским делом. Он умер в 1942 году, 2 июня; последнее место работы – артель инвалидов имени Воровского, бухгалтер. А предки у него – духовного звания.

Н. Р. : *Владимир Петрович, а почему Вы решили стать востоковедом? Как так получилось?*

В. П. : Надо сказать, страсть к дальним странам мне привил интерес к маркам. Я собирал марки, а потом в шестом классе увлекся литературой о великих географических открытиях. Читал про Фернандо Кортеса, Франсиско Писарро, Америго Веспуччи, Лаперуза. Книжка такая была, «Навстречу гибели» – это о Лаперузе. Потом еще один, Бальбоа такой, это первый европеец, который увидел Тихий океан, он всю Америку прошел. А в шестом классе я узнал, что больше всего в мире выпадает осадков в небольшом городке в Индии, Черапунджи называется. Может быть, это название я узнал раньше, чем название Дели или какого-нибудь Бомбея.

Н. Р. : *Мы еще вернемся к Вашему увлечению Индией... Как Вы услышали, что началась война – помните?*

В. П. : Да, помню. Я окончил шесть классов как раз перед войной. Сидел в нашей коммунальной квартире, в комнате, на улице Врубеля, она влево идет от развилки Ленинградского и Волоколамского шоссе. Это поселок Сокол, дом 6, корпус 5, квартира 23. В 1935 году я туда переехал с Песчаного переулка в результате обмена. В доме было 18 корпусов. Они в простонародье назывались дома НКВД. А почему НКВД? – Потому что оно расширяло Петровский парк и стадион «Динамо». И для тех, кто жил на территории Петровского парка, НКВД выстроило вот эти дома, чтобы туда переселить.

Вот я сидел, читал книгу. А книга была о Гражданской войне. И тут как раз радио – выступление Молотова. Выбежали на улицу, там у нас сарай и голубятня, все возбужденные были. Хотя тогда не предвидели, что война будет столько длиться... четыре года. Так, делились впечатлениями. Еще должен сказать, после выступления Молотова по репродуктору в основном марши играли. И там, где голубятня, мы сидели, разговаривали. Ну, какое могло быть ощущение, в том моем пионерском возрасте? У нас военная тематика в искусстве довольно-таки часто поднималась. Поэтому то, что началась война, не было неожиданностью. Вот тематика: «Мы с Тamarой ходим парой, мы с Тamarой санитары», вот такое стихотворение.

Н. Р. : *Детские стихи, но о санитарях...*

В. П. : Еще были стихи:

Климу Ворошилову письмо я написал:
Товарищ Ворошилов, народный комиссар!
На нынешний год
В Красную Армию брат мой идет!
Товарищ Ворошилов, а если на войне
Погибнет брат мой милый – пиши скорее мне.
Товарищ Ворошилов, я быстро подрасту
И встану вместо брата с винтовкой на посту!

В. П. : Такие вот стихотворения у нас были до войны.

Н. Р. : *То есть военизировалось сознание.*

В. П. : Да, вот это было, да. Вот, например, «Остров сокровищ» Стивенсона. В романе идет повествование от первого лица, от имени Джима. А в фильме вместо этого юноши Джима – девочка. И поет песню, которая к «Острову сокровищ» не имеет вообще никакого отношения: «Я на подвиг тебя провожала, над страной гремела гроза, я тебя

проводила, но слезы сдержала, и были сухими глаза... Если ранили друга, сумеет подруга...»

Н. Р. : *То есть какое-то настроение витало в воздухе. Ощущение возможной войны?*

В. П. : Да. Потом, я помню, классе в четвертом-пятом нам про отравляющие вещества говорили, про иприт – это запах горчицы и т. д. Еще, помню, антирелигиозная пропаганда была. И такая... Антисемитизм очень осуждался в эти годы. Бытовой он был, но, в общем, порицался очень в 30-е годы, в 1935–36-м. Какое настроение еще было? Песня была залихватская: «Не сразить нас саблей острой, вражьей пулей не убить, мы врага встречаем просто, били, бьем и будем бить». Еще была такая песня, посвященная военной игре, вроде «Зарницы». И вот предпоследний куплет в песне о военной игре: «Но время придет, страна позовет и место укажет в строю, тогда по врагам застрочит пулемет уже в настоящем бою».

А потом вопрос, с кем воевать? Ну, действительно оказалось с фашистской Германией. До войны шли три антифашистских фильма. «Профессор Мамлок» – о враче, профессоре-еврее, которого за то, что он еврей, лишали работы, потом «Семья Оппенгейм», по-моему, по произведению Лиона Фейхтвангера. И затем «Болотные солдаты». Это до войны, потом их сняли с проката. Потом тоже герои немцы, юноши-антифашисты: Карл Бруннер, и тоже рассказ такой. Так что то, что Германия напала, не стало для нас какой-то такой неожиданностью.

А на следующий день, это был понедельник, я отправился в пионерлагерь.

Н. Р. : *Но было ощущение того, что война будет такая тяжелая, страшная?*

В. П. : Не было.

Н. Р. : *Все очень по-разному рассказывают. Борис Николаевич Гашев, например, говорил, что они обрадовались, когда началась война, потому что решили, что теперь мы быстро дойдем до Берлина, за 2–3 месяца, посмотрим Европу, посмотрим там девчонок немецких, мир увидим, ну и обратно вернемся, то есть наша армия огромная, непобедимая, и все это, как военная игра, быстро-быстро будет. Ему было 17 лет. И никто не подозревал, что будет такая война. То есть не было ощущения, что это будет что-то тяжелое и страшное.*

В. П. : Да, не было ощущения, что это на четыре года. И уж никак не думали, что немец будет около Сталинграда, под Москвой, что Ленинград будет в блокаде. Этого, конечно, никто не предполагал. Потом еще... У нас же было государство рабочих и крестьян. И вроде как против нас воевать не дадут рабочие и крестьяне других стран. Ну, я знал в четвертом-пятом классе: вождь немецких коммунистов Эрнст Тельман, вождь венгерских коммунистов Матиаш Ракоши, вождь румынских коммунистов Анна Паукер. До войны был еще Эрнст Буш, немец, и вот до пакта Молотова–Риббентропа по радио часто его песню передавали – песню Единого рабочего фронта. В русском переводе «Марш левой, два, три, марш левой, два, три... становись, товарищ, к нам! Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам». Drum links, zwei, drei! Drum links, zwei, drei! Wo dein Platz, Genosse, ist! Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, Weil du auch ein Arbeiter bist. Это пели, «Единый рабочий фронт», и идея тоже такая витала, что трудящиеся других стран не дадут развернуть полномасштабную войну против государства рабочих и крестьян.

Ну, а на следующий день после начала войны я уехал в детский пионерлагерь на станции Поваровка по Ленинградской железной дороге, под Москвой.

Н. Р. : *«Удачное» направление. Еще хуже было бы уехать на запад, в сторону Волоколамска.*

В. П. : Ну, на запад это было вообще... вот, например, мой одноклассник, Коля Хрипачев. У него вид был такой цыганистый, и он уехал на каникулы куда-то на запад. И там пропал, видно, из-за своего цыганистого вида.

Из пионерлагеря я вернулся через месяц, в июле. Уже какая-то Москва тревожная была. Уже разговоры были о Смоленском направлении. И чуть ли не на следующий день первая бомбежка. Как раз ровно 22 июля, месяц после начала войны. Непривычно было, бомбы падают, стреляют. Прятались мы в метро «Сокол», под землей.

Н. Р. : *А Вы ходили в убежище всю войну или в какой-то момент перестали?*

В. П. : Ходили, ходили в бомбоубежища, такой «дальстроявский дом» был на Волоколамском шоссе – туда ходили. А в августе поехали в эвакуацию в Пензенскую область с маминной работой. Она работала бухгалтером на автобазе на Лесной улице. Не знаю, сохранилась ли она, это была крупная автобаза. Там даже хранилась машина Ляпидевского, первого Героя Советского Союза, летчика. Эвакуация как раз была от автобазы. И отправили нас в Пензенскую область, Камешкирский район, село Старый Чирчим.

Н. Р. : *Вам было тогда сколько лет?*

В. П. : Мне было в 1941 году 14 лет. С 1927 года я, у меня 13 августа день рождения. Как ехали, тоже можно сказать. Ехали без всякой паники. Погрузили нас по спискам – там уже, видно, было согласовано. Вагон был товарный, там свободно было, и было место, где положить матрасы, человек на 15.

Н. Р. : *Поехали Вы, мама, папа?*

В. П. : Мама и бабушка. Папа в Москве остался. Поехали... До Пензы дня два, наверное, ехали с остановками. Не обязательно на станциях, а во всяких перелесках, в степи и т. д. Приехали, все организовано тоже было. Паники никакой не было. Приехали, уже в Пензе ждали телеги, подводы. Ну, посадили нас, эвакуированных, на подводы и повезли к месту назначения. Надо было на край области ехать. Помню, пересекли там реку Суру. Поехали дальше. Остановились где-то в промежуточном селе, переночевали. Нас там всех разместили, угощали молоком с хлебом. А на следующее утро поехали дальше и добрались до села Старый Чирчим, где распределили по домам. Там я окончил седьмой класс. Село было довольно большое, избы все были крепкие. Располагались, если с вертолета смотреть, буквой «Т».

Н. Р. : *А как местные к эвакуированным относились? Говорят, что москвичей недолюбливали. Многие вспоминают, что к блокадникам-ленинградцам было очень хорошее отношение, а к москвичам – нет. Вы такое заметили?*

В. П. : Нет, не заметил, нормальное было отношение. Я там в школе учился, про футбол им рассказывал, еще что-то такое... (*Смеется.*) В общем, там школа-семилетка была, учителями были молодые девушки, тоже эвакуированные – из западных районов, со стороны Белоруссии. Они были примерно такие преподаватели, как в фильме «Уроки французского». Ну, в ситуацию такую я не попадал... В общем, были учителя молодые.

Я там в седьмом классе заинтересовался мордовским языком, там же эти все названия, Старый Чирчим, Камешкир, все мордовские названия, не татарские. При селе была МТС, там трактористы-мордвины, я у них спрашивал слова... До десяти мог считать: *вейке, кавто, колмо, ниле,*

вете, кото, это до шести досчитал... Там *иряме* – ходить, *молеме* – бегать, *тонавтнеме* – учиться, *яченеме* – ходить и так далее, *чиняме* – бегать, *иряме* – ходить, *иряме молеме ко дов, якшо мон хол*, таким вот образом*.

Н. Р. : *Какой Вы молодец! Какая у Вас память!*

В. П. : У татар тоже учился до двадцати считать: *бер, ике, еч, сигез, тугыз, тун* (считает до 10), *унбер, унике* – это уже одиннадцать, двенадцать и так далее, *егерме* – двадцать и так далее. Я языками там начал интересоваться.

Да, вот что про эвакуацию еще интересного. Информация – радио не было, но была газета Камешкирского района, «Колхозный клич» называлась. Областная газета иногда тоже доставлялась туда, называлась «Сталинское знамя» – это областная, Пензенского обкома.

Н. Р. : *И все новости о фронте, движение фронта – Вы узнавали только из этих газет?*

В. П. : Да, из «Колхозного клича». Нужная информация там была, интересная. Колхоз был большой, про букву «Т» я рассказывал: одна линия – это был колхоз «Путь социализма», на которой я жил, другая – колхоз имени Молотова. Село большое.

Н. Р. : *Владимир Петрович, а многих забрали оттуда в армию?*

В. П. : Да, когда я приехал, как раз забирали многих. Молодежь. Позднее слух дошел, что немцев Поволжья выселяли, там это недалеко.

Потом пришло сообщение, что отец умер в Москве от заражения крови после пролежней. Он же был инвалидом. Болел, в больницу попал, а там пролежни... Умер 2 июня 1942 года, его сестра (тоже москвичи были) похоронила... В общем, надо в Москву было ехать. А в Москву

* Дialeктный вариант мордовского языка.

ехать – нужен был пропуск, не просто так. Мать пропуск раздобыла на себя, а на меня пропуск не дали. На вокзал в Пензу приехали, мать пропускают в вагон, а меня – нет.

Н. Р. : *Хотя Вам было всего четырнадцать лет.*

В. П. : Да, мне в 42-м пятнадцать еще не исполнилось, в августе исполняется, а это было где-то в июне 42-го, немцев от Москвы отогнали.

И вот... без пропуска не пускают. Мать говорит: «Поезжай снова в Чирчим, а я поеду одна...» И случайно на вокзале оказался тоже эвакуированный, мужчина, дежурный по станции. В общем, он проводницу уломал. Говорит: «Мне тут беспризорников не нужно, давай, сажай его». Ну, она согласилась, только чтобы я голос не подавал. И ехал я под лавкой. Проходили контролеры, патрули, все было. Все было так набито людьми, вагон не купейный, а плацкартный. Так под лавкой доехал до Москвы, и в Москве то же: выхожу на перрон – там стоят, проверяют документы... Но меня пропустили, я с матерью прошел. Так оказался в Москве.

А в Москве такие дела. До поездки в Москву мы, учитывая, что карточек не будет, в русской печи насушили картошки два мешка, и первое время до получения карточек этой картошкой и питались. Потом такая деталь: кого спросить сейчас, пустят вас босиком в метро или нет – наверное, пустят, скажут. А меня, помню, не пустили. Надо было ехать после приезда в Москву в санпропускник. Это в Оружейном переулке, где-то у станции Маяковская, на метро надо было ехать. И на Соколе в метро меня не пустили. Пришлось на троллейбусе ехать.

Н. Р. : *А почему Вы были босиком?*

В. П. : Ну, обуви не было тогда!

Н. Р.: *Вы из своей эвакуации приехали без обуви даже?*

В. П.: Да, вот так. Может, что-то было, но вообще-то обуви не было. Тогда в принципе как: обычно меняли хорошие вещи на еду. Даже какой-то военный анекдот был: «Ну как живешь?» – «Да как моль». – «А что как моль?» – «Пиджак проел, теперь брюки доедаю».

Н. Р.: *А как Вам показалась Москва летом 1942 года? Вы панику не видели, только слышали о ней?*

В. П.: Не видел. В самые страшные дни меня в Москве как раз не было, мне только рассказывали. Я приехал, когда немцев отогнали от Москвы. Мои шутили: «Приехал партизан из Пензенской области!».

А потом мать поступила бухгалтером на автобазу, но уже на другую, а я поступил на оборонный номерной завод, с 28 июля я там начал работать. У меня до сих пор сохранилась переходная карта, взгляните. Это вместо профсоюзного билета: работник авиационной промышленности. Тут написано с 31 августа, а в справке – с 28-го. А это вот другая бумажка. Это я уже во время войны посещал заочные курсы иностранных языков и окончил их в августе 1945 года.

Н. Р.: *Вы учили немецкий?*

В. П.: Немецкий, да. Я языками интересовался. Я и английский учил, и потом закончил переводческие курсы в 1948 году. А на заводе я числился электромонтером в отделе главного энергетика. По восемь часов работали. Подводили электропитание к станкам.

Н. Р.: *Владимир Петрович, а где этот завод находился?*

В. П.: Это – военная тайна, 41-й завод осуществлял ремонт и производство моторов. Директор Кочедыков был.

Н. Р. : *Он не авиационный был случайно?*

В. П. : Авиационный. Ездили на битком набитом трамвае, на 23-м, висели на окнах, на подножках... В профсоюзном билете значится: «работник авиационной промышленности». Он заполнялся в мае 1943 года.

В нашем 40-м цехе было несколько бригад электромонтеров-монтажников. Я помню не менее трех: наша бригада, Клейманова, Полякова бригада, еще одного человека (помню только в лицо), три бригады минимум. Может быть, и четвертая была. Привозили станки, устанавливали их в цеху, станки были наши, отечественные, а иностранные привозили в ящиках. На ящиках было написано «Do not turn over» – «Не переворачивать». Из ящиков их доставляли в цех, ставили на нужном месте – там между станками должно быть определенное расстояние по технике безопасности. А наше дело было подключить электричество к станку. Электричество проводилось в железной трубе. Надо было провод вначале просунуть в резиновый шланг, а уже потом резиновый шланг просунуть в трубу. Затем эту трубу согнуть по шаблону, предварительно сделанному, и от распределительного щитка по полу и потом к станку, такой буквой «П» опрокинутой ... А в полу надо было пробить бороздку для трубы. У нас бригада была пять человек, Коля Клейманов – бригадир, высшей квалификации специалист, монтер 7-го разряда (у меня ученический был разряд), и трое из ремесленных училищ. Поскольку я был неумеха, ну, особо делать ничего не мог, мне поручали пробивать бороздку в цементном полу.

Сидишь на корточках, в левой руке зубило, в правой кувалдочка, и пробиваешь. Иногда даже Коля говорил: «Давай, сделай, а после обеда иди домой!». А обед был часа в два. Пробьешь, потом это заливалось цементом, и дальше уже не наше дело было. А потом нужно было поставить

на станки пускатель-реле и кнопку включения («включить – выключить», «on – off»), это уже бригадир сам делал: надо было просверлить в станине отверстие, потом нарезать метчиком резьбу, а потом уже привернуть кнопку пуска. Такая вот работа была, нудная, изо дня в день.

Что еще: режим был строгий, и рекомендовалось ходить с противогазом; действительно, я с противогазом ходил.

Н. Р.: *На работу – домой? Или по территории завода?*

В. П.: По территории завода, на работе и с работы – на работу. Но противогаз был небольшой такой, только маска, респиратор облегченный. Причем там еще какая пропускная система была: пропуск не выносили, он оставался на заводе. Там была у каждого вертушка с ячейками, вахтеру называешь свой номер, а уже вахтеры – девушки военнообязанные, они доставали из ячейки пропуск, выдавали, и с пропуском уже на завод идешь. А на заводе мы в разных цехах станки устанавливали: и в механических, и в других. Только в цех окончательной сборки, где собирали авиационные моторы, был специальный допуск. А так по всем цехам, потому что станки в основном были токарные, фрезерные.

Н. Р.: *Владимир Петрович, Вам давали какие-то карточки за то, что Вы работали?*

В. П.: Да, карточки давали.

Н. Р.: *Зарплаты не было?*

В. П.: Нет, зарплата была, но она как-то даже не... В основном карточки. Карточки были четырех категорий: «Р-1» – оборонные, «Р-2» – рабочие необоронной промышленности, «С-3» – служащая и «И-4» – иждивенческая. По «Р-1» полагалось 650 граммов хлеба. И такие ОРСы были образованы, все это распределяли.

Н. Р. : ОРС?

В. П. : Отделы рабочего снабжения... Их еще расшифровывали по-разному, но это не для протокола: «Обеспечить раньше себя», «Обеспечить родственников своих», «Основное раздать служащим». Но это уже так, юмор такой.

Н. Р. : *Расскажите, пожалуйста, про Вашу карточку. У Вас была «Р-1»? И сколько Вы по ней получали? 650 или 600 граммов, не помните?*

В. П. : Вот что-то все 600 говорят, а я помню – 650 было. «Р-2» – 550, «С-3» – 450, «И-4» – 350. На 100 граммов все меньше, меньше. Там и другие карточки были: жировые там, а яйца выдавались по мясным карточкам. Отделы рабочего снабжения этим занимались.

Н. Р. : *С какого времени в Москве жизнь начала налаживаться? С 1943-го? Когда театры из эвакуации вернулись...*

В. П. : Да, насчет театров в Москве... Вот мои ремесленники, которые со мной работали, они как раз ходили в оперетту, в Театр оперетты, и мне рассказывали про «Сильву», потом еще оперетта шла «Девушка из Барселоны»... Про артистов рассказывали, Володин, Ярон еще – известный артист, потом Качалов, Театр оперетты. В свое время тоже, в 1942-м или 1943 году, посмотрел спектакль «Без вины виноватые».

Н. Р. : *В Малом театре?*

В. П. : Да, хотя не в здании Малого, а в здании театра на Тверском бульваре, напротив театра Дорониной. Пашенная была в роли Кручининой. Ребята в оперетту ходили, а я как-то сподобился на этот спектакль сходить. А так в кино ходили, на известные фильмы. Вот, допустим, «Джордж из Динки-джаза» – не слышали?

Н. Р.: *Американский, не английский?*

В. П.: «Джордж из Динки-джаза» – английский... Комик такой, Джордж Формби, главную роль играл. Там сюжет такой, что из Динки-джаза оркестрант во время выступления своего оркестра своей трубой подавал условный сигнал о немецких подводных лодках.

Н. Р.: *Ого! (Смеется.) То есть опять же военная антифашистская тематика?*

В. П.: Да, антифашистская. Он был как бы агентом, оркестрант. А потом еще такой фильм выпустили тогда, «Три мушкетера», американский... Это комедия. И потом уже, во время учебы, мы часто в кино ходили.

Н. Р.: *А в какой кинотеатр вы ходили?*

В. П.: Чаще всего в «Москву» на Маяковской. Еще на Пушкинской – кинотеатр «Центральный». А еще был кинотеатр «Первый» – на улице Воровского, где Театр киноактера. И там шли – ну, это уже в последние годы войны и после войны – там чаще американские фильмы шли. В частности, «Багдадский вор», «Ураган»...

Н. Р.: *Владимир Петрович, расскажите еще про военную жизнь. В магазинах продукты были, все можно было купить?*

В. П.: В Москве по карточкам – да, можно было. Один раз у меня карточки вытащили, правда, не хлебные, а продуктовые, наполовину отоваренные. Да главное-то не в этом – ведь еще с приписным свидетельством! Я уже в техникуме учился тогда... А из-за приписного свидетельства опять пришлось новую комиссию проходить. Помню, пришел к хирургу на комиссию, он мне дал несколько повесток (*смеется*): вот, сбегай, повестки раздай в районе Сокол, Песчаных улиц – потом придешь. То есть вменил мне в обязанность разносить

повестки на фронт: «Явиться туда-то, туда-то». Конечно, тем, кому я их приносил, они радости не доставляли...

Н. Р. : Владимир Петрович, но Вы не попали на фронт в 1945 году? Вы же на грани с этим призывом были, какова была вероятность, что Вас могут забрать на фронт?

В. П. : Нет, 27-й год – нет... Хотя мне Парфенóвич Юрий Михайлович – ну, вы знаете, такой сотрудник был – он мне рассказывал: «Твой год призывали, мы их котятками называли!». Когда я уже после эвакуации приехал в Москву, я узнал, что некоторых убили. Вот тот погиб, этот погиб...

Н. Р. : А много погибло в Вашем дворе?

В. П. : Ну, кого из товарищей я знаю – Миша Ермаков, потом, по прозвищу Юлта, дальше Почкаев такой, Пачка́й... Потом, из нашего домоуправления три парня играли до войны за первое юношеское «Динамо» – Валька Савицкий, Витя Воронин и Грехов, имя не помню – вратарь, полузащитник и нападающий; двое из них погибли – Воронин и Грехов.

Н. Р. : Владимир Петрович, после завода в 1943 году Вы куда пошли?

В. П. : В авиационный техникум. И до 1947 года там проучился. Потом работал в одном известном опытно-конструкторском бюро.

Н. Р. : А как же востоковедом стали?

В. П. : А как востоковедом... Потом решил с завода уволиться и получил вот такую справку. (*Показывает.*) И вместо МАИ поступил в Институт востоковедения в 1948-м. Примаков в это время поступил, и Казакевич, и Витя Мазуров, и Грязнов, и Старченков Геннадий – вот это наш курс. В 1948-м поступил, в 1953-м окончил. Выбрал индийское отделение. А осенью 1953-го уже поступил в аспирантуру.

Н. Р. : *То есть, как Вам понравилась Индия в детстве, так Вы и не меняли своего увлечения этой страной?*

В. П. : Да. А потом по востоковедной линии шло уже как по накатанной.

Н. Р. : *Владимир Петрович, какое у Вас самое сильное впечатление осталось от военных лет?*

В. П. : Первая бомбежка. Непривычно: стреляют, прожектора... А первые бомбежки-то в Москве довольно интенсивные были, в Театр Вахтангова попали, в Большой театр бомба угодила. Театру Вахтангова больше всего досталось. А в нашем районе первая бомбежка... на нашей футбольной площадке бомба упала. Мы тогда пошли в метро «Сокол», но там метро неглубокого залегания. А потом мы ходили в «дальстроевский дом». После первой бомбежки нашему «Соколу» досталось. На улице Врубеля, между семнадцатым корпусом и нашей сорок девятой школой, бомба упала на нашу площадку... Еще оранжерея там была с другой стороны – эта оранжерея походила на ангар, туда тоже сбрасывали бомбы. После первой же бомбежки кое-где потрескались окна. И вот там бомбили часто, можно сказать, весь июль. А потом я уехал в эвакуацию...

Н. Р. : *Расскажите, как Вы услышали о Победе? На Парад Победы попали?*

В. П. : Я услышал о Победе и высыпал на улицу вместе с другими, поехал в центр, вокруг все вместе ликовали, я был на улице Горького, до Красной площади не добрался.

Потом вот еще что: я наблюдал прогон немцев по Москве. Это был 1944 год, по-моему, уже август. А может быть, июль. Это после операции «Багратион», одного из «Сталинских ударов», в Белоруссии. Лето 1944 года. В это время я в техникуме учился, уже не на заводе. Обычно нас в военное

время в совхозы посылали летом, а тут я оказался в Москве. Во-первых, я хочу уточнить: немцев вели с ипподрома, многие не знают этого, – вели, вели, а куда вели, чего вели... Собрали немцев на ипподроме, где метро «Беговая», ночью. А днем выстроили и погнали...

Н. Р. : *Откуда их вообще собирали, всех этих пленных немцев?*

В. П. : В основном это были взятые в плен в Белоруссии во время операции Рокоссовского «Багратион». Разгром был. Сталин распорядился, и их привезли, рассортировали, выстроили где-то там на ипподроме и повели по Ленинградскому шоссе до Садового кольца и потом уже к вокзалу. А я наблюдал, стоя на мосту у Белорусского вокзала... Шли они плотной колонной, а по бокам, с дистанцией метров в двадцать, со штыками – наши солдаты. И потом на вокзалы. Да, а после... после этого такой шеренгой две-три поливальные машины...

Еще я хочу поправку сделать: передача была, «Подстрочник», по-моему, – Лунгиной... Она говорила, что русские люди – сердобольные, хлеб им бросали, когда их вели... Вот этого я как раз не видел. Во-первых, нам, кто стоял и смотрел, нечего было давать в 1944 году.

Н. Р. : *А хотелось дать им хлеба?*

В. П. : Нет, нет... Стояли молча, ничего не выкрикивали. Выкрикивали пленным немцам когда? Вот я-то любитель спорта, на русский хоккей ходил на стадион «Динамо», и во время перерыва пленные немцы расчищали каток, а с трибун кричали: давай, быстрее там шевелись... фриц. Ну вот, в таком духе. Еще – мать на автобазе работала, и там немцы тоже работали. Сотрудникам надо было получать картошку, а немцы ее сортировали и выдавали нам, записывали. Иной там попросит: «Дай, мол, der Bleistift, карандаш,

отметить вот тут...» И потом немцы строили генеральский дом у метро «Сокол», прямо у метро, где пожарная каланча. В этом доме спортсмены ЦСКА жили: Всеволод Бобров и другие. Вот, с немцами такие встречи были...

Н. Р. : *А к немцам, которые работали среди вас, ненависти не было?*

В. П. : Не было... Нет, когда вели немцев, я помню, публика стояла по краям, на тротуаре... Чувство какое-то... удовлетворение, что ли... Такая победа! Но молчали, никаких выкриков я не слышал и не видел, чтобы кто-то там что-то передавал, хлеб или... Да, там действительно было технически трудно передать, потому что они шли несколько в отдалении, а тут еще солдаты наши...

Н. Р. : *Вот кто-то рассказывал, что передавали, могли что-то дать, сухарь...*

В. П. : Нет, нет, это Лунгина говорила. И это повторил Караулов в какой-то передаче, но он не мог быть свидетелем, Лунгина-то могла. А вели их с ипподрома, по улице... Помногу людей в колонне. В форме. В обыкновенной своей мышинной форме.

Н. Р. : *Мышиной?*

В. П. : Да (*смеется*), говорили «мышиная». А еще что было интересного во время войны – на набережной у Парка Горького была уже в 1942 году выставка немецких трофеев. Там были какие-то пушки, потом эрзац-продукты – это у нас обыгрывали, что у немцев есть нечего, только эрзацы: каши, брикеты и так далее... Вот это я помню. Образцы вооружения были. А потом самолет, «юнкерс» – уже, правда, без крыльев – стоял в Музее революции, на улице Горького, где Английский клуб. С крыльями он бы там не поместился, наверное.

Н. Р. : *Владимир Петрович, еще такие общие вопросы. Германия: Ваше отношение к Германии до войны, во время войны и после войны как-то изменилось? К Германии, к немцам?*

В. П. : Ну, что сказать – тут я со Сталиным согласен (*смеется*): Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается.

Кстати, еще насчет военных впечатлений. Я был в пионерлагере, уехал туда на следующий день после начала войны – и вот, выступление Сталина 3 июля 1941 года, это я в лагере уже слышал. И оно тоже какое-то сильное впечатление произвело... Там было необычное обращение, «братья и сестры»... Но кончалось «Победа будет за нами!». И еще запомнилось – по-моему, в этом выступлении: сравнение Гитлера с Наполеоном – Гитлер похож на Наполеона, как котенок на льва. У меня, правда, текста выступления сейчас этого нет дома...

Н. Р. : *А отношение к Сталину Ваше каким было – до войны, во время войны и после войны? Сложный вопрос – отношение к Сталину.*

В. П. : Ну, до войны-то его, конечно, обожествляли, а сейчас – пожалуй, ближе к Кургину, чем к Сванидзе. (*Смеется.*)

Н. Р. : *То есть для Вас Сталин – это все равно часть нашей истории?*

В. П. : Ну конечно, часть истории. Он должен быть для всех частью истории. Положительно ли, отрицательно... Допустим, наш Эрик Комаров должен был отрицательно относиться, поскольку его это затрагивало через супругу. В принципе из пострадавших у меня – мужья сестер матери пострадали.

Н. Р. : *Были репрессированы?*

В. П. : Да, до войны. Один Лусс, Роберт Лусс, фамилия такая, прибалтийская. А другой был служащим в станице Белореченская на Кавказе, дядя Миша.

Н. Р. : *И за что их взяли, что приписали?*

В. П. : Лусса – я не знаю, а дядю Мишу, вроде бы, за его высказывания, поскольку когда его дочь Таисья навещала, то он вроде как на язык показал. И не вернулись, не вернулись оба...

ДЕТУ
ВОЙНЫ

Ирина Михайловна Смилянская

Родилась 20 сентября 1925 г. в Москве
Окончила исторический факультет МГУ (1949)
Доктор исторических наук (1981)
Специалист по истории арабских стран
Работает в ИВ РАН с 1956 г.
Ведущий научный сотрудник ИВ РАН

Ирина Михайловна: Я начну немножко издали. Осенью 1940 года как-то вечером я шла по коридору в моей замечательной 545-й московской школе и встретила свою новую классную руководительницу, такого «правдолюбца», «открытую душу» (с тех пор я опасаясь людей такого типа). И она меня спросила: «Ты почему не вступаешь в комсомол?». Для меня это был не праздный вопрос, потому что я не хотела вступать. Не хотела, так как в душе моей шел (как и в душе, наверное, у многих) разлад: такое замечательное учение о социализме! Мы верили, что там, за рубежом, погибают несчастные пролетарии, а мы им принесем новый мир, новое учение и тому подобное. Но почему так тяжело это все в жизни исполняется, почему столько бед, потерь, несправедливости? И невозможно соединить между собой эти противоречия! Я считала, что не могу вступить в комсомол, пока для себя не разрешу эту проблему. Ну, этого я ей сказать, естественно, не могла и ответила, что еще не готова. Она возразила: «Ты хочешь чистенькая вступить в комсомол? А где твой отец работает?».

Мой отец работал... вопрос был такой... поддых. У меня был отчим, он работал на авиационном заводе № 51 у Поликарпова*, был инженером-расчетчиком высокой квалификации. Вел расчеты на прочность... Это работа очень тонкая: то ли утяжелил расчетную конструкцию, то ли недорассчитал, а постоянно происходили испытания, и их всегда сопровождал страх: если развалится конструкция, которую ты просчитывал, тебя могут счесть «вредителем», «врагом народа» с соответствующими последствиями. Поэтому я не могла принести какие-то дополнительные огорчения своему отчиму. Если бы был отец, я бы еще как-то... И я подала заявление о вступлении в комсомол. Правда, надо было бы спросить, а кто сообщит на работу моего отца о том, что я не вступаю в комсомол... Но я этого не сообразила. Очень скоро меня вызвали в райком комсомола и торжественно вручили комсомольский билет. Был серый осенний день, я возвращалась по улице Полянке домой... Настроение было мрачное. Вот мне пятнадцать лет, я вступаю в самостоятельную жизнь и сразу же иду на компромисс, отступаю. Думаю и сейчас, если бы мне пришлось исповедоваться, то я бы сказала, это был первый случай, когда я изменила сама себе. И это было так. Вот такое начало.

Теперь война.

Наталья Романова: *В каком Вы были классе, когда началась война? Вам было сколько лет?*

И. М.: Мне шестнадцать должно было осенью исполниться, я перешла в девятый класс. В середине июня 1941 года, когда мы закончили учебу, учитель географии Виктор Матвеевич Кашляев (он вскоре погиб на фронте) предложил отправиться в поход. И за какие-то пять дней до начала

* Николай Николаевич Поликарпов (1892–1944) – советский авиаконструктор, «король истребителей». С 1940 г. – директор и главный конструктор завода № 51 НКАП, впоследствии – ОКБ Сухого.

войны мы, двенадцать одноклассников, впервые пошли в поход (в те годы туризм был мало распространен). Маршрут шел из Можайска через Бородинское поле куда-то в сторону Волоколамска. Это была для нас хорошая подготовка к войне, потому что мы были городские, привыкшие к удобной кровати, хорошему быту, относительно благоустроенному образу жизни, а тут палатка, готовка на костре – это было внове и интересно. Я не прошла весь маршрут, потому что с родителями должна была ехать в Крым к родителям мамы, и вернулась обратно, в Москву.

И вот утро 22 июня, такой солнечный, поразительный день! Я, моя подруга Ирина и еще одноклассник Игорь Зенкин (впоследствии он служил в нашей военной разведке) идем лесом, тропинками, к поезду. Пахнет ландышами, они в полном цвету, роса сверкает на солнце и такое счастье, так красиво в мире и так хочется жить! Мы приехали домой, через какое-то время включили радио и услышали речь Молотова – «война!».

Война. Конечно, война, как дамоклов меч, висела все время над нами, мы ее ждали, и в некотором отношении это было как бы разрешение бесконечно висевшей угрозы. Была уверенность в том, что будем воевать на той вражеской стороне и «ни пяди своей земли не отдадим!» Но все-таки война была еще непонятным для нас испытанием, поэтому было какое-то особое тревожное настроение. Вышли на улицу. Мы с подругой шли по Москве. На улицах было много народу. Вначале не все еще знали о том, что произошло. Постепенно озабоченность появлялась на лицах людей... И в тот момент, и вообще в первое время было чувство единения, взаимной поддержки, понимание, что мы все из одной страны, на нас на всех идет эта беда и мы должны объединиться. Вот это ощущалось.

Вечером на следующий день меня вызвали в школьный комитет комсомола, и первая мысль – как хорошо, что

я вступила в комсомол. Теперь мной можно распоряжаться, меня можно послать туда, куда нужно Родине. Итак, значит, мы уже на второй день пошли расклеивать плакаты в своем районе.

Н. Р. : *Какие плакаты?*

И. М. : Ну, плакаты... «Все на помощь фронту» и тому подобное. Оказалось, что все уже поразительно подготовлено! Тыл был подготовлен, видимо, лучше, так как еще через пять дней... или через неделю нас вызвали в школу и сказали, что комсомольцы мобилизованы ехать водителями с младшеклассниками, вывозимыми из Москвы в Рязанскую и другие области от бомбежек. На следующий день погрузили детей в поезд, и он тронулся. Прибыли на станцию Кораблино.

Н. Р. : *Далеко нужно было ехать? Сколько часов?*

И. М. : Ночь. Рязанская область. И на станции уже стояли телеги из деревень, присланные для разных групп, чтобы развезти нас по колхозам. И приехали мы в нашу деревню, она называлась Новоселово, новое поселение. Два ряда домов, стоящих на расстоянии примерно метров 200, не докричишься с одного конца до другого. Редкие дома. Посреди деревни большой пруд. И ничего вокруг, ни садов, ни деревьев. Ничего. Какая-то нищая была деревня. Ну, поместились в школе. Тут же сошлись женщины из деревни, окружили наших детишек, а детишки были с первого по четвертый класс. Бабы стояли, жалеючи. Они говорили: «Бедные вы, бедные, пригнали вас!». Вообще, у них было одно понятие – гонят... вот пригнали, и все.

А детей, когда уезжали, в Москве родители снабдили на первое время едой. Они были с бутербродами, поели, и несколько человек, не доев, бросили в траву белый хлеб с колбасой или что-то еще... И все переменялось! Бабы

сказали, что их дети черного хлеба кусочка не имеют лишнего, а эти швыряются, и наступило отчуждение. Они ушли и с тех пор с нами не общались, хотя наши дети работали, выходили в поле, пасынковали, пололи гряды овощей, а их дети работать на колхозное поле не ходили. Ну, такая нелюбовь у них была к этому колхозу и ко всему колхозному, что не выходили. Работали наши. Но все равно сохранялось отчуждение.

В первый день, когда прибыли, привезли нам сена. Набили матрасники сеном, положили их на полу. Это были постели. Поначалу для московских детей все было развлечением, каким-то приключением, а к вечеру они захотели домой, к мамам, и пошли слезы. Они плакали, а мы их утешали. Утром уже началась новая жизнь, и слезы прошли. Но в школе поместились не все наши группы, еще два звена по десять человек надо было куда-то поселить. В деревне стояли пустые дома. Пришел председатель колхоза, повел нас в эти дома. Меня и Юру Часовникова, юношу постарше (он позже погиб на фронте), отправили «на выселки». Он с детьми в один дом, я со своей группой в другой, между нами – широкий пруд, а школа где-то там, далеко. Все расстояние 500–700 метров, наверное. Дом у нас был такой: небольшая изба, перед входом в нее – сени. В избе большая русская печь, стола не было, вдоль стен прибиты лавки, да два окна; дверь из сеней наружу запиралась на засов, а у окон даже рам не было.

Н. Р. : *Хорошо, что июнь!*

И. М. : Не холодно было, спать детей положили по лавкам, а четверых – на печку. Они-то у меня спали, а я трусила. Мне было самой просто страшно, но и боялась, что детей напугают. Напугает кто-нибудь, придет... Я выстлала сено под окнами, чтобы услышать, если кто-то будет идти. И вот, как-то лунная ночь, свет луны отражается на печке,

я засыпаю и вдруг слышу шаги. Шаги, шаги приближаются. Я замерла. Встать бы и посмотреть – а мне шевельнуться страшно. Я только смотрю, когда же появится тень на печке и кто появится. А ничего не видно. Вроде шаги совсем близко, но никого не видно. Все-таки пришлось себя переломить: тут же дети, я за них отвечаю. Встала, высунулась в окошко, а там ходит собака. Я ее шуганула, она села, посмотрела на луну и завыла. И тоже нехорошо так завыла, а мне выйти ее прогнать – страшно. Я разбудила двух девочек: «Девочки, надо выйти». Туалета ж нет. Они уцепились за мою рубашку... все в ночных рубашках...

Ну, а днем мы ходили на поле работать, и однажды вдруг появился самолет. Вообще самолеты не летали, а тут неожиданно биплан. Низко-низко на бреющем полете откуда-то стал подлетать. Оповестительных знаков мы никаких на нем не увидели, но когда он пролетал совсем над нами, мы были в полной беспомощности... Кругом растения низкие, не спрятаться... Я думаю, что это был немецкий разведывательный самолет. Немцы вылетали и осматривали, что происходит. Было неприятно. Потом однажды ночью мне снится страшный сон, что бомбят Москву. Бомбят и всю разбомбили. И сон оказался в руку. Утром, не без злорадства, местные крестьяне сообщили, что они были в Кораблине, слышали радио, передали, что на Москву налетело сто самолетов и Москву разбомбили и «нет теперь вашей Москвы». Примерно так. Для нас это было ужасным потрясением. Пока не дозвонились куда-то наши учителя, которые жили с детьми в школе, и не выяснили, что действительно к Москве летела сотня немецких самолетов, пробились несколько и несколько бомб было сброшено. Все оказалось совсем не так страшно.

Дети наши почти не болели, но спали голова к голове, и очень скоро завшивели, пришлось всех их обрить. А у меня в группе была девочка... Тизенгаузен. Хорошенькая

девчущечка с длинными белокурыми косами. Побрить такую девочку было бы варварством, и она у меня осталась нестриженная, и значит – регулярное вычесывание, мытье головы керосином и прочее. Это были военные будни.

Потом нам и оконные рамы поставили. А когда застеклили окна, тут и произошла беда. Я задержалась в школе, прихожу – дети у меня в состоянии почти сумасшествия. Что такое? Оказалось, к нашему дому подобралась местная подростки, стали гудеть, царапаться в окна, а это к вечеру было, и перепугали моих детишек до смерти. Там прямо истерика была. И больше я их одних не оставляла.

А война наступала. В Москве началась эвакуация предприятий, и постепенно стали приезжать родители детей разбирать. Между тем через деревню прогоняли стада животных, стадо за стадом. Гонят, угоняют от наступающих немцев общественный скот. И мы смотрим на этих усталых животных...

***Н. Р. :** С разбитыми копытами, с разбитыми ногами...*

***И. М. :** Там коровы... лошади, запряженные в повозки с жалким скарбом, и мы смотрим с ужасом, неужели может быть такая страшная судьба?*

Так вот, детей постепенно стали забирать, а оставшихся к первому сентября перевели в другую деревню. Это было Незнаново, богатое рязанское село с большими старыми яблоневыми садами. Такое хорошее село, и стояло на большом старинном тракте.

***Н. Р. :** А вас хорошо кормили?*

***И. М. :** Мы были сыты, и это удивительно, потому что местные жители голодали. Мама приехала ко мне и встала на постой к кому-то в деревне. У них есть было нечего. А нам привозили из районного центра Кораблино хлеб, крупу, мясо. Мамы нескольких детей на всех готовили. Это была*

простая еда. Но и сейчас помню перловую кашу с кусочками мяса, сваренную в русской печи.

Н. Р. : *А дети маленькие? У них были какие-то рабочие задания на день?*

И. М. : Да, выходили в поле, конечно. А я всегда была отличница, сама очень сильно старалась и детишек заставляла хорошо работать. Теперь с сокращением это вспоминаю.

Н. Р. : *Какая-то норма у них была?*

И. М. : Нет. Сколько сделаете, но все-таки надо было пройти целое поле. Прополка, потом пасынковали. Обрывали у табака новые побеги, чтобы листья были крупнее. Простая работа. Потом всех перевезли в это Незнаново, а фронт-то наступает. Из-за опасности прорыва нашей учительнице было дано задание обойти крестьянские дома и поговорить с местными: если немцы прорвутся, разберут ли на время детей, иначе немцы их угонят. И она поняла – не возьмут. Или просто отказывались, или давали понять, что нет...

В Москве готовилась эвакуация завода моего отчима, и мы с мамой решили возвращаться домой, тем более что мы, вожатые, теперь сами превратились в эвакуированных. Оставшихся малышей готовились увозить вглубь страны. К этому времени мы уже начали учиться в местной школе. В классе получилось странное сочетание деревенских и московских школьников. Преподаватели были разного уровня, но среди них были и великолепные. Ну а мы, москвичи, были заносчивы. Тогда очень хороший математик решил нас поставить на место и дал задачку, на которой все сели. Решил ее, и то на три четверти, один очень сильный местный ученик. Это отчасти нас урезонило. Вскоре этого учителя мобилизовали на фронт. Потом началась уборка капусты... То уборка, то учеба...

Н. Р. : *А многих мужчин мобилизовали в деревне? Это было заметно?*

И. М. : Да, сейчас я расскажу. Это еще только начали забирать. Так вот, мама сначала хотела уехать со мной к сестре в Сталинград (Волгоград), но по пути кто-то из военных ее остановил – ни в коем случае в Сталинград: если немцы туда прорвутся, из него будет не выбраться.

Н. Р. : *У меня дедушка, будучи военным, полковником, отправил бабушку с маленькой моей мамой, старой тетей, с няней и со всем скарбом к родственникам в Волгоград под зиму 1942 года. Представляете?*

И. М. : Вот мы тоже так чуть не попали.

Н. Р. : *Моя бабушка написала письма всем своим родственникам, что устроились хорошо, приезжайте. Вот будет теплее, не будет так голодно. Сестра ее оставалась в Ленинграде, а жена ее брата, который был на фронте, приехала из Белоруссии. Добралась в Сталинград, когда уже разбомбили весь город, и все уехали... У нее погибла трехлетняя дочка на руках в бомбежке. Больше суток она ходила с мертвой девочкой на руках по разрушенному городу, пока не нашлись какие-то знакомые, отняли у нее дочку и похоронили ее в ящике комода из разбомбленного дома...*

И. М. : А мы вернулись в Москву. Москва уже была закрыта, и, несмотря на московскую прописку, нас не пропускали, билетов не выдавали. Поэтому ехали с пересадками, рабочими поездами, в общем четыре пересадки сделали. Наконец мы в Москве.

Н. Р. : *Когда Вы вернулись в Москву примерно?*

И. М. : Мы вернулись в конце сентября. В Москве затишье, как перед грозой. А потом объявили об эвакуации

нашего завода. Надо было собрать вещи. И дальше – это уже эшелон.

Н. Р. : *Ирина Михайловна, два слова скажите о Вашей семье. Вы родились в Москве, на какой улице жили? Мама кем работала?*

И. М. : Мама не работала, мама была домохозяйкой. И был дядя Костя, отчим, Константин Владимирович Гарин. Я его звала дядей Костей, очень любимый, очень хороший, глубоко порядочный человек.

И вот Поликарповский завод должен был уехать. Начали грузиться. Начальником эшелона был назначен молодой энергичный Янгель* – тот самый, будущий академик, ракетчик; в честь него улица названа. Мы все погрузились в вагоны где-то числа 10 октября. Но эшелон еще несколько дней не отправляли, и мы стояли, значит, в своих пульмановских вагонах на заводской территории. Заводские рабочие все обустроили, нары сделали в два этажа, железную печку с трубой наверх, чтобы можно было по пути обогреться и готовить.

Н. Р. : *А куда Вы поехали в эвакуацию?*

И. М. : Нам не говорили, куда. До самого последнего момента это была военная тайна. Четыре или пять дней мы находились на территории завода № 1 в Филях, возле Боткинской больницы. Это место, опасное при бомбежках, и когда начались ночные тревоги, мама моя вся тряслась нервной дрожью, а обитатели вагона замирали, мне же почему-то не было страшно. Боялась страшного человека в окошке, а тут вроде ничего, спокойно, вокруг люди. Наступил Покров**, я помню, в Покров тогда выпал снег

* Михаил Кузьмич Янгель (1911–1971) – советский конструктор ракетно-космических комплексов, в 1935–1944 гг. работал под руководством Н.Н. Поликарпова.

** Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – 14 октября.

в Москве, и больше он не таял. Уходить далеко от эшелона нам нельзя было, и все же мы с мамой пошли на Ваганьковское кладбище, пришли в церковь, поставили свечи, помолились... 14-го, в ночь на 15 октября нас подцепили к паровозу и повезли. И повезли, и повезли без остановок, где-то только за Ярославлем начались первые остановки. Тогда нас стали нагонять другие эшелоны, и мы узнали, что в Москве была паника 15 октября.

Говорили, что начали громить магазины. Тогда, кажется, был прорыв немцев, и возникла опасность, что немцы войдут в Москву. И люди бежали из города на чем только можно. Это был драматический момент. Но мы уже узнали об этом в дороге.

Мы ехали, наверное, около трех недель. И поразительно, как все было организовано. Начальникам эшелонов сообщали, а те предупреждали главных в вагонах, что на следующей стоянке выдадут хлеб. А на следующей станции, может быть, будет горячая еда или еще что-то. И так организовано, хотя и не постоянно, снабжали едой. Очень часто люди отставали от поезда, потому что не было расписания. Эшелон постоял, постоял, дали зеленый свет – поехал. А садиться в товарный вагон трудно, вместо ступенек одна железная скоба. Догоняли с другими эшелонами, двигавшимися вперемешку. И еще очень трудно было с туалетами. Их было мало, да и эшелоны часто стояли за пределами станций. Вдоль дороги все пути были испачканы. Все пути. К тому же было опасно... как бы не попасть под колеса. Но это все детали...

Главное – едем. Настроение тяжелое, потому что каждая сводка: немцы наступают, наступают. И тогда пошли разговоры уже в открытую. Впервые в нашем вагоне заговорили: «Как же так? Нам говорили, что мы будем воевать на чужой земле. Что произошло, кто виноват?». Это впервые вдруг заговорили. До войны советскую власть в душе

далеко не все принимали, но молчали. Но когда началась война, произошел перелом. Беда случилась с твоей страной. Люди встали стеной. И все-таки, почему отступаем?

Еще я забыла сказать, что с самого начала войны возникло такое психологическое состояние, будто твоя душа и сердце зажаты, и это состояние сохранялось на протяжении всей войны. Все время не уходила мысль о том, что там, на фронте, твоих друзей, твоих близких, твоих, возможно, женихов, судьбу твою, возможно, убивают, а ты тут. И даже чувство вины, что ты здесь, а они там. И это ощущение оставалось до самого 9 мая 1945 года!

Ну ладно, едем. На какой-то станции, уже на Урале, настроение плохое, я вылезла из вагона, а у нашего товарного вагона была сзади такая, знаете, платформочка. Я стою на этой платформочке, а рядом... А почему мы не едем? Потому что там была однокорейка, и мы все время пропускаем идущие из Сибири военные эшелоны. Бесконечно шли военные эшелоны, один за другим. И в военном эшелоне напротив стоит молодой солдат...

Н. Р. : *Они уже в военной форме?*

И. М. : Тепло одетые, в валенках, в теплой военной форме, в дубленках. И мы перекидываемся с ним словами: кто куда едет. И он: «Не сомневайся, вот ты увидишь, не бойся, не думай! Мы переломим войну. Там сейчас городские воюют. Они не умеют воевать, это не настоящие воины. А мы сибиряки, деревенские, мы переломим». И действительно, ведь под Москвой именно они остановили немцев. Этот разговор я запомнила, потому что тогда впервые услышала уверенные слова.

Н. Р. : *Они переломили наступление немцев под Москвой, но какой страшной ценой...*

И. М. : Такая уверенность, такая убежденность. Даже я, молоденькая девчонка, осталась с чувством гордости, какие же у нас есть ребята!

А в Сибири началось... Подъезжаем к полустанку, прогоны короткие, остановки частые. Площадь небольшого поселка, полно телег... привезли рекрутов. Расставания, плачь, слезы. Еще первое время их, призывников, было много.

Я как-то разговорилась с женщиной. (Мы были на концерте хора Минина, и там исполняли пронзительное «Письмо с фронта» Валерия Гаврилина.) И мы, обе, все войну вспоминали. Она: «А я жила в таком селении у станции, и вначале это была река, поток из людей. В Сибири много мужчин, деревни многолюдные, потом вот так все мельче, мельче, и потом – только ручеек, уже некого было на фронт взять, не осталось народу...»

Ну вот, мы приехали. Куда ехали, не знали. В общем, приехали в Новосибирск, поселили нас временно в школе. А между прочим, когда ехали по Сибири, двери в вагонах распахивали, а там простор, красота, колки – березовые леса, красиво очень. И думаешь, как красиво, как замечательно, как бы хорошо было там пожить вот в такую пору. А не так вот, бежать. И много нас ехало, на остановках переговаривались: «Вы откуда?». Ехали из Смоленска, Гомеля, Москвы, перегоняя друг друга, подхватывая отстававших...

И. Р. : *Сколько Вы ехали так до Новосибирска?*

И. М. : Мы ехали, наверное, три недели. Нет, две недели точно... Дней шестнадцать, наверное. Конечно, это тяжело. Ни умыться, ни постирать, сами понимаете. Ну, ничего. На работе дядя Костя сказал, что едет с женой и дочерью, и нас поселили в детский вагон. Там был и грудной ребенок, и двухлетние дети, и большие, такие как я. Взрослые ехали без ссор, помогали друг другу, картошку варили. Ну, не сказать, что общая еда была, но как-то все были

доброжелательны друг к другу. Своего отчима я звала дядя Костя, и со времени эвакуации на заводе его все стали звать так же. Его любили за доброту и отзывчивость. Начиная с Новосибирска, он многие годы, не будучи членом партии, возглавлял профсоюзную организацию завода.

Так вот, мы приехали. В городе нам определили школу, каждому вагону по школьному классу. Класс разделили по метрам, исходя из числа членов семей. Разделились, расселись, а дальше еще неизвестно, куда поместят.

Ну, в общем, поместили нас в еще не достроенное общежитие тамошнего авиационно-технического института. Комната полагалась на две семьи. Инженер Залипаев с женой и двухлетним ребенком разместились вдоль одной стены. Мы – вдоль другой, напротив. Мама и Залипаев были людьми энергичными, сбили сразу топчаны под постели, разместили вещи, устроились, стол и табуретки были казенные. Началась жизнь в эвакуации.

Дядя Костя и Залипаев ходили на стройплощадку, разгружали привезенное оборудование, обустроивали свой небольшой завод, приданный к большому опытному конструкторскому бюро, чтобы приступить к работе. Поскольку мне казалось, что мир перевернулся, и школы не работают, я не знала, что делать. И тоска, конечно, от ощущения никчемности. Решила идти в военкомат, родители пришли в ужас: мне только исполнилось шестнадцать лет, да и самой-то было страшно.

Н. Р. : *Какое осталось самое сильное воспоминание из того времени?*

И. М. : Очень хорошо помнится разгром немцев под Москвой. Когда мы однажды днем вдруг услышали, что наши перешли в наступление и немцы отбиты от Москвы, радость была непомерная, надо было со всеми поделиться, и я помчалась на завод. Прибежала, стала рассказывать,

собрался народ – общее ликование! Ну а дальше – я таскаюсь по городу, вижу какое-то объявление: школа. Зашла, она работает, и туда принимают эвакуированных. У нас был класс с учениками из Смоленска, Гомеля, Витебска, Ленинграда, и все школьники примерно одного уровня. Среди них я встретила будущих инженера-металлурга, ленинградку Галю Гурову и архитектора, москвичку Наташу Немчинову – моих друзей, с которыми прошла через всю жизнь.

Затем выяснилось, что в Новосибирск эвакуированы Ленинградская филармония и Александринский театр с Черкасовым и Юрьевым. Но для меня главной стала филармония с дирижерами мирового класса – Е.А. Мравинским, Куртом Зандерлингом и художественным руководителем И.И. Соллертинским, который стал кумиром молодежи. И теперь представьте себе, мне шестнадцать лет, самое время становления мировоззрения, да еще война, которая придавала внутренней жизни особый напряженный ритм. Ленинградские музыканты считали, что поскольку в Новосибирске не было симфонического оркестра, то публика не знакома с историей музыки, и, исходя из этого, были устроены циклы лекций и программа концертов. Иван Иванович Соллертинский был блестящим лектором и человеком колоссальной эрудиции. Недаром, когда я вернулась в Москву, то еще несколько лет каждым третьим моим словом было «а Иван Иванович Соллертинский сказал». В филармонии была моя вторая школа. И вообще, если что-то во мне культурное заложено было, ну... заложено было еще в школе моей учительницей Верой Николаевной Лозинской, но основное было приобретено, конечно, здесь.

Н. Р. : *Вы искали книгу Соллертинского, дневники или письма... Нашли?*

И. М. : Да, нашла, это его переписка с Шостаковичем. Любопытно, что уже в те годы Соллертинский выделял среди

композиторов, естественно, после Д.Д. Шостаковича, которого он боготворил, еще молодых Свиридова и Щедрина. Соллертинский – человек необыкновенный. Он умер сорока двух лет, и это была огромная потеря.

В общем, у меня началась новая жизнь – школа, дом, школа, лекции и концерты. Но этого мало, мучило сознание, что ты же ничего не делаешь для Родины, для фронта.

Тем временем нам в учебную программу ввели преподавание агротехники, причем в нашу практическую программу входила даже работа за плугом, чтобы в случае чего суметь плугом вспахать. Были также занятия, знакомящие с навыками ухода за больными. И эти занятия нам открыли дорогу в госпиталь. Нас привели в госпиталь. С этого начался для меня второй, третий и, возможно, главный отрезок жизни – госпиталь. Поначалу, когда мы пришли, нас, конечно, заставили мыть палату, ее готовили для приема новой партии раненых. Ну, раз надо, так надо. Потом привезли нетяжелых раненых. Нам надо было с ними разговаривать, написать письмо, просто выслушать «исповедь».

Н. Р. : *В каком месяце Вы пришли в этот госпиталь? Зимой или весной уже?*

И. М. : Весна, март–апрель 1942-го. Еще не кончился учебный год. И мы с Леной Суриной, соученицей из Ленинграда, переговариваемся в гардеробе госпиталя: эта работа еще не дело, а нам настоящее дело надо. И какая-то женщина, одеваясь, нас услышала и говорит: «Девочки, вы знаете, есть очень тяжелая палата, это урологическое отделение, очень тяжелое, и там так нужны помощники. Персонал не справляется!». Потом я поняла, что эта женщина была матерью Сени, юноши с Урала, она приезжала его проведать, а так как все работающие считались мобилизованными, то она должна была вернуться на свою работу.

Я пришла в ту палату. Это, значит, такой коридор... Вообще, госпиталь находился в очень хорошем здании обкома партии города Новосибирска, расположенном на центральной площади. На втором этаже отгорожен конец длинного коридора с окном. Тут и была палата для совсем тяжелых, по существу умирающих. Никто из них не выживал, все умирали. Придешь – уже кого-то нет. Через два-три дня придешь, опять кого-то нет. А привязываешься, жалеешь. Ну, значит, первый раз я пришла, душно, снаружи висит какой-то плакат, и через него свет красноватый падает. В комнате шесть или восемь кроватей, все спят после обеда.

Я думаю, надо открыть форточку, первое дело для здоровья. Распахнула форточку, еще морозный ветер... март это был. И слышу голос: «Это кто открыл форточку? И так весь потный в температуре и тут...» Я, значит, бросилась закрывать форточку, он глянул на меня и сказал: «Шлятуются тут всякие». Мальчишка, двадцать один год ему был. А через несколько метров от него лежал, ну, лет сорок ему было, Гордиенко, украинец, у которого родная деревня была оккупирована, сам он был добр и обладал большим чувством юмора. Во всех конфликтных случаях он умел сказать что-нибудь такое, что разряжало обстановку. Он меня поначалу этим поддерживал. Ну, я закрыла злополучную форточку, но юношу, это был Сеня, еще продолжала раздражать эта девчонка, ему плохо было, а сестры заходили только, чтобы дать лекарство, пост далеко, не докричишься. Он говорит: «Сестра (я подхожу), дай мне чаю». А у него стоит тумбочка, рядом две табуретки, и всюду баночки с чем-то желтым. В которой из них чай, я не знаю, подумала, наверное, этот. И ему протянула, а он: «Ты что, издеваешься? Это моча». Ну.. отделение урологии... Немного погодя: «Сестра, пойдди, наполни грелку холодной водой, у меня голова болит». И протягивает мне резиновый пузырь. Наполнила

я его старательно, но воздух не выпустила, и он стал как шар круглый. Приношу, он: «Ты что, дура, что ли? Надо ж немного». Ну, и при этом обязательно кто-то как-то комментирует. Однако постепенно они к нам привыкли, полюбили нас, мы стали уже «сестрички».

Лежал там старик, то есть нам казалось, что он старик, ему лет 50, наверное, было. Он был страшно худым, с седой щетиной на щеках, и уже очень слабым, надо было его кормить с ложки. Я кормлю, а кормить лежащего очень трудно с непривычки, с ложки суп проливается, спина моя затекает от напряжения, но кормлю, а он что-то все бормочет, вслушиваюсь, а он: «Господи, спаси! Корову отдам, лошадь отдам, только бы домой вернуться». Вот такая была молитва этого крестьянина.

Потом этот мальчик, Сеня... В какой-то момент я пришла, а его уже не было, умер. Так все и уходили.

Иногда я заходила в соседнюю палату, там были выздоравливающие, и среди них сапер Иван, у которого оторвало обе кисти рук. Я приходила его кормить. Его соседи и сами могли его накормить, но приятнее же, когда девушка. Как-то прихожу, а там какое-то беспокойство, возбуждение. Я спрашиваю: «А чего такое случилось-то?». А они говорят: «Ой, сестричка! Иван письмо получил. Покажи ей письмо, Иван!». Иван идет к своей тумбочке, култышками рук зажимает треугольничек, протягивает. Я раскрываю, читаю: «Дорогой Иван! Шлет тебе привет твоя мама, тетка Марья»... и перечисление на полстраницы всех, кто из деревни шлет привет. «Вот получили от тебя письмо. Ты пишешь, что ты ранен, а мы получили еще на тебя похоронку. И мы теперь не знаем, чи живой ты, чи мертвый. Напиши поскорее, живой ты или нет». Парни – смеются, но им самим обратно на фронт возвращаться. А этот мечется, потому что понимает: как же он в деревню-то вернется, таким

инвалидом? Ждут его там, а он что – «чи живой ты, чи мертвый» – без обеих рук.

А то был другой случай. Спускаюсь я по ступенькам лестницы, уже ухожу. Идет раненый с палочкой, у него очки черные, палочку держит перед собой. Я его предупреждаю: «Сейчас ступеньки будут!». Он остановился, поднял голову и говорит: «А я ваш голос не знаю». И дальше мы разговорились. Стояли, наверное, с полчаса и беседовали. Это был Сергей Павлович Горячев, по-моему, из Барнаула. Ему было лет сорок. Он был без высшего образования, техник, и от природы одаренный человек. Воевал под Москвой, был командиром танка и рулевым; в бою снаряд попал в прорезь брони, и он потерял зрение. Танк загорелся, он вылез из танка, вытащил своего раненого друга. Это был замечательный сильный духом человек, который всем помогал. Хотя и слепой, но всех поддерживал, как мог.

Я стала приходить в его палату в свободное время просто побеседовать, так как с ним интересно было. Правда, самоуверенно считала, что уже в девятом классе учусь, а у него только техникум, значит, как бы образованнее его, и получила урок. Как-то все обитатели палаты и я сидим, что-то передают по радио, вслушиваемся, читают «Челкаша» Горького. Закончили читать, и Сергей Павлович выдал такой серьезный анализ этой вещи, какого я и не представляла. А его рассказ, как они в плен попали и как их освободили, точно ряд картин, которые до сих пор стоят у меня перед глазами! Я вижу это все! И я его тогда убеждала: «Сергей Павлович, Вам писать надо. Вы должны будете вернуться и начать об этом писать».

А когда он уже готовился к выписке, мне захотелось сделать ему приятное, тем более что он, видимо, ко мне как-то расположился. В это время в Новосибирск приехал Шостакович, готовилось третье исполнение Седьмой «Ленинградской» симфонии. Я купила билеты, а самой немного

страшно, потому что симфоническая музыка, да еще Шостакович... Ну хорошо, мы условились встретиться возле госпиталя. Прихожу, он мне идет навстречу. Там, в госпитале, он, высокий, стройный, ходил в пижаме – как все раненые; в офицерской палате он лежал. А тут появился, на нем какая-то мятая солдатская гимнастерка, и такой он неуверенный, жалкий... и я, глупая девчонка, застеснялась. Пришли мы на концерт. А я же там, в филармонии, все время толклась, у меня там было много знакомых, и я стесняюсь своего спутника, хотя другие, наверное, иначе это воспринимали... Концерт, конечно, прошел прекрасно. Сергей Павлович отлично все понял...

Н. Р. : *А он все с палочкой ходил?*

И. М. : Он с палочкой, очки темные, видно, что слепой человек. Потом я его проводила в госпиталь, мы расстались, и несколько дней я к нему не приходила – как-то, видимо, переживала это все... Потом прихожу в палату – его уже нет. Я спрашиваю: «Ребята, где Сергей Павлович?» – «Уехал». – «А адрес оставил?» – «Нет, не оставил». И всю жизнь потом мне хотелось его разыскать и узнать, что стало с этим неординарным по своим душевным качествам человеком. Сергей Павлович Горячев... Но дорога к аду выстлана добрыми намерениями! Так я и не знаю, что с ним стало.

Мы закончили девятый класс, всех послали в колхоз, а директор школы, зная, что я хожу в госпиталь, сказал: «Ну, у тебя свое дело – госпиталь». Значит, хожу я каждый день в госпиталь, прихожу однажды... Гордиенко мой уже почти поправился, и его перевели в другую палату. Радостно, хоть один выбрался. А потом прихожу – Гордиенко лежит снова здесь с температурой, с жаром, опять абсцесс, опять операция, и он в тяжелейшем состоянии. Я тогда несколько дней сидела возле его кровати, чтобы вытянуть его, потому что мне его было ужасно жалко. Надо было чем-то поддержать.

И помню, как-то сижу рядом, привезли Ахмеда, мусульманина, раненого. А у него боли, болеутоляющие не дают, чтобы не стал наркоманом... И он матерится, стонет, матерится. И тут все мужики моей палаты на него накинулись: «Ты что тут... тра-та-та (значит, они и сами умеют ругаться). Ты что тут – у нас сестричка сидит молоденькая, а ты...» Это был знак признания моей работы. Потом Гордиенко стал поправляться. Я была совершенно счастлива, ездила куда-то в лес, собирала ягоды, какой-то ему морс готовила. Однажды принесла цветы, он вдруг посмотрел и сказал по-украински: «Квітки...» И это его «квітки» было как возвращение к жизни. Потом он, казалось, уже окончательно пошел на поправку.

Ну, а мама меня пилит. Пилит – все поехали в колхоз, там их кормят, и они еще что-то заработают. «А ты и не зарабатываешь, и не кормят тебя». Я пошла к начальнику госпиталя и говорю: «Я буду к вам ходить бесплатно, каждый день все часы, но кормите меня, хотя бы раз в день». Он: «Не могу». Справку мне дали, что я работаю в госпитале, чтобы я получила карточки, а кормить не могут, сочувственно говорят: «Ну, ты там как-нибудь...». Помню: раненые едят плохо, они уже по многу месяцев в госпиталях, им плохо, аппетита нет, им это все надоело. Я им разносила еду, а потом вынесешь тарелки в коридор, и стоят эти тарелки с нетронутой едой, а самой все время есть хочется. Однажды стоят несколько тарелок: нетронутая картофельная запеканка с мясом, коричневая корочка сверху и соусом полита. И мне так хочется кушать, голодно ведь. И думаю: «Ну ладно, не могу, съем». Откусила, и все это у меня застряло как ком в горле, и больше я...

Н. Р.: *(Смеется.) Запеканку у раненых не смогли съесть...*

И. М.: И я это однажды рассказала Анне Аркадьевне Долининой*, а она мне в ответ поведала свою историю (она в это

* Анна Аркадьевна Долинина – советский и российский арабист, литературовед, переводчик. Доктор филол. наук, автор более 200 работ по истории арабской литературы.

время работала в детской больнице в Ленинграде, в блокаду): как-то принесли кашу детям. А одна девочка умерла и не успела свою кашу съесть. Я ее отдаю няне и говорю: «Девочка умерла, кашу ее уберите». Няня в ответ: «Да бери, ешь, посмотри, ты сама на кого похожа!». Анна Аркадьевна сказала: «Я съела эту кашу. А дети на меня смотрели с укором: они думали, что девочка спит, а я ее кашу съела».

В общем, Гордиенко вроде поправился. И я решила ехать в деревню, зарабатывать на хлеб. Надо было доехать поездом до станции Черепаново, выйти и 20 километров идти полями в колхоз куда-то. Кругом просторы необъятные – по пути ни одной деревни, где-то далеко если дома увидишь, то слава Богу. Может, один-два раза я встретила каких-то людей, куда-то ехали, спрашивала у них, правильно ли иду – ну, правильно, иди дальше...

Начала работать в колхозе. Нас была там, в этом колхозе, группа из одного класса и все – девочки. Подружка моя была там, Галка Гурова, а Наташа осталась в городе, она тогда работала в Александринке – художник театра Самохвалов ее взял в театр помощником художника, она была талантлива, и одноклассники ее уважали. Значит, она в театре, а я была сначала в госпитале, потом приехала в колхоз. А дали нам комнату в детских яслях: маленькие столики такие, стульчики, подоконнички низкие... Кроватей, естественно, никаких, сенники. Но еще хуже было с едой: нам отпускали из колхоза хлеб, снятое молоко (пропущенное через сепаратор), капустные листья и старую полугнилуую картошку. Готовили сами по очереди. Голодно было. А поля, на которых надо было работать, расположены в трех-пяти километрах – просторы там огромные.

Я помню, мы как-то идем-идем, сели отдохнуть, устали. Едет, откуда ни возьмись, на бричке председатель колхоза: «Вы что тут расселись, тра-та-та-та-та!?!...» Мы говорим: «Устали. Голодные, устали». А он, значит, посмотрел

на нас и, пожалев, сказал: «Ну, ладно, девочки, скоро начнется уборка урожая, тогда будем резать скотину, тогда хоть немножко кормить начнем. А сейчас вставайте, душа винтом, лапти на поляну!». У него такая присказка была. Ну и пошли – душа винтом, лапти на поляну. Вначале были простые работы, потом началась уборка, привезли на поле горячую еду – картошку с мясом, это было уже неплохо. А потом, это уже был сентябрь, началась молотьба.

Н. Р.: *А Вам же еще год надо было учиться в 10 классе...*

И. М.: Учиться с октября начинали, отодвинуты были занятия, потому что все где-то работали. Так вот, поставили комбайн, при нем тракторист. Нас там пятнадцать-восемнадцать девочек. Огромный, в два этажа, стог из снопов пшеницы. Его растаскивать надо, передавая снопы по цепочке к комбайну; поскольку мы с Галей Гуровой были самые крупные и сильные, то мы работали на комбайне: Галка растряхивает снопы во вращающийся барабан, который их обмолачивает, а я снопы подготавливаю – разрезаю серпом вясла, их связывающие, у меня острый серп, и надо быть осторожной, чтобы не отхватить свой палец. А у барабана еще опасней, только бы в него не попали руки. Из барабана – пылица, заматывали от нее лица платком, только глаза оставались. Мы с Галей по очереди менялись местами. То она, то я. Одна режет, другая разметывает... Но по-моему, Галка даже больше стояла у барабана. Полный рабочий день; когда-то, наверное, ели, потом о еде уже не думали, и все было в порядке, только пыль донимала.

Работали, пока не начинало темнеть – холодно уже, все-таки Сибирь, а мы все в соломе и мякине, она под одеждой кусается, и все идем запыленные. А тут речка, через нее мы сокращали путь. Речка хоть и мелкая, но несколько метров надо переплыть, а плавать не все умели. Галя была отважная, она их перевозила на себе. В этой холодной воде

покупаешься, потом мокрым идешь, прохладно... В общем, через какое-то время я утром просыпаюсь, и как-то мне не по себе, в горле что-то мешает. Взяла зеркальце, посмотрела – а у меня горло в белых пробках, нарывах.

Н. Р.: *Ангина?*

И. М.: Фолликулярная ангина. Я испугалась, все говорят, иди к фельдшеру. Пришла, та посмотрела и говорит – надо в город ехать. Давай, отправляйся. А как в город ехать? Машин никаких нет. Кто мне лошадь даст, уборка идет? Значит пешком, рюкзачок надела и пошла. Опять 20 километров назад. Уж как я дошла обратно, не помню; помню только, что дошла, а рабочий поезд стоял на запасных путях. Я залезла в какой-то вагон на вторую полку, свернулась калачиком и отключилась. Пришла в себя уже в Новосибирске. Потом болела, побюллетенила, но тут пришло время учиться.

Надо сказать, что в колхозе урожай распределили по приказу: вначале поставки государству, потом выдали школьникам, а потом уже делили между своими, то есть выполнили обязательства перед школьниками. А зарабатывали так: на прополке – полтрудодня, а то и четверть; на молотилке, да еще стоя на комбайне, – тут уже полтора трудодня. Я в общем-то и пробыла там дней восемнадцать-двадцать, недели три, заработала шестнадцать трудодней и получила целый пуд зерна. Потом очень хорошо мы в Москве питались этим зерном. А Галка три месяца работала, заработала около 80 килограммов пшеницы.

Тем временем наша школа из центра переехала ближе к Оби, и я решила переходить в другую школу. Далекое... и так-то мне было минут сорок до школы идти, а тут еще дальше. Вечерние занятия, а главное, как же на концерты ходить, когда вечерние занятия? Невозможно. И я решила переходить. Пошла за документами, а директор говорит: «Не уходи. Вот послушай моего совета, не уходи!».

А почему – не говорит. Не уходи, и всё. Ну ладно, я все-таки ушла.

Сходив в госпиталь, узнала, что умер Гордиенко. Как я расстроилась! Разобиделась на врачей: не спасли...

Стала учиться в другой школе. Старая, с традициями, новосибирская школа, хорошие учителя, кружки, жизнь стала наполненная. Я пошла в исторический кружок, взяла тему – философские течения в русской культуре начала XX века, стала читать Ленина.

Н. Р.: *«Материализм и эмпириокритицизм»?*

И. М.: Ну, это только было начало. А тут весь мой 10-й класс «Б» вызвали в райком комсомола и, цитируя Симонова, сказали что-то в духе: «Вот что, ребята: “из чужого ружья не мстят, за чужой спиной не прячутся”, давайте-ка на завод». Мы согласны были идти работать на завод: война, только было обидно. 10-й класс «А» оставили, а 10-й «Б» – на завод. И на завод авиационный, триста какой-то, откуда-то из Рыбинска. А в первые месяцы войны вышло постановление о перебазировании предприятий, чтобы люди «не сидели на чемоданах»: куда заводы приехали, там они и останутся. Вначале мы с мамой даже плакали из-за этого постановления.

Ну, значит, идти на рыбинский завод. Но мы уже знали, что наш завод в Москву вернется, а тот останется в Новосибирске. Если ты на нем работаешь, ты считаешься мобилизованным, тебя уже с него не отпустят. Что же делать? И решили на семейном совете, что я иду работать на наш 51-й, там как раз набирали людей в новый цех. Я и поступила на наш, вроде, родной завод. Тогда вызвали меня к прокурору...

Н. Р.: *Причем здесь прокурор?*

И. М.: Ну, как же. В июле 1941 года вышло постановление, что все работающие считаются мобилизованными.

Соответственно, они не могут уйти с работы по своему произволению. И раз школа отправила нас на этот завод, я была обязана выполнять, иначе получалось как будто уклонение. Вместо меня по вызову пошла мама, а прокурором была женщина. Мама с ней побеседовала как мать с матерью. И оставили меня в покое. Конечно, это было возможно потому, что и тот и другой завод были авиационными, так что замена была равнозначной.

Н. Р. : *Наверное, директор той школы, в которой Вы раньше учились, знал про это и хотел Вас предупредить.*

И. М. : Знал, конечно. Но он не имел права сказать.

Вот, и началась такая жизнь: завод, вечерняя школа полуэкстерном и, конечно, филармония – самое главное. Нас учили столярному делу, чтобы изготавливать нервюры для десантных планеров. Сначала, конечно, обучали собирать табуретки и стулья, чуть научились орудовать рубанком, принесли большие фанерные доски, на которых были начерчены детали, все размеры были отмечены, и ты должен был по чертежу выполнить деталь в дереве: разные узлы разными сортами дерева – сосной, липой...

Н. Р. : *Тяжелая работа?*

И. М. : Она не тяжелая, даже в чем-то приятная: дерево, ведь, имеет запах, и в руках тепло от него ощущаешь, но нужна была сноровка. Ты начинаешь строгать, а инструмент раз – и застревает или снимает толстую стружку, значит, запорол...

Н. Р. : *Ну да, все-таки нужна квалификация.*

И. М. : Деликатная все-таки работа была. И конечно, план, особенно перед праздником надо было выполнять. Мы старались. Если иногда запорем деталь, то старшие подправят, иногда затрут даже, чтобы работу приняли. Только мы

между собой говорили, что сами на этом планере не полетели бы при нашей работе. К счастью, наш десантный планер был еще только опытным.

А время было голодное, особенно в начале. На заводе ко мне хорошо относились из-за дяди Кости. Меня сделали стахановцем, и я получала стахановский обед. А стахановский обед был таков, что боюсь себе представить, какой был не стахановский. На первое чечевичная похлебка, на второе – чечевичная каша. Это, значит, был стахановский, а не стахановский, не знаю, морковка какая-нибудь гнилая, больше ничего. В общем, с едой было плоховато, были карточки, дома мама, конечно, как-то изгалялась, умудрялась что-то съедобное сделать, ездили в деревни менять вещи на продукты... Какое-то время были открыты коммерческие магазины, и там часами стояли в очереди, а холод был под 50 градусов... Забежишь на почтампт, немножечко погрешься – и обратно в очередь. Писались номера, но зато такое счастье было получить продукты! Я помню, мы под Новый 1942 год вместе с Залипаевым стояли, принесли колбасу, сыр, хлеб – такое счастье было!

А надо сказать, что комната, в которой мы жили, была только оштукатурена, еще сырая, некрашенная, и мы как бы ее сушили собственным теплом... В первый год топили сильно. На следующий год топить перестали – надо было самим устраивать какие-то приспособления. Ну, ничего, все нормально, тем, кто воевал, было куда как труднее. Хожу я на завод, работаю – и... через какое-то время заболела. Заболела довольно тяжело: это была вторая атака эритемы нодозум. Когда я теперь врачам говорю, что у меня была два раза эта болезнь, они не верят, потому что считается она тяжелым заболеванием, особенно страдает сердце. Первый раз я болела, когда мне было четыре года – откуда только она взялась? Тогда я месяц лежала в постели.

Я увидела, что у меня какие-то узлы на ногах, подкожные, решила не обращать внимания, пока не пришла на работу, а у меня коленки не гнутся, температура 39. Отправилась в заводскую медсанчасть, там в это время консультировал очень хороший новосибирский профессор. Оба врача озадачились, велели немедленно в постель и принимать салицилку в больших дозах (тогда умели только салицилкой лечить). И я месяц отлежала. Ходила в конце недели в поликлинику, доктор слушал сердце, качал головой и говорил: «Шумы, шумы, шумы – еще лежите». А я приду домой, скажу маме: «Мама, мне стало лучше, доктора сказали, что можно выходить из дома», – и на концерт в филармонию. Лишь бы только заводских там не встретить... А потом приду домой и сообщу маме: «Да нет, вообще-то, знаешь, они сказали, еще надо лежать». Ну, благодаря тому, что мне надо было лежать, успела подготовить к экзамену историю и литературу – такие наиболее трудоемкие предметы. К тому времени меня отпустили с завода. А когда сдали последний экзамен, то у нас возвращался один из вагонов с оборудованием в Москву. У меня еще не было вызова. Мой отец работал в Наркомате обороны, он уже вернулся из эвакуации и был в Москве. Он обещал прислать мне вызов, но еще не успел – а тут эшелон уходит.

Это уже июнь 1943 года. Начинают домой возвращаться. Родители – мама с дядей Костей – пока еще остаются в Новосибирске, а мне поступать в институт. Меня берут «зайцем». Загрузили пульмановский вагон, ящики-ящики сверху донизу... А в одном конце вагона частично оставили свободное пространство, отгороженное ящиками. Там спрятали «зайцев», меня и женщину, жену какого-то рабочего, которая ехала с двумя маленькими детьми, одному было, наверное, года два с половиной. Два окна у нас там было железных, они открывались в пути. На остановках нельзя же открыть окно – обнаружат. Ехали мы недели четыре.

Н. Р. : *Как тяжело!*

И. М. : Это был кошмар. Я помню, где-то на Волге мы стояли целые сутки. Ночью еще, куда ни шло, а днем солнце палит, железная крыша – рукой дотянешься... Окно открыть нельзя, обнаружат, высадят: страшно – «зайцы». Как только бедные дети терпели, на них все время шикали, чтобы они не плакали, потому что там снаружи тоже могут услышать. Ну, в общем, доехали. Нас высадили...

Н. Р. : *А как же Вы ели четыре недели?*

И. М. : А нам мужчины, сопровождающие оборудование, свои, заводские, подавали какую-то еду, они там что-то готовили, доставали, что-то везли с собой – почему-то этого я не запомнила. Вот спросите, как мы все остальное совершали!

Н. Р. : *А как?*

И. М. : Ну, в горшочек и в окошечко. Вначале я как-то вылезала. А потом уже сидели за ящиками.

Н. Р. : *А Вы могли за своими ящиками встать в полный рост?*

И. М. : Только на коленках... Когда поезд стоял, пекло сильно. И нельзя шуметь, разговаривать. Высадились мы где-то под Москвой, там, где уже электрички ходили. Весь груз, который я везла, – должны были на заводской платформе выгрузить, а я отправилась только с рюкзачком и корзинкой в руках.

Наконец я в Москве. Вот мой любимый район, вот я на Шаболовке уже, возле дома своей подруги, куда я могла сразу прийти... Уже вот он – подъезд, и вдруг вырастает передо мной женщина-милиционер. У меня ноги стали ватными, неужели мне предстоит...

Н. Р. : *(В один голос.) Обратно! (Обе смеются.)*

И. М. : А надо сказать, что я перед отъездом еще не успела получить аттестат. У меня был красный аттестат, круглые пятерки... Его за меня получила мама, прибежала на вокзал, бегала по путям, искала, где стоит наш эшелон, – и я ехала уже с аттестатом. А тут эта милиционерша. Она и сама опешила, поняв мой страх, заглянула мне в корзинку, сказала: «Ну ладно, иди». И я пришла к Лозинским, и целый месяц жила в этой замечательной семье.

Лозинские – это семья Веры Николаевны, моего классного руководителя и преподавателя литературы. С пятого класса она взяла в класс свою дочь Ирину, с которой я подружилась, и со временем стала почти членом их семьи. Я их очень любила. Вера Николаевна окончила высшие женские курсы, была не просто образована, но жила высокими духовными интересами. Она была великолепным педагогом, обладала большим чувством собственного достоинства, воспитывала и уважала это чувство у своих учеников.

Муж Веры Николаевны, Дмитрий Александрович, в войну имел звание полковника военно-медицинской службы, был известным в Москве прозектором и медицинским судебным следователем. Он был слегка сумрачен и молчалив, но человек замечательный. Вообще, эта семья заслуживает особого рассказа. Когда я у Лозинских появилась, они сказали: «Так, ты будешь жить у нас, пока не вернутся твои родители». (У них была всего лишь комната в коммунальной квартире.) Я в ответ: «Но ведь у меня нет ни карточек, ни прописки, хотя я привезла продукты». (Это был мой пуд пшеницы и что-то еще.) «Продукты оставь дома! Мама приедет, и они понадобятся...» Дмитрий Александрович, как офицер, получал военный паек. Но все, что было больше необходимого, раздавалось нуждающимся. Теперь я стала «нахлебником»!

За столом я, конечно, стеснялась попросить добавку и вставала из-за стола с острым чувством голода, и тогда под каким-нибудь предлогом уходила из дома, шла на Даниловский рынок, покупала четвертушку черного хлеба, тут же жадно съедала, и становилось легче. И так я, наверное, несколько недель ходила подпитываться. А потом все-таки упиталась. Мы жили в согласии и духовно наполненной жизнью. Когда приехали мои родители и мне надо было отселяться (мой отец уже получил для меня вызов в Москву, и я, прописавшись, получила карточки), было жаль прерывать эту жизнь. Впрочем, я продолжала жить как бы на два дома.

Но надо было поступать в институт. В какой? Ира предлагала на филологический. Я понимала, что на филологию не тяну. Но все-таки согласилась, чтобы нам больше не расставаться. Отправились на филфак.

Н. Р. : *В МГУ, на Моховую?*

И. М. : Да. Но туда мы опоздали, с красными аттестатами всех приняли. Я говорю: «Тогда давай на исторический». (*Смеется.*) А Ира отказывается. (Я-то колебалась между философским и историческим, но полагала, что до философского не дотягиваю, лучше исторический.) В конечном итоге мы пошли на медицинский. Она – дочь врача. И начала я учиться в медицинском...

Н. Р. : *В Первой, во Второй, имени Сеченова – в какой вы пошли?*

И. М. : Во Второй. В анатомичке я выдержала. Анатомия у меня шла хорошо, физика и химия – хуже, подготовка в экстернате была плохой. Между тем меня мучили вечные вопросы. После лекций Соллертинского я совсем не могла воспринять марксистское отношение к буржуазной культуре. Я так люблю эту «буржуазную» культуру!

(Смеется). И как в голове соединить все гуманные идеалы и марксистскую теорию? Да и вообще, как я буду лечить своих пациентов, если в моей голове нет ясного понимания, что хорошо, а что плохо?! В конце концов я решила уходить из медицинского и поступать на истфак, чтобы понять, в каком обществе мы живем. Забрала свой красный аттестат и торжественно его вручила приемной комиссии исторического факультета. Они посмотрели мою автобиографию и сказали...

Н. Р. : *А Вы там полгода проучились или нет?*

И. М. : Год, я сдала все экзамены, а когда уходила, декан напутствовала: «Если у тебя не получится, приходи обратно. Мы тебя возьмем». А мне в мединституте было еще и неинтересно, потому что там продолжалась школьная система преподавания: крупным шрифтом учи, мелким – не надо... В анатомичке – это, конечно, мало приятного, но зато это дело, а остальное как-то не очень мне нравилось. Одним словом, я была в колебаниях: уйти – не уйти. И однажды, возвращаясь с концерта, стою грустная в троллейбусе, и какая-то очень скромная женщина обращается ко мне: «Вы – молодая девушка, почему вы так грустны?» Отвечаю: «Я не знаю, что мне делать: уходить или нет из медицинского?». Моя собеседница оказалась медиком, связанным со знаменитыми врачами – хирургом Юдиным и, по-видимому, с терапевтом Плетневым, тогда уже находившимся в лагере. И она мне сказала: «Если у вас есть колебания – уходите. Вы знаете, что такое врач? Врач должен обладать особой одаренностью. Вот пришел к нему пациент – он не должен ждать анализа. Он посмотрел на него и по запаху, по цвету кожи уже знает примерно его диагноз». Ну, и дальше это была поэма о медицинской профессии... Я поняла, что у меня нет подобной одаренности, не гожусь. Я сказала Дмитрию Александровичу о том, что буду уходить из медицинского института.

А он же медик! Огорчился и говорит: «Не уходи! Займись психиатрией, из тебя будет хороший психиатр, это ближе к гуманитарным наукам...». И все-таки я ушла на истфак.

Прихожу, приношу свой диплом. Они посмотрели и сказали: «А мы перебежчиков не принимаем. На вас государство деньги тратит, а вы с одного института в другой... нет, не возьмем!». С плачем вернулась домой. Помогла мамина подруга, которая была секретарем академика Образцова и замужем за его сыном Борисом Владимировичем, братом актера-кукольника Сергея Образцова. Владимир Николаевич Образцов, человек большой доброты, немного меня знал. Он был Героем Социалистического Труда и депутатом Верховного Совета. Составили письмо ректору МГУ о том, что академик Образцов хорошо меня знает и считает серьезным человеком, а вовсе не летуном, и вообще, по его мнению, из меня будет хороший специалист... Письмо было напечатано на бумаге со всеми регалиями. И с этой бумагой я поехала к И.С. Галкину, ректору. Подала письмо его секретарю, он его так положил, чтобы было видно, от кого оно, и со всеми бумагами пошел докладывать. Довольно скоро он вышел и говорит: «Все в порядке, идите, вы приняты». Тогда я впервые «затаила хамство» на истфак МГУ. (*Смеется.*) Ах вы, думаю, сволочи: вот если к вам с бумагой – то принята, а если без – то, значит... Ну, я пришла в комиссию – принята, они сделали вид, будто ничего не произошло.

Н. Р. : *Не помнят.*

И. М. : Да. Ну, делать нечего. До начала занятий было еще далеко, и поступивших отправили ремонтировать здание... И.М. Белявская, замдекана, поставила меня на малярные работы. Я потом на занятиях рассматривала: вот это я красила, вот это тоже... Ну, потом пошла учеба. Фронт уже откатывался на запад. Я училась с увлечением, кончила истфак, но это уже другая тема. А когда настал конец войны, то как

будто тяжесть свалилась с груди, и счастье было, конечно, неописуемое.

Н. Р. : *Ирина Михайловна, а Вы помните сам день Победы?*

И. М. : Конечно, помню: все его ждали. Ждали, ночью не выключали радио, потому что вот-вот-вот – это 7, 8 мая – объявят...

...И ночью или под утро об этом было объявлено, и, конечно, все на улицы вышли. Шли толпами по Москве, я помню. Мы пришли на Манежную площадь, поближе к университету. Все было запружено, и танцы, и песни, и радость! Большинство двигалось целыми рядами, взявшись под руки. Ликование, конечно!

А потом, спустя полгода, 5 декабря 1945 года, в школе состоялся день встречи.

Н. Р. : *Ирина Михайловна, а где Вы в Москве жили?*

И. М. : Я жила на Мытной улице, а школа наша находилась на Дровяной, позади Шуховской башни. Школа была замечательная, нетиповая по архитектуре, и состав учителей был отличным, а старшеклассники в ней были сильные, интересные ребята.

И вот кончилась война, и уцелевшие выпускники собрались в школу. И что же? В нашем классе погибло три человека, но все мальчики прошли через войну. Они не попали в первую мясорубку. Шестнадцати лет им не было, когда началась война, а в восемнадцать они уже направлялись в военные училища, и поэтому они пошли на фронт более подготовленными. А в старших классах – вот в тех, в которых закончили учебу перед войной, – юношей в живых почти не осталось, а они были такие талантливые...

А надо сказать, что в эвакуации в Новосибирске, в колхозе, в дни, когда привозили почву... я вначале не поняла, что происходит... В эти дни вечером, когда приходили с работы,

вдруг начиналось: с одного конца деревни вдруг раздавался не плач – женский вой. Ой, мама... Потом – с другой. Иногда бывало, что с трех сторон выли...

Н. Р. : *Похоронки...*

И. М. : Так всю войну и было. И всё время было такое духовное напряжение, полное и жалости, и сострадания, и любви к стране. Всяких трудностей хватало.

Н. Р. : *Ирина Михайловна, мы вот всем вопрос задаем одинаковый. Скажите, отношение к Германии у Вас изменилось? До войны, во время войны и после?*

И. М. : Конечно, изменилось.

Н. Р. : *Все очень по-разному отвечают. Кто-то говорит, что Германия всегда была – Гете, Шиллер... И вдруг такие зверства во время войны, что принесло колоссальное разочарование...*

И. М. : Ну, до войны для меня была, конечно, Германия Шиллера, Гете и немецкого романтизма. Я занималась немецким языком еще и частным образом с замечательной очень пожилой учительницей Надеждой Михайловной Стрижовой. Она была истиной толстовкой, последовательницей Льва Николаевича и, конечно, вегетарианкой. Она поддерживала связь с московскими толстовцами. Это преследовалось, поэтому не было известно. Надежда Михайловна не очень советскую власть любила. (Как-то мы занимаемся, а в соседней комнате репродуктор вещает: «Мы передавали передачу для детей». И Надежда Михайловна так, с улыбкой: «А разве там какие-нибудь другие бывают передачи?») (*Смеется.*) Мне она стала приносить популярные книжки по индийской философии. Я довольно рано чего-то там начиталась. Знаний о немецкой культуре она мне дала мало, но сама по себе она была интересным человеком,

особенно как представительница определенного течения русской культуры.

Война, конечно, означала очень сильный стресс и резкое изменение отношения к немцам, и сейчас где-то внутри сохраняется настороженность. В Сталинграде в войну оставалась моя тетка с дочерью и с мужем. Когда туда прорвались немцы, дядя успел переехать на другую сторону Волги, он был старый член партии, ему нельзя было оставаться, а тетушка и Ольга, моя двоюродная сестра, побоялись плыть. Их бомбили, и пережили они многое. Их захватили немцы и угнали в Германию. Когда освободили Сталинград, мы списались с Петром Ивановичем, мужем тетушки, он сообщил, что вернулся домой, почти весь поселок тракторного завода разрушен, а их дом уцелел, но никого нет. Где они, живы ли, нет – ничего не знает.

Н. Р.: *Как их звали?*

И. М.: Это были Федоровы, Мария Федоровна и Петр Иванович, член партии с марта 1917 года, участвовал в Гражданской войне.

Н. Р.: *У меня тоже родственники работали на тракторном заводе в Сталинграде. Жалко, что уже не спросишь, никого не осталось...*

И. М.: Мои строили тракторный завод с самого начала. Когда освободили Симферополь, где жила бабушка со своей сестрой (дед уже умер), списались с ними. Они сообщили, что имели письма от Маруси, что она с дочерью осталась в живых, что живут и работают в Германии, в Цвикау, но дальнейшее было неизвестно. Ждем конца войны – тогда могут быть какие-то известия. И уже кончилась война, прошло несколько месяцев, известий нет. Однажды кто-то из соседей говорит: «Ира, там внизу возле подъезда валяются в луже какие-то письма. Кажется, это

вам. Кто-то достал их из почтового ящика, прочел и бросил». Это было письмо от тетки. Она писала, что находилась с дочерью в Цвикау, на английской зоне, что они перешли в нашу зону и теперь проходят проверку, что скоро вернуться обратно, главное – они живы! Потом тетка рассказывала, что они работали на заводе, где в администрации были подпольщики-коммунисты, и к русским относились хорошо. Придешь на работу, а мастер тихонько подзывает: «Мария, Мария, бутерброд, бутерброд». Немцы сами боялись... подкладывали бутерброды тайно. Тетушка вспоминала немцев в общем без злобы. Наши симферопольские бабушки, которые пережили оккупацию, тоже без ненависти рассказывали, что у них на постое жили простые немецкие солдаты, жаловавшиеся, что пригнаны по мобилизации и войны не хотят.

Мы с мамой сразу после войны были в Симферополе, и там работали пленные немцы. И умирали. Постоянно я видела эти дроги, на которых везли мертвых, – мы жили рядом с новым татарским кладбищем, и на этом кладбище было немецкое захоронение. Их везли постоянно. Уже всё, война кончилась, и мне было их жаль. Я все время думала: надо бы подложить им хлебушка – а боялась. Не подложила. Сейчас уже обыкновенное отношение к немцам, хотя осталась, пожалуй, царапина...

***Н. Р. :** Я в школе не хотела учить немецкий язык – а это были уже 70-е годы. У нас была маленькая группа по немецкому языку, не могли набрать больше!*

***И. М. :** Ну, знаете, пленным мне было жаль. Тем более тетка рассказывала, как на тракторном заводе в Волгограде работали пленные немцы. На шлифовальном станке немец трудится равномерно, спокойно, методично: таммм-таммм. Наш рабочий бранится: «Вот, сволочь, немец, как работает!» – и запускает станок на быстрый ход: жжжжжжжж! (пытается изображать) – поработал, остановился, пошел курить.*

Потом пришел – жжжжжж! – и опять ушел. А немец все: таммм-таммм. К вечеру у немца много выполненных деталей, а у нашего гораздо меньше... Там работал немец – мальчишка молодой. В перерыв вышел голодный, а возле цеха цвела белая акация. И он стал обрывать цветы и их есть. А какой-то из наших рабочих сказал: «У, сволочь, еще нашу акацию ест...» И запустил в него камнем, и так вышло, что попал ему в висок и убил. Ну, жалко этого парня до сих пор.

Н. Р.: *А какое у Вас отношение к Сталину?*

И. М.: У меня нет отношения к Сталину.

Н. Р.: *До войны, во время войны, после войны, сейчас?*

И. М.: После войны, это я хорошо помню, у меня была на истфаке подруга Зоя Исаева – очень сильный, умный, остроумный человек. У нее был арестован отец, главный бухгалтер какого-то предприятия в Смоленске, и – погиб. Ну, Зойку потом не приняли в аспирантуру, сломали ее научную карьеру. Помню, мы подружились на первом курсе, все началось с того, что была в университете встреча Нового 1944 года, было скучновато. Мы с Зоей поднялись к Ленинской аудитории, там в коридоре окна с широкими подоконниками. Взобрались с ногами, сели, подобрав коленки, друг против друга, и начался разговор, и мы друг друга поняли, и друг другу доверились. Потом Зоя часто жила у нас, и продолжались размышления – мы же историками были. Однажды Зоя взорвалась: «А этот, тиран...» И она резко села (мы уже были в постелях), подняла сжатую в кулак руку кверху и проговорила: «А этот тиран Сталин – я бы задушила его!». Я с ней была согласна, но мне даже произнести это... даже подумать об этом было страшно. Впрочем, когда Сталин умер, я пробовала плакать. Тогда очень тревожно было: как все будет меняться? что будет дальше?

Боялись прихода к власти Берии. И я даже попыталась пойти на похороны Сталина.

Мы с моей сокурсницей из Тулы Ирой Оводовой, близкой подругой Зои, влились в толпу, которая, выстроившись в колонну, устремилась вниз по улице Горького. Все было стихийно. В какой-то момент мы отошли в сторону и осмотрелись, люди в толпе быстро двигались подобно животным, торопящимся на водопой, вытянув вперед шеи. Казалось, все забыли, зачем они здесь? «Ирка, знаешь, – говорю, – давай-ка мы с тобой отсюда драпанем, потому что если сейчас крикнуть “Бей жидов!”, то, ей-богу, нас с тобой (а мы похожи), пожалуй, поколотят». Такой накаленной, болезненно накаленной была атмосфера...

В общем, относилась к Сталину скорее отрицательно. Помню, лет в двенадцать я не раз слышала о славном восьмилетнем мальчике, необыкновенно привязанном к своему отцу, какому-то ответственному работнику, жившему по соседству с нашими друзьями. И вдруг друзья рассказали, что их сосед арестован, а мальчик умер от разрыва сердца. Это был 1937 год! Я, помню, едва не плакала и думала: «Что ж это за строй, если восьмилетний ребенок умирает от разрыва сердца?».

Впрочем, всё было по-разному: если мы на демонстрации – я любила ходить на демонстрацию – видели Сталина, то охватывало чувство какого-то общего подъема. Скажем, слышишь по радио сообщение, что построен новый завод или открыт Каракумский канал... Гордость за Родину – радостно! Но потом мы приезжаем в деревню, и впечатления меняются. К дяде Косте обычно сходились его односельчане (он вышел из бедной семьи, своими усилиями поднялся; в деревне тогда только двое было с высшим образованием – дядя Костя и Дмитрий Васильевич Романов, в войну ставший директором Тульского оружейного завода) и начинали выкладывать, что делается в колхозе. Причем

они не протестовали против колхозного строя – они протестовали против диктата над колхозами, бесконечных указаний: сейчас требуют сеять лен, а люди знают, что сейчас нельзя сеять, еще снег до конца не сошел, а надо то-то и то-то. И эти рассказы – я тоже помню.

Или... У нас был хороший знакомый, уважаемый капитан-наставник в севастопольском порту, латыш, Карл Мартинович. Узнаём, что он арестован. Однако после заключения пакта Молотова–Риббентропа часть латышей выпустили, тогда мы взяли Латвию. И вот он, проезжая через Москву, имел с моими родителями откровенный разговор: в частности, рассказал, как в ходе следствия у него были выбиты зубы, поломаны ребра... Я только частично слышала его рассказ, и то в пересказе родителей.

А вот детская реакция на 1937 год: нам по двенадцать лет, пятый класс, идем в школу с моей подругой и рассуждаем: ну как же так, такие замечательные люди, Бухарин, Рыков, наши герои – как же они могли яд бросать в колодцы, травить колхозный скот?! (Там же были глупейшие слухи всякие...) Это невысказано! Пришли в класс, а ребята играют, и во что же? В суд. В это время шел процесс, выступал обвинителем Вышинский. Ребята распределяют роли: «Я буду адвокатом». – «А я буду следователем». – «А я буду подсудимым». И никто не хочет прокурором быть, Вышинским. Тогда маленький рыженький мальчик, Юра Канунников, не произносивший половину букв алфавита, вдруг сказал: «Я буду пьёкуёём». И это вызвало гомерический смех, потому что, видимо, все-таки не очень серьезно к этому относились: Юра Канунников – «пьёкуёй»... (Смеется.) А Вера Николаевна, наш классный руководитель, стояла в стороне и грустно наблюдала за нами, не вмешиваясь.

Юра Канунников ушел на войну, мужественно воевал. Был тяжело ранен в голову, лежал с год в Москве в госпитале. Мы его навещали. Это был воин. Он вспоминал, как

тяжело поднимать в атаку роту... Как самому было страшно, но подымал и шел.

Н. Р. : *Но он выжил?*

И. М. : Нет. Он умер. И я помню похороны, когда мы стояли у гроба в доме его отца и матери.

Н. Р. : *Сколько ему было лет?*

И. М. : Ну, двадцать лет, наверное, было... Кажется, это 1943 год...

...И его мама повторяла: «Только не надо плакать. Не будем плакать». Эта смерть была нами очень тяжело пережита...

Был у нас еще один погибший ученик, Володя Питерский. Он был тайно и верно влюблен в Иру Лозинскую, мою подругу. Это был буквально «рыцарь без страха и упрека». И погиб, следуя своим принципам: дал по физиономии офицеру, который грязно отозвался о какой-то женщине, попал в штрафной батальон, а вагон, в котором их везли на фронт, разбомбили.

Спустя несколько лет встретились наши одноклассники, все мужчины воевали. Конечно, вспомнили войну, никуда от нас она не ушла...

Н. Р. : *Ирина Михайловна, скажите, Вы работали во время войны. Почему у Вас нет соответствующего удостоверения?*

И. М. : А у меня было только полгода работы на заводе. А надо, оказывается, год. У меня не получалось года, а об остальном надо было собирать свидетельства, да зачем мне это? Вот, знаете, пример. Моя подруга-архитектор, Наталья Владимировна Немчинова, была очень дружна со своим сыном; когда она умерла, сын был в очень тяжелом душевном состоянии, почти в ступоре. И чтобы вывести его из этого состояния, я предложила: «Володя, знаешь,

мама не реализовалась в творчестве полностью». Наташа действительно мне как-то сказала, что реализовалась «на пять процентов», а была очень способным архитектором. Она имела Государственную премию, а считала, что реализовалась на пять процентов. Говорю: «Давай мы напишем о маме книгу, соберем все те проекты, которые она осуществила (она строила главные здания в ряде городов и в республиканских центрах), и те ее прекрасные проекты, которые были отвергнуты. Напишем воспоминания, она того заслуживает!». Меня поддержали ее коллеги. Володя пришел в себя, задумался. Подумал-подумал и сказал: «Нет». – «Почему? Почему?» – мы так удивились. Он ответил: «А мама бы этого не хотела». – «Почему?» – «А мама считала, что она это построила для людей – и все, а славы ей не надо: она построила и отдала». Так что... Понимаете, слава – зачем? Материально же мы вполне с дочерью обеспечены.

Н. Р.: *А как Вы решили стать востоковедом? Почему востоковедение, почему арабские страны?*

И. М.: *(Пауза, вздох.)* Нет-нет, я сейчас думаю, где начало. Интерес к Востоку во мне сидел!

Н. Р.: *То есть идея... идти к обиженному, идти к униженному...*

И. М.: Да. Ну, во-первых, все-таки мы постоянно ездили в Крым, там рядом жили татары – значит, все-таки возник интерес к этой культуре, и уважение большое, а также дружеские взаимоотношения. Потом вообще мне близка была идея интернационализма. Но все-таки главным толчком стала книга моего любимого писателя Ромена Роллана «Жизнь Рамакришны и Вивекананды». Может быть, сыграли также роль семена, когда-то посеянные Надеждой Михайловной. Во всяком случае, когда я поступала на ист-фак, то собиралась заниматься Индией, изучать санскрит.

Но в первый же день, когда всех первокурсников собрали в Ленинской аудитории, Игорь Михайлович Рейснер, который позже стал для меня одним из самых уважаемых профессоров, сообщил, что желающие будут заниматься историей Индии, но не взглядами каких-то философов и «всякой ерундой», а рабочим движением и т. д., и т. п. Он тогда очень меня огорчил и разочаровал. А потом выяснилось, что и санскрит в этом году не будет преподаваться, а учи урду или хинди. Но мне показалось: не хочу жизнь свою положить на урду и хинди – не устраивает. В то же время предложили изучение арабского языка, этой латыни восточного Средневековья. И я пошла на кафедру Ближнего Востока, решила заниматься арабским Средневековьем, учить арабский язык.

Н. Р.: *А почему Средневековьем? Потому что это расцвет культуры?*

И. М.: Да. Но арабистам лекции читал Владимир Борисович Луцкий, а он специалист по новой и новейшей истории. К тому же он был такой хороший человек, и мы к нему так хорошо относились! И уйти от него мне уже не хотелось. Я занялась крестьянским движением XIX века – наверное, потому, что у меня были крестьянские корни и я любила ярославскую деревню дяди Кости. Тут было сочувствие к униженному и обиженному. А дальше уже своя логика была.

Н. Р.: *Еще вопрос о войне: какую роль сыграла в Вашей жизни война?*

И. М.: Она оказала воздействие на становление меня как человека. Ее начало выпало на возраст, в который определяется человек: от шестнадцати до двадцати, когда закладывается мировоззрение. Впрочем, часть риторики войны мне была чужда, мне не нравился Илья Эренбург с его

статьями, близкими горьковскому: «Если враг не сдается – его уничтожают»*.

Все-таки мне гуманистические идеи были куда как ближе. Важно сопереживание человеческому страданию, поэтому для меня был так важен опыт работы в госпитале. Потом переживаешь вместе со всеми, это была общая беда, и в этом тоже было что-то очень важное – если хотите, «общинное», или, как теперь говорят, «коллективизм».

Иногда я задумываюсь: неужели мой дядя Костя, многие наши друзья и вообще многие люди зря отдали свою жизнь, свои помыслы на создание предприятий и на дела, которые развалились, оказались ненужными? Но, возможно, они были счастливее нынешних «успешных» людей. Они творили, созидали для будущих поколений, у них была благородная цель. Они переживали радость общего созидательного труда. Хотя это не исключало иногда мучительных сомнений по поводу того, что происходило рядом.

Н. Р. : *Ирина Михайловна, а Ваше отношение к Богу? У Вас было, наверно, атеистическое воспитание?*

И. М. : Сейчас скажу... У меня были очень разные семейные корни. Мы с Вами уже говорили об отце: он пошел в семнадцать-девятнадцать лет на Гражданскую войну, был в Особом отделе следователем: возможно, присутствовал при расстрелах, где должен был погибнуть и чудом уцелел мой дед с маминой стороны. Отец называл презрительно семью деда «собственниками», потому что они после революции относились к разряду «лишенцев» (лишенных гражданских прав) и жили своим хозяйством.

Когда-то я упрекала маму: как она могла выйти замуж за отца, зная его прошлое. Но она и ее подруга едва кончили гимназию, и революция с ее идеей диктатуры пролетариата

* Статья Максима Горького. Впервые напечатана в газете «Правда» (1930, № 314 от 15 ноября).

и «классовыми ценностями» смешала их представления о добре и зле. Отец же был твердый коммунист, был предан партии и если колебался, то «вместе с партией».

Ну, вы знаете этих людей. Они жизнь бы положили во имя идеи и не нажились на этом. В старости однажды отец сказал: «Меня в семье (той, другой) считают черствым. А если бы они знали, что я в своей жизни видел!». Это означало, что он мысленно возвращался к своему прошлому и его, возможно, мучительно пересматривал.

А мамин отец вышел из крестьян, отслужил в армии и остался там сверх срока, получил офицерское звание, воевал, дослужился в Первую мировую войну, по-видимому, до штабс-капитана, был полковым казначеем.

Н. Р. : *В каком они месте жили?*

И. М. : В Севастополе, имели небольшой дом на окраине. Папа родился в Конотопе, его отец работал в вагоноремонтных мастерских, пел в церковном хоре. Семья была строгая, уставная. Когда отец уже умирал в восемьдесят шесть лет – моя дочь возле него сидела, в госпитале в Лефортово – он прислушался к колокольному звону и произнес: «Звонят». Может быть, сказал за час до смерти – вспомнил детство. Его брат Леонид Иванович Смилянский пошел своим путем. Он был украинским писателем.

Когда я родилась, мама меня крестила на дому, тайно от отца.

Н. Р. : *А родились Вы в Севастополе?*

И. М. : Нет, я в Москве родилась. Мама переехала из Севастополя в Москву к своей гимназической подруге, муж которой был другом отца, там мама и познакомилась с моим отцом. Отец и его друг Никифор Елагин пришли в Севастополь с Красной Армией. Оба были следователями. Видимо, они не хотели продолжать службу в Особом отделе и, как

только был объявлен призыв идти учиться и создавать свои кадры, они поступили – один в строительный, другой в экономический институты. Помню, когда я маленькая просыпалась поздно вечером – у нас была небольшая комната, – в воздухе стояли клубы дыма: отец и его друзья курили, готовясь к экзаменам...

А мамина семья с приходом Красной Армии пережила большое потрясение. Было объявлено, что все офицеры должны зарегистрироваться в помещении цирка Шапито (!) и пройти проверку. И дед пошел регистрироваться, но на пути он встретил своего однополчанина большевика-подпольщика. Тот спросил: «Куда это Вы направляетесь, Федор Иванович?». Дед ответил, что-де я иду регистрироваться. «Вам туда не надо. Вам туда идти не надо, Вы из крестьян, Вам туда идти не надо!» Дед вернулся домой – и остался жив. Никакой проверки, по-видимому, и не было. Говорили, что десять тысяч человек полегло в Максимовой балке (Максимова дача в Хомутовой балке. – *Прим. Н.Р.*), офицеры сами рыли рвы, и их там расстреливали. Ну вот. Об этом дома никогда не говорили, это я узнала уже позже, но драму нашей семьи я ощущала интуитивно. Максимова балка... Там же каменистая земля. Говорят, дышала...

Н. Р. : *Да, говорят, земля поднималась.*

И. М. : Естественно, дедушкина семья была религиозной. Мама меня крестила. Крестный мой Григорий Сольков был из семьи крымских солепромышленников. Его отец – крестьянин, пришел в Крым, создал там солепроизводство. Кажется, станция Сольково в Крыму названа по его имени (или наоборот). Но его дети уже были гвардейскими офицерами, как и Григорий. Он пережил драму, близкую той, которую описывает Лев Толстой в «Отце Сергии». Бросил армию и ушел в богоискательство...

При советской власти он, естественно, попал на Соловки. С Соловков его выпустили и снова посадили, и вот в его проезд через Москву как раз я родилась, и он стал моим крестным. И мне говорили его друзья, что молится он, святая душа, на том свете за меня. Мама поделилась тайной моего крещения со своей подругой, а та проговорилась хозяйке дома, где мы жили на Ордынке (дом 54). Хозяйка-купчиха Капитолина Ивановна Чарокова, женщина крутая, ненавидела отца, потому что он был инициатором превращения ее частного владения в ЖАКТ (Жилищно-арендное кооперативное товарищество. – *Прим. Н.Р.*). И хотя она была религиозна, но тут же отправилась в парткомиссию и сообщила, что коммунист Михаил Иванович Смилянский крестил дочь. В то время шли чистки, и отцу грозило исключение из партии. Несмотря на домашний допрос, мама сохранила тайну. Вызвали в парткомиссию тетю Лизу, мою крестную, – а она была, по ее рассказам, внебрачной дочерью какого-то сибирского купца, очень умелая женщина. Ее спросили, крестила ли она? Она ответила с сильным местечковым еврейским акцентом: «Ну, разве я могла крестить, я же лютеранка». Им показалось, что это убедительно, и всех оставили в покое.

И когда мама уже в 60-е или 70-е годы отцу призналась, что меня крестила, – он побледнел, наверное, подумал, как бы мог сложиться его жизненный путь, если бы тогда это выяснилось.

Помню очень смутно: я на руках у мамы, и меня причащают. И все вокруг беспокоятся, чтобы я вела себя хорошо. Видимо, мне года три, ну, может быть, четыре, потому что я на руках. Но походы в церковь вызывали у меня мучительный разлад, потому что отец меня воспитывал в антирелигиозном духе. Так, наш московский сосед, старичок, который любил со мной гулять по Ордынке, не без иронии

рассказывал, что, когда мы проходили мимо церкви, я ему назидательно сказала: «Ну, в церковь только дурачки ходят».

Н. Р.: *А сколько было Вам лет, когда мама с папой развелись?*

И. М.: Мне было семь лет. А вышла замуж она за дядю Костю, когда мне было восемь лет. Ну, дядя Костя был замечательный отчим, что тут говорить. Кстати, у него к вере было другое отношение. Он с крестьянской мудростью говорил: «Ты должна уважать веру тех, кто верит, и не смеяться над иконами». Ну, кроме того, у меня бабушка была очень верующей католичкой. Моя бабушка (она приходилась сестрой маминой рано умершей матери), готовясь ко сну, на коленях перед иконами (среди них была и Матка Боска Ченстоховска) подолгу беседовала с Богом. Я теперь жалею, почему я не послушала, о чем же были эти беседы. Когда в Севастополе закрыли костел, бабушка стала ходить в православную церковь, резонно полагая, что Бог един.

Н. Р.: *А когда Вы во время войны боялись, Вы не молились?*

И. М.: Во время войны мы с мамой ходили однажды в церковь на Пасху. Это было замечательно, в Новосибирске! 1942-й, наверное, год. Там была, кажется, вновь открытая отдаленная церковь, пришло очень много народу, стояли и снаружи со свечами, а церковь ярко светилась изнутри. Во всем этом было что-то, приносящее утешение в такое трудное время.

Н. Р.: *Что сейчас важное надо сказать о войне молодежи? До сих пор много разговоров о том, что война была ужасной, неоправданные жертвы, что вообще не мы выиграли войну...*

И. М.: Для меня война остается святой. Вопрос о ней для меня остается святым, потому что там погибали мои сверстники. Со времени окончания войны в жизнь вступило три новых поколения. В своем огромном большинстве они

не знают войны или представляют ее по компьютерным играм. А война – это всеобщие физические и материальные мучения и незаживаемая душевная рана!

Н. Р. : *И судить сейчас, как призывают некоторые, судить, переоценивать...*

И. М. : У меня другая идея есть. Я ее Вам расскажу без записи.

Н. Р. : *Ну почему, два слова, может, мы запишем.*

И. М. : Ну, я думаю о том, что перед нами стоит более общая и сложная задача. Может быть, так же, как Вы о войне собрали интервью, попробовать собрать и о революции, об отношении к революции, о том, какой сложилась в разных семьях ее мифология. Приобрела ли конкретная семья что-то в процессе революции или, наоборот, потеряла? Может быть, это позволит приблизиться к объективной оценке. Потому что все, что сейчас говорят о нашем прошлом, далеко от объективности. Как оценить это наше прошлое? В конце концов, в нем мы участвовали, в него вложили свои силы, вдохновение, труд. Его духовным и материальным наследием пользуются нынешние поколения, подчас не отдавая себе отчета в этом. Меня оскорбляют попытки многих политиков и политологов утвердить свое положение и авторитет путем безграничного затаптывания прошлого, вместо его глубокого анализа. Конечно, подобный анализ труден, потому что это прошлое невероятно противоречиво.

Вернусь к семейным связям. Отец был долгие годы освобожденным секретарем парткома одного из больших подразделений Министерства обороны, полковник. Молчал всегда. После XX съезда однажды он вдруг заговорил, и думаю, что для него это был нелегкий рассказ. В конце 1930-х годов, когда уходила «ежовщина», начали обновлять кадры НКВД. И отцу предложили вернуться на работу

в органы. Он пришел в свой кабинет: лежат папки дел, с фамилиями тех, кто арестован, и чьи дела он должен вести. Он открывает папку, а там пусто, ничего нет – даже доноса нет. Человек уже арестован – а там никаких обвинений. Надо «шить» все это дело.

Вторая папка. То же самое. Это была система устрашения, и брали по плану: сегодня берем главных инженеров, главных экономистов...

Н. Р.: *Завтра – врачей...*

И. М.: Ну да, где-то так, и надо придумывать дело. Тот, кто это не делал, считался укрывателем врагов. И отец это понял. Я не знаю, что в его решении сыграло большую роль (отец для меня во многом остался закрытым) – внутренний протест против происходящего или страх, что он сейчас в этом будет участвовать, а потом его уберут так же, как убирали всех его предшественников – свидетелей происходившего. И он сумел вырваться из этой системы. Но больше он никогда не возвращался к этой теме.

Как-то я приехала с Севера и рассказываю отцу о результатах хрущевской реформы в сельском хозяйстве, тогда снова обобществили коров с обещанием снабжать молоком с ферм. «И, – говорю, – что же получилось? Мы идем через деревни Архангельской области и просим попить молочка, а люди выносят нам ключевую воду: нет коров и нет молока». – «Не-е-е-т, такого не может быть». Я говорю: «Ну, как не может быть? Вот там поросенок 800 рублей стоит (какая-то такая сумма), а его еще молоком кормить надо». – «Это неправда», – говорит отец. Я возражаю: «Как неправда?!» – «Ну, откуда ты это взяла?» Я говорю: «Как откуда, мне бабки рассказывали!». Отец заключил: «Ну, конечно, бабкам ты веришь, а советской власти – нет».

И вот так было и в моем детстве. Маме моей, когда она ему сообщала что-нибудь из происходившего, он говорил:

«Читай газеты. Это бабы сплетни, не верь бабьим сплетням – читай газеты». Он жил в каком-то виртуальном придуманном мире, а был умен, общителен, темпераментен, даже азартен, в делах честен, трудолюбив, пользовался авторитетом и «хорóм боярских» не нажил. Последним его делом, подорвавшим здоровье, была защита рабочих, жаловавшихся в парторганизацию (отец уже был на пенсии) на то, что управляющий ЖЭКом берет с них денежные поборы. Поначалу отец даже понять этого не мог. При разборе дела рабочие из-за боязни отказались от своих показаний. Отец добился правды, управляющего сняли, но через полгода отца не стало...

Реальный мир был сложен и противоречив.

Юрий Васильевич Ванин

Родился 4 сентября 1930 г. в деревне Писцово
Рязанской области

Окончил Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова (1954)

Кандидат исторических наук (1963)

Специалист по истории Кореи; корееведению
в России

Работал в ИВ РАН с 1957 г.

Ведущий научный сотрудник ИВ РАН

Умер в 2017 г.

***Наталья Романова:** Несколько слов о Вашей семье ска-
жите, пожалуйста.*

***Юрий Васильевич:** Мое детство прошло в Заполярье, в городе Мурманске, куда мои родители из рязанской деревни перебрались примерно в 1927 году. Семья моя состояла: отец (1902 года рождения), мать, старший брат, две сестры – одна старше меня, другая младше меня – ну и я. Старший брат Евгений, в честь которого названа моя дочь, летом 1940 года был призван на военную службу, попал во флот, служил на знаменитом тогда линкоре «Марат», но по состоянию здоровья был списан и работал в мастерских подводного флота. Когда началась война, он пошел в морскую пехоту и примерно в феврале 1942 года пропал без вести: как нам писали, «не вернулся из разведки». Отдельно хочу сказать об отце. Он в 1927 году, когда*

переехал в Мурманск, пошел работать землекопом. И вот типичный пример роста советской технической интеллигенции: человек трудолюбивый, скромный, добросовестный, ответственный – стал он сначала бригадиром, потом десятником, потом прорабом, потом еще-еще-еще, в 1930 году его собирались направить на рабфак в Ленинград, но тут угораздило меня народиться, и все планы полетели. Но тем не менее он продолжал работать и к началу войны был начальником планового отдела инженерного управления Северного флота. Это довольно крупный по военному ранжиру пост, хотя он был гражданский и по состоянию здоровья не подлежал призыву. Мама – домохозяйка, сидела с детьми. Вот моя семья.

Н. Р. : *Вы в каком классе учились, когда началась война?*

Ю. В. : Мне шел одиннадцатый год. Я в 1938 году пошел в школу – значит, я кончил три класса. Хорошо помню день 22 июня 1941 года. Мы были в Мурманске. Меня посылали на молочную кухню получить питание для младшей сестренки, и я шел по дороге и слушал выступление Молотова. Должен сказать, что первые дни запомнились каким-то таким (с моей точки зрения, моему десятилетнему возрасту) спокойным настроем, потому что мы все были научены, что война будет короткой...

Н. Р. : *И на чужой территории.*

Ю. В. : Да, мы победим врага на его территории. И должен сказать, что первое время Мурманск авиационным налетам не подвергался. Появлялись разведчики, их обстреливали из зенитных пулеметов – у нас возле дома на крыше одного из соседних зданий стоял зенитный пулемет, – ничего серьезного. Но мы, мальчишки – вот я хочу особо подчеркнуть – сразу же включились в военную жизнь. Мы обклеивали окна бумажными полосками, помогали взрослым рыть

траншеи, потому что бомбоубежищ, естественно, поблизости не было. Ну и самое смешное: в один из дней ватага пацанов пошла в горы.

Н. Р. : *Сами?*

Ю. В. : Сами. Пошли мы ловить шпионов. Но где-то на полдороги город был окружен часовыми, и нас самым примитивным образом погнали оттуда прочь. Ну, во всяком случае, то, что началось, для нас, для мальчишек, было живым, настоящим делом.

Н. Р. : *А вы ходили рыть окопы – это вас школа отправляла?*

Ю. В. : Нет, дóма, дома. Мы ходили, хотели помогать. Была такая воздушная сирена, которую надо было крутить, мы пришли предлагать свои услуги, но в нас тоже не нуждались. Я войны в самых страшных ее проявлениях не видел. Война началась 22 июня 1941 года, а уже 5 июля 1941 года командование Северного флота, в том числе инженерное управление, эвакуировало свои семьи. Шел эшелон, некоторое время за нами летел самолет, сопровождал, но никто, слава Богу, не налетал. Все мы ехали в товарных вагонах, шестнадцатитонных. Надо сказать, что я доставил удовольствие едущим там людям: мы же лежали все на полатах вповалку, и утром обнаружилось, что я сплю в обнимку с чужой мамой. Ну и, конечно, все были рады поохмить в мой адрес.

Поскольку мы были убеждены, что война вот-вот закончится и чего нам далеко куда-то уезжать, мы в Иванове сошли с поезда: переждем здесь, все равно днями возвращаться. Но нас в Иваново не пустили. Нам было сказано: мы ждем плановых эвакуированных и всяких случайных принимать не будем. Я должен сказать, отступая от этой темы, что одно из впечатлений военного времени, несмотря на сложную ситуацию, в которой страна оказалась, была достаточно четкая организация по разным направлениям,

в том числе и в эвакуации. Когда мы наконец добрались до места в Северном Казахстане, нас, меня с матерью, водили по домам, которые уже заранее были подготовлены для размещения эвакуированных.

И вот мы остались у ворот города Иваново, прямо на улице, – понимаете сами, в каком настроении. И тут произошло то, что я буду помнить до конца дней своих. На нас обратили внимание рабочие находившихся рядом железнодорожных мастерских. Прибежали несколько человек, стали успокаивать: «Вы не переживайте, мы вас не оставим в беде, мы вам поможем». Натащили фанеры, жестяных каких-то полос, сделали нам укрытие. И несколько дней мы там провели. Каждый раз они прибегали к нам и спрашивали: ну как вы, не нуждаетесь ли вы в чем-то и прочее. То есть совершенно чужие, посторонние люди проявили такое внимание, такое сердечное тепло, которого не забудешь никогда.

Наконец подошел еще один поезд с эвакуированными. Нас эти люди, находившиеся в вагоне, не пускали. Оказалось, это несколько семей, я сейчас уже не помню, то ли с Западной Украины, то ли с Западной Белоруссии, еврейские семьи, которые пострадали в самые первые часы войны. Их трудно судить: они были все в очень ужасном состоянии, одна женщина ехала вообще полусумасшедшая, она вместо ребенка утащила куклу, так они срочно бежали. Они там уже так сплотились и не хотели никого постороннего пускать. Так вот эти рабочие железнодорожных мастерских взяли их вагон штурмом. Натащили досок, настелили нам полочки. «Вы поезжайте, не беспокойтесь, все будет хорошо, мы победим, не волнуйтесь» – и все такое прочее.

Н. Р. : *Ваш папа остался работать. Эвакуировали только вас с мамой?*

Ю. В. : Да, мама, две сестры и я. А брат уже был на войне. И вот, после долгих путешествий (я не буду останавливаться,

хочу только сказать, что можно было ехать, куда вы хотели), с трудом – приходилось штурмом брать вагоны, но мы добрались до Северного Казахстана, Кокчетавская область, Зерендинский район, поселок Айдабул, как сейчас помню. Там на весь Казахстан был самый крупный спиртоводочный комбинат. Вроде заводского поселка, но он примерно в восьмидесяти или ста километрах от областного центра, там многие местные жители поезда в жизни еще не видели, такой оторванный был уголок страны нашей. И вот я хочу сказать о жизни в этом поселке. Мы в нем находились примерно с августа 1941-го до июля 1944 года. Во-первых, весь поселок жил войной. Радио не было, электричества не было. Газеты поступали только директору, секретарю парткома этого комбината – и все.

Н. Р. : *А сколько людей жило в поселке, примерно?*

Ю. В. : Ну, я думаю, что побольше тысячи. Комбинат и обычные дома, маленькие такие избушки, частные домики. И вот представьте себе ситуацию: была такая система (она, между прочим, долго и после войны существовала) распространения информации по телефону. Я уже потом, после окончания университета здесь, в Московской области, слушал лекции по телефону, было такое. Представьте: почта – ну, маленькая комната, битком набитая, кто-то один слушает новости и сообщает всем. А сообщать-то было – горькое горе! Сегодня оставили город такой-то, завтра отступили от того-то... Это тяжело было – люди стояли там, плакали! Но все равно все приходили. Все равно все живо интересовались тем, что происходило далеко-далеко на фронте. Это во-первых; во-вторых, что я хочу сказать: Северный Казахстан оказался конгломератом разных наших народов. Казахов было мало, хотя это был и Казахстан. В основном это были люди из центральных областей и с Украины еще столыпинских времен, когда переселенческая кампания проходила.

И приехали эвакуированные вроде нас. Приехали немцы Поволжья, в большом количестве приехали. У меня мои ближайшие друзья были, Гена Лобес, Лида Дизендорф из наших поволжских немцев. Хорошие все ребята были... (*Вздыхает.*) Конец 1943 – начало 1944-го, я за точность не ручаюсь; наверное, все-таки январь–февраль 1944 года. А Северный Казахстан – это та же самая Сибирь: морозы, метели – и вот в такую погоду, как сейчас помню, везли чеченцев и ингушей. Везли на санях, в бешметах, или как они там называются... Можно только посочувствовать...

Н. Р. : *А их куда везли?*

Ю. В. : В этот поселок, к нам. Их там расселяли, рассовывали. Ну, надо сказать, что среди чеченцев, ингушей были молодые ребята, и они там, конечно, женское местное население... не оставляли без внимания, скажем так.

Н. Р. : *На фронт их не призывали, потому что...*

Ю. В. : ... репрессированные народы.

Н. Р. : *Ведь очень много кавказцев воевало, и Герои Советского Союза там были.*

Ю. В. : Но это те, которые с самого начала на войне оказались. Вот когда потом немцев с Кавказа прогнали – чеченцев, ингушей, перед этим калмыков, потом крымских татар и так далее – их выселяли в дальние края. Не было никаких стычек. Не было никаких скандалов – ни у нас в школе, ни в поселке. Все-таки поселок какой-никакой, а не такой уж большой, если где что-то происходило, мы всегда все знали. Это второе, что мне хотелось бы отметить. И третье, самое, пожалуй, главное: несмотря на то, что шла такая страшная война, несмотря на то, что у каждого в семье либо уже кто-то погиб, либо был на фронте, поселок жил

обыкновенной человеческой жизнью. Все было, конечно, военизировано. Вот, скажем, наша школа...

Н. Р. : *А чеченские дети учились в вашей школе? Все ходили в школу?*

Ю. В. : Я, во всяком случае, с ними не сталкивался. Может быть, они и были – тут я не могу знать. В моем классе не было.

У нас была пионерская организация. Она была переведена на военное положение. Если раньше был совет дружины, председатель пионерского отряда, то теперь все было военизировано. Я был начальником штаба пионерской дружины школы: были три лычки, и я форсил ходил. Классы были разбиты на отделения: класс – это взвод, в каждом взводе три отделения – человек по десять, по двенадцать (классы большие были в те времена). Но мы, ребята, естественно, как и все, тоже не забывали о войне: вот сбор средств в фонд обороны. Денег у нас, естественно, у ребятшек, нет. Я у мамы забрал довоенные облигации, их принимали в фонд обороны. Другие примерно так же поступали. Сбор металлолома – обшарили весь поселок и в конце концов учудили: утащили железную борону у местного участкового милиционера. Ну, нам досталось, конечно, за это. Он пришел жаловаться, директор нас вызвал... Вздрючку нам хорошую устроили. Ну, во всяком случае, мы из лучших побуждений, не потому, что мы ему хотели насолить...

Н. Р. : *А как мама и сестра? Старшая училась, наверное, в школе?*

Ю. В. : Да. А мама вспомнила свое крестьянское прошлое...

Н. Р. : *Вы жили на карточки?*

Ю. В. : Карточек у нас не было. У нас была корова, были поросята, куры и все прочее. Мы это купили.

Н. Р. : *У вас было на что купить?*

Ю. В. : Отец присылал деньги. Он тысячи две присылал – это были копейки по тем временам. Самое главное – была швейная машина, которую мы добросовестно таскали с собой. Типа «Зингера», но нашего производства, петроградского. И вот она нас главным образом выручала. Портнихой отменной мать не была, но кому-то что-то подшить, подштопать, что-то простое сшить... Вот это нас выручало главным образом. На это мы и жили. Мать вела хозяйство. Старшая сестра в 1943 году закончила школу. Учителей тогда был страшнейший дефицит, и ее послали в один из поселков Северного Казахстана – там при учительском институте были курсы, и за три месяца ее сделали учительницей географии. И на беду ее взяли к нам в школу и назначили в мой класс классным руководителем. Прежде всего на мою беду. Потому что, как только я что-нибудь вытворял, тут же матери становилось известно. А у меня мать на расправу была довольно быстрая – она вмазывала будь здоров как! А с другой стороны, я злоупотреблял своим братским положением. Мы с дружкой прижимали сестру к стене: «Скажи, какая будет завтра контрольная!».

Н. Р. : *(Смеется.) Она была намного Вас старше?*

Ю. В. : На шесть лет, 24-го года рождения. Но самое-то главное – жили мы интеллектуальной жизнью, если так можно сказать. Периодически приезжала кинопередвижка. Электричества не было, они приезжали со своим движком. Я, между прочим, среди тех фильмов, которые тогда смотрел, больше всего запомнил фильм о разгроме немцев под Москвой. Приезжали какие-то артисты – халтурщики, естественно. Один приехал, как сейчас помню, гипнотизер, и среди тех, кто поддался гипнозу, оказался и я. Я больше

придуривался на публику, чем на самом деле был загнипнотизирован. Он на меня свои чары – а я не поддаюсь.

Н. Р. : *Срываете выступление.*

Ю. В. : Да. А там уже хохочут в зале. Под конец он мне сюда как нажал! Я заорал, а результата никакого. – «Пошел вон отсюда!» (*Смеется.*) И с позором меня прогнал.

Н. Р. : *А были в поселке библиотека или клуб?*

Ю. В. : Был маленький клуб, одноэтажная такая халупа. Стоял на краю поселка кирпичный огромный клуб – но недостроенный, брошенный перед началом войны... Самодеятельность была. Причем какая самодеятельность? Островский, «Бедность – не порок».

Н. Р. : *С ума сойти!*

Ю. В. : Да. Валентин Катаев, «Синий платочек» (была такая комедия военных лет). Я почему об этих пьесах говорю: потому что и тут и там, в обеих этих пьесах, есть роль мальчика, на которую брали меня. Я там в артистах числился. И сестра играла. У нее долго не заживала здесь рана, они поставили «Дон-Жуана» с подружкой, между прочим, из немцев наших, и так рьяно сражались на шпагах, что та ее поранила.

А у меня такая история была. Был такой у меня дружок Гена Титов, и мы сами сочинили пьесу – лихую пьесу про партизан. И сами исполняли там главные роли. Значит, мой приятель – партизан, которого я, немецкий офицер, взял в плен, допрашиваю его, и мой вопрос кончился тем, что он давал мне по физиономии и сбегал. Мне потом проходу не давали в школе: «Ну что, фашистюга, дать тебе как следует?!».

Н. Р. : *(Смеется.) Ну, это было мужество с Вашей стороны – играть роль фашиста.*

Ю. В. : Ну, надо. Искусство требует жертв. Так вот, я хочу сказать, что какой-то такой загнанности, ущемленности, чего-то такого сугубо сумрачного не было. Жили обыкновенной человеческой жизнью. Вот мы, мальчишки: у меня брат пропал без вести, у остальных ребят по-разному. И все равно мы оставались мальчишками – и хулиганили, и баловались. Все праздники мы отмечали, школа устраивала обязательно встречу Нового года, даже какие-нибудь прянички нам дарили и так далее.

Н. Р. : *А в школе кормили обедом?*

Ю. В. : Нет-нет. Ничего не было, только с собой могли принести, у кого что было. Знаете, что было? Там была маслобойня когда-то. Из подсолнуха выжимали масло. И вот зерно это спрессованное... Жмых, в деревне его почему-то звали «макуха». Хруст стоял на уроках постоянный, это мы лопали от души ту макуху. Но все равно есть постоянно хотелось, честно сказать.

Н. Р. : *А как вам удавалось держать скотину?*

Ю. В. : Перед войной этот спиртоводочный комбинат гнал спирт из зерна. И отходы зерновые сливались в один пруд. Это оказалось прекрасным кормом. Я на себе коромыслом два ведра каждый день таскал. Тяжеленные! Корову, поросят кормили этой самой бардой. Мы получили участок под огород, собирали сорок мешков картошки...

Н. Р. : *А вам давали лошадей, чтобы пахать, или вы сами на себе пытались как-то?*

Ю. В. : Лопатагой! Все сами, все своими руками!

Н. Р. : *Сколько вам давали земли? Сколько хочешь?*

Ю. В. : Я сейчас не помню, но большой участок. Сказать, что мы очень сильно голодали, я не могу. Были люди, которые страдали. Начался даже в какой-то момент период болезней, очень тяжелой формы. Весной люди уходили на колхозные поля и собирали оставшиеся с осени колоски. Они за это время прорастали и обладали какими-то отравляющими свойствами... И пошли тяжелые болезни, с нарывами, со всякими прочими симптомами...

Не могу не вспомнить еще один важный эпизод. Это был, если не ошибаюсь, 1943 год. В поселок, где люди, я уже сказал, не видели поезда, паровоза, прилетел самолет! Что происходило – я Вам не могу передать. Мы, несмотря на все вопли учителей, рванули с уроков – нас никакая сила остановить не могла! Толпы людей бежали! И все кричали друг другу: «Наверное, война кончилась!». Ну, все оказалось сугубо прозаически. Это откуда-то прилетел самолет за спиртом – поскольку спиртоводочный комбинат был рядом.

Н. Р. : *А самолет военный?*

Ю. В. : Нет, нет. Обычный кукурузник. Я по мальчишескому любопытству хотел пощупать этот самолет, поколупать: из чего он там сделан, чем он обшит. И получил хорошую от летчика затрещину!

Н. Р. : *Летчик один прилетел?*

Ю. В. : Один. Он, видимо, во вторую кабину бочонок спирта положил... Вот так мы жили до июля 1944 года. А потом отец прислал вызов – тогда уже война все-таки шла на убывание. Мы обращались в Президиум Верховного Совета СССР с просьбами разрешить нам вернуться. Наконец получили разрешение, и, как сейчас помню, именно 20 июля 1944 года

мы с помощью заводского руководства добрались до города Кокчетав, где мы могли сесть на поезд. Почему я запомнил 20 июля – потому что тогда в городах на столбах стояли громкоговорители, и по громкоговорителю передавали о попытке покушения на Гитлера – как раз было 20 июля 1944 года. И вот мы, значит, с большим трудом, всякими окольными путями добрались до Мурманска.

Я пришел на место, где стоял наш дом... А теперь на этом месте был огород, росла картошка. Дело в том, что в июне 1942 года немцы буквально сожгли Мурманск. Город ведь старый и в основном деревянный. И хоть это Заполярье, но там в летние времена бывало жарко и ветрено. А немцы наших военных обманули. Обычно они летали мимо Мурманска куда-нибудь в Карелию, на Петрозаводск, на Питер и так далее. И обратно возвращались, уже отбомбившись, пустые. И на них особого внимания не обращали. А на этот раз они сделали заход и ударили по Мурманску. Отец рассказывал, всех тут же распустили с работы – спасти имущество. Отец прибежал к нам домой, вытаскивал вещи. Пока он вытаскивал, они сгорали здесь, во дворе. Мы остались фактически ни с чем. И учреждение отцово, этот плановый отдел и все инженерное управление Северного флота перевели в город Ваенга, который сейчас называется Североморск, знаменитый – откуда подводные лодки уходят. Там мы жили до конца войны. Тут уже школа была такая, что особенно нас никуда не втягивали – в обстоятельства, связанные с войной. Единственное только, что я ходил на все встречи с военными, которые организовывались в доме офицеров: с торпедоносцами, с летчиками, но большей частью с моряками. А Ваенга, этот Североморск, чем отличался: шли конвои союзников, везли нам, Советскому Союзу, помощь. Транспорты с этой помощью приходили в Мурманск, а военное сопровождение, корабли этих союзников, останавливалось в Ваенге. И часто там шатались

американские и английские моряки. Ну, конечно, по сравнению с нашими моряками они выглядели скверно.

Н. Р. : Почему?

Ю. В. : Ну, помятые какие-то... У нашего морячка – он идет, у него бритовка... Наглаженные брючки... А у них какие-то... так свернутые – неприятно. Не знаю, мне как-то не нравилась их форма по сравнению с нашими моряками. И так получилось, что 9 мая 1945 года... для нас особенно праздничным не был этот день.

В Североморске нынешнем, в Ваенге, останавливались военные корабли союзников – там было военное представительство Соединенных Штатов Америки и Англии. А союзники, как известно, отмечали День Победы 8 мая. Поэтому мы уже 8-го, что называется, напраздничались, нарадовались. Но тем не менее 9 Мая все равно для всех был праздник, и мы тоже праздновали, наша семья. Везде крутили бесплатно один и тот же фильм, «В шесть часов вечера после войны», – ну и, конечно, народ валил валом на этот фильм. Я в 1945 году закончил 7-й класс (в Ваенге больше школы не было) и переехал в город Полярный – это тоже Кольский залив, но у самого горла Баренцева моря. Нас возили домой на катерах, и когда мы проезжали мимо этого горла, было видно, какие страшные черные волны на Баренцевом море. Там на скале было вырублено, что вот здесь в тридцать третьем году были Сталин, Киров и Ворошилов, и они постановили создать здесь базы Северного флота. Так вот, в 1945 году, поскольку война закончилась, союзники уезжали. В Полярном тоже было их военное представительство, потому что основная-то база была в Полярном. К нам (я жил в интернате, при школе интернат был) приходил такой вице-адмирал Кулаков, один из командующих Северного флота, другие крупные офицеры, приезжали знаменитые артисты. А я был в ученическом комитете,

ведал культмассовым сектором. И вдруг вижу объявление: «Приехал с артистической бригадой Николай Крючков». Я по нахалке пошел в гостиницу, где они остановились. Зашел. Меня никто не остановил, я прошел, зашел в комнату: все спят, один молодой человек сидит на кровати. Я говорю: «Вот, я от школы, мы хотели Николая Афанасьевича просить прийти...» – «Знаете, Николай Афанасьевич нездоров, он не сможет». А по той атмосфере, которая царила в этой комнате, – спиртом пахло... закусить хотелось. Я понял, что это бесполезно. Но все-таки я его отловил потом, когда он шел на концерт, но безуспешно. Отказался. Хотя я его уговаривал: интернат, ребята – ничего не помогло.

Должен признаться, учился я плохо в 8-м классе. Бесконтрольность, и я как-то распустился. И в общем-то мне этот урок пошел на пользу. Весной 1946 года отец, поскольку почти 20 лет он прожил и проработал в Заполярье, обратился к командованию с просьбой куда-то его перевести поближе к солнышку. Это привело к тому, что стали предлагать разные места, была Одесса, был Измаил и так далее, но все без предоставления жилья. Пообещали предоставить жилье в Латвии, в городе Либава, Лиепая по-нынешнему. И когда мы туда приехали, я честно-благородно пошел повторно в 8-й класс.

Хочу еще вот что сказать. Поскольку я поднял тему того, что мы все жили войной, я упустил одно важное обстоятельство из того, что запечатлелось в моей памяти на всю жизнь! Первое время, когда мы приехали в Северный Казахстан, мы несколько месяцев жили у дальней родственницы моей мамы. Она была секретарем парткома этого спиртоводочного комбината, ну и у нее жилье было попримичнее. Половину дома занимал директор, половину – секретарь парткома. Сын у нее был на войне, она была одна и одну комнату отпустила нам. Она получала газеты, из которых

я не пропускал ни одного номера. Вообще, я с детства интересовался политическими делами и газеты смотрел. И вот мне врезалось в память, что я пережил, когда увидел «Комсомольскую правду» с фотографией снятой с виселицы...

Н. Р. : ... Зои Космодемьянской.

Ю. В. : ... Зои Космодемьянской. Это невозможно. Это невозможно! Я не одинок был, это потрясающее впечатление на всех произвело. И когда сейчас ерничают по поводу этой девочки, что она там такое совершила... Да чего б она ни совершила! Она в свои 17–18 лет вместо того, чтобы умотать куда-то подальше, отдала свою юную жизнь... Мне приходилось там, в тылу, видеть мужиков, которым в самый раз бы воевать, а они под всякими предложениями ошивались подальше от фронта.

В сентябре у нас в институте была презентация книги «Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны», я в ней ответственный редактор и автор предисловия; я к этой книге особенно сердечно относился, потому что корейцы как депортированные в 1937 году с Дальнего Востока не подлежали призыву в Красную Армию, не подлежали призыву на войну. И тем не менее ребята, которые занимались этим сборником, нашли среди корейцев 374 участника войны. И некоторые из них, имея все законные права отсидеться в тылу, выдавали себя кто за узбека, кто за казаха, кто еще за кого-нибудь и рвались на фронт. Вот в сентябре была у нас презентация, разыскали нескольких стариков – есть еще живые из участников Великой Отечественной войны.

Я почему по-особенному к этой книге отнесся... Мы когда говорим о войне, мы подчеркиваем, что была сплоченность, было много человеческого – я привел пример с рабочими железнодорожных мастерских, но было и другое, не будем особенно идеализировать. Когда мы в 1944 году

возвращались из эвакуации, в Кокчетаве штурмом взяли места в вагоне. Бабушка с нами возвращалась, мы не успели ее затащить, и сестра спрыгнула с поезда и потом добралась уже с ней самостоятельно. А когда сели, посмотрели – у нас все узлы изрезаны: кто-то в это время в толкучке...

Н. Р.: ... *Пытался что-то украсть?*

Ю. В.: Да, да. И всё битком было забито. Это же были ни плацкартные, ни купейные вагоны. Продавали сколько угодно билетов. И мы доехали до Петрозаводска, потом от Петрозаводска до Архангельска, оттуда непрямая дорога была на Мурманск.

Н. Р.: *Скажите несколько слов про Вашего старшего брата, как его звали? Без вести пропавший в разведке – Вы потом что-нибудь пытались узнать о нем?*

Ю. В.: Да, брат Евгений, 1920 года рождения. Должен сказать, что учиться он не хотел никаким образом. Лупили его страшным боем – ничего не помогало. И поэтому его отправили в торговый порт в слесарные мастерские учиться на токаря, слесаря – я уж не помню. Ну, стал он каким-то образом профессионалом в этой области, из учеников перешел уже в рабочую квалификацию. Мать все ругалась на него: утаскивал много провизии из дома и кормил там всю братву свою – такой добрый парень был по натуре. Спортсмен был: и рыбалкой занимался, и в футбол играл за городскую команду. И вот, летом 1940 года в Советском Союзе был внеочередной призыв на военную службу. К сожалению, провожать ни я, ни моя старшая сестра Нина не могли: мы в это время были в пионерском лагере. Я всегда не без помпы сообщаю, что я был в лагере на Соловках. Его как раз тогда переделали из этого самого СЛОНá (Соловецкий лагерь особого назначения. – *Прим. Н.Р.*). Все было закрыто...

Н. Р. : *И как он тогда выглядел?*

Ю. В. : Обыкновенно. Мы жили в помещении тамошней школы, сравнительно недалеко от монастыря. С нами занимались моряки – это было одной из баз нашего военно-морского флота. Водили нас на экскурсии в монастырь, много интересного я тогда повидал. Монастырь был пустой, и его ни во что не переделывали. Лежали там на аналоях церковные книги и продолжало пахнуть ладаном. Нам показывали: вот, здесь люк, а вон там последний гетман Сечи Запорожской содержался, а там еще такой-то, еще такой-то... Это сильное впечатление производило... сами стены, облитые смолой: когда-то там штурмы были. Не знаю, сейчас сохранилось или нет – в стенах куски ядер торчали: во время Крымской войны 50-х годов XIX века англичане бомбардировали Соловки. И что еще произвело впечатление – там было так называемое Святое озеро, где происходило омовение при крещении. И вот от монастыря до этого Святого озера, если мне память не изменяет, вся территория была засыпана осколками икон. Я тогда не обращал на это внимания, а будучи взрослым, подумал: сколько ж там, наверное, драгоценного было уничтожено. Буквально ступить ногой невозможно было!

Мы со старшей сестрой Ниной были там все лето. Папино инженерное управление организовало там пионерский лагерь. Очень интересно было, устраивались праздники, костры, военные действия организовывали... Мы были в лагере, и поэтому я даже не знал, когда брата взяли в армию: вернулись, и мать нам сообщила, что Женю забрали. Он страдал морской болезнью при всем при том. Это у нас, видимо, семейное, потому что, когда мы ехали на Соловки на пароходе (там город Кемь есть такой, это в районе Карелии), я буквально помирал. Старшая сестра бегала вокруг меня, не знала уже, что со мной делать, как

меня откачивать. Вот и у него, видимо, такое. Поэтому его довольно быстро списали. Списали – и он попал в мастерские подводного флота как токарь или слесарь. Токарь, наверное. Он служил на Балтфлоте. И вот, когда началась война, он вскорости оказался в морской пехоте.

Н. Р.: *Он к вам больше не приезжал?*

Ю. В.: Нет. Все. Было несколько писем, как старший брат он меня воспитывал, что надо учиться как следует...

Н. Р.: *А где он жил на Балтике, Вы так и не помните, в каком городке?*

Ю. В.: Я не знаю. Это военные адреса. Мы получили однажды только письмо от его командира о том, что он был ранен. Когда началась война, он нам писал. Но без подробностей. Он писал больше отцу. Во время войны он был в морской пехоте, на суше. Вот эти морячки, которые бегали в атаку... Потом пришло письмо, что он не вернулся из разведки... Сейчас, когда создали мемориал на Поклонной горе, мы с дочкой Женей* там были, и она попыталась разыскать сведения о брате. Нашла: такой-то, тогда-то был призван, пропал без вести. Никаких больше сведений.

Н. Р.: *Скажите, а каково Ваше отношение к Сталину – до войны, во время войны и после?*

Ю. В.: Ну, до войны: я – человек своего времени, и Сталин был для нас всем. Я любил петь, и, надо сказать, что довольно мелодичными были песни о Сталине:

На просторах Родины чудесной,
закаляясь в битвах и труде,
мы сложили радостную песню
о великом друге и вожде.

* Евгения Юрьевна Ванина (дочь) – доктор исторических наук, известный востоковед-индолог.

Сталин – наша слава боевая,
Сталин – нашей юности полет.
С песнями, борясь и побеждая,
наш народ за Сталиным идет.

Я искренне пел эти песни, как и все. Каким-то особенным шизофреником по части преданности я не был – был обыкновенным, как все.

Н. Р. : *А отец и мать?*

Ю. В. : Отец у меня был беспартийный, но тогда был такой термин, «беспартийный большевик». Он был предан советской власти, честно и добросовестно ей служил, был скромняга, нигде особенно не высовывался, но честно и добросовестно делал свое дело. И вот когда мы перебрались в Латвию, в Лиепаяу, он был начальником планового отдела и главным диспетчером крупного военно-морского строительства, и когда он ушел на пенсию, то и дело за ним прибегали, потому что разобраться там без него не могли. И хотя у него за плечами кроме церковно-приходской школы ничего не было, но тем не менее, когда приезжали на практику курсанты Военно-морского училища имени Дзержинского из Питера, он им читал лекции по организации строительных работ и так далее. Вот такой человек был...

Да, о Сталине. Маленькое сомнение у меня зародилось еще при жизни Сталина. Вышел тогда (вряд ли Вы его видели) фильм под названием «Незабываемый 1919 год». Это о том, как был подавлен Кронштадтский мятеж 1919 года. По этому фильму потом Хрущев проехался в своем докладе на XX съезде, что Сталин там показан чуть ли не на поезде с саблей. А я как раз в это время на семинаре по истории СССР готовил доклад об отношении Советской России к лимитрофам – тогда такое слово было, сейчас оно не употребляется – малым странам по границе. Вот, и в этой связи я просматривал газету «Правда»

времен Гражданской войны. Сейчас любят говорить, что у нас все было засекречено – ничего подобного. Я был студентом второго курса. И как раз этот период, и этот сюжет я смотрел по газете «Правда». Мне бросилось в глаза: идет материал, номер за номером – материал о Кронштадтском мятеже, об организации подавления и так далее; о Сталине – ни слова. Сталин упомянут один или два раза: ну, допустим, 1919-й год, VIII съезд партии, избирается Центральный комитет и в его составе товарищ Сталин – и все. Меня как-то это насторожило. Но тем не менее я не могу сказать, что стал каким-то антисталинистом – нет, нет.

Все, конечно, изменил XX съезд. Было немножко странно, потому что доклад Хрущева на XX съезде о культе личности Сталина и его последствиях распространялся закрытым письмом ЦК КПСС. Я тогда работал в школе по окончании университета здесь, в Егорьевском районе Московской области, подвизался там в самодеятельности, в клубе, и этот доклад у нас зачитывался на общем собрании жителей поселка. Я его зачитывал, два с лишним часа я его читал. Он, конечно, очень многое изменил, очень многое прояснил. Если обобщенно сказать: как и, наверное, любой политический деятель, Сталин – такой деятель, к которому с однозначными оценками подходить нельзя. Нельзя простить репрессии. Я регулярно читаю сейчас коммунистическую прессу, газету «Правда», газету «Советская Россия» – я был коммунистом и остаюсь коммунистом, хотя ни в одной партии не состою именно потому, что они за Сталина. Репрессии тридцатых годов – это черное пятно, от которого мы, наверное, не отмоемся никогда. Я не могу согласиться с тем, что люди, устанавливавшие вместе с Лениным советскую власть, оказались врагами советской власти, японскими, немецкими и прочими шпионами. Я каждый раз, даже сейчас, столько лет прошло, когда слышу о репрессированных писателях, артистах и так далее... Мейерхольд,

Жженов... У нас в Институте востоковедения (я поступил в аспирантуру в 1957 году и числю себя институтским с того года) работал целый ряд людей, отсидевших порой вплоть до восемнадцати лет. Прекрасные специалисты, честные, принципиальные люди. Это образец того, как люди страдали ни за что ни про что. Но – я не могу принять то, что происходит со Сталиным сейчас. Меня очень сильно раздражает и обижает, когда показывают мероприятия на Красной площади, и наши нынешние вожди стоят на трибуне, отгородившись от мавзолея Ленина какими-то фанерными досками... Когда президент говорит о том, что победила наша страна – он не говорит о том, кто создал советское государство. Когда он говорит о том, что победила Советская армия – он не говорит о том, кто возглавил Советскую армию и фактически привел ее к победе – при всех сложностях и неудачах.

Я не могу смириться с идиотской идеей, которая довольно часто у нас в прессе проскальзывает, что советский народ и Советская армия победили вопреки Сталину. Я вот так думаю: не хотел бы я оказаться в машине, которая бы неслась на всей скорости вопреки своему водителю. Не завидовал бы я тому, кто окажется в такой машине. Это идиотство! Можно как угодно оценивать какие-то дела, совершенные Сталиным, но то, что как Верховный Главнокомандующий он оказался на месте, и то, что он в конечном счете со знанием дела, с проявлением воли и характера тогда, когда это нужно было, привел страну к Победе, – нельзя это зачеркнуть – как бы мы к нему ни относились! И если сейчас кому-то тревожно, что восстанавливается интерес к Сталину у какой-то части народа России, то, я думаю, прежде всего за это должны отвечать нынешние власти. Людям настолько надоела безответственность, неорганизованность, попустительство, что начинают мечтать...

У меня вообще немножко странная судьба: я, с одной стороны, где-то числился у нашего институтского руководства

чуть ли не в диссидентах... А почему? – Потому что пошла волна писем – ну, Вы, наверное, по молодости лет не помните этого. В 60-е, 70-е годы, хрущевская оттепель и какие-то годы после Хрущева, часть нашей интеллигенции обращалась с письмами по поводу того, что считала нарушениями демократии, нарушениями прав человека. Западные доброты активно этому способствовали и крепко подставляли наших людей, потому что был опубликован сборник под таким крикливым названием «Мы слышим», и эти письма с подписями были опубликованы там, и на них соответствующие инстанции обратили внимание со всеми вытекающими последствиями.

Я поддерживал тех, кто обращался с этими письмами, и даже набивался одно из них подписать, но меня почему-то не взяли. И был ваш брат-арабист по фамилии Фильштинский, не знаю, знали Вы его или нет... Он в свое время схлопотал десять лет. Нас как-то вместе послали в Волоколамский район лекции читать; лекторы мы были никакие, и мы сидели и друг другу рассказывали, что мы знаем о международном положении. И он мне рассказал о своей участи, как где-то в компании он сказал: «Насчет вейсманистов-морганистов что-то, ребята, не то». И кто-то из этих ребят тут же стукнул куда следует, ему припаяли участие в антисоветской организации и посадили на десять лет. Отсидел он шесть. И вот, когда пошла волна этих писем, он со своей женой, никого не привлекая, обратился к Косыгину. Ну, тогда была кампания, Даниэль и Синявский... Письмо вернули, его выгнали из партии. И он вскоре ушел. Я в разговоре с секретарем парторганизации института, Игорь Степанович Казакевич у нас был, прямо сказал, что я не согласен с этим.

По-моему, в отношении Фильштинского поступили несправедливо. Во-первых, он по Конституции имел все права обратиться к главе правительства по поводу того, что,

с его точки зрения, делается неправильно – никаких законов и Конституции он не нарушал. Во-вторых, даже если он сделал что-то не то, он имел на это право как человек, в свое время пострадавший, как человек, перед которым наше общество, наше государство виноваты, и мы должны к нему с особым вниманием и с особой деликатностью относиться. Ну, тот сразу же доложил куда следует, и на ближайшем партсобрании зам. секретаря парткома, глядя в мою сторону (накануне был эпизод: ко мне подошел Фильшинский, я ему: «А, Изя, привет, то-то...» А мы стояли, как на грех, прямо возле парткома): «Некоторые демонстративно устраивают рукопожатия и объятия с людьми, которые себя вот так-то, так-то... ведут». Короче говоря, меня так числили... А теперь меня числят в сталинистах. Хотя я, клянусь, не сталинист. Я, как уже сказал, оставаясь коммунистом, ни в одну из коммунистических ныне действующих партий не вступаю, главным образом из-за заигрывания с церковью и из-за их слишком уж теплого отношения к Сталину.

Н. Р. : *А вот про церковь расскажите. У Вас, наверное, семья была верующая?*

Ю. В. : Да. Мать. У нас была икона. Все годы, несмотря ни на что, у нас в комнате, где обитали мои родители, висела небольшая иконка. Сам я крещеный. Мать молилась, да. Особой такой преданной не была, чтобы постоянно в церковь ходить и прочее. Но ходила иногда. В 1964 году я уже был здесь, жил и работал. Мы приехали в Либаву к родителям. И мать очень хотела сводить мою дочь Женюку в церковь и окрестить, но что-то у нее там не сложилось.

Н. Р. : *Она не боялась?*

Ю. В. : Нет, нет, нет. Не знаю, я не сталкивался ни с какими особенными утеснениями по поводу церкви... Отец был

к этому делу абсолютно равнодушен. Он рано утром уходил, поздно вечером возвращался – я его мало видел. Он весь предан был своему делу, предан работе. Я был комсомольцем с 1945 года. Причем именно тогда, когда я в восьмом классе скверно учился, тем не менее меня политуправление Северного флота приняло в комсомол. Я всегда любил быть активным – не для того, чтобы выпендриться и куда-то выскочить, а просто... По натуре своей я любил быть и в художественной самодеятельности – чтец-декламатор был ... Был секретарем комсомольской организации школы...

Н. Р. : *На такой позиции, атеистической, Вы и остались?*

Ю. В. : Да. В 1955 году, уже работая в школе в Подмосковье, я был принят сначала кандидатом, а потом, в 1956 году, членом партии и таковым оставался. Здесь, в парторганизации нашей, я тоже был все время на активном положении и лет семь был заместителем секретаря парткома у Евгения Александровича Лебедева. Я уважительно к церкви отношусь. Уважительно и даже с пониманием. Особенно к старикам. Когда надвигается нечто неотвратимое, начинаешь уже надеяться на чудо... *(Вздыхает.)* Вот.

Н. Р. : *Отношение к Германии – оно как-то у Вас менялось? Ваша семья, может быть, пострадала не так тяжело, как те, что попали в оккупацию.*

Ю. В. : Да, да. Я сказал: самые страшные проявления, Бог миловал, меня миновали.

Н. Р. : *Тем не менее интересно узнать Ваше отношение к Германии...*

Ю. В. : Вы знаете, до сегодняшнего дня – я не могу объяснить, но я обостренно отношусь к слову «немец». Вот Вы со мной можете разговаривать об арабах, об англичанах, о ком угодно. Но когда Вы употребляете слово «немец» – у меня

где-то какую-то зарубочку это цепляет. И, соответствующим образом, к слову «Германия». Для меня Германия – это проклятая... как в одной песне пелось (ее, к сожалению, переделали): «В Германии, в Германии, проклятой стороне». Сейчас начали петь «в далекой стороне». Вот для меня Германия останется такой до конца дней моих.

Н. Р. : *Вы же разделяете понятия «немцы» и «фашисты»?*

Ю. В. : Нет. Нет-нет, я к нынешним немцам как таковым вражды не имею. Вот Женя моя училась в ИСАА, там были из ГДР ребяташки, и я к ним по-хорошему относился – милые люди. И корееведы приезжали из ГДР к нам в институт – я их не отделял от всех прочих. Но все равно, вот что-то во мне осталось, и я неоднократно говорил: если бы передо мной положили путевки во все страны мира, самые льготные, самые замечательные – только не Германия! В Германию я бы не поехал. Ни за какие деньги, ни за какие! Я в отделе неоднократно на эту тему высказывался вот в какой связи: я не могу понять евреев, которые едут в Германию! Вот уж кто должен был бы на протяжении сотни поколений эту Германию обходить за тысячу километров. Но... слаб человек!

Н. Р. : *Но немцы же сейчас покаются, выплачивают компенсации...*

Ю. В. : Они покаются. И платят что-то такое пострадавшим евреям, и здесь какие-то суммы получают люди и так далее, но... Я их не сужу, но в то же время я не могу понять. Никакие деньги не стоят тех несчастий, которые нам были принесены из этой страны.

Н. Р. : *Понятно. Еще вопрос про науку. Как Вы стали востоковедом?*

Ю. В. : Понимаете, мне тут чего-то романтического, к сожалению, рассказать нечего. Я закончил школу в Лиепаве

в 1949 году. Вместе со мной закончил ставший потом тоже известным корееведом Борис Владимирович Сеницын. И мы вместе поехали в Москву – у него здесь была мама, так что он ехал практически к себе домой, а я навязался к дальним родственникам своей мамы, мы поехали поступать на истфак МГУ, он и я. Но мы трусили – я думаю, особенно разъяснять не надо. Моему отцу его начальник на службе сказал: «Что? Твой сын – в МГУ?! Да это все равно что верблюду через игольное ушко пролезть». Я любил Петровскую эпоху и хотел в будущем ею заниматься. Мой товарищ, Боря Сеницын, собирался поступать на новую историю европейских стран. В приемной комиссии спросили: «Куда вы собираетесь?» – Я: «На историю СССР». – «А почему не на историю Востока?» – Я: «Я не знаю, не думал об этом». – «Вот видишь, вон там сидит наш аспирант, Володя Никифоров (потом тоже стал крупный ученый-китаист) – иди к нему, он тебя сагитирует». Я пошел к нему, он действительно сагитировал. «Знаешь, – говорит, – на отделение Востока, учитывая его предназначение, предпочтительно берут мужчин, и туда легче поступить». Ну, мне этого было достаточно. Самое смешное, что все вступительные экзамены я сдал на пятерки.

Где-то в сентябре собрали нас – первокурсников, поступивших на отделение Востока истфака. Нас довольно много, из моего потока Чудодеев – мы в одной группе были, Киреев в Отделе Ближнего и Среднего Востока, Леня Алаев... Нас собрали для распределения по кафедрам, по направлениям. А я еще раз напоминаю: это сентябрь 1949 года. Заканчивается гражданская война и революция в Китае. Это в стране вызывало тогда очень большой подъем. И поэтому все те, кто собирался на Дальний Восток, – мы все дружно заорали, что мы идем на Китай. Ну, профессора, которые с нами вели беседу, сказали: «Ребят, нам столько китаистов не нужно». Вышел молоденький, только что пришедший в МГУ доцент Михаил Николаевич Пак, и я впервые от него услышал

про эту самую Корею: древнее государство, древнее общество, интересная история, сейчас происходят такие-то процессы. Объявили перерыв: «Ребята, подумайте». Я Борису говорю: «Слушай, а нам-то с тобой один черт: мы с тобой ни Китая не знаем, ни Индии не знаем – пойдём на Корею!». Он со мной согласился. И мы пошли на Корею. Это была в истории МГУ первая группа, которая начала готовить корееведов. До этого в Питере начали, и был такой Московский институт востоковедения, МИВ. Вот там раньше начали. А в университете первые мы. Нас было шесть человек, сейчас осталось только двое: в Институте этнографии (как он сейчас называется?) Роза Шотаевна Джарылгасинова, доктор наук, и я – вот мы вдвоем. Был ещё среди нас такой Камшалов, который в науку не пошел, а стал делать комсомольско-партийную карьеру и закончил её тем, что стал председателем Госкино СССР. Я сказал тогда: «Ну, бедное наше кино – Камшалыч...» Так я стал корееведом. Это тот случай, когда судьба распоряжается человеком, и ей, судьбе, можно только сказать спасибо.

***Н. Р. :** Не думали потом, что все могло сложиться иначе?*

***Ю. В. :** Я никогда не жалею, потому что я, во-первых, столкнулся с очень интересной страной, с интересным народом, с интересной историей, с замечательными людьми, которые занимались и занимаются этой страной. Я не могу не вспомнить среди них прежде всего Георгия Федоровича Кима – вот это был поистине выдающийся человек; Фаня Исааковна Шабшина – она долгое время руководила корейской группой здесь, в институте; Галина Давыдовна Тягай; потом люди уже близкого ко мне по возрасту поколения: Шипаев, Мазуров, Борис Синицын здесь работали и так далее – каждый был личностью. Я считал своим человеческим и гражданским долгом оставить о них память. И мы сейчас, уже вышел восьмой том, выпускаем серию книг «Российское корееведение»*

в прошлом и настоящем», и первый том – я главным образом им занимался – назван «Жизнь и труд посвятившие Корею». Там 21 очерк о корееведах, из них треть примерно – это наши, и в основном я о них писал. На меня потом некоторые обижались: вот, ты там такого-то забыл, такого-то забыл – я с этим не соглашался, потому что хотел сделать сборник неформальным. Я искал людей, которые могли рассказать о данном человеке как о человеке. А время-то ведь немилосердное! И тех, кто мог рассказать, тоже уже не стало. И я просто горжусь этой книгой, потому что... ну хоть какой-то след от этих людей остался. Чтобы нынешние молодые корееведы, приходя в науку, как это часто бывает, не думали, что наука начинается с них. Вот – люди, которые честно, добросовестно работали в нашей науке.

Н. Р.: *Спасибо, это важно. И еще вопрос, который мы всем задаем: что бы Вы сказали о войне молодым сейчас? Что важное о войне Вы бы сказали?*

Ю. В.: Знаете... Я не воевал и еще раз повторяю: самого страшного на войне я не видел. Но все равно, война ударила по всем нам в большей или меньшей степени.

Н. Р.: *Как на Вас повлияла война – она изменила Вашу жизнь?*

Ю. В.: Конечно. Ну, как Вы думаете: мирный ход жизни прерван, люди – близкие, родные – ушли на погибель. Я уже сказал: вместо моего дома, где я провел все детство, остался один огород с картошкой. Жизнь надо было начинать сначала, с элементарной ложки-поварешки, которую надо было где-то достать, чтобы эту жизнь начать. Школа не отапливалась как следует. Писали мы на книгах: тетрадей не было. Писали не чернилами, а разведенной сажей. Все это, казалось бы, мелочи, но все это создавало такую жизнь, которой бы не было, не будь войны! После войны: ведь 1946 год был очень тяжелый год. Война только что закончилась,

раны только еще начинали залечивать. Все-таки мы никуда не денемся от 1700 разрушенных городов и 70000 деревень, которые лежали в руинах, – это же все надо было поднять! А 1946 год – неурожай. У меня мать, когда мы жили в Либаве, ходила на рынок. Это морской порт, и там на рынке продавали рыбу. Она ее купить не могла. Кормилец у нас был один – отец. Он получал, по тогдашним временам, может быть, и большие деньги, но они стоили всего ничего. Продавцы на рынке потрошили рыбу, и она покупала эти потроха. Главный продукт, конечно, картошка, плюс ерунда эта всякая – так и жили, так и питались.

И самое главное: понимаете, есть вещи, которые словами не передать, но война для каждого, даже для нас, для детей, была каким-то страшным рубежом. Она разделила жизнь надвое: до войны и после войны. Тем более что до войны мы начали немножко лучше жить. Последствия Гражданской войны, последствия коллективизации, прочее – уже изживались... Тем более мы жили в Мурманске, а тогда Заполярье было на особом счету у правительства. Вот я, например, в отличие от многих, еще до войны знал вкус банана.

Н. Р.: *Это роскошь на самом деле! По тем временам...*

Ю. В.: Да-да, потому что снабжали Заполярье неплохо. И все рухнуло в один момент. И жертвы, которые понесли, – ну ведь не берут в расчет, что практически против нас шла вся Европа. Вся Европа! Мы говорим: мы воевали с немецкими фашистами – а где же «голубая дивизия» испанцев? А где итальянские дивизии? А где французские бригады? А где наш брат славянин – чехи и словаки...

Н. Р.: *...Болгары...*

Ю. В.: ...Болгары – «братушки» наши? Между прочим, эти «братушки», какой бы ни был резкий поворот

в международных отношениях, – они всегда оказывались на противоположной стороне, начиная с Первой мировой войны. Поэтому, знаете, если обращаться к молодым, буду апеллировать к церковной терминологии: пусть вас Бог хранит! Пусть мы перестрадали, мы пережили это – пусть это с нами уйдет и пусть это никогда не повторится. А для этого мы должны быть сильными. Я вот хорошо помню разговоры – ну, естественно, взрослых, мы же все время шныряли среди взрослых: «Мы готовы были затянуть пояс еще туже, мы пошли бы на самые крайние крайности, но чтобы нам не оставлять город за городом, чтобы нам не получать эти чертовы похоронки!». Ведь это же страшная картина была, когда приносили эти похоронки.

Н. Р. : *А в поселке много людей было призвано на фронт?*

Ю. В. : Да-да! Много людей. И эти похоронки – это страшная страница войны. Сколько людей... Женщины рвали волосы на себе – последнее чадо, или муж молодой ушел... Что вы, никакие романы и никакие фильмы не передадут этого. Через все это мы прошли и заплатили такой страшной ценой! Это, знаете, спекулятивные разговоры – что цена победы слишком высока была, не такая должна была быть. А какая она должна быть – кто может оценить это? Знаете, как у Шота Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны»? Легко сейчас говорить «надо было». Это такая сила обрушилась! Конечно, за то, что не в лучшем виде мы были готовы, можно упрекать, я считаю... Вот этот договор 1939 года, советско-германский пакт о ненападении... Я очень хорошо помню, вскорости после этого пакта я с отцом был на лекции о международном положении в одном из соседних клубов. Приезжал какой-то лектор, чуть ли не из Москвы, и рассказывал нам такую байку: наши будущие союзники вели переговоры с немцами о нападении на нас; поддержки не получили, а хитрые немцы записали

все на пленку и потом приехали в Москву, предъявили эту пленку – вот вам ваши союзники, и это, вроде, склонило... Ну, знаете, лекторские приемы... Преподносил ерунду на постном масле. И какое-то расслабление произошло.

Я, работая в институте, в 50-е годы по делам своих научных планов просмотрел газету «Правда» с 1922 года по 1941 год. Я во многом заново открыл для себя историю нашей страны. Очень многое из того, чему нас учили, судя по газетам, была, конечно, туфта. Все это было далеко не так. Когда Гитлер пришел к власти, наши газеты были очень яркой, я бы сказал, антифашистской направленности. У нас были фильмы, которые сейчас не идут, а я хорошо помню фильм «Профессор Мамлок»*. Главный герой – еврей, крупный немецкий ученый. Над ним издевались. И когда я просматривал газету «Правда» – резкий рубеж 23 августа 1939 года.

Н. Р. : *Подписан пакт о ненападении между Германией и СССР...*

Ю. В. : И говорить плохо о Германии сразу прекратили. Выступление Молотова – тут вскорости была сессия Верховного Совета – я бы сказал, было неприличное в адрес союзников, которые осуждают национал-социализм, а национал-социализм – это идеология, ее никаким оружием уничтожить нельзя. Неприлично было письмо Сталина Гитлеру. 21 декабря был день рождения Сталина, и среди всех прочих поздравителей был и рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер. Сталин ответил довольно пространственным письмом, и потом, уже в период разоблачения сталинизма, на этот счет многие задавались вопросом, потому что письмо заканчивалось: «Нашу дружбу скрепляет то-то и то-то, и в том числе совместно пролитая

* Экранизация (1938 г., Ленфильм) одноименной пьесы немецкого писателя-антифашиста Фридриха Вольфа.

кровь». Где и когда, какую мы вместе с немцами проливали кровь... Ну, и 14 июня 1941 года – это была крупная ошибка – заявление ТАСС о том, что идут спекулятивные разговоры о том, что Германия собирается на нас напасть, но нет никаких признаков и все такое прочее. Как сейчас объясняют, у нас это был «закидон» с расчетом на то, что немцы откликнутся. Они промолчали, а на наши вооруженные силы это повлияло разлагательски. Воинские части начали выходить на летние лагеря, оставляя вооружение, офицеры начали отбывать в отпуск, всякое такое безобразие пошло. Так что, конечно, нелепостей было достаточно много. Но тем не менее война была, повторяю, не одной Германии – всей Европы, и судить за то, что она обошлась нам такими жертвами... А ведь не учитывают то обстоятельство, что 27 миллионов – это же общие потери: и мирного населения, и военнопленных, и много всяких других категорий – это не только то, что мы потеряли на поле боя. Так что спекуляций на этот счет я категорически не приемлю. Я сторонник уважительного отношения к тем, кто сложил свою голову на этой войне, – не озираясь, не считаясь, кто там что. И считаю, что молодым надо тоже повдумчивее, поосторожнее относиться к тем оценкам, которые звучат иногда в адрес воевавших людей...

Эльвира Николаевна Панфиленко

Родилась 6 июня 1938 г. в г. Иркутске
Окончила Московский Педагогический институт (1966)
Кандидат экономических наук (1976)
Специалист по истории Судана
Работает в ИВ РАН с 1971 г.
Научный сотрудник ИВ РАН

Наталья Романова: *Общий вопрос, который мы всем задаем: расскажите, пожалуйста, немного о своей семье.*

Эльвира Николаевна: Я родилась в семье военных. Мой отец, Боровок Николай Васильевич, закончил Институт железнодорожного транспорта в Москве. Потом он пошел в армию, в МВД, в пограничные войска. И его отправили служить на советско-маньчжурскую границу. Так как он закончил железнодорожный институт, он помогал строить железную дорогу. Мы получили прекрасную квартиру. Моему отцу к началу войны, в 1941 году, исполнилось 29 лет.

Н. Р.: *А где вы жили в Маньчжурии?*

Э. Н.: В Маньчжурии мы жили прямо на границе с Советским Союзом, маньчжуро-советская граница. А какое место, не помню. Мама работала, несмотря на то, что ей было только 23 года. Старшему брату было пять лет на начало

войны, мне – три года. Я очень хорошо помню приезды отца: мы жили очень хорошо, у него была служебная машина «эмка» – тогда не у всех это было. Мама ходила в красивых платьях из бархата с серебряными пуговицами, всегда очень красивая и модная, двое детей – как говорится, жить бы да жить... И тут война. Войну я запомнила... Я очень много помню и довоенных эпизодов, но они, может быть, не имеют отношения к данной тематике, поэтому я расскажу о жизни во время войны.

Н. Р. : *Простите, а Ваша мама была с образованием?*

Э. Н. : Моя мама окончила десять классов и техникум. После техникума работала бухгалтером, а потом – в МВД секретарем-машинисткой. Бабушка по маминой линии училась в гимназии. А мои дедушка и прадедушка по отцовской линии все служили в белогвардейской армии. Может, это не стоит говорить? Они оба рано погибли... У нас как-то мужчины долго не жили. И по линии мамы и бабушки мы тоже очень много всего перенесли. Бабушка, мамина мама, родилась в Вятке, была урожденная Калугина, Калугина Тамара Васильевна.

Н. Р. : *Бабушка была из какой семьи?*

Э. Н. : Она была из семьи средних лесопромышленников, так можно сказать, у них была лесопилка. Вот такие разные люди соединили свои судьбы. А папа... Мама его, моя бабушка Ульяна Ивановна, никогда не работала, а его отец и дед служили в казачьих войсках, были офицерами, воевали, но погибли во время Гражданской войны.

А война... Когда началась война, я это очень хорошо помню, была страшная суета. Люди все сразу куда-то побежали... Мы находились в Маньчжурии. Было воскресенье, и моя мама, вся очень нервная, провожала отца на фронт, сразу уже буквально! Его мобилизовали и отправили

под Смоленск. Ну, может быть, не на первый, на второй день... Она плакала, мы плакали... Отец вообще-то мог бы и не ехать, но такие люди – они всегда почему-то на передовой. В общем, мы его отправили, и буквально на следующий день поняли, что японцы наступают. Они же тогда очень суетились по поводу Маньчжурии. И нам сказали: выбирайте, или вы садитесь в первые автобусы, мы вас эвакуируем в Слюдянку (потому что японцы не решились бомбить территорию Советского Союза, еще до этого не дошло, но нас они уже с удовольствием бомбили), или остаетесь здесь.

Мама схватила документы, помню, я была в таком голубом бархатном платье, больше ничего у меня не было, и брат мой, в вельветовом костюмчике – даже есть такая фотография, где мы во всем этом – нарядные, и нас зачихнули в автобус. У мамы были документы. Маме двадцать три года, в одной руке ребенок пяти лет, в другой – я, трех лет, и мы мчимся без вещей неизвестно куда. А те, кто побежал за шубами, за деньгами, за прочими вещами – их практически всех разбомбили. Мы успели проскочить.

Н. Р. : *Сколько Вы часов ехали – долго?*

Э. Н. : Мы ехали долго, с остановками около суток, голодные были. Приехали в Слюдянку – это я все хорошо помню... Это был промышленный городок, и наш дом стоял на берегу Байкала, очень близко. Здесь Байкал, а здесь гора огромная. Байкал нас тогда спас от голода, потому что там можно было добыть пропитание... Когда приехали, уже холодно было – это гораздо севернее нашего прежнего места, а надеть нечего. Наступила зима, морозы -47° , дров нет, топить нечем. Маме приходилось одной ходить в тайгу, не всегда она имела компанию, а одной было страшно! Она нам добывала кедровые орешки, которыми мы питались. Хлеба давали 175 граммов жмыха, причем надо было отстоять в очереди... Немногого

лучше, чем в Ленинграде. Мама рыла окопы, за что потом получила удостоверение «участника войны», работала, что-то находила...

Н. Р. : *Это около Байкала все было?*

Э. Н. : Да, это город Слюдянка, там добывают слюду, большой промышленный город: есть театр, церковь. Моя бабушка, мамина мама, все время мне говорила (брат – он все как-то от нас отделялся, с мальчишками бегал): «Каждый день будем ходить в церковь – Николай (отец) вернется, война через год закончится. Будем молить Бога очень-очень...» И я, маленькая, каждый день с ней ходила в церковь, молилась. Вот это я хорошо помню...

Н. Р. : *А бабушка жила с вами? Или приехала к вам уже потом?*

Э. Н. : Бабушка жила с нами, приехала помочь маме. Раньше она жила под Иркутском, их же выселили из Вятки тогда под Иркутск, отняли у них в Вятке дом... Она приехала к нам, мы все вместе жили, она помогала, конечно.

Короче говоря, чем мы питались... Каждое утро начиналось одним и тем же: хорошо, если печку топили, тогда мы все на этой печке ложились, чтобы потеплее было. Закрывались овчиной – кто чем. А утром – голод жуткий! И что делать?

Н. Р. : *У вас были карточки? Мама не работала?*

Э. Н. : Мама? Во-первых, отец, пока не погиб, присылал с фронта нам деньги, они почему-то приходили. Мы были все как иждивенцы, кроме бабушки. Но мама подрабатывала, она все время куда-то ходила, но почему-то ничего не могла нигде найти. И от детей не уйдешь, мы же маленькие! На Маньчжурке она работала, но там была другая работа.

А здесь мы с самого начала сами добывали еду: мой брат Валерий брал сачок, я брала алюминиевый кувшин, и мы шли на Байкал: он отваливал камни, а моя обязанность была собирать икру шириков. Ширики – это такие маленькие рыбки, байкальские бычки. Набирала я обычно половину этого кувшинчика. А брат ловил самих этих шириков. Ну, без соли, без масла бабушка отваривала их в кипятке, и вот так мы их ели всю войну. У меня есть фотография тех лет – я как будто из Бухенвальда: тощая-претощая. Народ сильно голодал, полгорода скончалось, потому что они не жили, как мы, около Байкала, нам-то повезло. Все-таки эта икра, рыба и кедровые орешки, которые мама нам из тайги носила, нас спасли!

Но когда на маму в тайге напал медведь, она перестала туда ходить. Это было летом – зимой же медведи спят. Она еле-еле от него убежала – молодая, ноги шустрые, когда-то была спортсменкой. Короче говоря, после этого она перестала ходить в тайгу, у нее, видно, был сильный стресс. И мы лишились уже и этих кедровых орешков...

Н. Р. : *Это было ваше первое лето там, на Байкале?*

Э. Н. : Да. Вообще, мужчин в городе не осталось, были одни старушки, дети и женщины. Короче говоря, мама решила как-то пробиваться. Да, уже пришло письмо, что все, кто был под Смоленском (это Смоленская дуга, там сейчас обелиск отцу поставлен – 30 километров от Смоленска), все они там погибли. Отец, по-моему, был политработником 13-го танкового дивизиона, насколько я помню, может быть, могу ошибиться. Ну, факт тот, что они там погибли.

Н. Р. : *А когда вы получили похоронку?*

Э. Н. : Он погиб очень быстро, они в этот котел попали, как в ловушку. Причем мы получали приличные переводы, но деньги во время войны ничего не стоили, так же

как и драгоценности: за дорогое кольцо с бриллиантом можно было получить только 100 граммов масла... Можете представить, как все мы жили. Короче говоря, он еще прислал нам три письма – на телеграфном бланке карандашом было написано: «Тамара, я понимаю, что мы все погибнем... Береги детей. Целую тебя. За Родину, за Сталина!». Каждый раз все заканчивалось словами «За Родину, за Сталина!» Так во всех трех письмах. Он был, конечно, типичным сталинистом... коммунистом-сталинистом. Везде. Но тогда все так: умираем за Родину, за Сталина! Короче говоря, мама стала хлопотать, она ж понимала...

Н. Р. : *Когда вам пришла похоронка – это было зимой?*

Э. Н. : Это было, наверное, в ноябре–декабре 1941 года.

Н. Р. : *Как скоро! А какую ему написали дату, когда он погиб?*

Э. Н. : Сейчас я Вам скажу, когда он погиб. Он погиб... Значит, у него день рождения был 26 июля 1911 года – в этом году было сто лет. Мой брат ездил под Смоленск, там был митинг, большое торжество. Меня приглашали, но я как раз не смогла поехать (*Вздыхает.*) Нам назначили пенсию на меня, и очень приличную, конечно. Но деньги, как я говорю, ничего не значили. Мама, видимо, думала, что уже все, здесь нам конец: ей 23 года, двое детей, надо выбираться из этой Слюдянки – это все-таки промышленный город, слюду добывали. Она, кстати, очень вредная, хотя она и в автомобилестроении, и в приемниках есть – везде. Во времена Петра I даже слюдяные окна были... Короче говоря, мама стала всем писать. Пришел ответ, что наш дом в Маньчжурии сгорел, и все вещи тоже сгорели. Никто, конечно, не знает: что сгорело, куда все девалось, но мы остались, в чем были, как говорится.

Н. Р. : *В бархатном голубом платьице и в вельветовом костюмчике...*

Э. Н. : Да. Я закутана была в каких-то платках, мне нашли полушубок старый – выживали как могли. А потом маме прислали приглашение ехать работать в Ригу. И она в 1944 году уехала в Ригу работать в МВД.

Н. Р. : *А кто ей прислал приглашение? Родственники?*

Э. Н. : Не родственники. Помогли коллеги отца. Они поняли, что мы остались сиротами, без жилья и без всего, и нас надо как-то пристраивать. И ей предложили переехать в Ригу. У нас была трехкомнатная квартира в Риге, на улице Бривибас...

Н. Р. : *В каком году Вы поехали в Ригу?*

Э. Н. : Мама уехала в 1944 году, мы остались с бабушкой, и я все время проводила на вокзале: хотя это было очень опасно, но я ее очень ждала, все время. Мы с братом все ходили, смотрели, а мамы нет и нет! Связи-то не было. И наконец она приезжает! Приезжает и забирает Валерия. Говорит: пока могу взять в Ригу только его. Квартира из трех комнат, очень хорошая, и рядом работа. Бривибас, наш дом военный... Это был 1944 год, по-моему, это было осенью. Было не тепло. Она забирает Валерия, а я остаюсь с бабушкой. Никаких сведений нет, почты нет, как мама брата везла... Сколько они ехали, я потом прошла этот путь!

Короче говоря, она там устроилась работать в МВД. Она работала одно время бухгалтером, а потом все-таки перешла работать секретарем-машинисткой. И через год она меня туда тоже забирает. Приезжает с подарками – я учительницам все отдала, у нас же там не было ничего... Мы всю войну были на сахарине (как выясняется, это очень вредно), а тут мама привезла настоящий сахар...

Вообще, был голод, конечно! Там просто нечего было есть! Голод и холод.

Я, например, видела, как при мне женщину, продавщицу (так как у меня память и наблюдательность с детства всегда были), арестовали. Мы стояли с бабушкой за этим хлебом, жмыхом, и продавщицу, которая отрезала кусочек и незаметно его спрятала, своим детям, видно, решила отложить, ее буквально (кто-то, видно, из очереди донес) через час, вот в чем она была, в чулках, арестовали, и пять лет она сидела вот за эти два кусочка хлеба, этого жмыха. Военное время – могли... Это все так было, да. Мы это видели, как она отложила себе хлеб, ну а потом нам уже дальше люди рассказали. Когда мы снова пришли, уже другая продавщица работала, а нам сказали: ее арестовали, и дети ее остались вообще на пять лет сиротами. Неизвестно, чем закончилась вся эта печальная история. Вообще, печальных историй было много потом и в Риге.

Н. Р. : *А Вы в садик не ходили в Слюдянке?*

Э. Н. : В садик? Я была все время с бабушкой, и Валерик с нами. Там ничего не было, не работали никакие детские садики! Ничего не было, война все-таки... Все как-то приостановилось. Я помню только церковь, очереди за этим жмыхом и Байкал...

Н. Р. : *А церковь – Вы были крещеная? Папа-то был коммунист.*

Э. Н. : Я тогда еще была некрещеная, но бабушка считала, что это не имеет большого значения. Сама она была очень верующей, но она по-своему считала, что Бог внутри человека, а не где-то там на небе в колеснице. Окрестила меня моя мама. В Москве, в храме в Сокольниках. Мама работала в МВД, и такого ей делать нельзя было. Поэтому когда мы приезжали в Москву, мы здесь, в Сокольниках, крестились все по очереди, чтобы никто не узнал, не дай

Бог! Тогда ж доносительство было. Можно было надолго в лагерь загреметь.

Н. Р. : *Но Вы были воспитаны в православии, Вы верующий человек?*

Э. Н. : Ну, бабушка мне так внушила. Но я помню, когда был салют Победы, конец войны, праздник, бабушка была такая радостная! А я с укором ей сказала: «Бабушка, как же так: каждый день мы с тобой молились, я стояла на коленях, просила, а папа не вернулся, его убили, и война не один год, а столько лет шла? Как же так, Бог не услышал наши молитвы?» (*Слезы в голосе.*) Она сказала: «Ну, он не может все услышать, не всегда все получается, но ты верь в хорошее!».

В Риге тоже было много происшествий... Война закончилась. Моя мама вышла замуж. Причем удивительное дело: на три года ее моложе, симпатичный военный летчик, с двумя детьми её взял! Женщины там грызли себе локти – они были без детей, моложе ее! А тут, пожалуйста... Ну, а когда мы приехали ночью в Ригу... Ехали как мы, Боже мой! Поезд, теплушка, один кипяток был – выскакивали за ним из поезда. А ехали мы долго-предолго, паровоз еле тащился! И я вот помню только: меня военные в тамбур вызывали. Военных было очень много, они возвращались домой с фронта. И они говорили: «Познакомь нас, это твоя мама такая красивая?» – «Да». – «Ну познакомь нас с ней!». А я сурово им говорила: «Она едет с мужем». Вот так.

Н. Р. : *Мама тогда была еще не замужем?*

Э. Н. : Нет, когда она за мной приехала, она была уже замужем. Причем домашние меня решили обмануть. Решили, что я маленькая, ничего не помню, и сказали мне: «Вот твой папа вернулся с войны!». А я посмотрела и говорю: «Мой папа был высокий, черные волосы, серо-голубые глаза,

красавец – а этот!..» А он такой, ниже ростом, такой крепкий, коренастый... Ну, совершенно другой, глаза карие... Я говорю: «Нет. Не надо меня обманывать!». Ну, в общем, долго я его не называла папой, вообще никак не называла, игнорировала. Потому что я своего отца очень любила и безумно страдала, что он погиб, просто безумно!

В Риге тоже было много трудностей. Русская школа была очень далеко, мама работала в МВД, причем работала сутками, у них же там лесные братья были, это был кошмар! Нам не разрешали ходить в школу поодиночке – школа была далеко, не разрешали ходить даже вдвоем. Мы жили в центре, но русская школа была за Театром оперы и балета, идти пешком далеко, транспорт туда практически не ходил. А если ты идешь одна или вдвоем, латыши могли затолкать в машину, и потом они нас обменивали на своих лесных братьев. А в доме нашем, во дворе – идешь в школу, идешь из школы – все время стояли гробы: это убивали наших офицеров – мы же жили в доме, где жили наши военные!

Н. Р.: *Это лесные братья?*

Э. Н.: Лесные братья убивали наших офицеров. Этот кошмар был до 1953 года. Во-первых, нельзя было одной в школу идти: надо было не меньше пяти человек, чтобы идти всем вместе... Нас они любили обменивать...

Н. Р.: *Это была серьезная реальность!? В самой Риге?*

Э. Н.: Эти лесные братья действовали до 1953 года – я это очень хорошо помню. И я Вам хочу сказать, что с едой было тоже не очень хорошо. Хоть мама получала очень прилично – отчим, правда, целый год сидел без работы: его почему-то вначале не взяли на работу... Потом он работу нашел. Ну вот, целый год нам было очень трудно... Мы с мамой ходили на рынок. Она получала неплохо: на нас

с братом приличная пенсия шла, и ей платили много – там же платили за все: и за то, что она в МВД секретные документы печатала, и что перерабатывала очень много. Но когда мы приходили на рынок (в магазинах-то ничего не было), на рынке, как узнавали русскую речь, сразу все в десять, в двадцать раз становилось дороже. Вот так: если ты не латыш...

Н. Р. : *К русским было такое отношение...*

Э. Н. : Да, и еще к евреям благоволили. Вот евреям тоже продавали по номиналу, а нам, русским, нет. Ну, мама получала пайки какие-то, конечно, не сравнить со Слюдянккой, там нам тяжелее приходилось... До 1947 года мы ходили в подворотню, получали пайки. И мы должны были все прийти, у мамы уже родилась моя сестра в 1948 году, я помню, как она ее держала на руках: мало того что карточки надо было показать, еще надо было наличие всех членов семьи – и мы все ночь стояли, чтобы получить кусочек сахара, кусочек масла, еще муку в основном давали. Каждому лично в руки.

Что я еще могу рассказать? Мама почему-то очень страдала в этом городе. Я себя в Риге чувствовала как рыба в воде, за исключением того, что мы боялись лесных братьев, но у меня там было много друзей. А мама решила все-таки оттуда уехать... Как она говорила: «Я уеду из этого фашистского города». И они с отчимом долго ездили, искали жилье и наконец поменяли, мама все время говорила, как чеховская героиня: «В Москву, в Москву!». Ну, в самую Москву не удалось, потому что желающих поехать из Москвы в Ригу тогда не было.

Н. Р. : *Неужели она действительно так говорила: «Я уеду из этого фашистского города»?*

Э. Н. : Ну да, мама моя так говорила. Потому что, во-первых, все-таки трое детей – а нам не продают продукты, и вся

надежда была только на нее, она всех вытягивала. Да, она так говорила. И в итоге они обменяли эту трехкомнатную квартиру в центре Риги с улицы Бривибас, в переводе с латышского – улица Свободы... Не знаю, существует ли там сейчас это МВД – вряд ли, конечно, что-нибудь другое теперь там находится. Мой отчим хотел очень ехать жить на Украину, а мама – нет, только Россия. В общем, они метались-метались и в конце концов переехали. Брат мой учился в Ленинграде в Суворовском училище, я была в Риге, мама с отчимом дали мне закончить десять классов и поменяли квартиру на Ногинск, причем очень прогадали, конечно: из европейского города мы попали в такой маленький, промышленный, рабочий городок. И из трех комнат мы переехали в две комнаты.

Н. Р.: *А как Вас мама сумела окрестить в церкви, когда вы ездили через Москву?*

Э. Н.: Мы же в Ригу ехали из Слюдянки. Валерия не удалось окрестить, он у нас в семье единственный некрещеный остался. У меня, по-моему, со стороны матери прадед или прапрадед был священником... Поэтому бабушка была очень верующая, прямо фанатично верующая. Мама была в меру, но тоже верующая. Ну, я верующая тоже, но не фанатик... Папа был крещеный, конечно. Ну, в церковь он не мог ходить, иначе бы – ну, Вы знаете, это время тяжелое, когда доносительство прямо было страстью у людей... Я хорошо помню, как нас крестили в храме в Сокольниках. Священник отец Александр меня крестил под именем Эмилия, потому что Эльвиры нет в Святцах. У меня была крестная мать, мамина подруга, которая рядом с Сокольниками долгое время жила, в Колодезном переулке, сейчас она скончалась, царствие ей небесное, тетя Варя, Варвара ее звали. А потом, когда родилась моя сестра, её таким же образом повезли в Москву под предлогом, что маме надо навестить

свою лучшую подругу в Колодезном переулке – и так же окрестили мою младшую сестру. Причем все тайно. Строго-настрого мне было сказано, чтобы я в школе никому абсолютно не говорила.

Н. Р. : *Как Вы жили в Риге, в каком доме?*

Э. Н. : Это было ужасно. Это был дом, который был раньше доходным домом, а самого хозяина дома выселили в квартиру на первом этаже. Мы его жутко боялись. Двор там был как колодец, а он бегал за нами и очень сильно бил нас своими деревянными башмаками, прямо по голове, просто ненавидел нас...

Н. Р. : *За что?*

Э. Н. : А вот просто потому, что он раньше владел этим домом, а теперь стали там жить мы и другие такие же военные... Дети бегали, шумели. Видимо, он нас всех ненавидел, я так думаю. И в этом доме у каждого человека в подвале была такая каморка, как в банях – туда можно сложить картошку, какие-то запасы. Ну, и наша квартира имела такой чуланчик. Туда надо было спускаться по лестнице. И там было так темно! Я брала ведро, чтобы набрать картошку, в одной руке у меня свечка, и я страшно боялась: мало ли что может быть, ведь в Риге было очень много пленных немцев, которые... Они же Ригу почти не бомбили, они же ее для себя берегли! Но немцев было много, и они достраивали то, что все-таки нечаянно там разбомбили. Я всегда очень их боялась... А главное, мы завели кроликов, и крысы их всех съели.

Н. Р. : *Как это?*

Э. Н. : Крысы съели всех кроликов. Я после этого вообще боялась туда ходить. Там были огромные крысы. Они могли и меня растерзать, тем более что я была жутко худая,

потом только немножечко пришла в себя и вообще долго болела после войны... Ну, в общем, пришлось много пережить. И я думаю, что если бы мой отец не погиб... Мой отец, во-первых, по тем временам был очень грамотный человек, образованный и, ко всему прочему, очень целеустремленный – если бы он не погиб, он тоже мог бы стать если не генералом, то, пожалуй, полковником, да? И я бы не ощущала все это, что я пережила, и жизнь моя, наверное, сложилась бы совершенно по-другому... Потому что какой бы хороший ни был наш отчим, я всегда ощущала, и Валерий тоже ощущал, что мы немножко там чужие. У мамы уже своя семья, она ею очень дорожила, муж молодой, симпатичный, общий ребенок, а мы уже какие-то там... как сказать... При родном отце такого, наверное, не было бы.

Испытаний было много. Я не могу сказать, что я уж такой оптимист, но я умеренный, пожалуй, пессимист... Но я хочу сказать: конечно, у меня стоит портрет моего отца, я всегда ставлю ему свечечку на все праздники православные, и вообще, я его очень люблю. Я понимала, кстати сказать, что и он меня очень любил, это чувствовалось – на всех фотографиях я у него сижу на руках, и вообще, отцы же чаще всего любят девочек. Вот мама любила больше моего брата.

Н. Р. : *Вы жили в Ногинске. Вы в каком году переехали в Ногинск?*

Э. Н. : Мы переехали в Ногинск в 1956 году, мне было семнадцать лет, я только школу закончила. Причем это произвело на меня удручающее впечатление: маленькая квартирка (в Риге были большие комнаты, высоченные потолки)... Я пошла на центральную улицу города Ногинска, шла и плакала: там все было усыпано семечками, а на центральной улице стояли избушки. И я все думала: как мама могла сюда нас привезти?

Я уже поняла, что надо как-то выбираться в Москву – Москва все-таки тогда была другой. Я поступила в известное медицинское училище на Пироговке, общежитий там не было, и мне пришлось два года туда ездить. Электрички тогда не было, сейчас электричка час двадцать идет с Курского вокзала до Ногинска, а тогда два с половиной часа пыхтел паровоз! Вообще, как вспомнишь, так вздрогнешь! И я вот так каждый день ездила! Поэтому я всегда сочувствую людям, которым приходится далеко ездить.

Потом я вышла замуж за нашего преподавателя, аспиранта, который преподавал в нашем училище. Он был судебный медик. Он, кстати, и сейчас жив и здоров, и даже работает. У нас родилась дочка Наташа. Он был москвич. Тогда Москва – это было что-то! Но если вам рассказать, как мы тогда жили... Коммунальная квартирка, народу как сельдей в бочке – в каждой комнате по пять человек. Мы жили так: в одной комнате его мама, я, он и дочка Наташа только родилась. И тут нам повезло: одна семья решила, из-за того, что у них нет денег, сдать свою комнату при кухне, 4 кв. метра. Вот вы можете себе представить: 4 метра, но было огромное окно, потолки высокие, 4 метра, поэтому было много солнца, воздуха. Кровать наша, Наташина кроватка и столик маленький – вот так мы жили.

Н. Р. : *А как Вы стали востоковедом? Вы закончили медицинское училище, и родилась дочка Наташа. Но Вы не работали по специальности как медсестра?*

Э. Н. : Я работала, не успела Наташа родиться! Ну, я работала как: напротив моего дома – он и сейчас существует, там памятник знаменитому доктору Гаазу стоит, улица Гайдара. Я там работала старшим лаборантом в Институте, меня сразу взяли за мой очень серьезный вид, я все-таки очень солидно даже в том возрасте выглядела. Я работала там старшим лаборантом, но мне это почему-то все

не нравилось. Там работала жена известного ученого востоковеда-индолога Петра Шаститко, и вот однажды она пригласила к нам с лекцией самого Шаститко, арабистку Алю Голубовскую, еще кого-то, я уже не помню, из ученых. Они приехали с фильмами о Востоке и стали все это показывать. А я уже училась на вечернем на географическом факультете пединститута. И вот когда я посмотрела этот фильм и посмотрела на Голубовскую, которая тогда вообще была красавицей необыкновенной, она прямо горела, когда она о Востоке рассказывала! И я стала ходить в библиотеку и помню, как принесла домой труды Розенберга «Основы буддизма». Мой муж посмотрел и говорит: «Слушай, ты что, в какую-то секту попала?» (*Смеется.*)

Н. Р. : *Вам понравился Восток: Вы посмотрели эти фильмы, послушали лекции...*

Э. Н. : Все, я стала этим уже бредить. Я даже ездила на Арбат, был там такой кинотеатр документальных фильмов, и на Смоленской, кинотеатр «Стрела». Там показывали очень много фильмов про путешествия. И я стала их все смотреть, а потом как-то прочла, что идет набор в Институт народов Азии и Африки, так он назывался, он не был тогда Институт востоковедения, потом уже переименовали. Я уже покупала журналы «Азия и Африка сегодня» и вдруг смотрю: набор в аспирантуру. Я решила попробовать. А я закончила географический факультет, но целый год практически бесплатно в этом институте отработала, прежде чем поступить в аспирантуру.

Н. Р. : *Институт тогда находился в Армянском переулке?*

Э. Н. : В Армянском, да. Я там готовила всякие материалы, делала доклады. Но я не была зачислена в штат. Работала в Отделе арабских стран. Как-то сразу так все сложилось. И тут как раз идет набор в аспирантуру. Это было

в 1967 году. Я поступила и очень, конечно, всем этим увлекалась. Но потом у меня родилась Вика, и аспирантура продолжилась не три года, а четыре. Я была зачислена в отдел (память меня никогда не подводит) 25 мая 1971 года, и с тех пор 45 лет уже прошло.

Н. Р.: Скажите, пожалуйста, если помните, как началась война: сообщение передавали по радио?

Э. Н.: Я это помню. У нас был радиоприемник. Дело в том, мне кажется, мой отец это уже знал. Как-то он был к этому подготовлен. Это не было неожиданным. И причем он сам ведь попросил, чтобы его отправили на фронт. Где Маньчжурия и где этот Смоленск, где этот Брест, который явился первой мишенью и был весь практически уничтожен... Почему-то мама все время говорила: «Ну, мы так далеко, сюда ничего не придет». А отец сказал: «Нет». Потом он тут же ей сказал, что уезжает, и все...

У нас было радио. Громкоговоритель у нас был в Слюдянке, когда все Левитана слушали. А здесь был военный городок, стоял столб, и всем по радио объявили: идет эвакуация, кого куда распихивать будут. Но отца уже не было, он уже уехал на фронт. И через несколько дней всё началось. Мама схватила шкатулку с документами, какие-то там у нее еще были драгоценности, которые мы потом во время войны выменивали на масло несколько раз – бабушка этим занималась. Ну, главное – документы, мама всегда придавала документам первостепенное значение. Видите: у детей ни одеял, ни пальто зимнего, ничего не было... Мама думала, что война – это так, месяц-другой. Бабушка считала, что война продлится год, а отец сразу нам написал, что мы погибнем. «И война, – он написал в одной из записок, карандашом, где-то на вокзале, – война закончится нескоро. Тамара, приготовься к большим тяжелым испытаниям... Береги детей. Целую».

Н. Р. : *А Вы эти тексты помните, потому что мама их, наверное, читала неоднократно во время войны, эти открытки...*

Э. Н. : Это телеграммы были. Он хотел, видимо, телеграмму послать... Но, видно, сказали, что телеграмма не дойдет. И он с оказией, с кем-то, на телеграфном бланке карандашом написал... Я считаю, что у меня жизнь была бы другая, конечно: мне не пришлось бы ютиться по коммуналкам, ездить на паровозе два часа, голодать без конца, если бы жив был отец...

Н. Р. : *Эльвира Николаевна, а как Вы встретили Победу, помните?*

Э. Н. : Победу я помню. 1945 год. Мамы с нами не было, она уже жила с братом в Риге, а мы с бабушкой на Байкале остались. Бабушка была такая радостная! Бабушка очень рано овдовела, у нее было семеро детей и четырнадцать внуков, но любимые были Валерий и я, потому что она всю войну с нами провела. И вот война закончилась. А я так сердито говорю: «А где мой папа? Где? Обещали мне, он вернется...» А бабушка: «Пойдем, пойдем салют смотреть!». Попыталась меня заговорить, отвлечь. Мы вышли, и началось: на горе – наверное, высотой полтора километра, самая высшая точка (я тоже с бабушкой ходила в тайгу за ягодами, за шишками мы не ходили, потому что медведей боялись)... И вот оттуда салют! И знаете, тот салют с горы – никогда я этого не видела и никогда я этого не забуду! И я тут поняла, что все, Победа, Победа! Но только у меня слезы стояли: а как же папа? В общем, бабушка молчала, ничего не говорила, «приедет-приедет»... Видимо, они с мамой договорились, что приедет мой отчим, они его представят как моего отца. Думали, что я ничего не помню. Я все помню! Валеру забрали в Ригу первым, он на два года меня старше, ему надо было в школу идти. Но в десять лет он пошел в Суворовское училище, он

сейчас подполковник в отставке... Живет в Москве. Но он получил травму. Он же военный дизелист. Он почти не слышит на одно ухо, на них напали японцы – опять японцы, они нас всю жизнь преследуют! На них напали японцы – он же служил, охранял границу рядом с Японией...

Н. Р.: *Какой это был год?*

Э. Н.: Он 1936 года, напали они, когда ему было 44 года. Несколько человек погибло, а его бревном ударило по голове. Корабль был военный, и был обстрел. Он был инженер-дизелист...То есть он был вообще внизу. У него очень много наград, но он работать не может с 45 лет. Было нападение японцев на их военный корабль, много людей погибло. Брат остался жив, но был ранен, и сейчас он приравнен к инвалиду Великой Отечественной войны. Имеет пенсию хорошую... Инвалид второй группы без права работы.

Н. Р.: *Во время войны в детский сад Вы с братом не ходили, были все время с бабушкой?*

Э. Н.: Сначала с мамой, а потом с бабушкой. Бабушка где-то что-то достанет, кусочек хлеба ... Булочек тогда не было... Принесет, даст нам и так смотрит: ей же есть тоже хочется... И говорит: «Сам бы ел, да внукам надо!» Вот я это запомнила на всю жизнь. Ну, если бы не ширики, если бы не икра, которую варили (соль тоже была на вес золота)...

Н. Р.: *Икра этих шириков, без соли, она вообще съедобная была?*

Э. Н.: Ширики – вот такие мальки, головастики. Ну, икра такая, как у бычков! Там, в Байкале, был и омуль, но это на глубине, а мы же у берега возились: одному три-четыре года, а второму – на два года старше. Но все-таки мы были добытчиками.

Н. Р. : *И Вы ходили с бабушкой за грибами и за ягодами.*

Э. Н. : Да, когда мама уехала – а что делать? Уже на одних шириках не спасешься. Валерий был безумно худой, я худая. Мы все ходили. Но только поблизости, и обязательно с бабушкиными подругами, чтобы не дай Бог, если что случится! Бабушка всегда говорила, что за детей меньше волнуешься, чем за внуков. Дикая животные, медведи, змеи, все могло быть! Вообще, страшно было!

Н. Р. : *А какой-то самый яркий эпизод во время войны помните, что на Вас произвело впечатление?*

Э. Н. : Смерть отца – это горе. Огромное. Но я узнала про смерть отца только после войны, мне же не говорили, что он погиб, и брату не говорили. Считали, вдруг отец вернется, мало ли что? Нам не говорили, а я верила и ждала...

А что меня поразило... У моей бабушки была знакомая, в школе работала, и однажды нас туда привели – меня поразила эта школа. Это был деревянный дом, очень холодный. Нам дали чай какой-то, из морковки сушеной, чая же не было, и дали по пакетику сахара. Я еще посмотрела и думаю: «Ну, сахарин у нас дома тоже есть». И вдруг говорят: «Сейчас будет кино». Я же никогда не видела, я не была ни разу в кино! Мы в церковь все время ходили и один раз с бабушкой были в театре. Театр почти не работал, тогда там шел детский спектакль, театр тоже стал потрясением для меня. Но кино я никогда не видела... Мы все сидели на деревянном полу. Я худая, в свитере все время ходила, здесь всё закрыто, прическа такая у меня была – это просто... *(Смеется.)* И ужасно худая. И я смотрю фильм. А как он называется – «Каша».

Н. Р. : *«Каша»? Что это за фильм?*

Э. Н. : Вот такой фильм я смотрела, там показывали, как партизаны воюют и как они ждут, когда им привезут кашу, такой

документальный фильм про войну, это было для меня потрясение. Ну, а в Риге мы уже с братом ходили на Марику Рёкк! Мы такие трофейные фильмы там смотрели! Ходила с братом: мама меня никуда без него не пускала, потому что, мало ли, меня могли... Я такой наивный ребенок была, несчастный и даже забитый...

Н. Р. : *Вы пошли в первый класс, когда был уже 1945 год?*

Э. Н. : 1945 год. Завтраков в школе не было, нам давали деньги на еду, а мы копили эти деньги на фильмы.

Н. Р. : *Теперь понятно, почему Вы были худой – все деньги на еду уходили на Марику Рёкк.*

Э. Н. : Все уходило на Марику Рёкк, да. И вообще много было чудесных фильмов: «Сестра его дворецкого» с Диной Дурбин – это мы все посмотрели. И вообще, я вам скажу, что в Ригу мы приехали ночью, из такой дыры, как Слюдянка, где голод, холод, десять месяцев зима – и вдруг я попала в европейский город: витрины ночью все светятся, и манекены стоят в атласных платьях – я же этого никогда не видела! Я остановилась, мама говорит: «Скорей-скорей, надо домой, все голодные», а я говорю: «Нет, я буду смотреть!» (*Смеется.*) Ну, вообще, конечно, Рига – все равно у меня там много друзей, хотя многие уже поумирали. И училась я с Борисом Карловичем Пуго в одном классе и была в него сильно влюблена. Безответно!

Н. Р. : *Борис Пуго – известная личность, столько лет возглавлял Латвию!*

Э. Н. : Он же только наполовину был латыш, по отцу, а по матери был русский. Глаза у него были синие. Я помню, что мы бежали по школе и вдруг коленками с ним ударились, так я это больное колено тогда так долго гладила... Надо же, в четвертом классе я уже была влюблена

в мальчика с синими глазами! А он вообще на девочек не смотрел. Он делал карьеру: у него папа был большой чин в МВД. Он делал карьеру, и он ее сделал. Он однолюб: влюбился – я в Риге часто бывала, и мне рассказали – женился на Вале, которую безумно любил, и вроде он ее и застрелил...

Н. Р. : *Она была из вашей школы?*

Э. Н. : Нет, с Валею он учился в институте на одном курсе. Он в нее влюбился, у них родился сын. Он жизнь свою закончил в Москве, жену застрелил и себя застрелил – если это было на самом деле... Он был секретарем комсомольской организации, с детства был лидер по натуре. И такой красивый... Вот так.

Н. Р. : *Скажите, пожалуйста, Ваше отношение к Германии, раньше и сейчас? Вы были совсем маленькой девочкой, когда началась война...*

Э. Н. : Вы знаете, я Вам скажу, у меня до сих пор к ним негативное отношение. К нам в Институт приезжал работать один немецкий ученый. Можно сказать, приехал с одной папочкой, а когда его провожали, оказалось, что у него было двенадцать чемоданов. Он каждый раз приходил (мы еще тогда были в Армянском переулке, и потом уже здесь на первом этаже напротив церкви), когда мы обедали... Вот придет и сразу все съест. А ведь ему же дали деньги, и я думала: «Ууу, жадный немчур!»». Почему-то всегда, когда я немцев видела, я их не любила и всегда думала: «А вдруг он внук или сын того человека, который убил моего отца?». Нет, у меня неприязнь к ним была и сейчас осталась. Я вообще считаю, что немцы, ну не немцы, а фашисты, конечно, будет правильнее сказать, что они все-таки большие агрессоры. Они развязали эту жуткую войну, от которой пострадало безумное количество людей. Гитлер – полуграмотный человек, а они

его выбрали, это выше моего понимания. Там тоже очень много людей пострадало, которые были против Гитлера...

Н. Р. : *Конечно, там были и антифашисты...*

Э. Н. : И все равно у меня где-то в душе – я не могу, вот не могу им простить это все равно – все эти эвакуации, бомбежки, голод, холод, и главное: я была лишена родного отца. Я иногда забивалась куда-нибудь в уголок, плакала и думала: «Вот бы папа вернулся!». Мне было уже двенадцать лет, когда, я помню, плакала под кроватью какой-то, в уголок забила. Мне было одиноко, обидно, брат уже был в Суворовском училище, а я в новой маминой семье чувствовала себя очень одинокой.

Н. Р. : *Да, конечно... А где были бомбежки? Слудянка не могла пострадать...*

Э. Н. : Нет, Слудянку мою никто не тронул. Они не хотели соваться... А в Маньчжурии были бомбежки! Они там и закончились – когда мы пересекли границу. Мы просто долго ехали, голодные, уже холодно было, и ночью ехать надо... Сначала мы ехали автобусом, а потом...

Н. Р. : *Там сразу начались бомбежки?*

Э. Н. : Начались сразу, конечно. А плохо ли: обстрелять военный городок русских? Японцы тоже те еще агрессоры! И вообще, у них же там постоянные конфликты были из-за этих территорий. Так что испытаний хватило, как говорится, на три жизни. Но я не теряю оптимизма.

Н. Р. : *Эльвира Николаевна, Ваше отношение к Сталину – во время войны, после войны, когда стали известны многие факты...*

Э. Н. : Я Вам скажу: у нас в семье это было табу. Дело в том, что моего дядю, маминого брата, отправили по доносу

в ссылку в Норильск, где он и умер. Семнадцать лет он там гнил. Раньше он работал начальником железной дороги Иркутск – какой-то там, забыла, город. У него была, конечно, хорошая зарплата, была четырехкомнатная квартира, жена и четверо детей – мои двоюродные братья и сестры, никто из которых не получил никакого образования, потому что они считались детьми врага народа. А какое к этому отношение имеет Сталин, вот скажите на милость? Он не знал моего дядю, а просто-напросто дядин заместитель решил забрать его квартиру, получить эти льготы, эту зарплату и написал донос, что мой дядя сказал что-то не то про Сталина. И все. Понимаете как? Но все равно, у меня это въелось в голову, я все очень хорошо помню, помню, как мама тихо разговаривала, чтобы мы не слышали... Но кое-что я слышала, и в конце концов у меня к Сталину было негативное отношение.

Хорошо помню, когда он умер. Я училась в восьмом классе. У нас были страшные черные парты, потому что в русских школах было все самое худшее...

Н. Р. : *В Риге в русских школах было всё самое худшее?*

Э. Н. : Да. Но учителя зато были хорошие.

Н. Р. : *Наверное, такого не могло быть... Откуда Вы это знали? Вы ходили к латышам в гости в школу?*

Э. Н. : Это были прямо черные, черные парты... Мы ходили к латышам на танцы один раз...и у них были светлые красивые парты, у нас – черные, старые... Но зато у нас была латынь, у нас была психология, у нас была логика. Вот сейчас говорят, что это все новое, инновации – ничего подобного! Но мама платила деньги, конечно, за то, что я изучала психологию и логику в 8-м, 9-м, 10-м классах. Но какие предметы! История искусств! А те, чьи родители не платили, ограничивались обычной программой. А школьное здание

было великолепное, просто прелесть, старинный особняк! В общем, все было хорошо.

Н. Р. : *Но у Вас все равно осталось ощущение, что национальные школы, латышские, были лучше, чем русские?*

Э. Н. : Мне показалось, парты беднее: меня очень удручали эти черные парты, они были ужасны. И потом мы ведь с восьмого класса на месяц ездили на картошку, на хутора, где нас, вообще, один раз чуть не изнасиловали... Латышские фермеры с другого хутора пришли. Хорошо, что учительница у нас оказалась боевая, нас всех спасла. ... Второй раз нас опять послали на картошку. А хутора-то – полтора километра друг от друга... В девятом классе нас отравили, и после этого мы решили сами себе готовить.

Н. Р. : *Вас случайно отравили?*

Э. Н. : Не случайно, нас специально отравили! И еще про Сталина я хочу добавить: когда в школе объявили, что он умер, многие плакали, а я не плакала, я положила голову на эту черную парту и просто лежала, потому что я вспомнила, какие несчастья выпали на долю моих двоюродных братьев и сестер. На их фоне я еще везучая!

Н. Р. : *Расскажите про семью дяди, как сложилась их дальнейшая судьба?*

Э. Н. : Посадили дядю, и он умер в ссылке от болезней. Семнадцать лет они в Норильске строили медно-никелевый комбинат. Там же вообще десять месяцев пурга, зима и так далее. А дети были в Иркутске, они нигде не учились, они все очень простые люди.

Понимаете, тогда я была маленькая, но сейчас-то я понимаю, что нельзя валить все на одного человека. Ведь мы сами создали культ, сами ведь. И, в конце концов, если сейчас Сталин так будоражит сознание людей, значит, это была

личность. Я так это понимаю. А то, что уже на местах люди такие были, мелкие, завистливые...

Н. Р. : *А папа действительно свои открытки с фронта подписывал «За Родину, за Сталина!»?*

Э. Н. : Да, «За Родину, за Сталина!», все три открытки. Я это очень хорошо помню, да.

Н. Р. : *Говорят, что этот лозунг был придуман только в середине войны, и на самом деле никто так не говорил...*

Э. Н. : Отец никогда не видел Сталина, но он был идейный – тогда же все были заражены идеями. Потом он все-таки был обласкан властью. Ну, смотрите: закончить университет, попасть в Маньчжурию, там ему дали квартиру, шикарную работу. Мама – красавица, молодая, устроилась на работу, вся из себя, картинка... Она вообще была такая... зажигательная особа. Вот почему весь вагон бегал вокруг нее: такая она была! Но всю войну без мужчины. Это ж был кошмар вообще, если так вникнуть. Их поколение перетерпело массу всего... Мне всегда было маму жалко. Вот так вот.

Н. Р. : *Скажите, Вы ходили в церковь, молились с бабушкой, да? Значит, церковь была открыта во время войны? Одна была церковь в городе?*

Э. Н. : Церковь была. Ну, мы ходили в одну церковь, она была в центре города. Может, еще где-то была... мы-то жили на отшибе, у Байкала. В основном все-таки пожилые женщины и дети маленькие в нее ходили. Город был очень большой – промышленные городки, они такие все одноэтажные, двухэтажные, очень обширные и там были заводы по переработке слюды. Когда я уже училась в Москве на географическом факультете, я доехала до Абакана, побывала на слюдном заводе и поняла, что такое слюда...

Н. Р. : Тяжелейшее производство...

Э. Н. : ... И как от нее болеют – легкие, бронхи, она всюду проникает...

Н. Р. : Женщин пожилых было много в церкви, не два человека на службе стояло? Все-таки... вера у людей была?

Э. Н. : Вера была. И вера была и за Сталина, и в Сталина, и в страну, и в народ, и в Бога – все было! Русский человек такой весь наполненный...

Н. Р. : Праздники Вы с бабушкой отмечали?

Э. Н. : Праздники отмечали. Во-первых, никто не отмечал маевку. Была демонстрация, причем мы с бабушкой в Слюдянке всю войну на каждую маевку ходили. Бабушка у меня, теперь-то я вспоминаю, – она ж не такая старая была, вообще-то... (*Смеется.*) Ей было лет пятьдесят, наверное. Ну, при ее красоте: рост метр восемьдесят, глаза голубые, коса толстая длинная, ниже пояса... Это я на нее просто не похожа, а бабушка у меня была красоты неопишущей, но тоже вот одна была. И я хочу сказать, что маевки проходили очень интересно. Мужчины были в основном те, которых списали из армии, и почему-то они так напились... Это было ужасно. Причем все старались принарядиться, бабушка где-то что-то перешивала... Она сама шила, со мной занималась, читала мне книжки. У меня не было игрушек, она мне сшила куклу, это моя любимая кукла потом была. С Валерием она меньше занималась, он все с мальчишками бегал. А я всегда была около бабушки любимой. И, короче говоря, каждая маевка заканчивалась тем, что какой-нибудь мужчина за женщиной бегал с топором. Вот такая интересная у меня была жизнь. Потом у нас был Новый год...

Н. Р.: *А куда Вы ходили на Новый год?*

Э. Н.: На Новый год мы дома сидели, но мы с бабушкой елочку где-нибудь срубим в тайге, маленькую... Игрушки делали сами из каких-то фантиков довоенных, коробочки какие-то сохранились – кто-то из местных жителей что-то нам давал... Приходили бабушкины подружки. Они немножко выпьют, если у кого что-то найдется, в основном там гнали самогон, конечно. Ну, женщины не пили, а мужчины, кто оставался, – они были инвалиды, им не хватало еды, и они компенсировали это алкоголем. Ну, не все, конечно, но буйных я запомнила. Одну женщину мне было жалко: она была красавица, муж за ней всегда с топором бегал, и все его останавливали, а я сидела и плакала.

Н. Р.: *Это Новый год вы так отмечали или майские праздники?*

Э. Н.: Это маевки. Новый год проходил более так... спокойно.

Н. Р.: *А церковные праздники, Пасху вы отмечали? Бабушка Ваша была верующий человек...*

Э. Н.: Тихонечко отмечали. Но чем было ее отмечать! Вот этот жмых – это же был не хлеб, но все-таки ходили, святили куличи...

Вот это мои развлечения были: всю войну при бабушке – всю войну! Ну, книжки читали, еще у нас радиоприемник был, я слушала все новости, и моя бабушка всегда говорила, когда включала радио: «Валерий и Эльвира будут большими людьми, будут жить в Москве!». *(Смеется.)* Вот она нагадала...

Н. Р.: *Еще вопрос, который мы всем задаем, Вы на него уже, собственно, ответили: как на Вашу жизнь повлияла война – она закалила Вас, в какой-то степени, или напротив, сломала...*

Э. Н. : Сломала. Больше всего она сломала жизнь моему брату. Он страшно переживал, когда его отдали в Суворовское училище. Недавно он мне признался, что с десяти лет жил в казарме, где было тридцать детей, и у него не было семьи... А если бы у него был родной отец, у него все бы было – вот так он мне ответил. Я, конечно, была не так лишена, как он, все-таки я жила в семье.

Н. Р. : *И еще такой вопрос: что бы Вы сказали молодым о войне, что-то важное?*

Э. Н. : Я могу даже сейчас сказать. Вот когда я слышу стоны наших дам или молодых людей, что им чего-то не хватает, что трудно жить, что надо снимать квартиру... Я, конечно, не хочу вслух говорить, что я пережила, но я всегда говорю: знаете что, вы можете над нами смеяться, но лишь бы не было войны, потому что страшной войны нет ничего! Вот так я считаю. И чем быть недовольным людям? Только что нет птичьего молока у них? Правильно? А вот такое перенести – это, между прочим, очень закаляет.

Н. Р. : *Не просто перенести – остаться человеком, радоваться жизни, закончить институт...*

Э. Н. : И кроме того, я считаю, что я не потеряла жизнелюбия...

Научное издание

ВОЙНА И ПАМЯТЬ

*Утверждено к печати
Институтом востоковедения РАН*

Редактор М. С. Баландина
Корректор М. Я. Колесник
Верстка И. В. Федулов

Подписано 27.11.2018
Формат 60х90/16. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 36,25. Уч.-изд. л. 22,7.
Тираж 500 экз. Зак. № 349

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт востоковедения
Российской академии наук
107031 Москва, ул. Рождественка, 12
Научно-издательский отдел
Зав. отделом И. В. Федулов
E-mail: izd@ivran.ru

Отпечатано в типографии ООО «Издательство МБА»

г. Москва, ул. Озёрная, д.46 тел.: (495) 726-31-69;
(495) 968-24-16; (495) 623-45-54, (495) 625-38-13.

e-mail: izmba@yandex.ru

Генеральный директор С.Г. Жвирбо

